

ЕЛЕНА КАТИШОНОК

СВЕТ

В ОКНЕ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

роман

Annotation

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Станным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудаки-литературоведы; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом... «Свет в окне» – роман о любви и горечи. О преодолении страха. О цели в жизни – и жизненной цельности. Герои, давно ставшие близкими тысячам читателей, неповторимая интонация блестящего мастера русской прозы, лауреата премии «Ясная Поляна».

- [Елена Александровна Катишонок](#)

-

- [Пролог](#)

- [Часть первая](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)

- [Интерлюдия](#)

- Часть вторая

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
-

Елена Александровна Катишонок

Свет в окне

Светлой памяти Жени

СПАСИБО

моему другу Вадиму Темкину, блестящему эрудиту, оказавшему мне неоценимую помощь и поддержку.

Автор

Автор считает своим долгом предупредить, что все без исключения герои – плод писательского воображения, поэтому возможные совпадения имен с реальными случайны и непреднамеренны.

Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился, что это картинка. И более того, что картинка не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе.

М. Булгаков, «Записки покойника»

© Елена Катишонок, 2014

© «Время», 2014

Пролог

Далеко-далеко в изогнутом пространстве шелестит ежеутренняя газета – самое синее море, так далеко в пространстве, как и во времени, когда там жили-были старик со старухой. Как строчки по экрану телевизора, бегут волны, принося самые свежие новости, а следом набегают новые, и то, что было новостью, уже потеряло новизну и пропало, не оставив следа на песке, – да и нигде. Потому и говорят: «как в воду кануло».

Волны бегут уверенно и ровно, но они поседели. Когда нет ветра, то видно, что синее море подернуто сединой. Ему так много лет, что даже знаменитый Тацит благосклонно кивнул – упомянул о его существовании. Может быть, только янтарь древнее моря: волны приходят и уходят, полируя его поверхность, а камень остается. Или это спор курицы с яйцом – что возникло раньше, море или сосны? Если бы сосны не роняли на песок смолу, волны не смогли бы шлифовать медовые сгустки до прочности камня. Но откуда взяться соснам, если бы прежде не возникло море?

Никто не знает родословной моря – ни Тацит, ни Саксон Грамматик. Волны равнодушно и неумолимо смывали следы, кровь и ржавчину копий крестоносцев, как позднее смывали и уносили в море корабельный мусор и клочья парусов, а еще позднее – жирную радугу мазута и угольную крошку, так же лениво и спокойно, как следы немецких сапог – сначала в 1914 году, потом в 1941, а в 1945-м это были следы красноармейских кирзачей. Волна с поседевшим гребнем привычно разравнивала песок. Волны не знают ни выходных, ни праздников, ни усталости.

Море пережило старика со старухой – они в молодости жили с детьми на даче и

гуляли на закате по мокрому песку; оно переживет их потомков – весь клан детей и внуков, которые взяли за обыкновение тревожить ночной сон автора, придумавшего их. Нужно включать лампу, заслонив на секунду глаза, и смотреть в темное окно. Довольно; их давно нет в живых, ни старика, ни старухи; отчего же не уходят они из памяти, они и потомки их? Чего ждут, где бы они ни находились в этот момент – на берегу моря, в поезде, театре – или стоят на крыльце дома, где жили одной большой семьей: отец с матерью, две сестры и три брата? Нет их больше: у них выросли и повзрослели дети, родились внуки... Но внуки нетерпеливо смотрят в будущее, а их родители – на своих детей и, значит, тоже в будущее; только старшие – три брата и обе сестры – смотрят туда, где уже прошла по песку волна и все смыла.

Набегает следующая, но они смотрят – и ждут, словно что-то осталось недосказанным.

Часть первая

По комнате летала птица. Не металась бестолково, не билась в окно, а ровно, как по заданной орбите, кружила вокруг погашенной люстры. Нет, не птица – летучая мышь!

Лариса схватила со стола газету и замахнулась, не решаясь бросить. Протянула руку к выключателю, и как только вспыхнул свет, летучая мышь кинулась к окну, сложилась быстро, словно зонт захлопнули, и пропала в складках гардины. Разбухшее от дождя окно поддавалось плохо. Только Лариса открыла первую створку, как откуда-то сверху свалился темный комок, и она снова испуганно захлопнула окно. Теперь зверек бился между рамами и сердито стрекотал, будто за стеной печатали на машинке.

Из ванной комнаты вышел Герман, вытирая руки, и весело удивился:

– С кем воюешь?

Чуть приоткрыл первую раму, ловко набросил полотенце на гневно стрекочущую тварь и так, с трепещущим комком у груди, распахнул ночное окно и легко взмахнул полотенцем.

...У Германа все и всегда получалось легко. Чем только он не занимался в жизни! Увлёкся кино и начал снимать картины. Открыл ресторан – и через неделю там яблоку негде было упасть. Ничего не смысля в деревенском хозяйстве, за год превратил отцовский хутор в образцовый. Даже в ссылке он не только выжил, но и самозабвенно играл на скрипке, словно за окном видел милый сердцу вереск вместо багульника... В молодости пылко влюблялся и умел влюбить в себя. Очертя голову

бросился в политику и состоял в каком-то подпольном кружке, но об этом Лариса знала только с его слов. Она не принадлежала к тем женам, которым нужно во что бы то ни стало разузнать все, что касается прошлой жизни мужа, а что не удастся разузнать, то домыслить, чтобы потом себя же изводить. Какое имеет значение, с кем Герман спешил на свидание, кому дарил цветы, если это было так давно, что они не знали друг друга?

Какие только кульбиты не проделывала с ним судьба! Еще год назад они жили втроем в коммунальной квартире, в тесной комнатухе, единственным достоинством которой был высокий потолок. Все стремительно переменялось в несколько дней, и скромный работник переплетной мастерской № 4 превратился в первого кинематографиста республики. На свет вытащили киноленту двадцатипятилетней давности, некогда увенчавшую Германа славой, а его самого, с женой и сыном, извлекли из коммуналки, предоставив оторопевшим соседям биться за освобожденную комнату, и поселили в тихом трехэтажном доме Старого города.

Новое жилье куда как отличалось от прежнего: три комнаты вместо одной, парадное, где всегда горит свет и не пахнет мочой, поскольку посторонние войти не могли, а жильцы были люди деликатные, причастные к искусству, культуре и административным эшелонам власти, ведающим этими тонкими сферами.

...В тысяча девятьсот сороковом году Герман лишился дома, родной земли и спасибо, что не жизни, – спустя двадцать лет он оказался на гребне славы. В газетах мелькали статьи с пышными заголовками; имя Германа Лунканса снова у всех на слуху, как в тридцатые годы, когда на экраны вышел кинофильм «Господа хуторяне», сделавший его знаменитым в первый раз. Он пошел дальше: озвучил фильм – и

разорился... Сегодня его называют «отцом нашего звукового кино» и приглашают на открытие новой киностудии. Очередной поворот судьбы вовсе не вскружил Герману голову. Точно так же он уходит по утрам в переплетную мастерскую, и когда ему предложили должность при киностудии, он обещал подумать, а на самом деле просто выбросил соблазнительное предложение из головы так же легко, как летучую мышь в окошко, твердо выучив, что чем ниже сидишь, тем легче падать.

...Вытряхнул полотенце в окно и остаток вечера успокаивал жену. «Откуда, – беспомощно повторяла Лариса, – откуда она здесь?»

Герману тоже трудно было представить, что в городской квартире летучие мыши ведут себя так же свободно, как в деревенском амбаре. Вспомнился августовский закат на хуторе, когда на оранжевом небе вдруг возникал, словно подкинутый чьей-то рукой, черный птичий силуэт; потом второй, третий, и только по неестественному зигзагообразному полету, больше похожему на падение, становилось понятно, кто это. Безвредные, в отличие от настоящих мышей, зверьки пугали своим видом – и только.

– Они безобидны, – произнес вслух. – Мало ли откуда... В окно влетела, подумаешь!

– Да закрыты были окна! – почти выкрикнула жена. – Вон как льет...

И не только лило – сверкало и грохотало весь вечер. Герман, с перекинутым через плечо полотенцем, сидел на диване и, задумчиво вертя перстень на мизинце, продолжал:

– Вот эта дуреха и перепугалась – они ведь чувствуют грозу – влетела и спряталась где-то; хотя бы в ванной. Я пошел умыться, вспугнул – она и кинулась

сюда.

И становилось легко от его уверенного голоса, от привычного верчения кольца – печатка с вензелем то показывалась, то исчезала внутри ладони, – а чтобы совсем успокоиться, Лариса проверила всю квартиру и даже заглянула в печку, никогда не топившуюся по причине центрального отопления.

И забылся бы скоро неприятный эпизод, если бы не тревожный, скомканный разговор на следующий день в Ботаническом саду, который был для Ларисы тем же, чем для Германа переплетная мастерская, с той лишь разницей, что Герман никогда прежде не знал, как переплетают книги, в то время как она всегда любила работать с землей, будь то родительский хутор, скудный огород в сибирском поселке или участок Ботанического сада.

Анна Яновна была идеальной напарницей: выносливой, хотя старше Ларисы, работающей и немногословной. Они сняли халаты и перчатки, сели на скамейку под кленом и развернули пакеты с бутербродами.

– Из оранжереи двое практикантов ушли, – сказала Лариса, – кого-то теперь переведут туда.

– В оранжерее хорошо, когда холода начнутся, – отозвалась Анна Яновна, аккуратно стряхнула в ладонь крошки и бросила голубям.

– Я бы пошла, – кивнула Лариса и добавила с коротким смешком: – Если, конечно, там летучих мышей нет.

– Откуда же?

– А откуда у нас в доме?..

Выплеснув остывший чай, завинтила крышку термоса и в нескольких фразах

пересказала вчерашнее происшествие.

Напарница старательно складывала обертку от бутербродов и, когда начала говорить, смотрела не на Ларису, а на бумагу:

– Вы, Лорочка, к своим давно ездили?

И пояснила, теперь уже серьезно глядя в глаза:

– Плохой знак – нетопырь в доме. Старые люди говорят: к покойнику. А я сама уж немолода, – улыбнулась на Ларисин негодующий жест, – так я верю. Вы-то с мужем помладше меня будете, ну а родители... Проведайте – вам же спокойней будет.

Лариса в приметы не верила, однако внезапно захотелось съездить в деревню: кончался август, сколько там теплых денечков еще осталось?

Поехали вдвоем. Карлушка отказался – хотел отоспаться после ночных смен, но Лариса заподозрила, что дело не в ночных сменах, а в Насте. «Ему решать, – уговаривал в поезде Герман, крутя перстень на мизинце, – Настя так Настя. Двадцать четыре год парню; что ж, так ему и бегать к ней в общежитие? – И продолжал так же легко, словно поддразнивая ее: – Пожилые родители должны вовремя уходить, чтобы дети почувствовали себя взрослыми».

В деревне все было по-прежнему: безнадежно захламленный дом, огород, заросший сорняками, – пололи его редко, чтобы не отрываться от постоянной ругани друг с другом, – и одичавший сад. Мать и отец были в полном здравии, и, как только Лариса убедилась в этом, тут же неодолимо потянуло обратно в город, прочь от многолетнего бессмысленного скандала, который и составлял жизнь родителей. Она наскоро прибрала на кухне и заторопилась в огород, чтобы не слышать, как мать

слезливо жалуется Герману на «этого мерзавца», заевшего ее жизнь. Герман прихлебывал кофе и курил, время от времени поворачиваясь к «этому мерзавцу», который обрушивал на жену каскад ядовитых слов.

Возвращались поздно вечером, в пустом вагоне. Покоя в душе не было. Утомительная поездка, досада на родителей и стыд за них, оживший, как это случалось всегда при встрече, тайная тревога за сына и зловещие слова напарницы – все это странным образом вернуло к летучей мыши.

– Не переживай, – Герман обнял ее за плечи, – ведь живы-здоровы; что еще надо?

– Почему они не могут, как люди?.. – горько спросила Лариса.

– Потому что – люди, – легко объяснил муж. – А люди – они разные. Соседи, может, в карты играют; а твои – скандалят. Это их и держит. Если кто-то из них один останется, вот тогда худо будет.

...Спустя два месяца Лариса осталась одна.

Герман даже умер легко. Повязывал у зеркала галстук и, продергивая в петлю шелковый конец, спросил с улыбкой: «Как странно, правда?». То ли у своего отражения спросил, то ли у жены, но что именно показалось ему странным, Лариса так и не узнала, хотя накричалась до хрипоты, повторяя: «Что? Что странно?..», пока тащила его, не по-живому отяжелевшего, к дивану, а потом рухнула на колени, уткнувшись лицом ему в грудь. Казалось, если услышит ее крик, то ответит, а значит, останется с ними, не уйдет навсегда с непонятными словами.

Ушел. Умер в день своего несостоявшегося триумфа, так и не выступив на открытии новой киностудии. Это было так же странно, как необходимость вернуться

в дом, где на столе лежит газета с его портретом, и Лариса, стоя под мелким октябрьским дождем, пыталась вспомнить заголовок статьи, словно это зачем-то было важно.

Ленты на венке блестели от влаги. Люди подходили, говорили бесполезные слова и спешили скрыться от дождя и от чужой скорби. Она отыскивала глазами сына. Рядом стояла девушка с волосами до плеч и что-то говорила, опустив глаза: Настя.

Вспомнился не газетный заголовок, а фраза Германа, сказанная в поезде: «Пожилые родители должны вовремя уходить, чтобы дети почувствовали себя взрослыми».

Письменный стол отец приобрел сразу после переезда из коммуналки, но Карл не помнил, чтобы он сидел за ним. Или не замечал? Настольная лампа с мраморным подножием, тяжелая граненая пепельница – мать отмыла ее до хрустального блеска, – стеклянная чернильница с откидывающейся бронзовой крышечкой – все это почему-то выглядело таким привычным, словно всегда стояло на письменном столе, так недавно появившемся.

Знакомые наручные часы на коричневом кожаном ремешке – выпуклом, хранящем форму отцовского запястья, – праздно лежали рядом с лампой. Маленькая стрелка показывала «12», большая почти дотянулась. Часы стояли, и как только он начал крутить колесико завода, секундная стрелка обрадованно заторопилась.

Теперь письменный стол принадлежал Карлу, так же как и отцовский перстень, который обхватывал левый мизинец и словно был создан для того, чтобы крутить его, если б только что-то вдруг не подступало к горлу, и тогда он старался не встречаться взглядом с матерью.

Сегодня матери дома не было. Вместо того чтобы бессмысленно ходить по квартире или кинуться на кладбище, Лариса поехала на работу. Зная мать, Карлушка понимал, что для нее сейчас легче и нужнее возиться с рассадой, готовить лунки – что они еще там делают в Ботаническом саду? – чем взять в руки отцовскую чашку или подойти к его столу. Он читал, что у какого-то племени есть обычай собрать все вещи умершего и сжечь. Взгляд упал на перстень. Невозможно было представить себе, что он превратится в закопченный плевочек металла. Медленно повертел

перстень и выдвинул верхний ящик стола.

Деревянная сигарная коробка с яркими картинками на крышке и пузатыми буквами HABANA, синяя записная книжка – отец всегда носил ее в кармане пиджака – и... маленький черный резиновый мячик, выкатившийся из дальнего угла так резво, словно возник из памяти Карла и отбросил его на двадцать лет назад, в веселое летнее утро, где отец, молодой и стройный, кричит: «Лови!» – и мячик летит, обгоняя Карлушку, тонет в яркой густой траве, а он, запыхавшись, раздвигает шелковистую зелень и с торжеством приносит отцу трофей – черный мячик с красной поперечной полоской, блестящий от росы. «Лови!» – кричит теперь он и кидает мячик со всей силы, но отец смеясь перехватывает его на лету. Поодаль стоит Пик, черный пес, с воделением глядя на мячик, и хвост его напряженно ходит из стороны в сторону.

...Тот же – или уже другой? – летний день, и Карлушка бежит со всех ног. Сейчас отец подхватит его и подбросит вверх, а потом поймает и посадит на шею. По гравиевой дорожке бежать нелегко, камешки скользят, и Карлушке кажется, что он обгоняет собственные ноги, а потом встает, и на ободренных загорелых коленках выступает кровь. Отец поднимает его и говорит: «Мальчики не плачут», а на ухо добавляет: «Только изредка, и если никто не видит».

...Одна капля упала на полустертую красную полоску. Никто не видел – ведь мальчики не плачут.

Три ящика были аккуратно выстланы зеленым картоном – точно таким же покрывают столы у них в конструкторском бюро, – но пусты; только в правом нижнем лежала черная кожаная папка. Привычных шнурков на ней не было – папка

застегивалась просунутым в петлю магнитным язычком наподобие засова, державшим надежно, если судить по потертости корешка.

Внутри обнаружился большой конверт с газетными вырезками; на полях кое-где отцовским почерком были проставлены даты. Хрупкие желтоватые бумажки с выцветшими заголовками были старше черного мячика и самого Карла: «1933, июль», «май 34-го», «1936, 7 ноября». На верхней вырезке слева было объявление в рамке: «Программа кино», а справа – кусок обширного текста, и глаза невольно перепрыгивали с одной колонки на другую:

«“СПЛЕНДИД ПАЛАС”: “Дети счастья”, с участием Лилиан Гарвей и Вилли Фрича.

Готовится к постановке большая фильма “Аве Мария”, с участием знаменитого итальянского тенора *ДжерEMI бросился бежать, но пламя уже охватило весь низ, отрезывая всякий выход.*

“ПАЛЛАДИУМ”: “Ночь накануне боя”, с участием Анабеллы. Фильма поставлена по роману Клода Фаррера. Немецкая версия. – **Я помог вам потому, что вы моя жена. Моя жена, циркачка, подонок общества! Из-за вас убиты несколько ни в чем...**»

“МЕТРОПОЛЬ”: “Джувльбарс”, фильма на русском языке, с участием артистов МХАТа Черкасова, Наташи Герцог, Файт и Макаренко – **И вы думаете, что я буду жить после этого? – неистовствовал ДжерEMI.**

Готовится к постановке: “Повесть о двух городах”, с участием – **Лестница не достанет до крыши, – раздалось в толпе собравшейся**

прислуги, но они все-таки бросились на поиски.

“ФОРУМ”: впервые звуковая фильма “Господа хуторяне”. Вечером “Мадемуазель Лили”, с участием...»

Он тут же забыл о непонятном Джереми и о том, кто исполнял роль таинственной мадемуазель, пораженный скудной обыденностью сообщения об отцовском фильме. Зато в других статьях много и восторженно писали о немом фильме с тем же названием и превозносили его создателей, «гг. Лунканса и Аверьянова». Аверьянов... Совсем недавно Карл слышал от отца эту фамилию; кто такой Аверьянов? Глаза быстро привыкли к старой орфографии и непривычному «фильма» вместо «фильм», и хотелось прочитать все по порядку, а рука уже вынула небольшую стопку писем, и к программе кино, фамилии Аверьянов и газетам решено было вернуться позже.

Он не сразу догадался, что письма написаны самим отцом. Начал было читать самое верхнее, и его ожгло нежностью и любовью к незнакомой женщине. Он перелистал – каждое начиналось одними и теми же словами: «До свидания, любимая!», как другие пишут: «Здравствуй, любимая!», и такая печаль была в этих словах, что даже не мелькнула мысль узнать что-либо о незнакомке, как и не появилось обиды за мать; это – другое, принадлежавшее только отцу и никому больше, если письма не были отправлены. Да и жива ли она?.. Или отец писал вслед безвременно ушедшей любимой, снова и снова прощаясь с нею?

Что с ними делать, думал он, машинально складывая исписанные листки в конверт с газетными подборками. Перевернул конверт, отложил в сторону и заметил

карандашную надпись: «После моей смерти сжечь». Последнее слово было зачеркнуто и сверху надписано: «уничтожить», словно отец вспомнил про бесполезную печку. Относилась ли его воля только к письмам, а газетные заметки просто попали в тот же конверт, Карлушка не понял.

Телефонный звонок прозвенел так резко, что он вздрогнул.

Настя говорила торопливо и решительно, и отчетливо сказанное «уезжаю» он понял не сразу:

– Подожди, – перебил, – я не поним...

– Ну что тут понимать? – голос стал раздраженным. Она помолчала и добавила мягче, но так же торопливо: – Съезжу к родителям, они уже настроились и ждут; вот и все.

Опять сделала паузу, перевела дыхание и продолжала:

– Ты все равно не поедешь – вам сейчас не до меня, лучше побудь с Ларисой Павловной. Я ненадолго еду; через недельку вернусь.

– Я вечером забегу, – сказал Карл, – ты в общаге?

Раздался короткий смешок:

– Я на вокзале. Тут всего два автомата, и мой поезд через двадцать минут. Я дам телеграмму. Пока!

Неожиданный разговор мешал сразу вернуться к черной папке. Обиделась?..

Они с Настей взяли отпуск, чтобы вместе поехать в Москву, а оттуда – к ее родителям. По правде говоря, Карл намного охотнее поехал бы в Армению или в Грузию, где давно мечтал побывать, однако Настя сказала, что родители ждут, и «вообще как же так, с твоими-то я знакома», что и определило решение, которое так

неожиданно отменила жизнь – вернее, смерть.

Он повертел кольцо на мизинце и снова открыл папку.

На твердом, как фанера, картоне с уголками были прикреплены фотографии – матовые коричневые снимки, четкие в мельчайших деталях, какие можно встретить в сохранившихся семейных альбомах. Судя по неровному с одной стороны краю, похоже было, что как раз из такого альбома они и были вырезаны.

На одном снимке Карлушка увидел отца. Он стоял, положив руку на спинку стула, а на стуле сидел незнакомый человек, похожий на отца не только одеждой, но и чертами лица, только выглядел он чуть постарше. На обороте четким отцовским почерком было написано: *«Нет, не отстал быстроногий Аякс от могучего брата»*. Даты не было. Кто такой Аякс, Карлушка не знал, и переводил взгляд с одного лица на другое, словно надеясь найти ответ. Отложил; взял следующую фотографию – и впервые за несколько последних дней улыбнулся: с фотокарточки прямо на него смотрела незнакомая девушка в широком платье. Она стояла посреди густой листвы. Со всех сторон ее окружали ветки, а она смотрела в объектив, чуть склонив голову набок, и не улыбалась, нет, но казалось, что вот-вот улыбнется. Чуть разлохмаченные волосы ничуть ее не портили. Он не удивился бы, обнаружив на обороте слово «Любимая», однако написано было совсем другое: «Ростов-на-Дону, 1917».

А Настя уехала.

Он взял в руки большой снимок, на котором была изображена пара: средних лет мужчина в очках, худой и высокий, и печальная женщина, которой больше подходило слово «дама» – не только из-за старомодного платья с пышными рукавами и высоким воротничком, а просто взгляд у нее был строгим и вместе с тем грустным,

да пышные волосы подколоты высоко, как на старинных картинах. На обороте ничего, кроме двух крестиков, каждый со своей датой: 8.4.1913 и 11.6.1936.

В тридцать шестом, когда я родился, мелькнула мысль, а вслед за нею догадка: родители отца. Дед, которого он не знал и в честь которого назван Карлом, и бабушка, так рано – отцу всего четырнадцать лет было! – умершая. Никогда прежде он не видел этих лиц и угадал почти случайно, ибо из рассказов отца запомнил, к своему стыду, не много. То, что сохранилось в памяти, было теснее связано с детским черным мячиком: высокая блестящая трава, молодой отец в тонкой рубашке без воротничка, трудная дорожка из гравия, ведущая прямо к дому с белыми колоннами у входа, где на крыльце стоит мать в легкой шали на плечах. И снова отец, на этот раз со скрипкой, но это уже в Сибири, потому что как раз туда они должны были уехать, чему маленький Карлушка очень радовался: он любил ездить в поезде. До того он бывал только в Городе; это так и называли дома: «поехать в Город», ибо только в Городе были удивительные дома с высокими башнями, похожие на те, что можно выстроить на взморье из мокрого песка; только в Городе – и больше нигде – отец сажал его на высокий табурет в кафе с мраморными столиками, отчего рукам сразу становилось холодно; и только в Городе он катался на карусели, где лошадки перебирали ногами, как настоящие.

В маленьком сибирском поселке ничего этого не было; должно быть, потому сначала и не запомнилось почти ничего, если не считать маленькое высокое – не достать – окно и низкий потолок темноватой комнаты. Спустя некоторое время они переселились в избу с большой печкой, и по мере того как Карлушка рос, печка становилась все ниже, пока он не перестал обращать на нее внимание, потому что

появились другие дела. Он помогал матери на огороде (и навсегда проникся неприязнью к этой работе), сдавал экзамены, заканчивал школу – впереди была армия. Никто из них, детей сосланных, не рискнул в пятьдесят четвертом году подать документы в вуз. Карлушка тоже не подал и вскоре стоял совсем голый, ежась больше от стыда, чем от холода, перед медкомиссией, а после этого дома плакал (нет, отец, никто не видел) – из-за собственной неполноценности, повлекшей за собой унижительный приговор: «годен к нестроевой службе в военное время». И все из-за какого-то плоскостопия, которое считал постыдной стариковской немощью.

Он никогда не говорил Насте об этом чертовом плоскостопии.

Ни сибирский поселок, ни военная медкомиссия не имели никакого отношения к детскому мячику, но удивительно, что именно мячик заставил все это вспомнить. Как отец сохранил его?..

Товарищи Карла, с одинаковыми бритыми головами и в новых гимнастерках, разъехались, а он собирал в стопку старые учебники, как вдруг отворилась дверь избы, вошел отец и произнес одно слово: «Домой». И сразу почему-то стало понятно, что это означает – в Город, каким-то особенным голосом отец сказал это слово.

Карлушка и принял Город как родной дом, стершийся из памяти по малолетству, и когда шел по улицам, ему казалось, что он узнал еще один дом с башенкой, еще один поворот, еще один перекресток.

Одна из улочек привела его к университету, где, он хорошо знал, ему места нет. А если было бы, какой факультет он выбрал бы, какую специальность? Он затруднялся с ответом на вопрос, который никто, впрочем, не задавал. Хорошо

успевая по всем школьным предметам, он не отдавал явного предпочтения ни одному из них, а потому проще было держаться традиционного подхода: мальчики, как правило, выбирали техническую специальность, девочки – гуманитарную.

Спустя год, в пятьдесят шестом, оказалось, что в вузах есть место и для тех, кто был сослан. К тому времени Карлушка работал в цехе металлоизделий на электротехническом заводе, где получил направление и характеристику – на технический, конечно же, факультет. Остальное – работа на заводе днем и учеба в университете по вечерам, защита диплома и новая работа, теперь уже в конструкторском бюро, Настя – остальное было относительно недавним.

...Взглянул на групповую фотографию военных в непонятной форме, с надписью в уголке: «1932 год» и отложил в сторону. Под фотографией лежала тонкая пачка плотных листов, исписанных знакомым почерком. Заголовок был написан крупно, размашисто: «Вагонъ. Сценарий для фильма». Сразу представил мчащийся поезд, в котором едет Настя – одна, без него, – и начал читать.

Поезд мчался вперед, колеса вагона постукивали, словно каблуки, когда идешь по тротуару. Напрасно сказала, что поезд через двадцать минут. Все равно стояла, как дура, около телефонной будки, ждала – вдруг прибежит: от их дома десять минут ходьбы. Ну, пятнадцать. Надо было сказать как есть: через час. И усмехнулась в вагонное окно: все равно не пришел. Правильно сделала, что поехала; пусть соскучится.

Вспомнила похороны Германа Карловича и дерево с шершавой корой, под которым стояла. Около могилы кружил человек с фотоаппаратом, и сквозь серый дождь ослепительно мелькала вспышка.

За окном стемнело. В окне вагона отражались лампы, фигуры людей, идущих в тамбур, и Настино лицо. Отражались открытая пачка с вафлями и чайный стакан в тяжелом подстаканнике – он медленно полз, тихонько подрагивая ложечкой, по гладкой поверхности столика, не подозревая, что на пол упасть все равно не удастся, а придется притормозить на краю у барьерчика. Настя решительно передвинула стакан к самому окну, и он послушно затих, уже не видя в стекле своего отражения, потому что она задернула занавески. Вытащила «Юность» с новым романом Аксенова, открыла и поставила оба локтя на столик, подперев щеки кулачками.

...Когда спрашивали, откуда она приехала, Настя называла город в двух часах езды от Москвы. Строго говоря, сама она впервые увидела этот город только в шестилетнем возрасте, когда родители поехали с нею покупать школьную форму; родилась же и выросла в поселке – одном из многих, входящих в состав области.

Поселок недавно повысили в звании – он стал называться *поселком городского типа*, а это почти то же самое, что город, уговаривала себя Настя и почти уговорила, поэтому не очень терзалась легкой натяжкой. Лучше так, чем тебя будут считать неотесанной деревенщиной.

Главная улица поселка вела к автобусной станции, откуда всего за час можно было доехать до областного центра. Рядом с автостанцией находился поселковый магазин, а неподалеку трехэтажное здание средней школы и почта. Все мужчины и часть женщин были заняты на торфоразработках, а попросту, как говорили в поселке, работали «на болоте». Настина мать ездила автобусом на шарикоподшипниковый завод, где сидела за конвейером, – все ж лучше, чем болото.

Никому Настя не рассказывала о деревянном доме из грубых темных бревен, с дверью, обитой для тепла войлоком, а поверх войлока клеенкой; в дождливое время дверь разбухала и противно чмокала. Никому – про уборную в огороде, куда вела тропинка среди крапивы или сугробов, смотря по сезону.

Детство запомнилось сплошным летом: сарафан в цветочек, косички секутся на концах, мать кряхтит: «огурцы в цвет пошли»; осенью в школу. Чернила на краях непроливашки отливали изумрудно-фиолетовым золотом, как навозные жуки, а потом надобность в непроливашках отпала, чернила сменились другими, потому что прежние для авторучек не годились. Еще потом появились толстые «общие тетради» и вытеснили тонкие, в то время как на смену тонким девчачьим косичкам пришла солидная упругая русая коса, «украшение скромной девушки». Эту косу Настена в школьном туалете распускала и завязывала в лихой «конский хвост». Как-то после уроков забыла восстановить украшение скромной девушки и явилась домой с

хвостом, за который отец и оттрепал. Попробовал бы с лошастью.

Настя училась хорошо, но не потому что любила школу, а от нетерпения скорее ее окончить и уехать в Москву. Можно и не в Москву – да хоть в областной центр; главное было – уехать, потому что для остающихся один путь: на болото. «Или на конвейер, – вздыхала мать, – как я. Так жизни и не увидишь».

Что и говорить, невидимая жизнь просачивалась сюда редко и скудными струйками. Вдруг, например, в поселковом магазине появились китайские авторучки в прозрачных пластмассовых гробиках без надежды быть купленными, потому что стоили семьдесят пять рублей старыми в отличие от отечественных фирмы «Союз» за четырнадцать (рубли сорок новыми). Родители не сговариваясь подарили Настюхе дорогую диковину, чтобы поощрить рвение в учебе. Именно «не сговариваясь», в результате чего у дочки появились две китайские авторучки: бежевая и бордовая. Бабка взывала: это ж туфли можно было купить! Тем более обидно было, что перед уроком физкультуры Настя оставила второпях бежевую ручку на парте, а после звонка, как ни искала, найти ее не смогла. Осталась дорогая бордовая авторучка и стойкая антипатия к физкультуре.

Она училась бы хорошо и без роскошной ручки, как и другие одноклассники, одержимые идеей уехать в Москву. Они сосредоточенно вели конспекты уроков, задавали учителям серьезные вопросы и оставались после уроков решать особо сложные задачи. Налегали на внеклассное чтение. Нельзя сказать, что они были дружны, скорее наоборот: мешало неизбежное соперничество. Их спаивало единство лошадей, мчащихся в одной упряжке. Несмотря на то, что одни были одарены способностями, а другие брали зубрежкой и усидчивостью, цель была одна,

а потому о ней как-то не принято было говорить. В воздухе плавали слова «идти на медаль». На медаль шли, как на штурм крепости и одновременно как на костер, поскольку это означало полный отказ от нормальной жизни, в том числе от разрешенных ОблОНО танцев в актовом зале школы, ибо даже ОблОНО не могло притушить ликование от одного только слова: «танцы». Школьные вечера с танцами на десерт привлекали всех, кто не думал о медали. И хотя были разрешены танцы только самые стерильные, куда попали вальс, танго и наполовину сомнительный фокстрот, как-то получалось иногда, что этот наполовину сомнительный вдруг перерождался в разудалый чарльстон. Так же непонятно было внезапно гаснущее электричество во время танго. Конечно, оно довольно быстро загоралось, но причины поломок так и оставались невыясненными.

Ах, школьные танцы! Слово «балы» давно вышло из употребления, да и впрямь едва ли было применимо там, где кружились пары, одетые в школьную форму, ибо нарушивший это правило тут же с позором изгонялся из зала. Отличник на танцах был подобен той редкой птице, которая едва ли долетит до середины Днепра. Однако случалось и такое, случалось: некоторые отличники, забыв про поход на медаль, внезапно отдавали себе отчет в существовании противоположного пола и в этом случае, как говорила завуч, «срывались с цепи».

Слово «ухаживание» осталось так же далеко в прошлом, как и «балы». На смену ему пришло словосочетание «взаимоотношения полов», от которого делалось стыдно и взгляды невольно упирались в пол. Тем не менее, эти взаимоотношения, говоря тем же языком, «имели место» и проявлялись в трех формах: дружить, ходить и гулять – по восходящей; или, наоборот, по нисходящей, как посмотреть.

К тому времени, как отличники начали «срываться с цепи», Настина коса уже достигла пояса. Примерно тогда же выяснилось, что девушка обладает еще одним сокровищем, ценность которого потеснила даже косу. Сокровище называлось «честь», и его нужно было беречь как зеницу ока. Девушка, не сумевшая это сделать, оказывалась в ситуации сапера, который ошибается только один раз, при этом девушке приходилось намного хуже: на ее долю выпадала не смерть, а несмываемый позор плюс исковерканная судьба, что похуже смерти. Интересно, что от мальчиков вовсе не требовалось беречь честь, и последний представитель мужского пола, которому это вменялось в обязанность, был Петруша Гринев из Настиной любимой «Капитанской дочки».

Она много времени проводила в поселковой библиотеке – надо отдать должное, книги там были превосходные. Библиотекарша привыкла к Насте и выдавала ей даже те книги, которые «тебе рано, детка». Тихая и симпатичная женщина так расстроилась, когда девочка разнесла в пух и прах пьесы Чехова, особенно – подумать только! – «Три сестры».

Даже сейчас, вспомнив этот эпизод, Настя возмущенно вспыхнула. Сидели и ныли: «В Москву! В Москву!». А что мешало, спрашивается? Сколько лет всем голову морочили; небось пришлось бы на болото отправляться – или на шарикоподшипниковый, за конвейер, – быстро собрали бы чемоданы. Примерно так она и выпалила библиотекарше. Жалко тетку, она-то здесь при чем.

Хорошо, что досталось боковое место, а то пришлось бы выслушивать вежливые вопросы: вы, девушка, работаете или учитесь? Где? А куда вы едете?.. По соседству долго и хлопотливо гнездилась семья с простуженным ребенком. Когда, наконец,

перестали шуршать обертками и уселись, мальчик опрокинул стакан с чаем. К этому времени уже выстроилась очередь в туалет, женщина перестала протискиваться мимо стоящих, кашель у мальчика немного поутих, и он сказал сиплым голосом: «Я какать хочу». Настя подхватила сумочку, полотенце и направилась в другой конец вагона.

Устроившись на верхней полке, она попыталась читать, но в голове как-то сам собой начал репетироваться разговор с родителями. Это счастье, что отцу дали, наконец, новую квартиру – в старый дом она ни за что Карла не пригласила бы; еще не хватало. А так – чем богаты, тем и рады; поселок, да, но – городского типа. И все же квартира – это счастье номер два, а главное счастье – это что она не там.

Нет, на медаль Настя не рассчитывала. «Способности средние, усидчивость исключительная», – написали в характеристике. Исключительной усидчивостью медали не добьешься, а без медали усидчивых в Москве, как говорила бабка, по тринадцати на дюжину кладут, да еще не берут; и в Ленинграде то же самое. Зато в столицах союзных республик тоже есть университеты. С Москвой, конечно, не сравнить, зато и поступить легче будет.

Мать насторожилась, однако Настя назвала ее родной город («заодно хоть посмотрю»), и та обрадовалась, враз помолодев от улыбки. «Бог даст, поступишь! А главное – не на конвейер, – повторяла она, как заклинание, – оттуда уж не вырваться...»

...Вагон постепенно стихал. Уснул кашляющий ребенок, и родители долго спорили шепотом, кому с ним лечь. В отдалении слышались мужские голоса. Лязгали откидывающиеся диванчики, щелкали замки чемоданов. Хлопала дверь в

тамбур, оттуда несло холодом и табачным дымом.

...Два с небольшим года назад Город встретил Настю Кузнецову приветливым летним дождиком. От вокзала до университета – несколько кварталов, но она не торопилась, а жадно смотрела на этот непривычный город: вдруг она провалится, вдруг придется ехать назад?!

Подала на иняз, как и собиралась. Не потому что страстно любила английский язык, а веря в исключительную свою усидчивость, которая любой язык может одолеть, даже тот непривычный, что звучал вперемежку с русским на улицах. И конкурс оказался не таким зверским, как в Москве, однако Настя получила тройку на самом первом экзамене, что было равноценно провалу. Стало быть, домой, на болото?..

Город не пускал. Нипочем не хотелось отсюда уезжать. Подать бы на вечернее отделение, однако туда принимали только работающих. Так в чем же дело?..

Осуществился кошмар матери: Настя работала на конвейере. Работа чистая, никаких тебе шарикоподшипников – она попала в цех по сборке телефонных аппаратов на крупнейшем заводе республики. И место в общежитии нашлось, и на вечернее приняли. Исключительная усидчивость не мешала посещать вечера танцев при заводском клубе, где она познакомилась с молодым инженером из конструкторского бюро. Инженера звали смешным именем Карл, до сих пор знакомым только в сочетании с фамилией Маркс, однако Карла Лунканса называли Карлушкой, что звучало совсем как Павлушка.

Представила Карлушкино лицо со свежим порезом от бритья – после кладбища они не виделись – и вся досада вдруг куда-то подевалась. Чего она накинулась на

него, в самом деле? Не надо было уезжать, конечно, но тогда неизвестно, как бы все повернулось. Ведь родители до сих пор не знали, что она учится на вечернем, как не знали про завод. Попробуй скажи, сразу посыпались бы упреки: мол, могла бы найти институт поближе. Особенно разорялся бы отец, хотя сам он нашел себе жену не «поближе», а как раз в том городе, который Настя выбрала для учебы. Скандал был бы неизбежен. Поэтому Настя ездила домой только два раза, ссылаясь на студенческую перегруженность: то надвигалась сессия, из-за которой она не спала ночей, то нужно было готовиться к очередному семинару или факультативу (оба слова действовали на родителей гипнотически), то – надо же и отдохнуть – «ездили с девочками на взморье». Зато письма с отчетами об успехах писала регулярно. Как легко и быстро одна недоговорка влечет за собой другую, пока все вместе не обрастает толстым слоем вранья! Тем не менее, все шло как нельзя лучше, если бы неожиданно не вознамерилась приехать мать. Страшно подумать, чем это могло бы кончиться, однако не кончилось ничем, ибо не началось, потому что захворала бабка, и матери приходилось навещать ее в старый дом каждый день. Насте ничего не оставалось, как обещать, что приедет на октябрьские, причем не одна, а «с парнем, мы давно дружим». И вот опять: ну как скажешь, что они с Карлушкой не только дружили и ходили, но начали гулять? – Никак. Зато написала: «Ему двадцать шесть лет, инженер», твердо зная, какой магической силой обладает последнее слово, и что на шесть лет старше нее, тоже всем понравится.

Заинтригованы были не только родители, но и хворающая бабка – ей даже полегчало.

...Настя не сразу поняла, что поезд стоит. Отъехала с лязгом дверь тамбура. Кто-

то, пахнувший холодом и сыростью, тяжело протопал по проходу. Скорей бы закрыли; дует. Будто услышав, поезд свистнул и так плавно двинулся вперед, что она не почувствовала толчка.

Бабке вигоневую кофту, матери безразмерные чулки (достала на заводе с переплатой) плюс янтарную брошку; отцу – бутылку рома. Гостинцы – зефир в шоколаде, конфеты «Красный мак» – объеденье.

Позвоню Карлушке из Москвы, перед автобусом.

А предкам так и сказать, – она зевнула, натягивая одеяло на голову: мол, у него отец умер. Потому и не смог приехать. Поймут, что серьезный.

Быстро и неслышно прошел проводник – отнес белье.

Вагон угомонился.

Он дочитал сценарий до конца и долго сидел в сгущающейся темноте. Сквозь занавески было видно, как в доме напротив загораются окна. Карлушка включил лампу. Окно потемнело – словно ослепло, стало неинтересным. У черного мячика выросла четкая овальная тень на гладкой поверхности стола. Меньше теннисного, он легко умещался в ладони; выпускать не хотелось.

Карлушка опять перелистал исписанные страницы. От включенного света волшебство не развеялось. Нашел строчки, которые, как оказалось, инстинктивно искал.

«Зажигается свет в вагоне. Окна темнеют. Оказывается, на улице уже не сумерки, а настоящий вечер, и от этого не сразу понимаешь, в какую сторону идет трамвай. Ему навстречу молча движутся уличные фонари. Теперь в окнах

отражается весь вагон. От этого кажется, что народу стало вдвое больше. Сутулый кондуктор в надвинутой форменной фуражке идет, как матросы ходят по палубе: медленно, уверенно и чуть враскачку. Его двойник в окне идет точно так же, и когда кондуктор поворачивается в правую сторону, двойник, передразнивая, поворачивается влево.

Остановка. В раскрытых дверях четко вырисовывается темно-синий вечер. Крепкая рука цепко хватается за блестящий латунный поручень, а вторая втаскивает и ставит на верхнюю ступеньку тяжелую корзинку, полную яблок. Кондуктор спешит на помощь и переносит корзинку к сиденью, на которое, отдуваясь, тяжело опускается хозяйка яблок – плотная женщина, обмотанная по-деревенски большим клетчатым платком. Ищет в кармане кошелек, достает мелочь, и клетчатый двойник в окне протягивает кондуктору деньги. Тот дергает шнурок, и дверь захлопывается, отсекая уличную темноту. От толчка фигуры сидящих немного клонятся в одну сторону, как и корзинка с яблоками, и несколько щекастых плодов катятся по полу. Хозяйка всплескивает руками.

Барышне, сидящей напротив, очень хочется засмеяться. Она улыбается, ловит ладонью катящееся к ней яблоко и подает хозяйке. Гимназист на площадке ловко подхватывает другое. Трамвай замедляет ход и скрежещет у следующей остановки. Гимназист распахивает дверь и так, с яблоком в руке, прыгивает в темноту, приветственно помахав рукой тетке в платке...»

Стукнула входная дверь. Карлушка сунул в ящик папку, мячик и пошел встречать мать.

Если бы существовали традиции скорби, как существуют традиции праздников! Горе, даже если призрак его уже вырисовывается на горизонте, если все знают, что оно неизбежно, – горе все равно ошеломляет. Если же никто к нему не готов, а главный участник, напротив, готовился к празднику, завязывая галстук, – в такой момент удар судьбы еще больней.

Когда же остается позади печальный обряд погребения, на смену горю приходит скорбь, как пепел, который остается на месте пожара. Это и есть самое страшное и самое трудное для оставшихся, ибо если в беде они вместе, то разделить скорбь умеют далеко не все.

Мать и сын скорбели в одиночку – не от отчужденности, а щадя друг друга. Лариса рассказала, что ее временно перевели работать в оранжерею, и, конечно, это лучше, чем снаружи, потому что скоро заморозки; в выходной надо бы съездить к старикам в деревню. Продолжала говорить – не столько чтобы заинтересовать сына, а боясь молчания. Карлушка нарезал хлеб (это всегда делал Герман) и ответил неожиданно, что поедет с нею. Мать хотела было спросить про Настю – так трогательно, что она пришла на похороны, – но не спросила, боясь заплакать. Поняла: Карлушка никуда не уходит, чтобы не оставлять ее одну. Молча обняла сына за плечи и отстранила, отвернувшись к плите. Какой он... взрослый. И весь, весь в отца – переживает молча, по лицу и не скажешь ничего, а ведь думает о том же, что и я. Подняв глаза, увидела, что сын улыбается, и эта неуместная улыбка резанула по сердцу обидой и болью.

Карлушка не заметил. Он все еще был в том вагоне – любовался барышней, поднявшей с пола яблоко, видел накренившуюся корзинку, с улыбкой наблюдал за

теткой в платке, за подвыпившим мастеровым, то и дело роняющим голову на грудь; наблюдал, как невозмутимо идет по проходу кондуктор и в стекле отражается его сутулая фигура в мундире, фуражке и с сумкой на ремне, косо пересекающем живот. Странное чувство: он словно смотрел фильм и вместе с пассажирами видел дома, больше деревянные, но и каменные тоже, церковь на углу, как раз напротив остановки, и хотя на улице светло, окна церкви светятся уютно и неярко. Видел проплывший мимо парк и трактир, из которого вышли в обнимку два субъекта; видел, как незаметно и властно улицей завладел вечер, в котором почти скрылись две лавчонки, аптека, табачный киоск, да и что там показывать, в самом деле? – однако скрыться полностью не удалось, потому что зажглись фонари, торопливо выхватили из темноты киоск и аптеку, а потом осветили другую улицу, куда как раз свернул трамвай. Барышня то смотрела в окно, то на отца – или на него: он стоял рядом с отцом и успел тайком подмигнуть дерзкому гимназисту, который утащил яблоко и был таков. Он видел, как за окном плыли фонари – вначале медленно, потом быстрее и быстрее, а трамвай, разогнавшись, вилял вагоном – и все пассажиры дружно, как в танце, ритмично качались то в одну, то в другую сторону, так же как их отражения в стекле, и так хотелось побыть в этом вагоне подольше, что он вернулся к отцовскому столу и снова открыл папку.

В рукописи было много поправок. Отдельные слова и целые фразы зачеркнуты, а на полях узкими, мелкими буквами вписаны другие. Даже чернила отец использовал разные: то фиолетовые, побледневшие от времени, то черные, ставшие по той же причине зеленоватыми.

Нет, Карлушка не выучил сценарий наизусть – он заболел им. Догадался, хоть и

не сразу: фильм поставлен не был. Спросил у матери. Лариса рассказала, как отец работал над озвучиванием ленты «Господа хуторяне», как долго составляли, потом переписывали диалоги, и сколько раз из-за этого приходилось перепечатывать текст... «Вагон»? Нет-нет, ты что-то путаешь; «Господа хуторяне» – да; знаешь, роман такой был знаменитый, этого... м-м-м... Вылетело из головы; потом вспомню.

Он и сам догадался, что фильма не было, иначе трудно объяснить, почему сценарий остался в рукописи. Не было фильма «Вагонъ», не было, а между тем он завладел его воображением и не отпускает.

Карлушка помнил эти старенькие трамваи – они дребезжали кое-где на окраинах, а потом исчезли, вытесненные новыми, в которых люди сидели не на противоположных длинных скамейках, а каждый на отдельном сиденье, глядя в затылки друг другу да в окно. В таких трамваях он ездил каждый день на работу, однако в них невозможно было представить ни барышню с яблоком в руке, ни солидного господина в цилиндре, да и за тесноватыми окнами проносился совсем не тот город, который мелькал за окнами старенького вагона и так живо был увиден отцом.

Октябрьские праздники, которые у них в семье не отмечали, но традиционно называли праздниками, мать и сын провели, не выходя из дому: ливень не переставал, в деревню решили не ехать. Лариса вязала свитер, надеясь успеть к Новому году, а Карлушка переписывал сценарий в тетрадь, вырвав исписанные листы с электрическими схемами. Писал только на правой странице, оставив левую для исправлений и вставок – боялся, что полей не хватит. Мало-помалу начал

понимать, почему отец не отдал рукопись машинистке – его воображение обгоняло неспешный ход вагона. Должно быть, ему все время хотелось – как сейчас хотелось Карлу – дополнить, *ухватить* (а значит, показать сидящим в кинозале) еще одну деталь, один поворот, вон тот переулок – в движении, в движении, в движении.

Прошли октябрьские праздники, и он, не догуляв отпуска, вышел на работу – не столько горя желанием вернуться к проекту, как одержимый мыслью о машинистке и кружке кинолюбителей.

Зачем в городе столько телефонов-автоматов, недоумевал Карлушка. Каждый напоминал о Насте, об их последнем разговоре. Осталось непонятное чувство вины и вместе с тем облегчение от того, что не поехал к Настиным родителям. Он прошел мимо круглой приземистой церкви за оградой, с одним большим куполом и несколькими поменьше, миновал здание трамвайно-троллейбусного управления, киоск на углу, за которым виднелась опять-таки серая телефонная будка. Из нее выскочил – как вывалился – растрепанный парень: «Вы не разменяете?..».

Несмотря на то что у них дома был телефон, Карлушка хорошо знал эти будки, с бесполезной наклонной полочкой (положишь записную книжку – обязательно соскользнет), с облупленной краской циферблата и косой щелью для монеты справа от него, рядом с которой набита квадратная алюминиевая заплатка. На заплатке выбита надпись: «2 коп.», а под ней совсем еще недавно была другая: «15 коп.», хотя любой автомат принимал как старые «пятнашки», так и новые, еще не утратившие блеска, «двушки». Интересно, были ли на улицах телефоны-автоматы, когда отец задумал «ВАГОНЪ»?.. Смутно всплыла в памяти какая-то картинка – комната с телефонным аппаратом на стене и сердитым мужчиной в цилиндре, с трубкой в

руках. Откуда?..

Вспомнил: это старый фильм, где Чарли Чаплин от кого-то убегал и споткнулся! Карлушка так резко остановился, что идущий за ним военный, круто обогнув его, обернулся и посмотрел неодобрительно.

Кинолюбительского кружка при заводе не было. Помог трамвай – вернее, остановка. Люди стояли, переминаясь с ноги на ногу, около здания с большой витриной. Внутри, за стеклом, был прикреплен выполненный тушью лозунг: **«ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ ДЛЯ НАС ВАЖНЕЙШИМ ЯВЛЯЕТСЯ КИНО /В. И. Ленин/»**. Слева от витрины ступеньки вели к парадному. Он обошел все четыре этажа. Один из них занимал шахматный клуб, остальные три – квартиры. Каким образом важнейшее из искусств соотносится с шахматами, Карлушка не понял.

Выяснилось, что городского общества кинолюбителей просто не существует. Карлушка узнал об этом на киностудии – той самой, при открытии которой должен был выступить отец.

– Увы, – развел руками человек средних лет с веселыми живыми глазами на одутловатом лице, – пока еще не организовали. Ведь смотрите, что получается, – он медленно шел с Карлушкой по коридору, водя папиросой в воздухе, – люди побывали в космосе, вот в какое время живем! Я не говорю уже о нашей киностудии – сами видите, какое здание отгрохали, к нам отовсюду приезжают киноработники. А вы, – остановился и с любопытством посмотрел Карлу в глаза, – тоже кино хотите снимать?

Покивал, узнав о сценарии, и дал неожиданный совет:

– От сценария до съемки путь непростой, это вам не «пришел, увидел, победил». А вот если вы...

И назвал студию при Союзе писателей, присовокупив энергично: «Там славные ребята собираются – читают, обсуждают; у них и журнал свой. Критики приходят; то-се». На прощанье пожелал удачи и весело взмахнул папиросой.

Интересно, как этот человек реагировал бы, узнав, что автор сценария – «классик республиканского кино», как писали в газетах об отце. Но как об этом можно было бы сказать? Все равно что говорить о черной папке, неотделимой для него от мячика, прощальных писем и старых фотографий. Неотделимой от отца, от его прошлого.

А сценарий – идти к «славным ребятам» или не идти – очень хотелось перепечатать.

Проще всего было бы обратиться к машинисткам у них в бюро, но представил на минуту любопытные взгляды или, не дай бог, вопрос: а это вы сами сочинили? – и тут же от этой идеи отказался.

Вечером того же дня он выбежал с мусорным ведром во двор. У жестяного помойного бака стоял сосед, сутулый старик с вислыми усами, и свирепо упикивал внутрь пачку машинописных листов. Мусорник был переполнен. Бумага топорщилась и выпадала, прихватывая яичную скорлупу, картофельные очистки и вялые, скользкие бывшие цветы. Карлушка поспешил на помощь – и как раз вовремя, потому что крышка у бака свалилась и с триумфальным дребезжанием затанцевала по асфальту двора.

– Вот чего бы проще, – сердито пенял старик, – оставить печки; так не-е-ет! А с

бумагой что делать? Пионеров не дожدهшься, помойка – и та забита. Хотя в реке топи, честное слово!

Он передвигался боком, как краб, не разгибаясь и вытягивая руки за рассыпающимися листками.

– Хорошо, что всю рукопись не отдал, – удовлетворенно сказал старик, пока Карлушка водружал на место крышку мусорника. – Новая машинистка, поверите ли, совсем другое дело: печатает аккуратно, быстро – и за те же деньги! Прямо подарок судьбы, в кои-то веки...

Узнав, что молодому соседу требуется машинистка, старик понимающе кивнул:

– Диссертацию пишете? Конечно, тут небрежность недопустима.

Поскольку старик свыкся с идеей Карлушкиной диссертации быстрее, чем тот успел удивиться, то и развеивать его иллюзии не было необходимости.

Сосед жил на первом этаже. В прихожей он достал из портфеля опрятную записную книжечку, выдернул листок из перекидного календаря, убедившись предварительно, что ничего важного на нем не запечатлено, и переписал из книжечки номер телефона.

– Это в Министерстве тяжелого машиностроения, – пояснил, – добраться легко. Зовут Таисией; Тая. Скажете, что от меня. Она, кстати, очень хвалила мою рукопись, ну, да это не важно...

Спохватившись, Карлушка спросил:

– Вы, наверное, роман пишете?..

Старик снисходительно улыбнулся:

– У вас, молодых, только романы на уме...

Шевельнул усами на собственную шутку и продолжал, укоризненно глядя на сконфуженного юношу с мусорным ведром:

– Нет, молодой человек; я на романы не размениваюсь. Должен вам сказать, что серьезный читатель и не возьмет в руки роман, не-е-ет; и не посмотрит в сторону романа. Я мемуары пишу, если вам интересно. И мне есть что сказать человечеству!

Судя по тому, сколько бумаги ушло в мусорник, человечеству предстояло внимать долго, подумал Карл, закрывая за собой дверь.

Телеграммы не было. Нет, ответила мать, никто не звонил.

Несколько раз он пытался представить себе незнакомых Настиных родителей, но ничего не получалось, словно кто-то затер лица на фотокарточке, и без того чужой.

С родителями все обошлось как нельзя лучше – Настя сама удивилась. Отсутствие «серьезного парня, инженера» было воспринято скорее с облегчением. Узнав, почему не приехал, бабка одобрительно кивнула: «Что ж... Степенный, сразу видать. Где ж это видано, с батькиных поминок в гости нестись». Отец одобрительно похмыкал, разглядывая этикетку на роме, и уважительно отставил бутылку в сервант, а на стол водрузил водку. Мать посмотрела укоризненно и отвела взгляд.

– Ты кушай, доча, кушай.

– Давай, Настена, наворачивай! – отец раскрепощенно сдернул галстук, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. – Ишь, мать настряпала под завязку, ешь – не хочу.

Твердой, привычной рукой налил себе рюмку. Потянулся с бутылкой к жене, но та покачала головой:

– Нет; налей мне вина, Сережа.

Чокнулись; даже бабка пригубила «сладенького», как в поселке называли вино.

– Ешь давай, – повернулась она к Насте, – чем у вас там студентов кормят, что ты отошала такая. В тот раз приезжала девка девкой, а теперь...

Вот тут-то и удалось ввинтить нужное.

– Студентов кормят кошельки, – весело сказала Настя и щедро плюхнула себе на тарелку горку винегрета, – а в кошельках у них пусто, разве что в день стипендии что-то шуршит. Вот потому-то я, – она не торопясь прожевала и потянулась за

хлебом, – потому-то я и перевелась на вечернее.

Правильное слово подвернулось как-то само собой: перевелась. Поступила, дескать, на дневное, а уж какая жизнь у студента, на тридцать пять рублей в месяц (новыми, конечно), известно. Кто бы и рад подработать, да только когда? Что, вагоны по ночам разгружать, как некоторые парни?

Родители оторопели, только отцовская вилка звякнула о край тарелки. Настя с аппетитом хрустела винегретом.

– Не только из-за денег, конечно, – продолжала рассудительно, – надо ведь и о будущем думать. Не успеешь чихнуть, как подойдет распределение. В такую дыру зашлют, что сам рад не будешь, и тогда уж деваться будет некуда. Ну ты сама подумай, – она повернулась к матери, все еще сидевшей неподвижно, – протрубить пять лет за одну стипендию, а потом осесть в деревенской школе?.. Мам, огурчики сама засаливала?

– А для кого я хребтину гну? – Отец угрожающе возвысил голос. – Мы тебе разве в чем отказывали? Денег мало посылали? Нет, ты скажи, скажи!

– Сама, – некстати ответила мать и осеклась.

Отец сердито зыркнул в ее сторону. Бабка ухмыльнулась. Настя аккуратно подцепила сыр на вилку. Сегодня он хорошо нагрузится. Какое счастье, что Карл этого не видит. У них в семье все иначе, все культурно. Ну и ладно; а мы на болоте живем, у нас по-нашему. Сыра не хотелось, но положила ломтик себе на тарелку и продолжала серьезно и веско:

– Я не хочу у вас на шее сидеть, как другие студенты. Между лекциями бегают на почту – вдруг мама с папой денег подкинули?.. – Передернула снисходительно

плечами. – Кстати, Карл учился тоже на вечернем, зато и остался в городе, а то пришлось бы вкалывать где-нибудь у черта на рогах. Да ты закусывай, пап; вкусно-то все как!

– Закусывай, Сережа, – наперебой заговорили бабка с матерью, – вон селедочку бери, помидорчики маринованные...

Настя торжественно вытащила якобы забытые в суете шпроты (пригодился громоотвод, пригодился, да в запасе еще кое-что оставалось), отец снова наполнил рюмки. Выпили за праздник – радио было включено громко, оттуда неслись звуки транслируемой демонстрации, – потом «за твои успехи, доченька». Мать принесла из кухни горячую картошку, печенку в соусе: «как ты любишь» и рассказала, какую очередь пришлось выстоять. Когда перешли к чаю с пирогами, настроение за столом установилось совсем благостное, если не считать, что отец время от времени крутил недоверчиво головой, хотя хмыкал одобрительно, слушая подробные Настины рассказы о заводе («я только в утреннюю смену работаю – студентам идут навстречу»), о зарплате, об общежитии, которое не сравнить по условиям со студенческим. И как растрогалась мать, когда в этом месте Настя прервала увлекательное повествование и попросила:

– Мам, я у тебя утащу пару наволочек, ладно? Свои как-то приятнее...

Как ни порывался отец устроить скандал, не получилось. Несколько раз гаркнул: «Большую волю взяла! Ты что себе думаешь, если ты...», и эти выкрики сопровождались приветственным гамом, несущимся из радио, так что в результате получилось нормальное праздничное застолье – не хуже, чем всегда у них бывало. Наверное, отец рявкнул бы еще что-нибудь в том же духе, но вмешалась бабуля: «А

ну, хватит!.. И закусывай; уж полбутылки усидел. Что ж, Настена приехала на твою пьяную рожу глядеть?». Отец побурчал, но послушно копнул вилкой салат.

Воспитательный процесс, подумала Настя. По делу бабуля его заткнула, потому что, если человек живет на свои, то нечего его жизни учить. Мельком взглянула на бабулю и едва не поперхнулась: старуха смотрела прямо ей в глаза печально и снисходительно.

Слово «бабуля» естественным образом возникло из «баба Уля», хотя у Насти была только одна бабка. Бабуля всегда распоряжалась всеми делами их семьи, да и сейчас, хоть сын с невесткой съехали на новую квартиру, продолжала верховодить легко и привычно. Сколько Настя помнила, бабуля была рядом. Если мать подходила к кровати, бабуля незамедлительно оказывалась рядом и отстраняла ее, как постороннего человека, почему-то занявшего ее, бабули, законное место.

Мама читала Насте сказки, а бабуля рассказывала – и всякий раз добавляла что-то новое. Больше всего Настена в детстве любила слушать (а бабуля охотно рассказывала) истории про Уленьку. Эта Уленька (иногда бабуля называла ее Ульяшей) чем-то была похожа на Василису Прекрасную – так много на ее долю выпало горестей.

– Она красивая была? – спрашивала Настена.

Старуха отмахивалась:

– Не-ет, красавицей не была. Косы длинные носила, да; длинные и толстые.

Рисуя Уленьку, Настя старательно обводила по несколько раз косы, так что на бумаге они выходили похожими на трубы, с непременно бантами на концах.

Уленькину голову венчал кокошник. В отличие от сказочной Василисы, Уленька не была сиротой, у нее были мама с папой.

– А где они жили? – в который раз спрашивала Настя, и бабуля в который раз охотно рассказывала про деревню («вот вроде нашего поселка»), про то, как Уленька поехала в город «учиться уму-разуму». В другой раз выходило, что Уленька уезжать вовсе не хотела, да «мама с папой заставили», и тогда на лице горемыки Уленьки Настена старательно рисовала слезы, крупные, как фасоль.

Рассказывала бабуля легко и с удовольствием, потому что описывала события и места, о которых не в книжке прочитала, хотя подтвердить достоверность рассказов было некому. Ее семью никто не помнил, да и мало кто кого помнил вообще, потому что сам поселок начал по-настоящему застраиваться только в середине двадцатых годов, не обременяя себя памятью о тех, кто жил здесь прежде. Рассказывала внучке только то, что ребенку понятно, и лелеяла надежду, что когда-нибудь сможет рассказать остальное. О том, например, что, когда в Гражданскую тут прошел первый продотряд, отец успел отправить Уленьку на подводе к родственникам в город, бывший тогда центром губернии. И вовремя отправил: за первым продотрядом пришел второй, третий, а вскоре вся губерния занялась, как пожаром, крестьянскими бунтами; новая – народная – власть предпочла назвать их «бандитскими выступлениями» и посулила «арестовывать всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом», а затем расстреливать. Для внучки все это называлось: «И стала Уленька жить у родных. Скоро учиться пошла».

– А родные добрые были? – пыталась Настена примерить Василисину судьбу на Уленьку.

– Родные-то?.. – Бабка задумалась. – Сначала добрые, а потом... Родня до полдня.

Настоящая, не сказочная Уляша не хотела быть обузой родственникам, а потому попросилась на курсы при губернской больнице. Ее приняли: все ж грамотная, а рук не хватало. Спустя шесть недель стала называться сестрой милосердия и носила теперь на рукаве красный крест. Из дому вестей не было. Расставаясь, мать велела держаться родных, однако родные вдруг не то что бы показали на дверь, но приветливости поубавили. Да и какая мы тятке твоему родня, говорилось все чаще, разве что в одно небушко глядим.

Глядящие в небушко родственники были напуганы рейдами красноармейцев по домам: как объяснить присутствие дочки расстрелянных?

Так Уляша узнала о судьбе родителей. Поставила чашку с недопитым морковным чаем, собрала свой узелок, а на осеннем ветру поняла, что идти некуда. Покровская церковь, мимо которой ходила каждый день, была открыта. Она поставила свечу и долго смотрела, как она горит, неразличимая среди других свечей, а потом присела в углу на скамью, где ее нашла и разбудила попадья и отвела во флигель, где жил кто-то из причта, позволив заночевать в чуланчике. В том чуланчике раба Божия Улияна ночевала еще не раз, а в ноябре записалась в акушерскую школу. В анкете указала: «сирота», а также «из беднейших крестьян», что было чистой правдой.

Потому и сказала внучке, что Уленька осталась одна-одинешенька: мать и отца убили. Нет, не Кощей Бессмертный и не разбойники, а «лиходеи». Слово Настене очень понравилось. Еще больше понравилось, что Уленькины папа и мама погибли

за революцию, отчего на кокошнике появились красные звезды, а слезы стали еще крупнее и обильней.

Конечно, за революцию, подтверждала бабуля: революция землю дала. Да ребенок разве поймет, что советская власть землю дала, а другие отобрать хотели? Как такое расскажешь... Одни дали землю, а другие давай хлеб отнимать – не земля ли его родит?! Вот и пролилась кровь ее родителей; а скольких еще?.. Что ж, разве власть их расстреляла? – Нет! Милостив царь, да немилостив псарь; виноваты те лиходеи, которых подпустили к власти – везде найдется свой псарь, а новый «царь» о том и не ведает. Потом, через много лет, прочитала в газете «Головокружение от успехов» – и уверилась в своей правоте, так складно и ясно все было изложено. А тогда на размышления о политике не было ни сил, ни времени: тощего пайка едва хватало на акушерскую науку.

– Дальше рассказывай, – напоминала Настя, когда бабкино молчание затягивалось.

Бабуля продолжала повествование о загадочной Уленьке, на долю которой выпало столько трудных и непонятных испытаний, что иногда она представлялась Настене похожей на Марьюшку в поисках Финиста – Ясна Сокола, хотя Уленька не носила железных башмаков, не глодала каменных хлебов и обходилась в своих странствиях без чугунных посохов. Правда, и странствовала Уленька меньше: некогда было. В больнице работала еще и санитаркой – за это можно было ночевать в маленькой комнатухе без окон, на топчанчике в стенной нише; еще один чулан, да кабы последний... Старшая сестра выдала ей ключ, велела запираться на ночь и строжайше наказала никого не водить, «ни под каким видом». Да упаси Господь!

Начавшаяся акушерская практика кого угодно отпугнет от такого вольнодумства.

Однако же не отпугнула молодого красноармейца, который не был наслышан об акушерстве, зато внимательно приглядывался к «сестрице», не обратив внимания ни на конопатость, ни на строго сжатые тонкие губы, а видеть Ульяшину гордость – густые бронзово-русые волосы – не мог, ибо скрыты были плотной косынкой, как и высокий лоб. Старался поймать взгляд, когда ее серые глаза хмуро смотрели на градусник; поймав, отводил свой, чтоб не обиделась. Ранение в легкое, полученное в боях с Пилсудским, считал пустяковым, а сюда попал из-за того, что начался плеврит. Зарубцовывался он медленно и плохо, температура прыгала. И без того не богатырь, от постоянной лихорадки парень сделался щуплым, точно ребенок. Подходя ночью, Ульяша видела желто-серое лицо в обильном поту, запавшие глаза и кадык – такой большой, словно солдатик давился не адамовым, а самым настоящим твердым яблоком. Докторова микстура от кашля не спасала, и койку солдатака перенесли сначала к самой двери, а потом в коридор, где ему способней было выплевывать свои легкие. Тогда Уленька стала заваривать какую-то траву и строго велела ему пить. Знала, что кашель надо заливать молоком да маслом, а только наука эта была бесполезная; спасибо, хоть мать-и-мачеха отыскалась. Заставляла пить «через силу», только чтобы у смерти отнять: жалела.

– С посохом таскаться любой горазд, – ворчала бабуля, намеренно опуская слово «чугунный», – а ты хворого на ноги поставь, тогда и говори.

Укоризненный голос, Настя знала, к ней не имел отношения, и оставалось терпеливо переждать бабкино молчание, чтобы услышать продолжение: как таинственная Уленька поставила-таки Дмитрия Кузнецова на некрепкие ноги, как

венчались в Покровской церкви (где чуланчик), и какими счастливыми голубыми глазами смотрел он на невесту из темных запавших глазниц.

Последней подробностью бабуля не делилась – ни к чему это ребенку. В сказках, чай, тоже не густо: добрый молодец да красна девица – и все тут, а коли написано: «ни в сказке сказать, ни пером описать», то понятно, что не уродина. По той же сказочной канве принялась вышивать бесхитростный узор – мол, стали жить-поживать и добра наживать. А коли жить негде? Где может приткнуться один, двоим места мало. Работник из Митеньки был никакой: шатало от слабости. Недолеченный плеврит обернулся туберкулезом; если удавалось снять угол, то ненадолго – кому нужен чахоточный жилец? Мыкались долго втроем, с сынишкой Сережей, пока, наконец, она не решилась махнуть рукой на город и вернуться. И то: что дом без хозяина сирота, что человек без дома.

Прибыли в ту самую деревню, где Уленька жила прежде, однако дома не нашли. Не нашли и самой деревни – от нее остался лишь погост на холме, где по сторонам от старых могил беспомощно торчали кое-как сбитые кривоватые кресты, по которым только и можно было понять, где стоишь, а сами могилы густо заросли бурьяном. С верхушки холма было видно то, что некогда было главной улицей деревни, с обветшавшими необитаемыми домами по обеим сторонам, редкими, будто случайно оставленными там и сям; да так, видно, и было, потому что между этими призраками домов зияли серые проплешины пожарищ. Слева от холма, за рощей виднелась дорога и можно было различить какие-то постройки.

Туда и направились.

Здесь и раньше, в царское время, жили люди, только называлось место не

поселком, а «там, за погостом, на выселках», с непременным кивком в сторону болота. Селились ненадолго; в основном пришлые да те мужики, у которых не лежала душа к крестьянскому труду, потому как на выселках не пахали и не сеяли, а работой на торфе, судя по всему, прокормиться было можно. Деревенские девки, а с ними и Уленька, ходили на болото за клюквой и своими глазами видели огромную машину, вроде вагона, с высокой трубой и железной рукой, которая выгребала землю. Поговаривали, что будут класть рельсы, чтоб способнее было возить торф. Может, так оно и было, однако девкам строго-настрого запретили наведываться на болото – бог с ней, с клюквой, вон сколько чужих мужиков-то ошивается. Потом началась война, вагон с железной рукой куда-то подевался, а мужики – что свои, что чужие – пошли воевать; когда вернулись, было и вовсе не до болота: ждала земля.

Она и сейчас лежала, но не усталая и праздная, как бывало осенью, когда урожай собран, а мертвая, никому не нужная, как старуха, забытая в доме и родными, и самой смертью.

В поселке, тогда еще не «городского типа», Ульяна сразу пошла работать в больницу. Митенька все кашлял, торф копать не мог, зато работал пилой и топором: в поселке строили бараки. Разве про такое складывают сказки? Змея Горыныча не убивал, Елену Прекрасную не освобождал, зато куда более нужное дело сделал: поставил дом и принялся копать колодец. Выкопал, но застудил на ветру больную грудь, да так, что на этот раз не помогли ни мать-и-мачеха, ни даже молоко.

В больнице встретились – в больнице и простились.

...Когда, в какой момент Уленька вышла из сказки? Не иначе, как с последним подвигом героя. Сказочные царевичи, бывает, строят не только дома, но и дворцы, и

копают колодцы, но в сказках они не умирают (иначе сами сказки не жили бы так долго), как умер Митенька, не успевший стать для внучки «дедулей», а Василисы и Марьюшки не остаются с детьми на руках, как Ульяна осталась с шестилетним Сережей – таким же, как отец, голубоглазым.

В поселковой больничке работал в то время, кроме врача, один фельдшер, поэтому акушерка и медсестра в одном лице была ценным человеком, и отныне обращались к ней не иначе как по имени и отчеству, хотя Ульяне Степановне не было еще тридцати.

...Тридцати не было, как мужа схоронила – там же, на холме. Была сирота, стала вдова – все равно что дважды сирота. Сколько раз при жизни досадовала на него и срывала сердце, а как не стало Митеньки, такая пустота в доме поселилась – хоть вой. Все чудилось: вот-вот дверь стукнет, послышатся виноватые нетвердые шаги и глухой кашель.

Остался сынок с голубыми глазами-незабудками: накормить, пожурить, приласкать, – да больница, где проводила почти все время. Ульяне часто казалось, что как повязала косынку медсестры тогда, в двадцатом, так словно и не снимала: белая льняная ткань отсекала часть лба и плотно покрывала густые русые косы с бронзовым отливом. Когда вдруг то один, то другой мужик начинали наведываться: «Не надо ль чего, Ульяна Степановна?..», отваживала спокойно и решительно. Разве отчимова любовь согреет ребенка?

Что-то рассказывала внучке, когда та подросла, да не все девчонке и знать надо.

Сереженька рос медленно, и хотя грудью не болел, долго оставался бледным и худеньким. Выручало Ульяшино ремесло. На болоте своя повитуха, которая не

только принимает роды, но и помогает их избежать – это называлось «избавиться», – была незаменима. Она владела загадочным и необъяснимым даром: умела по каким-то неуловимым признакам распознавать беременность на самом раннем сроке. Строга была Ульяна Степановна и неразговорчива. Спросит, бывало, у незадачливой: «Рожать будешь или обратно доставать?», а потом кивнет строгим белым платком. «Избавляла» всегда аккуратно, и если надо было, чтобы муж не узнал, то от повитухи сроду никто ничего не дознался. За работу и сохранение тайны благодарили молоком.

Сереженька вырос. Вот карточка – только что приняли в пионеры, глаза торжественные и радостные, из-за стрижки «под ноль» личико еще худее кажется. Рядом вторая: густой чуб над высоким лбом – совсем взрослый парень, десятилетка за плечами. И в том же – сороковом – году снова «под ноль», взгляд испуганный: забрит.

Да так-то лучше, думала она поначалу. Сын таким красавцем вымахал – вот Митенька бы порадовался! Пусть Родине послужит, а то, как тракторные курсы закончил, на болото рвался. Ульяна не трактора боялась, а водки: там почти все пьют, особенно сезонные рабочие. В армии уму-разуму наберется да в возраст войдет.

Помертвела от тревоги, когда Сереженьку за границу отправили. Вернее, там еще вчера была граница, чужая страна, а теперь стала тоже СССР – всю границу передвинули. Что будет с сыночком в чужом краю, бог знает где, – напротив, через море, писал он, Швеция. А там белофинны рядом! Спасибо, война с ними кончилась.

Ждала – отпустят Сереженьку в отпуск хоть на недельку. Да только одна война кончилась, как другая началась. За две недели до новой Сережа прислал письмо, а следом за письмом... жену. Мало что иностранку, хоть звали по-русски Верой, да и говорила на русском языке, так еще и беременную. В письме было сказано: «... поженились мы в День Красной Армии, ты люби ее, мама, у Веры никого нет, а я без нее жить не могу».

Сынок, сынок! Не «поженились» вы, а тебя поженили, разве ж не вижу я – через полгода рожать ей. Да какая жена у солдата?..

Вот такая: во всем ненашем, модном; одни туфли бесполезные чего стоят, ремешок на ремешке, а сама неумеха из неумех. По паспорту видно – и впрямь женаты; к тому же написано: «русская», вот те на!.. Спросила Ульяна о родителях – та в слезы, чуть не до родимчика. Свекровь поджала губы и перестала спрашивать, пожалела.

Не невестку – дите.

Девочка родилась в августе сорок первого, когда Сережа воевал, и страшно было думать об этом: вспоминался лазарет, раненые в бинтах и то, что под бинтами... В первый раз за долгое время Ульяна Степановна улыбнулась, увидев родные голубые глазки младенца. Невестка, хоть и неумеха, а родила, почти не пикнув – не оттого, что легко было, а чтоб лишний раз не прогневить свекровь.

– Настасьей будет, – услышала молодая мать, – Настена.

Строга, ох строга была Ульяна Степановна, а для внучки – Баба Уля, бабуля.

Невестка робко пыталась звать дочку Асенькой, но имя не прижилось. Да и сама Вера прижилась далеко не сразу. Когда муж – целый! невредимый! – вернулся с

войны, он едва узнал красавицу жену, так изменилась она за четыре с половиной года: сникла как-то, поблекла и огрубела. Зато мать словно помолодела. Именно она первой увидела его из-под своей неизменной косынки и, подхватив на руки Настю, выбежала навстречу.

Что ж, разве она не имела на это право? Не она ли внучку на своих руках вырастила, пока мамаша-недотепа из угла в угол тыкалась? Не просто городская – буржуйка. Ульяна не зря попрекала невестку. Вера рассказала, что отец держал магазинчик дамского белья, а потом этот магазинчик отобрали («и правильно!» – одобрила свекровь), а родителей, а сестру... В этом месте заливалась слезами. Нет, не было в Ульяне Степановне жалости, да и с чего бы?.. Все у нее из рук валится – что в избе, что в огороде. Редиска – и та вырастает деревянная какая-то, огурцы пустые... Тьфу! Когда ее, Ульяшиных, родителей расстреляли, ее никто не жалел – она сама себе дорогу пробила. А эта буржуйка жила где-то на заграничной обочине, окрутила ее сына – и явилась на все готовое. Редко-редко, но Вера взрывалась: «Я такой же русский человек, как и вы!..», на что свекровь, поджимая и без того тонкие губы, неизменно отвечала: «Не-е-ет, не такой! Таких русских, как ты, сюда не звали».

При внучке Ульяна Степановна колких слов невестке не говорила, однако Настена рано начала замечать, что бабулин добрый, как и положено для сказок, голос меняется, когда она говорит с мамой. Правда, и с другими тетками, которые время от времени стучали в окно: «Ульяна Степановна дома?..», бабуля тоже не была особенно ласковой, но то – чужие. Позднее, уже зная сверлящее слово «свекровь», перестала удивляться как отсутствию бабкиной любви, так и стойкой ее неприязни к матери.

Ульяна Степановна страстно любила внучку, но не баловала. Узнав, что Настена уезжает учиться в ненавистный город, откуда появилась невестка, вначале обмерла: не вернется. Сейчас, сидя в непривычно нарядной кофте и слушая любимицу, вдруг успокоилась: не пропадет. Жалко, что кавалера не привезла – хоть одним глазком бы глянуть; у Ульяны Степановны не только на брюхатых баб глаз наметанный.

«Чем дольше решаешься, тем трудней решиться». О чем это отец говорил, Карлушка не помнил. Он несколько раз вынимал календарный листок с телефоном и опять клал в карман; в обеденный перерыв снял трубку и позвонил.

– Машинописное бюро, – отозвался утомленный женский голос.

В процессе недолгого разговора голос оживился; договорились, что Карлушка зайдет в конце дня.

Министерство тяжелого машиностроения находилось неподалеку от Воздушного моста. Постучав, Карл вошел в комнату, загроможденную столами с пишущими машинками. Яркая кудрявая брюнетка приветливо помахала от окна рукой, и он двинулся по извилистому, как лабиринт, проходу между столами, был усажен на подоконник, с которого тут же вскочил, чтобы представиться – не только брюнетке, но и машинистке за соседним столом, особе с пухлым лицом и разными по величине глазами, – казалось, она подмигивает. Таисия Николаевна кивнула с улыбкой: «Можно просто Тая». Пухлолицая отвела в сторону уголок рта и коротко бросила: «Очень приятно. Муза».

– А, так у вас совсем не много, – Тая быстро, словно кассир деньги, пересчитала страницы. – Вам это срочно? Дело в том, что в рабочее время я не могу, только вечерами.

Она вытащила из пачки «Любительских» папиросу и начала разминать красивыми смуглыми пальцами; чиркнула спичкой сверху вниз, резко и решительно, словно что-то бросила.

Не ожидавший такого вопроса Карлушка хотел сказать: «Когда сможете», но, поймав ухмылку соседки, неожиданно для себя выпалил:

– Очень срочно.

Красавица глянула уважительно, кивнула:

– Давайте послезавтра в это же время?

На том и сговорились.

Послезавтра Таисии в машбюро не оказалось.

– Она отпросилась, – объяснила разноглазая Муза, в то время как другие машинистки с любопытством посматривали на Карла.

– Таисия Николаевна мне ничего не передавала?

Муза усмехнулась:

– Не будет же она левую работу здесь держать. Сходите к ней домой. Если вам срочно, – добавила ехидно.

Не чая поскорее выбраться из мебельного лабиринта, придерживая пиджак, чтобы не зацепиться, выскочил и только на улице развернул бумажку с адресом.

Дом стоял рядом с пустырем. Осенняя темнота издали скрывала битый кирпич, консервные банки и прочую дрянь, которая его усеивала, и только нещедрый свет уличного фонаря позволял что-то разглядеть.

Карлушка толкнул дверь парадного. Под потолком горела тусклая лампочка, при свете которой он увидел мужчину, замершего рядом с ним; они одновременно отшатнулись друг от друга. Ч-черт; зеркало. Так и концы отдать недолго.

Квартира номер 11 находилась на первом этаже. Карлушка долго крутил звонок и колебался, не постучать ли. Вдруг распахнулась соседняя дверь, выпустив запах

жареной рыбы и круглую женщину в расстегнутом ватнике и с ведром в руках.

– Вы в одиннадцатую? Так вы стучите, а то у них звонка нету.

– Почему же? Есть, – Карл еще раз крутанул потемневший латунный рычажок.

– Не-е, этот не работает; такие звонки, по крайности, еще при буржуях ставили.

А нормального у них нету, так что стучать надо.

Доброхотка поправила круглые очки и уверенно замолотила кулаком в дверь для наглядности.

Шагов Карлушка не услышал и едва успел отойти. Дверь открыла машинистка, сегодня почему-то с косами.

– Тетя Клава? – удивилась она, переводя взгляд с женщины на Карла, который сообразил уже, что никакая это не машинистка. Сестренка, наверное.

– Так я смотрю – звонок ищут. А у вас только старый, он уж сто лет как не работает. Я говорю: пусть стучат, а то так и до завтра простоите.

– Заходите, – девочка открыла дверь шире. – Вам кого?

Выслушав, пожала плечами:

– Матери нет. Еще не пришла с работы.

Он чуть было не сказал, что машинистка отпросилась, но девочка добавила:

– Или задержалась где-то. Подождите – наверно, скоро придет.

И первая прошла в комнату.

Это явно была самая маленькая комнатенка квартиры, сразу напомнившая Карлу ту, где они жили в коммуналке. Угол и почти половину стены занимала темно-зеленая кафельная печка, около нее стояла детская металлическая кровать. Большое пятно сырости расплзлось по желтой стене, краска местами вспучилась и

шелушилась. На полу валялись игрушки, среди которых сидел смуглый мальчик лет четырех – такой тихий, что Карлушка не сразу его заметил.

– Вы садитесь, а то он стесняется, – сказала девочка.

Голова шла кругом. У этой миниатюрной молодой женщины – дети, целых двое? На скатерти с бахромой лежала стопка учебников, а сверху том Майн Рида.

– «Всадник без головы»? – улыбнулся Карл.

– «Морской волчонок», – ответила девочка без улыбки.

За ее спиной у окна стоял еще один столик, совсем маленький, с пишущей машинкой. Поймав Карлушкин взгляд, девочка спросила без интереса:

– Вы насчет халтуры, наверно?

Он не успел ответить. Хлопнула входная дверь, и почти одновременно девочка схватила Майн Рида и втокнула его на полку, в компанию оранжевых близнецов.

– Я вижу, вы подружились с моими детьми, – оживленно заговорила Таисия Николаевна. – Ляля, ты хотя бы чаю гостю предложила!

В комнатухе запахло уличным холодом, табаком и крепкими, терпкими духами. Машинистка взяла на руки малыша и почти сразу опустила со словами: «Беги к Ляле». Повернулась к Карлу:

– Не хочу вас задерживать. Халтурку я дома держу – хорошо, что вы пришли, – и достала толстую папку, откуда вынула перепечатанную рукопись.

– Так много? – удивился Карлушка.

Таисия снисходительно улыбнулась:

– Пять экземпляров, сколько машинка берет.

Сконфуженность Карла ее веселила. Стояла, сложив руки замочком и

поочередно щелкая суставами пальцев. Здесь, при электрическом свете, она не казалась совсем молоденькой, как на работе, но больше тридцати – от силы – ей дать было трудно. Еще труднее было представить матерью взрослой девочки с кукольным именем.

Неловко вытащил деньги (рубль спланировал на пол бледным осенним листком) и рассчитался.

– Должна вам сказать, – машинистка конфиденциально понизила голос, – сценарий у вас получился... добротный. Поздравляю! Не знаю, как вы будете его пробивать...

– Дело в том, – торопливо перебил Карл, – что это и не мой вовсе сценарий, это...

– Ну да, ну да, – Таисия понимающе улыбалась и кивала, – все начинающие авторы стесняются, не вы один. Однако мне вы можете поверить – я кое-что понимаю в литературе.

В соседней комнате захныкал мальчик. Карлушка поспешно поблагодарил, сгреб рукопись, завернутую в «Литературную газету», и попрощался. Краем глаза зацепил надпись на учебнике: «ГЕОГРАФИЯ. 7 класс».

Девочка с дымящейся кружкой в руках стояла в проеме двери, ведущей, как оказалось, не в соседнюю комнату, а на кухню. Братишка увлеченно жевал горбушку хлеба.

– Я сделала вам какао.

Она протянула кружку. На поверхности дрожала морщинистая пенка. Он помедлил несколько секунд, обреченно положил газетный пакет рядом с

«ГЕОГРАФИЕЙ» и осторожно отхлебнул густой ароматный напиток.

Всю обратную дорогу пытался отбросить слово «добротный», больше подходившее к драповому пальто или колоннам оперного театра, чем к отцовскому сценарию. Дом, в котором он только что побывал, тоже был добротным в свое время, когда никто не шарахался от роскошного зеркала и керамические плитки не качались под ногами. Но почему сценарий?..

Сидя в троллейбусе, он все еще видел уверенное лицо машинистки на фоне безобразного темного пятна на стене, видел серьезную девочку с горячей кружкой в руках, тонкую морщинистую пенку на какао. И сам хорош: мог поблагодарить и уйти – спешу, мол; спасибо. Выпил потому, что просто нельзя было отказаться от этого какао.

...А если поставить фамилию отца и отнести отпечатанную рукопись тому, в киностудию? В памяти всплыли клочки трескучих газетных фраз: *«бесценное художественное наследие Германа Лунканса», «отец звукового кино», «фильм покориł киноэкраны»* и т. п. Между тем вот оно, наследие Германа Лунканса, завернутое в «Литературную газету», хоть завтра снимай! Тут же влез голос человека из киностудии: «От сценария до фильма путь непростой». Почему «непростой», Карлушка не знал. Наверняка в депо найдется вагон старого трамвая. Он рассеянно отогнул газетную обертку:

«Кондуктор поправил фуражку. Отсвет лампочки скользнул по блестящему козырьку, потом по никелированному замку сумки, похожему на плотно сжатые челюсти. Вот блестящие челюсти раскрылись и вновь сомкнулись, приняв горсть монет.»

Барышня достаёт зеркальце. Оно сразу вспыхивает от лампочки и гаснет, но успевает пустить “зайчик” в солидного господина, сидящего рядом. Господин отрывается от газеты, хмурится и бросает на соседку недовольный взгляд. Барышня смущенно улыбается. Господин складывает газету, приподнимает котелок и приветливо кивает барышне. Проходящий кондуктор почтительно касается пальцами козырька. Одновременно с этим...»

– Улица Ленина. Следующая бульвар Коммунаров, – объявляет кондукторша.

Карл едва успел выскочить. Троллейбус упруго покати́л дальше. Интересно, а в том трамвае объявляли остановки? И куда подевались кондукторы с моряцкой походкой, в добротной – вот где подошло бы машинисткино слово – форме? Везде отрывают билеты только неприветливые тетki в перчатках с обрубленными пальцами. Единственное, что роднит их с прежними кондукторами, это сумки – точно такие же, как описывает отец, с никелированными челюстями замков, и точно так же висят на ремне, перехлестывая грудь. Или это те же самые сумки?..

Ветер стих, и воздух словно стал мягче. Троллейбусов тогда не было – только извозчики и трамваи. А машины? Машины были, конечно; он отлично помнил то место в рукописи, где «навстречу, гудя клаксоном, мчится авто». Слово «авто» сегодня звучит старомодно и немножко смешно. Мода меняется не только на одежду – на слова тоже. Карлушка не слышал от отца слова «авто» – возможно, оттого, что отец ходил пешком и только изредка садился в троллейбус. Не потому ли в троллейбус, толкнулась странная догадка, что пропали старые трамваи?

...Вовремя вбежал в парадное – начинался дождь. Мать встретила в прихожей и сразу заговорила:

– Знаешь, кого я сегодня встретила?

Начала рассказывать о какой-то Тоне – или Тане, – но Карлушка быстро потерял интерес. Бережно положил на письменный стол газетный пакет и пошел мыть руки. Сквозь журчанье воды и звяканье посуды из кухни доносился голос матери:

– ...в том же доме, оказывается, что и до войны. Приглашала в гости. Столько лет, говорит, не виделись, а ты никак не зайдешь.

– Ну так зайди.

Карлушка потянулся за хлебом. Только сейчас он понял, что с полудня ничего не ел, и сразу во рту ожил сладкий мучнистый вкус какао.

– Мне только по гостям сейчас ходить, – отмахнулась мать. – Не то настроение.

– Не сейчас, – улыбнулся Карлушка, дуя на котлету, – темно уже. Вообще сходи как-нибудь. Она же тебе кто, родственница?

– Кто, Тоня? Нет; с чего ты взял?

В продолжение разговора Карлушка только кивал, во избежание дальнейших недоразумений, и с наслаждением ел, прислушиваясь не к словам, а к интонации, чтобы в нужном месте вставить два-три слова. Совсем недавно они с отцом вот так же терпеливо слушали, как Лариса говорила о ком-то, и обменивались понимающими взглядами: она всегда рассказывала очень подробно, и выказать интерес было небезопасно – тогда мать начинала перечислять новые подробности, а потом терялась, забыв, о чем начинала рассказывать. Оба знали об этом и тайком посмеивались. Сейчас ему не было смешно – стул напротив пустовал; он заставлял себя слушать про не известную ему сестру чьей-то жены (или мужа?..), потом про какую-то семью, неожиданную женитьбу сына, про невестку, которая пришла на все

готовое, можешь себе представить?.. Карлушка никогда не умел разбираться в чужих родственных связях – все эти хитросплетения наводили на него такую скуку, по сравнению с которой курс начертательной геометрии, оставивший в памяти надменное слово «эпюр», показался бы захватывающим романом.

Перед сном он медленно пролистал свежие страницы отпечатанного текста и положил в письменный стол, поверх черной папки. Выключив свет, долго стоял у темного окна. С улицы, тихой даже днем, не доносилось ни звука. Мать, как всегда, легла рано. Карлушка пытался представить, как Настя разговаривает, двигается, смеется у себя дома, в загадочном *поселке городского типа*, но видел почему-то тесную комнатенку с пишущей машинкой, рядом листок копирки, похожей на влажный асфальт, и снова слышал красивый уверенный голос: «Добротный сценарий». Вспомнил мемуарного старика и его слова: «Те же деньги», и то, как Таисия небрежно, почти высокомерно сунула деньги в карман жакета. Этот жест не вязался с безобразным пятном на стене и запахом сырости, как и слово «добротный», которое словно выставляло напоказ всю жалкость обстановки: ободранную детскую кроватку, дачные парусиновые стулья, перекошенную этажерку с подложенной под ножку газетой, трещину на дверном стекле... Он сам удивлялся, насколько прочно врезалась в память эта чужая комната, где очутился сегодня случайно и которую больше никогда не увидит. Поразила не бедность обстановки – их собственная более чем скромная жизнь в коммуналке, а еще раньше в ссылке, были совсем свежи в памяти, – не бедность, нет, а неуют. Вернее, полное отсутствие уюта, даже скромного и бесхитростного. И вообще, как они все там уместаются, включая отца семейства? Да какое мне дело, разозлился на себя Карлушка, какое

мне дело до него? Ну, муж; понятно, что дети сами собой не заводятся; вон тапки стояли в углу: огромные, разношенные до уродливости, с намертво втоптаннами, как слизанными, задниками. Какой-то муж; тапки снял, надел ботинки – *добротные* ботинки, такие же огромные, как эти реликтовые тапки, – и ушел на работу. Во вторую смену.

На узкой белой кровати сидели в ряд старухи. Они были в одинаковых белых платках, туго завязанных под подбородком, и то ли грозили Лельке темными пальцами, то ли подзывали, чуть кивая. Идти было страшно, а не идти нельзя. Девочка шагнула вперед. И комната, и старухи были давно знакомы: слева зашторенный балкон, в углу икона с лампадкой, а другого света совсем нет. Кровать, на которой сидят чужие старухи, тоже знакомая: на ней когда-то лежала, чтобы никогда больше не встать, Лелькина прабабка. Девочка раньше уже видела этих старух: они так же кивали. Живот стянуло тоскливым страхом: она знала, что будет дальше. И действительно, как осторожно ни пыталась она поставить ногу, планка паркета проваливалась. Балансируя руками, она чудом удерживалась на ногах, но с каждым шагом паркет ломался, как сухое печенье, и проваливался, а старухи уже не кивали, а качали укоризненно головами, и спасения не было.

– Ольге скажи вставать, мне надоело вас будить!

Сержант с утра злой. Скажу, что в школу не пойду, горло болит.

Не открывая глаз и не поворачивая головы, могла с точностью определить, кто чем занят. На кухне льется вода: мать умывается. Льющаяся вода не заглушает равномерное мягкое шорканье из прихожей, а если бы и заглушало, то по резкому, въедливому запаху скипидара стало бы ясно: Сержант надраивает сапоги. Называть отчима дядей Володей Оля так и не привыкла, хотя сам он называл ее только полным именем. А интересно было бы посмотреть на его реакцию, попробуй она спросить невзначай: «Скажи, пожалуйста, Владимир, сколько времени?». Глаза бы

выпучил. Представить Сержанта растерянным было особенно приятно.

«Московское время семь часов тридцать пять минут. В эфире “Пионерская зорька”», – торжественно пообещало радио. И сразу же нетерпеливо запел горн, зазвучали звонкие голоса каких-то пионеров в развевающихся галстуках, вскочивших ни свет ни заря, – другими представить их было невозможно. Ни у кого из этих живчиков дома по утрам не воняло скипидаром, не шлепал тапками Сержант в галифе и белой нижней рубаше, а на стене не шелушилось пятно от сырости, похожее на двугорбого верблюда, ни у кого; иначе не пузырилась бы в них эта жизнерадостность, несколько не подходящая к мрачному ноябрю. У них в седьмом «А» все носили галстуки, как и другие пионеры в других классах, но никто из них не был похож на этих... из «Пионерской зорьки», хотя она в глаза не видела ни одного.

И будильник проспала, хотя обычно просыпалась не от будильника, а от того, что мерзли ноги. Так бывало каждое утро, когда обе они просовывались между железными прутьями кровати и покрывались мурашками. Кровать была тесна, так как предназначалась для новорожденного брата, который проспал в ней до года с чем-то, но так беспокоило, что матери надоело вставать к нему по ночам, и она стала укладывать его с собой на диване. Подумав, отчим снял веревочную сетку, сбросил матрасик и раздвинул синий металлический скелет. Обе спинки, почувствовав разлуку, рухнули навстречу друг другу; не помогло. Кроватка была сконструирована с экономным расчетом на рост младенца: половинки основания раздвигались и закреплялись, как дверной засов, и с таким же лязгом. На матрац экономия не распространялась; пришлось купить новый, длиннее. Отчим озабоченно крутил головой: сплошные расходы. Мать улыбалась красиво и

беспомощно. «Могу спать на раскладушке», – буркнула Ольга, ибо желала этого всей душой. Сержант отрезал: «Ты сначала заработай на раскладушку! Ты знаешь, сколько раскладушка стоит?»

Раскладушка не стоила ничего: ее привез крестный и сам же водрузил у стенки. Столь привычная в квартире у тети Тони, здесь раскладушка стала похожа на иностранку, волей случая оказавшуюся в трущобе. Пожилой возраст «иностранки» сказывался, пожалуй, только в легком похрустывании суставов, когда она под руками крестного ловко расправила поджарые деревянные конечности. «Английская, – гордо произнес дядя Федя, – еще в мирное время покупали». Разгладив ладонью тонкий полосатый тюфячок, добавил: «Внутри морская трава, Леленьке будет удобно». Конечно, удобно! – обрадовалась тогда Ольга.

Так и оказалось. Несмотря на то, что отчим всегда ругал тех, которые «сплавляют свое барахло, хотя у самих денег куры не клюют», спать на английской раскладушке ему оказалось очень удобно.

Ольга росла быстро, и теперь, в ее четырнадцать, раздвигать экономную кровать стало некуда. Ночью ноги как-то сами проталкивались сквозь железную решетку и замерзали, однако сегодня она лежала, сжавшись в комок, хотя теплее от этого не становилось. Ольга чувствовала, как маленькая рука щекочет ей ухо: Ленечка. Осторожно протянула под одеялом руку, быстро схватила теплую ладошку, и мальчик радостно взвизгнул.

– Сколько можно будить? – недовольно цедила мать сквозь зажатые во рту приколки. – Вставай!

– У меня горло болит.

Голос вышел таким хриплым, что мать обернулась:

– Опять?! Померь температуру. – И тут же, без перехода: – Где Лешкины рейтузы?

Отшвырнув расческу, Тая начала одевать сынишку.

Господи, ну хотя бы тридцать семь и пять, пожалуйста. Первый урок география. Полезные ископаемые Сибири. Глава в учебнике начиналась многообещающей фразой: «Западная Сибирь очень богата полезными ископаемыми», но Морской Волчонок в это время мучился от жажды в непроглядном мраке трюма, так что дочитать о полезных ископаемых не удалось.

– Дай сюда, – мать протянула руку. – Давай, говорю, хватит давить!

Вытянула трубочкой накрашенные губы и стряхнула градусник:

– Отведешь Лешку в садик и отправляйся в поликлинику. Скажешь, что тридцать семь и семь. И шевелись, шевелись!

– Сама отведи, – встрял Сержант.

Уже в кителе, но все еще в тапках, он выглядел так смешно, что Оля с трудом сдержала смех.

– Когда «сама»? Я опаздываю! Ляля ответит.

– Она ребенка заразит!.. Одень хотя бы, я отведу. Я что, не опаздываю?

Еще несколько раз хлопнула дверь прихожей, потом входная. Раз, другой... последний.

Ушли.

Оля быстро обвела взглядом комнату. Мать может вернуться, если что-то забыла, как перчатки в тот раз. Пока что везло: Бог оказался на две десятых градуса

дальновидней, а то мать сказала бы, что тридцать семь и пять не температура, и паяться бы Ольке сейчас у доски в карту, где Сибирь густо, как мухами, засижена полезными ископаемыми в виде треугольничков и квадратиков, иди знай, где что. Впереди свободный день, прекрасный и неожиданный. Не хотелось пока думать, что этот день подпорчен двумя обстоятельствами. И все-таки: не хотелось, а думалось. Во-первых, непонятно было, когда вернется Сержант – может проторчать в своем оркестре допоздна и потом объяснять матери пьяным голосом: халтура, мол, подвернулась, что означало похороны и, конечно, на самом дальнем кладбище, а потом автобус долго ждали; вот деньги. Он швырял мятые бумажки на стол, чего Ольга не видела, но знала, что именно так происходит, а не видела, потому что важно было сделать вид, будто спишь глубоким сном. Помогало это не всегда – мог поднять. «Чаю горячего могу я в собственном доме получить?..» – «Оставь ребенка в покое!» – патетически вступалась мать и делала только хуже. «Ребенок? Она уже не ребенок. Ольга, накрывай на стол, кому сказано! Имею я право на горячий ужин, в конце концов?..» Приходилось срочно жарить картошку, варить сардельки, а потом он снова кричал о чае в собственном доме, потому что тот, вскипяченный по первому требованию, давно остыл. С трудом верилось, что второй час ночи. В комнате становилось душно от запаха еды и тяжелого, сладковатого духа перегара, оконное стекло запотевало... Могло быть и так, что никаких похорон не было – Сержант появлялся ненадолго, пьяный, раздраженный и злой, и требовал деньги у матери, а потом уходил снова.

Каждый раз Ольга мечтала, что один раз он уйдет и не вернется. Пожалуйста, Господи. Пусть с ним что-нибудь случится. Вот он тащится, пьяный, а в это время

грузовик выезжает, где знак «БЕРЕГИСЬ АВТО», прямо напротив дома. И всем станет хорошо. Никто не будет тошнотворно вонять перегаром, орать про горячий ужин, швырять тарелку и заставлять тут же подбирать осколки, никто не будет хватать за волосы мать, бить ее головой о стену, мать не будет истошно кричать: «Ляля, вызывай милицию!». Если удавалось ускользнуть и вызвать, то из милиции выпускали его на следующее утро, и целый день у Ольки ныл живот: что будет вечером, потому что вечером бывало еще хуже – намного хуже, и только приступ кашля мог остановить эту гадину, гадину, гадину!.. Тогда он взмахивал руками и, хватая воздух раскрытым ртом и стремительно краснея лицом, метался по комнатке в поисках ингалятора. Сквозь его жуткий сип и кашель мать, с мокрым, в кровавых подтеках, лицом, кричала: «Ляля, вызывай “скорую помощь”!», как накануне кричала про милицию. Бывало, что просыпался и начинал плакать брат; тогда Сержант отталкивал мать, подхватывал Ленечку на руки и начинал приговаривать что-то жалостное: «Сыночек мой, сынок, только ты своего папку любишь, больше никто, сыночек мой».

На мысли о Ленечке грузовик под знаком «БЕРЕГИСЬ АВТО» тормозил, из кабины высовывался шофер в кепке и кричал: «Ты что, не видишь, куда прешь? Жить надоело?» Сержант подбирал сбитую фуражку, отряхивал и, криво улыбаясь, переходил улицу.

Нет, сегодня не надо портить день и думать о плохом. Просто держать в уме, как при вычитании, что Сержант может вернуться и в середине дня, это во-первых; во-вторых, надо успеть в поликлинику. Если повезет, дадут освобождение. Все-таки тридцать семь и семь.

А в кухне – половина вчерашнего батона и шоколадное масло – настоящий пир, если бы не было так больно глотать. Кроме того, Оляка никак не могла согреться, но сейчас было не до печки: сначала к врачу.

Врач и медсестра были похожи друг на друга. Обе – красивые, с пышными завивками, выпуклыми голубыми глазами и одинаковой помадой, только медсестра пятидесятого размера и блондинка, а врачаха – шатенка и сорок шестого. Если бы они строились на уроке физкультуры, то медсестра оказалась бы в самом начале ряда, а докторша в середине.

– Мазок, – врачаха повернулась к сестре, – хотя и так ясно. И температуру пусть померит.

Медсестра протянула полную руку к банке, где стояли градусники и, казалось, сосали серебряными клювиками воду через слой ваты. Или это не вода? От мокрого холодного градусника по спине пошел озноб.

– Разденься, я тебя послушаю.

Врачаха сняла с шеи трубку. Держать градусник было очень неудобно. Господи, пусть останется тридцать семь и семь. Или хотя бы тридцать семь и пять, пожалуйста. Оляка послушно дышала и «не дышала», больше всего боясь, что теперь, когда от касания трубки стало еще холодней, температура совсем упадет. Пожалуйста, Господи.

Врачаха что-то писала в карточке, одновременно дружелюбно и негромко переговариваясь с медсестрой о чем-то непонятном.

– Никто ему не виноват. Зачем надо было мелькать, скажи? Не мог по-тихому?

– Я тоже не представляю. Зачем дразнить гусей?

– Ему раз дали понять, другой...

– А-а, так кто-то говорил?

– Ну да. Так и так, мол: получен сигнал. По-дружески, можно сказать, предупредили. Чтоб сделал выводы. Мне Наташа сказала.

– Сестра-хозяйка Наташа?

– Нет, из процедурной Наташа. Которая в декрет уходит. Хотя та Наташа тоже знает.

– Я не удивлюсь, если вся поликлиника в курсе.

– Сам виноват.

– Вот я и говорю. А теперь локти кусает.

Пока Оляка одевалась, медсестра без интереса посмотрела на термометр, стряхнула его и сунула обратно в банку.

Должно быть, Богу надоело слушать, как Оляка клянчит по мелочам, и он подогрел докторский градусник еще на две десятых, потому что врачиха опять заговорила о миндалинах. Пора, пора удалять. Ангина дает осложнения, это опасно. Однако в ее голосе опасения слышно не было – или просто хотелось договорить о том, который дразнил гусей, хоть его предупреждали.

День был ветреный, и печка разгорелась быстро. Озноб не проходил, хотя она натянула на платье толстый свитер. Хотелось послушаться врачиху и забраться под одеяло («ангину надо вылеживать»), но тогда не считаешь *подпольную литературу*, и получится, что горло болит совершенно зря.

Подпольная литература хранилась под шкафом в прихожей и должна была бы называться подшкафной, но Оляка предпочитала слово «подпольная» – или

«нелегальная», как говорили про листовки, которые революционеры печатали на гектографах. Сколько помнила, никто, кроме нее, под шкаф не заглядывал, да и сама она случайно наткнулась на эти сокровища, когда искала затерявшийся Ленечкин мячик. Мячик нашелся, а заодно Оля выгребла много свалывшейся пыли, рваные кеды, собранный гармошкой носок, тусклый леденец, гайку и надкушенную сушку. Все было щедро укутано войлоком пыли. Кочерга уперлась не в стенку, а остановилась на полпути, уткнувшись во что-то плотное. Находка, правда, мало походила на революционные листовки: кочерга выволокла один за другим три толстенных тома. Первый совсем не претендовал на нелегальность: на твердом и толстом, как дверь, синем переплете выпуклыми буквами было написано: «Сочиненія М. Ю. Лермонтова». Две других были похожи друг на друга тусклым золотом столь же толстых, как на Лермонтове, обложек. Их с полным правом можно было отнести к нелегальной литературе, потому что в библиотеке не встречались никогда. Одна называлась «Нива», другая – «Мужчина и женщина». Только у бабушки и у крестных Оля видела книги с такими тонкими, воскового цвета, страницами, где картинки были переложены папиросной бумагой.

Если бы Сержант не застукал ее в прошлый раз на захватывающей главе «Гермафродитъ», ничего бы не случилось. Но случился скандал, и не из-за гермафродита вовсе, а оттого, что картошка кончилась, и Сержант с матерью орали в два голоса, что как всякую похабщину читать, так пожалуйста, а как вовремя картошки купить, так ее не допросишься, будто кто-то просил, и вообще откуда ей знать, что картошки нет. Сержант грозился выкинуть «Мужчину и женщину», но не только не выкинул, а с интересом листал, когда Оля вернулась из магазина с этой

чертовой картошкой. К счастью, это было как раз перед ноябрьскими, оркестр готовился к параду, поэтому Сержант подолгу задерживался на репетициях, и Ольга, подумав, отправила «похабщину» на прежнее место под шкафом. Лермонтова старательно обтерла и поставила на книжную полку, в самый низ. «Ниву» попеременно с «Мужчиной и женщиной» читала, когда никого не было дома; потом убирала под шкаф.

Там и кроме «гермафродита», скрупулезно дочитанного в прошлую ангину, нашлось много необыкновенно интересного. Например, целый раздел «Проституція», откуда Ольга узнала красивое слово, звучавшее как *гитара*, только наряднее. Раздел изобиловал картинками с лежавшими и сидевшими разодетыми красавицами. То были кокетки, куртизанки и даже «японскія гейши», но Ольга часто возвращалась к одной картинке, на которой сидели, плотно прижавшись друг к другу, две испуганные смуглые девочки. Внизу было написано: «Алжирскія проститутки». Их серьезные лица кого-то напоминали, и она возвращалась к странице снова и снова, пока однажды не застыла вдруг перед зеркалом, переплетая косу, и так, с недоплетенной, бросилась к шкафу, благо дома никого не было. Если б не школьная форма...

Хоть и проститутки, девочек было ужасно жалко, как и ребенка из другой главы, никакого отношения к алжирским и к проституткам вообще не имевшего. Он был изображен не то прыгающим, не то танцующим, но с выпученными глазами и перекошенным ртом. Подпись «Бѣсноватый мальчикъ» ничего не объясняла, а прочитав статью она не успела: вернулся Сержант. Не появившись он тогда, мать наверняка не обратила бы внимания на книгу, тем более что «Мужчина и женщина»

по толщине не уступала Салтыкову-Щедрину и Горькому, но, во-первых, это была «похабщина», а во-вторых, Оля привыкла, что мать с Сержантом всегда заодно. Кроме тех случаев, когда он ее колотит, когда «Ляля, зови милицию!..». Зато мать разрешает читать все, даже «Судебную психиатрию», где полно портретов с черными прямоугольными наклепками на месте глаз. Но истории там жуткие, куда там Эдгару По. Иногда мать дает читать рукописи, которые печатает; она называет их «халтурой», но Оля больше нравится слово «рукописи», хоть они напечатаны на машинке. Правда, не все рукописи охота читать. Например, мемуары – скука смертная, хуже газет. А на ту рукопись, за которой приходили вчера, Оля обратила внимание из-за названия – так только в старинных книгах пишут: «ВАГОНЪ». И хоть ничего особенного не происходит – просто по городу едет трамвай – все равно здорово, и всех в этом трамвае очень хорошо себе представляешь. И писатель, который сочинил этот «ВАГОНЪ», Оля понравился, хотя чудной немножко, а на мизинце кольцо с какими-то буквами. Она привыкла, что писатели обычно пожилые и солидные, а тот молодой совсем. Правда, вот Гоголь не старый и с прической, как у девочки, даже усики лишними выглядят, словно кто-то нарочно пририсовал.

Хотя не знала еще, что начнет читать, глянцевые страницы «Нивы» раскрылись как раз на Гоголе: «Вій», и девочка окунулась в неторопливое повествование о бурсе и бурсаках, бдительно прислушиваясь к входной двери, но только до тех пор, пока осточертевшая комната не превратилась в темную ветхую церковь, и сама она давно уже не сидела на продавленном диване, а сжималась в комок на полу внутри очерченного мелом круга, рядом с перепуганным Хомой, который склонился над огромной книгой с глянцевыми, воскового цвета, страницами.

Чем знаменателен сороковой день после смерти и почему его отмечают, Лариса представляла себе очень смутно, но знала, что так принято делать. Первой спросила Анна Яновна – не спросила даже, а полуутвердительно как-то обронила, словно напонила: «Сороковины, Лорочка, скоро...». В середине ноября Лариса столкнулась на кладбище с Тоней, Ириной сестрой, и та сразу тоже заговорила про сороковины:

– Это если от семнадцатого октября...

– Похороны двадцать первого были, – поправила Лариса.

– При чем тут похороны?.. Считают от того дня, когда преставился.

Не успев стереть возмущение с лица, Тоня перекрестилась и увлеченно продолжала:

– В октябре сколько дней, тридцать один? Ну да; тогда выходит, что двадцать пятого. Всего ничего осталось, неделя. Народу много придет?

Спохватившись, Лариса торопливо пригласила и назвала адрес. Тоня кивнула. На вопрос об Ирине чуть нахмурилась:

– Придет, конечно. А если воскресенье, то внуку ждать будет, к ней внучка по воскресеньям ходит. Передам обязательно.

Что-то смутно припомнилось о внучке, из-за которой Ира не пошла на поминки. Спросила осторожно:

– Это дочкина или сына девочка?

– Дочкина, – кивнула Тоня, – и такая же черненькая. Сын-то – помнишь

Левочку? – блондин. Твоему сколько сейчас?

Они подошли к могиле. Песок потемнел от дождя и немного осел. Теперь, без венков и букетов, могила похожа была на обыкновенную, только маленькую, грядку наподобие тех, что рядами тянутся у них в Ботаническом саду. В глубине холодной мокрой земли лежал Герман, но об этом думать было нельзя.

Тоня привычно хлопотала у могилы, разравнивая песок, – только теперь Лариса увидела у нее в руках маленькие грабли, – хлопотала и говорила то, что говорят давно не встречавшиеся люди:

– Двадцать пять лет, подумать только, я же его вот таким крохой помню... Ничего, скоро женится, так у самого крохи будут, Бог даст. Наш как женился, так...

Как странно, подумала Лариса, почти не вслушиваясь в высокий, звонкий Тонин голос: люди спрашивают о чем-то только для того, чтобы рассказывать о себе, нисколько не интересуясь, нужно ли тебе это. Эти слова: «как странно» – были последними словами Германа. Так и не узнать уже никогда, что ему показалось странным в последние секунды жизни.

– ...через год, – Тоня заботливо отряхнула грабли, – раньше нельзя, потому что земля должна просесть. А через год можешь ставить, я тебе скажу, где у них мастерская – мы там для родителей надгробие заказывали. Конечно, надо сверху дать, – она выразительно потерла средний и большой пальцы, – но зато и сделают как надо.

Лариса с признательностью кивнула. На прошлой неделе она старательно убрала последние цветы, мертвые и мокрые. Мысль о надгробии ей в голову не приходила, да и никакие мысли вообще – нельзя же считать мыслью безмолвное

отчаянное восклицание: Герман, Герман!..

– Какая темень, подумай, а ведь только пятый час.

Тоня остановилась за воротами кладбища, застегнула верхнюю пуговицу пальто; наконец, попрощались.

Домой Лариса возвращалась пешком. После Тониного напористого, энергичного голоса ей казалось, что, несмотря на уличный шум, вокруг необыкновенно тихо, и эту тишину хотелось продлить. Дома тоже ждала тишина – Карлушка приходил поздно, но то была тишина другая: глухая, закрытая, и Ларисе часто казалось, что нарушить ее может что-то зловещее, вроде летучей мыши. Тоскливая эта тревога не проходила.

– Это потому, Лорочка, что вы не выплакались, – объяснила Анна Яновна. – Плакать надо, тогда легче станет, а то изведетесь вконец. Бог даст, после сороковин полегчает.

Легче всего было на работе. Она вдыхала влажное тепло оранжереи, надевала халат. Ей удавалось довольно легко справляться с самыми капризными тропическими цветами. Вот и сейчас, пересаживая амазонскую лилию, она сбросила грубые перчатки и осторожно высвободила корень. С трудом верилось, что из невзрачных кривых луковок рождаются нежные цветы необыкновенной, теплой какой-то белизны. На табличке старательным почерком студента-ботаника было написано: «Амазонская лилия. *Eucharis Grandiflora*». Лариса не запоминала их названий – ни русских, ни тем более латинских, но пальцы сохраняли память о тех, которые она пересаживала. Руки отмоются, а что кожа грубеет, так разве сравнить с

тем, как было в Сибири? И никаких перчаток; откуда же. Ночами не спала от боли, руки трескались и кровоточили. Герман у кого-то раздобыл медвежье сало, только им и спасалась.

Осторожно, чтобы не оголить корни, переносила очередной цветок в свежую землю. Рыхлые комья держались на корнях – или, наоборот, корни не хотели расставаться с ними; день ото дня приближались непонятные сороковины, и вот настало двадцать пятое ноября.

Какой там «народ», откуда бы ему взяться? Первой пришла Анна Яновна и говорила почему-то вполголоса, словно в квартире кто-то спал. Настя, в зимнем пальто и вязаной шапочке, позвонила в дверь, разделась и сразу начала помогать Ларисе, быстро снует между кухней и столовой. Что оказалось очень кстати: сегодня все валилось из рук. Спасибо, Настя тихонько подсказывала: «Вилки... Хрен, наверное, к ветчине надо. И хлеб, хлеб забыли. Давайте, я порежу; где у вас доска?»

Все нашлось: и хрен, и горчица; и стол был полностью накрыт, когда появилась Тоня со строгим, соответствующим дню лицом, – и как-то после ее прихода стало ясно, что все в сборе и можно садиться за стол.

Несмотря на скорбный день, все охотно накладывали на тарелки еду, и Карл – единственный мужчина – протянул руку к бутылке с вином, когда в дверь позвонили.

– Сестра пришла, – кивнула Тоня.

Сестра? Что за сестра? Ах, да: Ирина.

Лариса заторопилась в прихожую.

Нет, не Ирина.

Отец с матерью приехали прямо с вокзала, а главное, совершенно неожиданно:

на похоронах их не было, хотя Карлушка дал телеграмму.

Несколько минут суеты, пока они топали в прихожей, стряхивая тяжелый мокрый снег, помогли Ларисе скрыть замешательство. Отец вынул из пиджачного кармана тоненькую расческу и старательно навел пробор на чуть влажных седых волосах, пригладил усы. Сложенным носовым платком промокнул лицо, и только тут Лариса заметила, что он рассматривает в зеркале не столько себя, сколько людей за столом. Лицо его оживилось, заблестели глубоко сидящие глаза и даже складки вокруг рта не казались уже такими стариковскими. Мать тоже придвинулась к зеркалу, но смотрела только на себя; обвела рот помадой, что делала только по праздникам, и не глядя протянула к мужу руку за расческой. Он, также не глядя, протянул ей расческу, и мать коснулась волос, в чем никакой надобности не было, потому что волосы остались почти такими же густыми и пышными, как в молодости. Это примиряло ее с пухловатым, нездорового цвета лицом.

— Что ж, думаю, Лара не сказала ничего, ведь сегодня сороковой день, — заговорила мать, входя первой.

— Это я тебе напомнил, — огрызнулся отец, и Лариса испугалась, что вот-вот разгорится привычная перепалка.

— Мои родители, — только собралась представить она, как отец решительно вышел вперед и направился прямо к Тоне:

— Павел, — наклонил голову и с неожиданной галантностью поцеловал протянутую руку. Любезно поклонился Анне Яновне и тоже поцеловал руку. Мать кивнула: «Аглая; очень приятно» и села за стол. Никто из них, казалось, не обратил внимания на Настю, словно естественно было, что какая-то незнакомая девушка

хлопочет у стола.

– Это Настя, – Карлу показалось, что он никогда не говорил так громко. – Мы дружим.

Павел поцеловал обе Настиных руки, сопровождая каждый поцелуй словами «очень приятно»; Аглая радостно заулыбалась.

От уютного тепла после улицы оба принялись энергично жевать, как делали уже все собравшиеся. Застолье шло своим ходом. Позвякивали рюмки, плыли над столом, меняясь местами, передаваемые закуски, бойчее и оживленней звучали реплики. Анна Яновна внимательно слушала Тоню и согласно кивала, отчего крохотные сережки, похожие на две красные смородинки, качались и поблескивали. С другой стороны сидел Павел и тоже пытался завладеть Тониным вниманием, то и дело повторяя: «Мы с вами виделись раньше, вот Аглаю спросите», – и поворачивался к жене. Та отвечала невнимательно, пристально и, как ей казалось, незаметно разглядывая девушку. Настя, в новом джемпере, тихонько переговаривалась с Карлом, но к разговорам прислушивалась. Откуда и выяснилось, что авторитетная Тоня приходится родней Карлушкиному отцу. Она говорила о каком-то Коле: «А ты, Карл, помнишь дядю Колю?» – и, не дожидаясь ответа, махнула безнадежно рукой. Тоня называла много других имен, чаще других упоминая сестру Ирину, которая должна была прийти, но не придет, потому что работает во вторую смену; опять сыпала именами, потом замолкала ненадолго, чтобы перевести дыхание, и внезапно перескакивала к рассказу о невестке – то ли своей, то ли чьей-то еще, Настя не поняла. Разбираться в чужих родственниках – безнадежное дело, все равно что расчесывать колтун: его просто надо вырезать и выбросить, как она

выкинет из памяти всех этих Коль, Ирин, невесток и кого она там еще перечисляла. Однако Тоню все, кроме Карла, слушали с интересом и сочувственно кивали.

Лариса принесла горячее. Карлушка смотрел на жареную курицу: она была похожа на кающуюся грешницу, бухнувшуюся отсутствующей головой в пухлый матовый рис. Голоса зазвучали громче. Застолье напоминало именины. Казалось, виновник торжества вышел за какой-то надобностью и вот-вот должен появиться.

Запершись в ванной, Лариса уткнулась лицом в кухонное полотенце, теплое и пахнувшее курицей, и крепко зажмурила глаза, из которых так и не пролилось ни единой слезы. Тем же полотенцем зачем-то тщательно вытерла сухое лицо и вернулась в столовую, как раз к Тониному вопросу: «Скажи, а как ты делаешь тот салат с майонезом?..».

На улице Карлу стало легче. Не было утомительных, ненужных разговоров, никакого отношения к отцу не имевших, не нужно было видеть потерянное лица матери, хотя оно все равно стояло перед глазами. Когда он вернется, она будет уже спать, а завтра... Завтра все может быть иначе, хотя вся жизнь происходит иначе вот уже сорок дней. Почему именно сорок дней, он не знал, и спросить было не у кого, а помнились, хоть и смутно, только сорок разбойников из страшной детской сказки.

Настя надела перчатку и взяла его под руку.

– Давай сделаем кружок у театра? – предложил он.

Влажный снег аппетитно уминался подошвами. Оба молчали. Самое удивительное, что со времени Настиного приезда они не успели толком поговорить – все время что-то мешало, да и виделись урывками. Только эта мысль и была общей:

рассказать, что не рассказано, но накопилось так много всего, что непонятно было, с чего начать.

Один неверный шаг, Карлушка знал, он уже сделал – в первую встречу после Настиного приезда. В тот вечер снег не падал, а неуверенно летал в воздухе и не решался опуститься на землю, словно понимая свою неуместность в ноябре. И все же это был снег, что означало приближающийся Новый год, а главное, они шли вдвоем под первым снегом, Настя ловила пугливые снежинки, и они исчезали на ладони, не оставив следа.

Сначала на ходу, потом на скамейке в старом парке Карлушка говорил о сценарии – вернее, о своей находке; рукопись он даст Насте или прочитает вслух, но сначала хотел рассказать о черной папке со старыми газетами, о том, как искал клуб кинолюбителей, потому что, если по отцовской рукописи снять фильм... Да, и про киностудию не забыть...

– Подожди, – Настя досадливо сдула с воротника снежинку, – подожди: ты же говорил, что тебя на курсы посылают?

Оборвал незаконченную фразу. Курсы, да; для молодых специалистов. Из их отдела посылают двоих. Только при чем тут?..

Продолжать не то что расхотелось, но теперь он не знал, как: черная папка совсем не вязалась с курсами, которые начнутся после Нового года, к тому же неизвестно где – то ли в Москве, то ли в Ленинграде. В других обстоятельствах он бы только порадовался; теперь же непонятно было, как оставить мать.

Он потерянно смотрел, как снежинки несмело садились Насте на волосы. Взгляд ее поймать не удавалось: Настя смотрела куда-то вверх и в сторону. Карлушка

тоже посмотрел туда. На фасаде серого каменного здания висел кумачовый транспарант с белыми буквами: «КОММУНИЗМ – СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». Такой же лозунг висит над входом в столовую у них на заводе.

Карл всегда терялся и не знал, как себя вести, когда Настя сердится. Вот и голос у нее изменился: таким она говорила с вокзала, когда звонила перед отъездом.

Больше ничего в тот вечер не рассказал: ни о соседе, пишущем мемуары, ни о том, как ходил к машинистке, а главное, о разговоре в киностудии. До сих пор он не мог решить, идти ли ему, как советовал тот киношник, в этот... писательский союз, где собираются «славные ребята». Вдруг он сам себе показался каким-то зряшным, и стало неловко за собственную болтовню. Потом, потом; сначала пусть она сама прочитает сценарий.

– Прости, – он легонько дунул ей на волосы, – я забыл, что ты только сегодня приехала. А завтра на работу; прости.

Они повернули к общежитию. Настя держала его под руку, но шла молча. Глупо, конечно; но теперь поздно объяснять. Тем более что даже о разговоре с матерью рассказать не было случая, а ведь в поезде на обратном пути почти не спала из-за этого разговора.

Он получился нечаянно, из родительской перепалки, на которую Настя не обратила бы внимания, если б отец не повысил голос.

– ...и поеду, – донесся из кухни голос матери.

– И поедь! – огрызнулся отец.

– Возьму и поеду.

– А вот возьми и поедь!

Из-за этого «поедь» прислушалась, а потом открыла дверь на кухню:

– Далеко собрались?

– Спроси вон у нее, – отец кивнул в сторону матери, – сама пусть расскажет.

Он сердито хлопнул дверью и вышел.

Спросила.

И приросла к табуретке, услышав ответ, да так, что два оставшихся до отъезда дня ни о чем другом не могла думать. Потому что одно дело знать понаслышке, что у матери вроде была когда-то родная сестра, сгинувшая во время войны, и даже на фотокарточке видеть эту абстрактную сестру, а другое – услышать вдруг, что у нее, Насти, нашлась тетка. Что означало только одно: сестра матери вовсе не сгинула, а жива-здорова, разве что увидеться с ней нет возможности, ибо живет она за границей, в Германии. Оттуда, из Германии, ей удалось разыскать сестру.

Мать показала Насте строгое письмо из Министерства иностранных дел, в котором требовалось подтвердить родство «в случае, если таковое имеет место».

Родство «имело место». Вера, Настина мать, и Лиза были дочерьми Арсения Маркианова, державшего магазинчик дамского белья и галантереи, который располагался перед войной в трех кварталах от общежития, где теперь жила его внучка, Настя Кузнецова. В сороковом году магазинчик был реквизирован. Арсения, слишком громко по этому поводу недоумевавшего, забрали вместе с женой, и с тех пор барышни Маркиановы родителей больше не видели. Весной следующего года Вера, старшая, вышла замуж за молоденького красноармейца Сергея Кузнецова. Он ждал отпуска, чтобы вместе с молодой женой навестить мать, однако в последний момент отпуск почему-то отменили – или отложили, – так что Вера поехала

знакомиться со свекровью одна; семнадцатилетняя Лиза осталась ждать известий от родителей.

Свекровь оказалась настоящей свекровью. Ей не нравилось решительно все: и что сын женился рано и не спросив совета, и что невестка перестарок (Вера была почти на год старше мужа), а главное, «буржуйка».

Силой не будешь милой. Вера тоже не была очарована «болотом» и прохладным приемом, потому решила вернуться назад, где ждали муж и сестра. Однако сделать это она не успела: началась война и распорядилась по-своему, отправив Сергея на фронт, Веру оставив «на болоте», а сестру Лизу – в оккупированном городе. От нее не было вестей до того самого момента, когда через шестнадцать лет после войны МИД не потребовал подтвердить родство.

– Как она очутилась в Германии? – был первый Настин вопрос.

А как я очутилась в России? – чуть не спросила Вера. Потому что сама ломала над этим голову, и выходило, как в сказке, три пути: или вышла замуж за немца, или была угнана насильно, или... Нет, третий путь – репатриация в Германию – исключался: как бы прижилась в Германии русская барышня Лиза Маркианова, если ее сестра Вера Маркианова не могла прижиться в России?.. Министерству иностранных дел не задашь вопрос «как», это надо спрашивать у сестры. Можно спросить в письме, благо адрес теперь есть, да Вера не решилась: как знать, сколько рук и глаз пройдет это письмо, прежде чем оно дойдет до Лизы?

...Сокровища находят не на таинственных островах, не в морских глубинах и не в зловещих пещерах – они здесь, на официальном бланке. И это не в книжке вычитано – сама услышала и убедилась, не сходя с кухонной табуретки. И всего-то

требуется «подтвердить родство», что мать незамедлительно выполнила, несмотря на гневные протесты отца.

Пока Вера в который раз пыталась угадать, как сестра попала в Германию, дочка осторожно начала обдумывать другую задачу: как в ту Германию попасть и встретиться с незнакомой теткой. Язык не преграда – или, вернее, преграда не несокрушимая, потому что второй иностранный язык в университете у нее как раз немецкий. Это во-первых; а во-вторых, на заводе случаются туристские путевки то в Болгарию, то в Польшу; а значит – это в-третьих, – надо узнать про ГДР... Слава богу, у тетки хватило ума поселиться в демократической Германии.

Все это Настя многократно прокручивала в голове, пока ехала в поезде. Представляла, как ошарашит Карла и как он изумится, однако она не успела и слово вставить: он только и бухтел, что о своей находке, словно заграничная тетка идет в какое-то сравнение со старыми бумагами! Раздражение нарастало, и настроение испортилось вконец. Лучше бы он о серьезных вещах думал, ведь курсы на носу! Хватит... в вагончики играть.

...В тот первый вечер так и не поговорили, другие вечера Настя проводила в университете, а потом наступили сороковины – то ли поминки номер два, то ли репетиция годовщины смерти, она не поняла. Она уверена была, что прийти нужно, так же как нужно было присутствовать на похоронах. По сдержанно-одобрительным взглядам присутствующих убедилась, что поступила правильно: и будущей свекрови (ибо именно так она определила Ларисину роль в своей жизни) помогла, и с будущим мужем оказалась рядом в трудную для него минуту жизни. Поэтому сейчас было легко и спокойно возвращаться по утопанному снегу. Воздух был тоже

плотным и влажным — потеплело; завтра снег останется только на газонах, а тротуары будут чистыми, и спокойно можно пойти в туфлях.

Они шли, оставляя на снегу две цепочки следов, и молчали, не замечая, что мысли их не встречаются в этом молчании, как узкие женские отпечатки подошв ведут свой ровный шов и не пересекают широкие мужские следы, не столь ровные и отчетливые.

Мысли у Карла были примерно такими же, как его следы. Сам того не сознавая, он чего-то ждал от сегодняшнего дня, словно что-то должно было измениться, если вообще в цифре «40» содержится какая-то знаковость. Черная папка, которую снова открыл накануне, ответа не давала, как и фотография девушки с растрепанной прической. Он улыбнулся ей, как давней знакомой, и бережно отложил в сторону. Конечно, ее нет в живых, иначе она пришла бы на похороны. Или сегодня. Карлушка видел это так отчетливо, что замирал при каждом звонке в дверь, и вовсе не удивился бы, увидев ее в дверном проеме. Так бы и появилась: чуть взвихренные волосы, летнее платье и голова, склоненная набок.

Идиот, осаживал он сам себя, какое летнее платье — ноябрь кончается... Да при чем тут платье, при чем ноябрь; сколько ей лет сейчас, как ты думаешь? То-то и оно; ровесница отца. Или матери. Сколько ей лет сейчас было бы?..

Нисколько. Сколько угодно. Столько же, сколько на фотографии: мертвые не стареют.

А если жива?..

Тогда пришла бы. Для них, пожилых — ведь она пожилая, — все эти дни: девятый, сороковой — что-то значат; обязательно бы пришла. А на похоронах... Может, она и

приходила, но тогда он еще не видел фотографии, не знал, кто она; она могла стоять где-то в стороне, под дождем, и никто ее не узнал, потому что узнать мог только один человек: отец. Карлушка напряженно вспоминал, кто стоял вокруг могилы, но не было ни одного лица, хоть как-то напоминавшего фотографию.

И сегодня не было – он бросался к двери, распахивал ее и... с трудом подавлял разочарование. Приход Насти удивил настолько (она сказала, что будет готовиться к сессии), что он глупо спросил: «Ты?» и тут же бросился отряхивать снег с ее пальто, чтобы скрыть свое удивление.

Его раздражали все: громкая, авторитетная Тоня с золотой брошкой на платье, раздражала Анна Яновна, с готовностью подхватывавшая каждое Тонино слово, раздражал дед со своей старомодной галантностью, с этими поцелуями рук, и бабка, откровенно пялившаяся на Настю; раздражала даже Настя, уверенно хозяйничавшая за столом и на кухне... Только мать не вызывала раздражения – одну только рвущую сердце жалость. Мама, мама, беззвучно кричал он, зачем они все пришли сюда, мама?.. Несколько раз во время застолья он пытался заговорить об отце, поняв, что больше никто не собирается этого делать, и видел с горечью, как лица на минутую другую становились виноватыми, словно всех застали врасплох за чем-то запретным, но потом опять все шло по-прежнему.

Обыкновенная пьянка, думал Карл. Они готовы песни петь, потому что собрались сами не знают зачем; обыкновенная пьянка, – и веселое, бесшабашное слово «пьянка» растравляло душу еще сильнее.

Он знал, что, проводив Настю, вернется и откроет черную папку. Рассказывать о ней больше не хотелось. Да и почему, в самом деле, Настю должны интересовать

старые местные газеты? Ни о найденных фотографиях и письмах, ни тем более о мячике он не говорил – и теперь уже не скажет.

О приближающихся курсах он не только не забыл – думал чаще, чем хотелось, потому что совсем не представлял, как оставить мать одну. Не Тоне же она будет звонить вечерами, когда особенно тоскливо и тягостно одной в пустой квартире. А кому?.. Как-то нужно было обдумать разговор с начальником отдела: пускай кого-нибудь другого посылают; черт с ними, с курсами.

Было довольно поздно, но завтра предстояло воскресенье, и большинство окон общежития ярко горели.

– Уже поздно, – озабоченно сказала Настя, – я тебя наверх не приглашаю.

– Поздно, – согласился Карлушка, словно это когда-то было препятствием – препятствием могла быть только дежурная, и то не всякая; но сегодня он почти торопился уйти. – Я позвоню, ладно?

Настя почти выдернула свою руку и не оглядываясь взбежала по лестнице.

Союз писателей располагался в центре, на углу двух улиц: шумной и сутолочной, полной трамвайного лязга, которая пересекала весь город, и маленькой, совсем короткой, выходящей к вокзалу.

В поисках литературной студии «Молодая смена» Карлушка с удовольствием плутал по зданию. Снаружи оно показалось ему небольшим, а между тем пространство уходило вглубь и в высоту, и вместе с тем здесь было уютно. Должно быть, это впечатление создавали деревянные панели: казалось, от них шло ровное тепло.

В комнате за высокой двустворчатой дверью собралось человек двадцать. Они сидели на стульях, составленных в несколько рядов, и почти не переговаривались. Приглядевшись, Карлушка заметил, что по-настоящему молодых было меньшинство. К нему подошла широкобедрая женщина средних лет с янтарной брошкой на груди. В руках она держала блокнот:

– Мы сейчас начинаем. Ваша как фамилия?

Карлушка испуганно отшатнулся:

– Я в первый раз тут, просто хотел послушать...

Тут раздался громкий мелодичный звон, и женщина поспешила в ту сторону, откуда несся звон, то есть к широкому столу. Карлушка нерешительно присел на выпуклое бархатное сиденье бокового стула, откуда хорошо был виден стол, за которым стоял мужчина с колокольчиком. На представителя «молодой смены» мужчина был не похож ни местом за столом, ни колокольным звоном, не говоря о

дорогом темном костюме, седоватом бобрике и уверенном, властном лице.

– Добрый вечер, товарищи, – он обвел глазами комнату. – Давайте, наверное, сразу начнем, а то дел у нас много, чего не могу сказать о времени.

Поправил на запястье часы, словно подкрепляя свои слова, и кивнул женщине с блокнотом. Секретарь, догадался Карлушка. Та поднялась и заговорила, то опуская взгляд к блокноту, то поглядывая на собравшихся:

– Товарищи, последний номер нашего журнала получил, как вы все уже, наверное, знаете, очень высокую оценку в секретариате Союза писателей.

Она сделала паузу – как раз на столько, сколько потребовалось времени на одобрительный шумок, вспыхнувший и послушно смолкший.

– Такая оценка, товарищи, всем нам важна. – Человек помолчал, отчего важность оценки стала как будто еще весомей, и продолжал: – Но не только важна – она обязывает.

Все закивали согласно, не отводя глаз от говорившего. Карлушка сам не заметил, как отвлекся от наставительного голоса и начал рассматривать присутствующих. Некоторые держали на коленях тетрадки и что-то записывали. Карлу записывать было нечего и негде – только сейчас он сообразил, что рукопись сценария осталась в кармане пальто. Через несколько стульев от него сидела самая немолодая из «молодой смены»: рыхловатая женщина с седыми распущенными волосами, чему-то слегка улыбающаяся. Прямо перед собой Карл видел девушку, сидящую очень прямо и напряженно. Она ничего не записывала, а постоянно заводила за уши пряди коротко подстриженных волос; лица видно не было. За его спиной кто-то осторожно покашливал, однако оборачиваться не хотелось: от тепла

немного разморило, и даже промокшие ноги наконец согрелись. «Ботинки недостаточно добротные», – усмехнулся про себя, вспомнив красавицу машинистку: из всех слов она выбрала самое неуместное, – и улыбнулся от этого воспоминания. Стукнула негромко дверь. Женщина-секретарь укоризненно покачала головой. Головы сидящих повернулись к двери; Карлушка тоже посмотрел в ту сторону.

В дверях показалась машинистка.

Мужчина с бобриком, коротко глянув на вошедшую, продолжал ровным голосом:

– Между тем бытует мнение, что молодой литератор – это в первую очередь новатор. Не буду спорить, – он сделал рукой отодвигающий жест, словно его прямо сейчас вызывали на спор, – не буду спорить. Однако, товарищи, новаторство не следует смешивать с попытками привнесения в нашу молодую литературу искусственных элементов и чуждых приемов, против которых предостерегали...

Что она здесь делает?.. Карлушка растерялся и разозлился на себя за эту растерянность. Таисия Николаевна направилась, почему-то пригибаясь, словно в кинотеатре, прямо к тому ряду, в котором он сидел, и его бросило в жар; не дойдя, машинистка заняла стул рядом с седой женщиной.

«Не заметила», – подумал он с облегчением и воровато оглядел комнату, не затесался ли сюда и мемуарный старик; нет, не видно.

В это время стулья задвигались, люди начали вставать, и поднялся негромкий гул, как в театре, когда занавес опустился и начинается антракт. «Как, уже все?» – удивился Карл, и его удивление, должно быть, отпечаталось на лице. Таисия Николаевна, во всяком случае, заметила и, протянув ему руку, сказала вместо

приветствия:

– Вы думаете, наверное, что больше ничего не будет? Вот и не угадали: самое интересное начнется после перекура.

– Кино покажут, – подсказал мужской голос за спиной Карла.

– Кина не будет, – улыбнулась Таисия Николаевна тому, кто за спиной, и продолжала, уже обращаясь к Карлу: – А читка будет интересной, я вам ручаюсь.

Она повернулась к седой женщине, которая нерешительно маячила поблизости, потом снова к нему:

– Я хочу вас познакомить. Это Ксения, талантливейший прозаик и по совместительству мать моей лучшей подруги; а это начинающий сценарист; знакомьтесь, Ксения...

Карлушка назвал свое имя, получив в обмен мягкую плоскую ладонь талантливейшего прозаика, и почувствовал себя совсем неловко.

– Ну что ты, Таинька, – переминалась с ноги на ногу Ксения, – молодой человек бог знает что подумает...

– А я обеими руками подпишусь под своими словами! – горячо заговорила машинистка. – И не только я так думаю, поверьте мне.

Однако сказать, кто еще разделяет ее мнение, машинистка не успела, потому что раздался знакомый уже звон колокольчика, и все поспешили на свои места.

– Продолжим, товарищи, – бодро заговорил председательствующий. Таисия успела шепнуть Карлушке его фамилию: не то Брусков, не то Барсуков, – и сообщила, что не кто иной как он редактирует журнал, «где могут опубликовать ваш сценарий».

Барсуков-Брусков продолжал:

– Поскольку поэты у нас в меньшинстве, начнем с поэзии. Должен сказать, товарищи, что в редакционном портфеле представлено немало поэтических опытов, но журнал у нас молодой, а поэтому хотелось бы порадовать читателя чем-то по-настоящему новым, а не перепевами старых мотивов.

Он наклонился к женщине с брошью:

– Кто из поэтов у нас сегодня в списке?

Женщина зашелестела страницами блокнота, но из второго ряда уже вышел молодой человек и приблизился к столу.

На вид поэту было не больше двадцати лет. Он носил нарядное имя Аркадий и шерстяной свитер с растянутым воротником, похожим на воронку. Из воронки выглядывала тонкая шея, на которой сидела круглая русоволосая голова с насупленным лицом. Читая, Аркадий смотрел поверх голов и часто проводил ладонью по волосам.

Стихи были написаны о девушке «в грохочущих ночах», причем девушке всюду сопутствовал какой-то платок. О самой девушке говорилось мало, зато часто, как припев в песне, упоминался

Тот драдедамовый платок,
Сползающий с плеча,
Когда, как трепетный росток
Средь груды кирпича...

Непонятное слово повторялось снова и снова, и казалось, что за окном по

мостовой волокут что-то железное.

Аркадий читал еще какую-то поэму, но Карлушка не мог сосредоточиться, твердо решив донести темное *драдедамовое* слово до библиотеки и проверить по энциклопедии.

Потом выступала девушка, сидевшая впереди него, и прочитала рассказ о другой девушке, которая часто приходила на берег моря и смотрела вдаль – ждала, когда из дальнего плавания вернется корабль с ее возлюбленным. На том же берегу часто появлялся молодой парень – он никого не ждал, потому что его невеста-рыбачка погибла в море во время бури. Молодые люди начинают здороваться друг с другом – сначала кивком, потом улыбкой; перебрасываются ничего не значащими фразами, и Карл уже давно сообразил, что девушкин жених явно припозднился с возвращением. В отличие от него герои долго не понимают, как много между ними общего, а светленькая девушка, поминутно заводя прядки волос за уши, словно надевая несуществующие очки, продолжает рассказывать, как их беседы становятся все длиннее и интересней, и в один из вечеров девушка вдруг тихо говорит:

– Какой вы противный!

Это звучит так неожиданно, что Карл вздрагивает и открывает глаза, а Таисия Николаевна повторяет шепотом:

– Какой противный, проснитесь сейчас же!

Стыд прошибает его до горячей испарины. К счастью, Таисия Николаевна ничего больше не успела сказать, а заторопилась к столу.

Рассказ назывался «Вдохновение». В нем описывался больной ребенок – непонятно было, мальчик это или девочка, – и как мать не может отойти от его

кроватки, чтобы дописать начатый рассказ (сразу вспомнилась детская железная кровать у нее в квартире). В недописанном рассказе «слышалось биение жизни», но закончить его никак не получается: ребенок мечется в жару (Карлушка был уверен, что такое случается только в классической литературе), а письменный стол, который совсем рядом, недосягаем...

Таисия Николаевна вернулась на место. Брусков-Барсуков сосредоточенно крутил часы на руке. У стола возник сутулый парень с широкоскулым татарским лицом. Потом его сменила полная блондинка в очках – она сильно волновалась, отыскивая собственную рукопись, которую, к оживлению и шуткам собравшихся, держала в руке. Читали рассказы, отрывки из романов, очерки. Все, что было прочитано в этот вечер, охватывало, казалось, все сферы жизни, городской и сельской, описывало «щедрую палитру человеческих чувств», как это сформулировал Барсуков, однако Карла не покидало впечатление, что он уже читал такое где-то, и уже тогда не хотелось дочитывать. Сонливость с него давно слетела – главным образом от недоумения, как такие разные люди могли сочинить столько похожего.

Не всегда безопасно, оказывается, подавать женщинам пальто: после этого нужно провожать их до дому, тем более что Таисия Николаевна скорее сообщила, чем спросила:

– Вы ведь нас проводите?

Он помог Ксении обрядиться в громоздкое, тяжелое сооружение, вызвавшее в памяти слово «салоп», хотя никакого салопа Карл отродясь не видел. Машинисткино пальцецо, по сравнению с «салопом», было невесомым.

– Что ж ты, детка, так легко одеваешься, – забеспокоилась Ксения, – давно пора зимнее пальто носить.

– На зимнее я еще не заработала, – весело ответила та, но что-то было жалкое в этой бесшабашности, как в стульях с растянутыми парусиновыми сиденьями и в голом окне той комнатухи.

Пошли зачем-то пешком («тут рукой подать»), и по дороге обсуждали читку, стараясь вовлечь Карла, который отделивался неопределенно-одобрительным мычанием. И Таисия Николаевна, и Ксения с особенным жаром превозносили стихи, особенно про платок. Ксения восхищенно повторяла:

– Смело, исключительно смело.

– Сначала Ксению проводим, это по пути, – щебетала Таисия Николаевна.

– И на чай зайдете, ты же замерзла совсем, – подхватила та, – да и Карл... простите, не знаю отчества?

– Просто Карл, – торопливо сказал Карлушка, – только я чай пить не буду, мне...

– У тети Ксени не только чай найдется!

Машинистка смеялась очень задорно, но в этом смехе тоже была жалкость – или так казалось оттого, что она откровенно мерзла в легком пальтеце (тоже, по странному совпадению, цвета какао).

Ксения жила в деревянном доме с забором. Нужно было пройти в калитку, потом подняться на несколько ступенек («осторожно: вот эта проседает»), потом были еще двери...

– Я пойду все-таки, – решил Карл, но обе замахали руками и заговорили

одновременно. Выяснилось, что обе замерзли «до чертиков» и, стало быть, согреться просто необходимо. «И вы же обещали меня проводить; правда, тетя Ксения?» – кокетливо приговаривала Таисия Николаевна.

Ксения между тем успела освободиться от «салопа» и скрылась за дверью, а когда дверь снова открылась, Карлушка чуть не отшатнулся: вышла древняя старушечка, согнутая буквой «Г», словно кто-то начал складывать ее пополам, но остановился на полпути. Старушечка прошаркала к столу, поелозила тряпкой по клеенке, а потом повернулась к Таисии Николаевне:

– Исть будешь?

Карла, похоже, старушечка не заметила.

– Не, баба Ната, не будем. Нам тетя Ксения чайку обещала, – ответила машинистка и почему-то подмигнула Карлушке.

– Так и скажи, что чаю.

Когда старушечка говорила, она поднимала маленькую седую голову, похожую на головку чеснока, и становилось видно серое щуплое лицо в морщинах. Она послушно двинулась к плите и забренчала чайником. Согнутая спина ее была намного ниже плиты, поэтому старушечка далеко вытянула руку, передвигая чайник. Рука оказалась неожиданно крупная и узловатая, словно ее приставили от кого-то другого.

Ксения вернулась бодрая, с блестящими глазами, и поставила на стол початую бутылку водки.

– И знаешь, – оживленно заговорила она, наполовину повернувшись к Таисии и доставая рюмки из буфета, – тот рассказик про осенний день этого... ну как его,

никак не могу запомнить, брюки у него короткие... Да он так и называется, по-моему, «Осенний день» – помнишь? Мне показалось, оригинальный.

Таисия Николаевна закурила и, отгоняя дым от лица, сморщилась:

– Это где трактористы? Нет, тетя Ксения, у меня эти певцы колхозного счастья вот тут сидят, – она провела ребром ладони по шее.

В этот момент старушечка протянула руку и ловко схватила бутылку с водкой.

– А мне, Таинька, еще знаешь что показалось инте...

Взгляд ее упал на пустой стол, и она резко повернулась к старушке:

– А ну поставь назад! Отдай, кому говорю!..

С неожиданной резвостью подскочила к похитительнице и так сильно дернула бутылку, что чуть не свалила старушечку с ног.

– И уходи, чтоб духу твоего здесь не было! Тебе давно на Ивановское кладбище пора.

С тихим шарканьем та вышла.

– Вот так и живем, – Ксения закончила спокойно, словно ровным счетом ничего не случилось. Ловко, почти любовно, налила водку в рюмки и быстро выпила свою – так быстро, что Карлушка понял: не первая.

– Мне вставать рано утром, вы уж извините, – он решительно поднялся.

Таисия Николаевна тоже неохотно встала, и он второй раз за вечер подал ей пальто.

Когда вышли, с неба густо сыпалась снежная пыль.

– Так и живет, – Таисия Николаевна кивнула на калитку, – матушка каждый день ее пиявит.

– Я думал, бабушка.

– Ну, тетя Ксения сама уже бабушка, мы ведь с ее дочкой подруги. Оли, дочери ее, дома не было, а то бы я вас познакомила.

Какая удача, подумал Карл. Для одного вечера знакомств достаточно.

– А вам рассказ мой понравился? – неожиданно спросила Таисия Николаевна. – Только чур, честно!

Вот тут бы и ответить честно: нет, не понравился, и распрощаться навсегда с нею и со всей «молодой сменой». Не понравился мне ваш рассказ – не может мать писать о ребенке, ни разу не назвав его по имени, не обронив ласковое слово; да и чем он болеет, кстати? Однако попробуй скажи честно, если к тебе выжидательно повернуто красивое лицо со снежинками на ресницах; а в той сырой квартирке кто угодно заболит, не то что ребенок.

– Хороший рассказ, – Карла подмывало добавить: «добротный», но удержался: – Хороший; правда.

– Я-то что, – машинистка польщенно улыбнулась, – вот у Ксении по-настоящему сильная проза.

– А почему она сегодня не выступила?

– Она в крупном жанре работает, – снисходительно пояснила Таисия Николаевна. – Такой роман отгрохала – закачаешься!

– Интересно, – ему действительно стало интересно, – а как называется?

– Так роман-то у нее украли!

Ответ был настолько неожиданный, что Карл остановился. Он представил, как вор проходит ночью в калитку, осторожно поднимается по ступенькам («осторожно:

вот эта проседает») и, на цыпочках пройдя мимо полусложенной старушечки, лезет в буфет за рукописью. Или в сундук?.. Таисия Николаевна продолжала, теперь уже с патетическими нотками в голосе.

История звучала трагически и вместе с тем абсурдно. Ксения работала над романом несколько лет («какой творческий почерк, какой почерк!»), а закончив, послала его на рецензию в московское издательство («название не имеет значения, вы же понимаете»). Пока суд да дело, подошло время летних отпусков; потом наступила осень, однако издательство молчит, рецензии нет как нет. Ксения, человек деликатный, сама их беспокоить не решалась, как вдруг прошел слух, что вышел новый роман известного московского писателя. Ну роман и роман, мало ли романов пишут; однако тема та же, что у Ксении.

– Она, конечно, бегом в книжный – интересно же! Книга нарасхват, ну вы же понимаете. Открывает – и что же?

Выразительно помолчав, машинистка закончила:

– Ее роман!

– Так, значит, издали?

– Не «издали», – ядовито протянула Таисия Николаевна, – а издал. Под своим именем. Название другое, конечно; ума хватило. Стотысячным тиражом, между прочим.

Потрясенный Карл узнал, что знаменитый плагиатор поменял все имена и названия («чтобы нельзя было поймать за руку, понимаете?») и еще какие-то малозначительные детали; что Ксения ездила в Москву, в издательство, но там над ней якобы только посмеялись – доказательств-то нет!

– Подождите, подождите, – забормотал Карл, – а здесь? Черновики... ведь черновик у нее сохранился?

– В том-то и дело, что нет! Все сожгла, все бумажки. В плите. Был у нее единственный машинописный экземпляр; ну не глупость ли?

Действительно странно, подумал он. Копирки не нашлось, что ли?

– А Барсуков этот не мог вступиться?

– Кто, Сбурков? Да вы наивный человек – чтобы секретариат нашего союза писателей стал препираться с Москвой? К тому же эта чудачка никому не говорила о романе. Я знала, конечно, как человек пишущий, но она с меня слово взяла, чтобы никому ни-ни. Как-то, помню, Ксения на читке выступила с одной главой, так все в столбняк впали, и Сбурков ваш первый. Потому и не высказался.

– Не понимаю, – Карлушка совсем запутался, – почему же не высказался?

– Зависть, – коротко ответила Таисия Николаевна. – Самое сильное чувство у творческого человека. Сегодня Сбурков тоже, обратите внимание, ни слова не сказал о моем рассказе.

Это прозвучало так горько и снисходительно, словно ничего иного Таисия Николаевна не ждала.

– Вы все это испытаете на себе, когда дело дойдет до вашего сценария, это я вам говорю как человек пишущий; вот посмотрите.

Посмотреть не хотелось. Он наотрез отказался от очередной предложенной «чашки чаю» и, торопливо попрощавшись, быстро пошел к троллейбусной остановке.

Скорей бы уже Новый год.

В классе только и слышно: Новый год, Новый год! А что – Новый год? Дома повесят на стенку новенький календарь с Дедом Морозом в красном тулупе и с таким же носом, тут же этого Деда Мороза оборвут, а под ним целая пачка обыкновенной газетной бумаги, по одному листочку на каждый день. На обороте – крохотные выкройки: «Шьем сами». Или «День рождения Паганини». Вместо Паганини может быть Коперник. А то еще «Рассказы о природе» – о повадках кашалотов, например. Или «Советы огороднику». Ольке вспомнилась дача, пинг-понговый стол и невесомый мячик, летящий прямо на чью-то грядку.

Новый год через неделю, и хорошо, если мать с Сержантом отвалят в гости, как будто, если они его не встретят, то Новый год потопчется-потопчется на крылечке и не наступит. Нет уж, пусть лучше встречать идут, она найдет чем заняться. Новый год через неделю, что означает елки, потому что одной не обойдется. Дома у них елки не будет – и никогда не бывает, – зато уже сейчас на этажерке лежат пригласительные билеты: в министерство, где работает мать, в Дом офицеров (Сержант принес), а в Ленечкин садик безо всякого пригласительного надо тащиться послезавтра. «Ну можно, я хоть в детский сад не пойду?» – взмолилась она, да где там! «Как для тебя, так все, а как взамен, так не дождешься», – это мать. «Лишь бы в угол с книжкой заткнуться, больше ни о чем не думает», – партия валторны, то есть Сержанта, – точь-в-точь, как у них в оркестре. Ольке приходилось бывать там два раза, когда ключи забывала. Куда интересней поболтаться после школы, но надо было Ленечку забирать из садика, а с ним не очень поболтаешься.

...Ждала в коридоре, когда кончится репетиция. Сквозь дверную щель видны были сияющие желтые трубы самых затейливых форм. Музыканты держали их двумя руками, как матери держат младенцев. Все оркестранты из-за военной формы выглядели похожими. Перед каждым стоял пюпитр с нотами, но Ольке казалось, что каждый подсматривает в ноты к соседу, совсем как у них в классе на контрольной. Лица у музыкантов были сосредоточенные, строгие и очень серьезные. Еще был виден кусок спины и движущийся локоть дирижера. Вдруг, посредине мелодии, локоть замирал, рука опускалась, и музыка обрывалась. Оркестранты переворачивали трубы и снимали мундштуки; потом локоть поднимался и снова начинал ходить ходуном под музыку.

У Сержанта тоже становилось строгое лицо, когда он дома вынимал ноты, доставал валторну из чехла и начинал играть. Она часто наблюдала в прошлом году, когда ходила в школу во вторую смену. В такое время Олька тихонько делала уроки за столом или читала, и даже страницы надо было переворачивать беззвучно. Как-то, сделав паузу, Сержант снял мундштук, перевернул валторну, как они все делают (чтобы слюни стекали, догадалась Ольга) и пошел на кухню. Задники тапок хлопали, как мухобойка, которой дачная соседка лупила по стенам. Сержант вернулся в комнату с кружкой воды. Прихлебывая из кружки, остановился около пюпитра:

– Ты раньше на чем-то играла?

– Нет.

– Хочешь научиться?

«Конечно! – чуть не закричала она, чуть не захлебнулась восторгом. – Еще бы!...»

Однако не закричала и не захлебнулась, а неопределенно пожала плечами. Посмотрела на валторну, потом на отчима.

– Не-е-ет, – сказал Сержант, – а вот на фортепьяно можно было бы, в клубе хороший инструмент есть... Я сделаю из тебя музыканта, – он шумно глотнул воды, – если у тебя слух есть, конечно.

Она опять пожала плечами. Откуда, мол, мне знать, есть у меня слух или нет?

– Унеси, – он протянул ей кружку и снова взял валторну. – Теперь слушай внимательно. Я сыграю несколько тактов; потом споешь.

Заиграл, и это зазвучало так нежно, так красиво, что Олька заслушалась, но музыка сразу оборвалась.

– Спой, – приказал он.

Олька замотала головой – она была уверена, что голосом такое выразить невозможно.

– Слушай, как я пою. – Сержант легко пропел ту же мелодию неожиданно высоким голосом – и оборвал в том самом месте, где остановилась валторна.

– Теперь ты.

Она вдохнула поглубже, вспомнила рояль в актовом зале, урок пения, хор. Вдохнула еще раз – и запела.

У Сержанта побагровело лицо, и он заорал:

– Терция, доминанта, терция! Ты что, не слышишь?! Тупица, тупица!

Олька вздрогнула и попятилась к столу. Музыка пропала, и она никогда больше не сможет ее вспомнить. Зато остались дивные, чудесные слова: терция, доминанта, терция. Откуда этот дурак знает такие слова? *Терция, доминанта, терция;* здесь

главная – доминанта, а терция и терция – это слуги, которые сопровождают госпожу редкой красоты – доминанту, и она похожа на...

– Тупица, какая тупица, – презрительно говорил отчим. – А я еще собирался с ней заниматься.

...Это было хорошее время, перед праздниками, когда Сержант подолгу торчал в своем оркестре. Потом праздники миновали, и темный промозглый ноябрь никуда не спешил. Олька ненавидела этот месяц с того уютного вечера, когда к ним с бабушкой пришла мать, а с нею двое милиционеров, и Ольку неожиданно выдернули из родной теплой комнаты, где она прожила к тому моменту девять лет из своей девятилетней жизни. Выдернули, как редиску из грядки, и пересадили в другую комнату – и в другую жизнь, потому что у матери с Сержантом и в самом деле все было иначе, чем у бабушки.

С тех пор прошло пять лет, и сейчас почти смешно было вспоминать, как она пыталась убежать и часами ездила в троллейбусах по городу, холодея от вида милицейской формы, пока не открыла для себя другой способ бегства, куда более надежный: убежать, не убегая.

Очень просто.

Можно сидеть дома, смотреть в учебник и перелистывать периодически страницы, но находиться в это время у бабушки, листая – и читая! – вовсе не учебник. Или устроиться в бабушкином старом кресле напротив любимой картины – можно увидеть каждый миллиметр этой картины, потому что она там висела всегда. Да, можно мыть посуду в горячей воде с горчицей – гнусные зеленоватые сопли собираются по краям миски, – и в то же время идти с бабушкой по лесной дорожке,

скользкой от сосновых иголок, придерживая ее за руку, чтобы не оступилась, хотя чертову миску все равно придется мыть, а потом отмывать руки от жирной горчичной дряни.

– Ты что, глухая? Третий раз говорю: поставь чайник.

– Я уроки делаю.

– Поставь чайник, тебе говорят, потом уроки делай!

С ними лучше не препираться: бессмысленно. Все равно никогда не бывают довольны. Тем более что, научившись «убегать», она перестала беспокоиться, довольны они или нет.

Можно было убежать в книжку – «заткнуться в угол», как это называет Сержанти, но его (да и матери) любимое дело – помешать ей, оторвать от книжки, а способ всегда найдется.

Принеси соль.

Ты белье сдала в прачечную? А квитанция где?..

Закрой окно, Ляля.

И перец захвати!

А квитанцию под будильник положи, потом искать сама же будешь!

Дышать нечем, опять окно закрыто!

Это я ей сказала закрыть – дует.

Что – «какую»? Из прачечной квитанцию!

А я говорю: открой!

Одноклассница Томка, которая забежала как-то вечером, потом возмущалась: «Не, ну законненько, да? Мои бы родичи на седьмом небе от счастья были, что я

читать села. Они у тебя точно ненормальные». И добавила: «Ну и плюнь. У меня тоже ненормальные». Еще немного подумав, расхохоталась: «Слышь, да у всех ненормальные! Не бери в голову, а?»

Как будто Ольга брала их в голову.

Однако мать была твердо уверена, что ненормальная как раз Ольга, и, жалуясь знакомым, во всем винила «матушкино воспитание» и клялась «сделать из дочери человека».

Это было намного легче, чем когда Сержант собирался сделать из нее музыканта, потому что отсутствие музыкального слуха ничему не мешало.

Человека из нее делали одним и тем же проверенным способом – когда наступало воскресенье и Ольга собиралась к бабушке, мать говорила: «Сегодня не пойдешь». На вопрос «почему» Сержант рявкал: «Приказы не обсуждаются».

Раньше она просила, даже – стыдно вспомнить – плакала, но это было давно, еще до того, как научилась убегать; когда научилась, стало легче. Кроме того, Ольга выучила два правила. Первое, самое главное: у них нельзя просить, никогда и ничего. И второе: с ними нельзя спорить, и совсем не потому, что приказы не обсуждаются, а просто спор затрудняет бегство.

Воскресенье, когда из нее «делали человека», вычеркивалось из жизни, не считалось, переставало существовать. Превращалось в такой же ненужный листок календаря, как тот верхний, с Дедом Морозом, а к неделе прибавлялся лишний день, и его предстояло прожить здесь, в комнате с вечным пятном на стенке. В такое воскресенье ее не посылали в магазин и не отпускали ни к кому из друзей, даже к Томке, которую она «подтягивала» по английскому. Если уходили в гости, брали с

собой ее и Ленечку.

Чаше других бывали у тети Оли, с которой мать в юности дружила, потом раздружилась, а теперь снова начала дружить. У тети Оли была дочка, тоже Оля, но дочка жила в интернате, а не дома. Зато тети-Олина мать Ксения всегда была дома. Олька почему-то побаивалась Ксении, ее распушенных по плечам седых волос, пухлого лица и постоянной пьяноватой улыбки. Мать говорила, что Ксения – настоящая писательница, но рукописей ее никогда не печатала. Ни одной написанной Ксенией книги Олька не видела, хоть специально спрашивала в библиотеке.

Проще всего было с бабой Натой. Она совсем старенькая, намного старше бабушки, и ходит согнувшись, будто уронила булавку и не может найти; все делает по дому сама, даже в магазин сама ходит. Баба Ната очень радуется Олькиному приходу, хотя часто называет ее Таинькой: «Ты на матку свою похожа, одно лицо». Она всегда спрашивает про бабушку: «Как бабенька твоя, здорова?». Слово «бабенька» звучало смешно и одновременно ласково, так никто не говорил, но, увидев в книжке в очередной раз слово «маменька», Олька перестала удивляться. Баба Ната всегда угощала их с Ленечкой конфетами «коровка». Олька не любила конфет и отдавала свою брату. Пока Ленечка наслаждался тягучей вязкой сладостью, баба Ната тихонько говорила:

– Я ж помню всех Ивановых, с Матреной-то мы однолетки, только Господь ее прибрал рано, Царствие Небесное и ей, и Григорию, – и крестилась, поднимая старенькое лицо.

От бабы Наты не надо было убегать, даже в такое пустое воскресенье.

В конце концов оно подходило к концу, и на очереди маячил понедельник – первый день ежедневного настоящего бегства, в школу. Оставалось прожить только одну ночь. Засыпать в этой комнате было почти так же трудно, как бодрствовать, но, к счастью, ночью убежать было легче: нужно только подложить под щеку угол одеяла, как она делала всегда, а с закрытыми глазами быстро переносишься в бабушкину комнату, где в большом овальном зеркале отражаются лампы, и от этого делается спокойно и уютно, а за окном дребезжат трамваи. Каждую ночь Оля засыпала там, у бабушки, где в последний раз уснула, подсунув под щеку угол одеяла, четыре с лишним года назад.

Понедельник, скорее бы понедельник!

Однако от следующего понедельника никакой радости не предвидится: 1 января, Новый год. Плюс еще десять бесполезных дней – попробуй кому-нибудь признайся, что лучше бы никаких каникул не было вовсе. «Ну, ты загнешь!» – сказала бы Томка. Дня через два-три выдадут табель – вторая четверть самая короткая: нахватаешь троек, а исправлять почти что некогда, вот как с алгеброй.

Часто, когда не хочется делать уроки, она бездумно перебирала в ранце тетради и учебники – еще один вид бегства, только на короткие дистанции. Зная все обложки и корешки наизусть, Оля не переставала удивляться безобидным, домашним каким-то фамилиям авторов: размазня Киселев придумал «Геометрию», а тихий старичок Рыбкин – задачи к ней. Старательный Перышкин написал «Физику» (перышком писал?), а самый скучный учебник – «Литературу» – некий Зерчанинов: судя по фамилии, близкий к народу, колющийся ниве, богатому урожаю «характеристик и образов героев». «Алгебру» сочинил Барсуков: человек явно

хмурый, недружелюбный, отчего и наука его казалась Ольке невразумительной. До сих пор как-то удавалось выплывать на контрольных, однако в алгебре, и без того трудной, замаячили зловещие провалы... «Смотри, Иванова, – предупредила математичка, – в следующий раз я тебе четверку не выведу. А ведь можешь и на “пять” заниматься; повтори хорошенько в каникулы».

Предстояло еще одно бегство – в темную нору барсуковой алгебры.

И на елки придется с Ленечкой ходить. Снимать с него в гардеробе шубу, упихивать шапку в рукав, чтоб не потерялась, а потом торчать в зале, где у елки сидит маскарадный Дед Мороз, а вокруг горохом малышня рассыпалась. Опять в Доме офицеров та же самая пожилая Снегурочка будет выдавать подарки по пригласительным билетам и скажет Ольке те же слова, что в прошлом году: «Ты уже слишком взрослая для елки», – и нахмурится, но сунет в руки два мешочка из слюды. Ленечка захочет открыть свой прямо в трамвае: «Одну мандари-и-инку...» – «Дома».

Потому что дома у Ленечки будет продолжение праздника: он разворошит хрустящий мешок и вытащит пачку печенья за 16 копеек, несколько конфет с лохматыми, как у комет на картинках, хвостами – такие вешают на елку, – шоколадку, карамельную мелочь в неотличимых тусклых завертках и – наконец! – вожделенную мандаринку.

Если у матери будет хорошее настроение, может отпустить на каток, особенно если за ней зайдет Томка. Томка умеет кланяться: «Теть Тая, ну пожалуйста! У нас все в классе ходят. Ваша Оля так хорошо катается; ну пожалуйста, тетя Тая...»

При посторонних мать и Сержант любят быть великодушными. Он первым и

буркнет неохотно: «Да ладно, пускай идет». После этого мать тяжело вздохнет и разведет руками: «Если отец разрешает...» В такие моменты Олька ненавидела их одинаково за притворство, за то, что выпендриваются перед Томкой, а больше всего за слово «отец», которое так легко разменивала мать. Томка ничего этого не знает – просто таращится на обоих честными-пречестными глазами, словно от их разрешения зависят все ее каникулы. Вот перед Томкой было стыдно – она ведь за нее просила, потому что сама Олька, с тех пор как придумала «правило номер один», никогда его не нарушала: не просила.

Тут мать беспомощно взмахивала рукой: «Иди, так и быть. Только не поздно!».

Пока не передумали, надо было успеть одеться, схватить коньки – и смыться; жалко, что не навсегда. Потому что не так хотелось на каток, как просто уйти оттуда, убежать по-настоящему. Томка самоотверженно врала: каталась Олька вовсе не «здорово», никаких пируэтов на льду делать не умела, но коньки, бабушкин подарок, и ловкость скольжения, которую они давали, очень любила.

На улице у Томки сразу менялся и взгляд, и голос.

– Ну ёкэлэмэнэ, чего это они у тебя? На каток провожают, как на фронт. Ты чего, наказана?

Томке не объяснишь, что накажут потом, когда наступит воскресенье и она соберется к бабушке. Мать беспомощно разведет руками: «Что же получается, Ляля: то ты на каток уходишь, то... в гости?» Просто сказать: «к бабушке» она не может; будет хрустеть пальцами и покачивать головой: «Не знаю, не знаю; по-моему, многовато развлечений. А, Володя?» Сержант подхватит, конечно: «Нечего, нечего». И все. Приказы не обсуждаются.

– Слышь, а у твоей мамы классный маникюр! – восхищается Томка.

Они уже сидят в гардеробе и шнуруют коньки. Томка поминутно оглядывается – не появился ли Гоша из седьмого «Б», куда же ей без Гоши. Ольке почти расхотелось кататься. Томка не заметила, что разрешение было дано с ловушкой, а сама она прошлапила, балда, хотя такое уже было раньше, в тот раз, когда ее позвали Илья и Лилька из девятой квартиры. Близнецы люди опытные – они начали правильно: «Дядь Володя, а можно Оле с нами на каток?». Сержант надулся от важности: «Как мать скажет; не знаю». Илья с Лилькой топтались в прихожей, пока шел «педсовет». Наконец ее милостиво отпустили, а когда вернулись, то близнецы, гремя коньками по лестнице, пошли к себе на пятый этаж, и вот тут-то началось... Олька про себя называла это «беседой с дефективным ребенком»: чуткие родители задают вопросы и сами же на них отвечают.

Тебе что было сказано? – Только не поздно!

Ты когда явилась? – В восемь часов!

Ты что, не видела, что на улице темно? – Видела!

Почему не пришла, когда стемнело? – Не сочла нужным!

Слушая этот дурацкий речитатив, Олька распутывала узел на шнурках. Потом высохнет – не развяжешь, придется шнурки резать.

– С тобой говорят или не с тобой? – возвысил голос Сержант, но сам себе не ответил, а продолжал: – В глаза смотри, кому говорю!

Слыша его ор, невозможно было поверить или представить хоть на секунду, что этот человек знает такие изумительные слова, как *аллегretto*, *сонатина*, *леонкавалло*... дивные, сказочные слова, в которые вплетаются названия нот:

франческо-до-ре-ми-ни, а почему и откуда взялось «ни», Олька не знала, но оно совсем не мешало, только длило последнюю ноту – «ми»: *франческо-до-ре-ми-ни-ни-ни...*

– В глаза смотри, я сколько раз повторять должен!

Схватил шнурок, и конек упал ей на ногу. Дернул за руку, когда она присела от боли.

В сдавленной груди словно что-то взорвалось. Разлетелось на кусочки «правило номер два», доказав тем самым свою абсолютную бессмертность, и лучше всех понимала это она сама, крича в запале:

– Да? В глаза? Кому «в глаза», вас двое; кому?.. И я не поздно пришла – это зимой темнеет рано, каждый дурак знает!

Еще можно было затормозить, остановиться, когда они торжествующе переглянулись – так торжествующе, что он даже не замахнулся на нее; нельзя было больше говорить ни слова, но Ольку заносило, как на льду при слишком крутом наклоне:

– В восемь часов – поздно?! А когда без двадцати десять за хлебом посылаете, то это не поздно? Не темно, да?

– В воскресенье, – кротко подытожила мать, – из дому ни ногой, раз тебе в тягость даже за хлебом для семьи сходить. Это понятно, надеюсь?

Это было понятно задолго до вынесения приговора, еще когда они с близнецами только шли к катку. Ловушка, очередная ловушка; как доверчиво она в нее попалась. Сама виновата: надо себя вести, как Оцеола, когда его взяли в плен: невозможно молчать, и чтобы ни один мускул на лице не дрогнул; только так.

...И не видела свое напряженное, испуганное, перекошенное отчаянием лицо.

Настя аккуратно повесила пальто. В комнате никого не было. Оно и к лучшему: видеть никого не хотелось. Настроение, такое уверенное и ровное целый вечер, вконец испортилось. Не то чтоб она ждала от Карла какой-то благодарности за то, что крутилась на кухне (хотя мог бы и спасибо сказать, между прочим), нет, ни на что подобное она не рассчитывала. Хотелось нормального человеческого разговора, а вместо этого...

Дверь рывком распахнулась, и влетела Зинка с банкой болгарского лечо в руке.

— Ты не знаешь, мать, куда наша открывалка подевалась? А то хожу, побираюсь, как неродная.

Зинка села за стол:

— Лечо будешь? Ах, ты же из гостей... А то присоединяйся?

Мотнув головой, Настя устроилась на кровати, набросив на ноги бабулин шерстяной платок, и раскрыла книгу, заложенную старым письмом. Конверт напомнил о немецкой тетке, но Зинке можно рассказать, когда с теткой будет какая-то определенность, не сейчас.

«— У тебя славный домик, — сказал старый Джолион, пристально глядя на сына. — Ты снимаешь его?»

Молодой Джолион кивнул.

— Хотя самый район мне не нравится, — сказал старый Джолион, — очень убогий.

Молодой Джолион ответил:

– Да, у нас убого».

Уж и убого, удивилась Настена. Снимают целый дом – муж с женой и двумя детьми, да еще псина! – и богатый папаша недоволен, что район плохой. Целый дом снимать, это же какие деньги надо иметь, а у них, видите ли, «убого». Странно, что не заметила, когда в первый раз читала. Или забыла? Ее однокурсница, недавно вышедшая замуж, рассказывала, с каким трудом они сняли квартиру – однокомнатную, понятно, а зачем больше-то? – только чтобы с родителями не жить.

– Ты где с твоим будете Новый год встречать? – спросила Зинка. – Решили уже?

– Карл не хочет оставлять Ларису Павловну, – ответила Настя.

– Карл у Клары украл кораллы, – подхватила Зинка со смехом. – Ну, посидите с ней. Посмотрите вместе «Голубой огонек», у них ведь даже телик есть. Потом Ларису Павловну твою – в тряпки, пусть спит, а вы к нам приезжайте.

– Куда к вам, в общагу?

– А, я тебе не говорила? Мы у Сереги встречаем. Толян из плавания приходит, там еще какая-то пара будет, я их не знаю, и чувак один. Я уже договорилась с парикмахершей: мать, говорю, у меня мужик с моря приходит, ты ж понимаешь. Толян еще не знает ничего; ну, я ему... полотно Верещагина «Апофеоз войны» воссоздам. Чтоб в другой раз неповадно было.

Зинкина фраза ее рассмешила, хотя что уж тут смешного.

«И вместе со сладкой свежестью весеннего ветра на Сомса нахлынули воспоминания – воспоминания о его сватовстве».

Подождет со своим сватовством. Она отложила книгу: на нее «нахлынули воспоминания» совсем о другом.

...Странное это было ощущение: вернуться из дому – домой. Казенная комната общаги больше подходила под понятие дома, чем новая родительская квартира. Настя уверенно распахнула дверь.

Зинка стояла в одной комбинашке и натягивала чулок.

– Привет! У тебя что, отгул?

– Отгу-у-л, – мрачно протянула Зинка. – Смотри, мать, чтоб на тебя такой отгул не свалился. В больницу еду.

– Что с тобой? Заболела?

Зинка старательно выровняла шов, задрав ногу, и только закончив, ответила:

– Хуже. Залетела я, мать.

Она засунула в сумку халат, тапочки и выдернула из стакана зубную щетку.

– Так и будешь стоять с чемоданом, как на вокзале? Лучше проводила бы меня. Толян, гад, в море; пусть только вернется. А я даже не сразу поняла, че это мне ниче не хочется, а это вот тебе на...

Зинка продолжала рассказывать уже в такси. Таксисту несколько раз пришлось останавливаться, потому что ее рвало. Почему-то Насте было очень стыдно, и ей казалось, что пожилой шофер давно понял, куда и зачем они едут.

Регистратуру миновали быстро: Зинка чуть не опоздала.

– Вот, мать, как выглядит наш абортарий, – сквозь зубы процедила она. – Хорошо, что я жратву взяла: сейчас-то смотреть на нее не могу, а вечером знаешь, как захочется?

– Тут разве не кормят?

– Тут поко-о-ормят! – весело отозвалась Зинка. – Потом долго лечиться будешь. Нет, спасибо; ешьте сами с волосами, – и она приветливо похлопала по раздутой сумке.

Договорились, что Настя приедет за ней, «как только позвоню, сама не едь».

– Трымчук Зинаида! – объявила толстая медсестра, и Зинка, махнув на прощанье рукой, скрылась за дверью.

На обратном пути хватило времени подумать обо всем сразу, хотя трудно было избавиться от вида унылых бежевых стен коридора, у которых стояли, прислонившись, ожидавшие своей очереди женщины – все в домашних халатах и тапках. Одни оживленно переговаривались, другие переминались с ноги на ногу и смотреть друг на друга избегали. Не было ни одного стула, ни даже скамейки. Интересно, все ли принесли, как Зинка, пятерку на наркоз – вдруг не нашлось пятерки, а ведь если наркоз, то... это больно? И почему в больнице наркоз не дают?

Через два дня Зинка все растолковала: наркоз просто так, «за бесплатно», не дают, хоть разбейся; откуда я знаю, почему? Небось врачам тоже жить надо, вот почему. А у кого пятерки нет, те покряхтят да поохают, не треснут. Лишь бы потом все чисто было, секешь?

Говорить Зинке было нелегко: она ела бутерброд с толстым куском ветчины и черпала ложкой баклажанную икру из пол-литровой банки, периодически откладывая ложку на перевернутую латунную крышку, чтобы поправить сползающую ветчину.

У них в комнате, как и во всех остальных, стояли четыре кровати. Одна, у самой двери, всегда пустовала. Кровать у шкафа занимала тихая девушка Даце. Известно

было, что Даче приехала из деревни, работала на сборке радиоприемников и пела в заводском хоре, чем особенно гордилась. Из-за частых спевов Даче часто отсутствовала вечерами. Иногда она оставалась ночевать у тетки – та жила совсем близко от клуба. По-русски Даче говорила хорошо, но с акцентом; вероятно, из-за этого разговаривала неохотно, но Зинку это не смущало:

– Ты, мать, пой, да дело разумеи: предупреждай, когда у тебя спевки. А то придешь не вовремя...

Даче заливалась румянцем, а Зинка хохотала:

– Ну ты даешь, мать! Не красней, не красней: ты в своем хоре *споешься* с кем-нибудь, так сама запираешься будешь!

Вечерами, когда Настя ходила на лекции, Зинка запиралась со своим Толяном, или, как она называла его, говоря с другими, Анатолием. Видела Настя этого Анатолия: тощий верзила с хриплым голосом и столь немногочисленными зубами, что неловко было смотреть, как он смеется, а смеялся он охотно, в том числе и над своей беззубостью. Зато беззубый Анатолий в свои двадцать девять лет думает о будущем. Сначала, говорит, кооператив построим («правильно, Зинуля?»), а потом и зубы можно вставить. Зинка над ним трясется. Сама она не красавица: небольшого роста, коренастенькая и так плотно сбитая, что для шеи и талии пространства не осталось. Это компенсировалось быстротой движений, живым веснушчатым личиком и смышленными карими глазами. Густые русые волосы торчат от начеса короткими острыми шипами: «Толяну нравится». Работала Зинка не на конвейере, а в заводской столовой, и гордилась этим не меньше, чем Даче своим хором. «Вот посмотришь, мать, какую я сервировочку закачу на нашу свадьбу. Все сама сделаю, я

уже почти договорилась – можно будет в малом банкетном зале».

Зинка любила говорить о том, как они с Толяном поженятся, о свадьбе – у них все было решено и ничего не могло измениться, и Насте казалось, что даже дежурная в общаге знала об этих планах и потому никогда не заглядывала в их комнату во время ежевечернего рейда.

– Ну вот, – Зинка облизала ложку, – теперь хоть жить можно, а то я жуть как наголодалась: ничего есть не могла. Ты что читаешь?

– Могу вслух, – улыбнулась Настена, – слушай.

«Рыбу унесли – чудесную дуврскую камбалу. И Билсон подала бутылку шампанского, закутанную вокруг горлышка белой салфеткой.

Сомс сказал:

– Шампанское сухое.

Подали отбивные котлеты, украшенные розовой гофрированной бумагой. Джун отказалась от них, и снова наступило молчание.

Сомс сказал:

– Советую тебе съесть котлету, Джун. Большие ничего не будет.

Но Джун снова отказалась, и котлеты унесли.

Ирэн спросила:

– Фил, вы слышали моего дрозда?

Босини ответил:

– Как же! Он теперь заливается по-весеннему. Я еще в сквере его слышал, когда шел сюда.

– Он такая прелесть!

– Прикажете салату, сэр?

Унесли и жареных цыплят.

Заговорил Сомс:

– Спаржа неважная. Босини, стаканчик хереса к сладкому? Джун, ты совсем ничего не пьешь!»

После паузы Зинка спросила с интересом:

– Что за книжка?

– Голсуорси. «Сага о Форсайтах».

– Ну и имена у них у всех – язык сломаешь! Я чего не поняла: он советует котлету съесть, а потом вдруг: «цыплят унесли». Выходит, и цыплята были?

Настя пожалала плечами:

– Вообще не понимаю, зачем еды столько – и рыба, и котлеты, и цыплята?
«Прикажете салату, сэр?»

– А вот здесь ты, мать, не права, – строго ответила Зинка. – Нормальный ужин, и подают по всем правилам: сперва рыбу, потом мясо.

– Зачем два раза мясо? Котлеты же были, в розовых бумажках.

– Котлеты мясные – свинина там или баранина, а...

– А цыплята что – фрукты? Цыплята тоже мясо.

– Цыплята – это птица, как мясо и не считаются, потому подают отдельно. Это нам шеф-повар объяснял. Вот на нашей свадьбе я тебе полный курс обеспечу: и рыбу, и мясо, и птицу.

Зинка погрузилась в свадебные мечты, а Настена вернулась в столовую к Сомсу, где, несмотря на безукоризненную, если верить Зинке, подачу блюд, никто едой не

интересовался, что можно было бы простить влюбленному нахалу архитектору, но остальные-то? Джун, конечно, переживает: Ирэн, с собственным мужем под боком, строит глазки ее жениху, милое дело.

Настя почувствовала, что хочет есть. Зря отказалась от Зинкиного лечо. Невольно сравнила сегодняшнее застолье с форсайтовским и хмыкнула про себя: что-что, а «птица» – курица с рисом – была, и крылышко было вкусное, поджаристое. И салат вкусный. «Прикажете салату, сэр?»

На тумбочке лежал том Голсуорси из университетской библиотеки – на английском. Его-то и следовало читать для подготовки курсовой работы, но какой дурак будет ползать по словарю, чтобы понять, что они там едят (вернее, отказываются есть), если книжка есть на русском? Перед встречей с руководителем надо будет, конечно, прочесть по-английски главу-другую, тем более что там кто-то еще до Насти подчеркнул трудные слова и любезно написал на полях перевод, а то иди знай, что такое asparagus, десерт или рыба?

«Сага» на русском была точь-в-точь такая же, как та, что она увидела в школьной библиотеке: толстая, в зеленом переплете с обтерханными уголками. Из трех слов названия не вызывал сомнения только предлог. Открыла наугад, пролистала несколько страниц, наткнулась на непонятный тревожный диалог, а потом целую неделю ходила, как околдованная, боясь только, что книга вот-вот кончится. Она кончилась, но ничего другого читать долго не хотелось: «Сага» не отпускала. Когда Настена пришла ее сдавать, библиотекарьша обрадовалась:

– Так быстро прочитала? Вот молодец, а то на эту книжку очередь – Валентина Петровна спрашивала.

Эта? – изумилась Настена, но изумилась про себя.

Валентина Петровна вела литературу. Почему эта вечно раздраженная женщина выбрала такое занятие, вместо того чтобы принимать посылки на почте или работать на том же шарикоподшипниковом заводе, где мать, Настя не понимала. Уроки у Валентины Петровны были такие, что все писатели странным образом походили друг на друга, как сами уроки, но Валентина Петровна славилась строгостью и «высокой требовательностью к учащимся», как она сама с гордостью об этом говорила. «Ты что, сдохла бы, если бы Пушкина немножко почитала?!» – дотошно вопрошала Валентина Петровна на уроке и ждала ответа. Благодаря ей появилось выражение «болотный контингент», куда школьная администрация заносила имена слабых и не очень слабых троечников, обреченных на поразительно похожие характеристики. Большинство этих выпускников, действительно, оседали «на болоте», благо работы здесь хватало. Настя поежилась: если б не хороший аттестат в сочетании с «исключительной усидчивостью», гнить бы ей сейчас в том же контингенте.

И этой Валентине Петровне – «Форсайтов»?!

Спустя два с лишним года, увидев в списке курсовых работ тему «Семейная драма как отражение социальных конфликтов на материале романа Голсуорси «Сага о Форсайтах», Настя без колебания вписала свою фамилию. Так на тумбочке поселился Голсуорси на родном для автора языке, а рядом – на родном Настином.

«Очень перспективная тема, – одобрил руководитель, – может лечь в основу дипломной работы. Социальный аспект – это сейчас самое потенциальное направление...»

Преподаватель носил странную, не удобную в обиходе фамилию Присуха и седоватую эспаньолку, которая прежде была светло-русой, а к тому времени, как обладатель достиг ученой степени, поседела, отчего вид имела то ли выгоревший, то ли запыленный, как и негустая шевелюра, некогда бывшая буйной копной. Вообще при несуразной фамилии внешность доцент Присуха имел совершенно ординарную, если не считать эспаньолки: сероглазый, усталый, костюм носил тоже серый, а сорочку светлую, в частую полоску, и галстук тоже полосатый, но по диагонали, как шлагбаум. Кузнецова, похоже, студентка ответственная, если рискнула взять такую тему, думал руководитель, хотя откуда в ее возрасте понять трагедию Сомса?

Студентка Кузнецова, в свою очередь, слушала, как легко доцент Присуха говорит на языке книги, которую он, пожилой человек, просто не способен понять.

Договорились, что Настя займется библиографией, а встретятся они сразу после Нового года.

...Чтобы перестать думать о сегодняшнем вечере, она сосредоточилась на английском тексте: «...*she behaved as if she didn't care whether she broke her neck or not! What was it she said: "I don't care if I never get home?"*».

Зинка чем-то шуршала и шелестела, потом крикнула: «Держи!», и Насте на одеяло упала половинка шоколадной плитки в разорванной фольге.

– Не знаю, чем тебя там угощали, только ты замороженная какая-то, – заметила Зинка. – Он чего себе думает?

Настя перечитала конец фразы: «...*she said: "I don't care if I never get home?"*» – и только потом взглянула на подругу:

– Кто?

– Кто, кто... Дед Пихто! Сколько вы уже ходите, два года? А жениться он собирается?

«*And I'm not altogether surprised...*» – Кто не удивлен, этот Тимоти, или как его там?

– Мы еще ничего не решили, – сдержанно ответила Настя.

– Ну ты даешь, мать! Как дружить в одной кровати, так он решительный, а как расписаться по-людски, так «мы ничего не решили».

Настена откусила коричневый квадратик и прочла еще раз: «*I don't care if I never get home*». Отложила книжку в сторону:

– Но ведь вы с Анатолием тоже не расписаны.

– Я последней душой буду, если Толян мне не сделает предложение! – запальчиво крикнула Зинка. – Вот на Новый год и сделает, посмотришь. Он думает, – Зинка сощурилась, – я так и буду по абортариям мотаться? Так вот же и нет! Первый раз прощается, второй раз запрещается, а я уже три раза там ночевала – спасибо, хватит; четвертого раза не будет.

– А твои... знают уже?

– Родичи? Узнают, когда на свадьбу приглашу. Маманя в каждом письме пишет: «Смотри, Зинка, не гуляй». Будто сами они не гуляли, ёкэлэмэнэ... Надо знать, с кем можно гулять, а с кем нет. У нас в Днепропетровске была одна девчонка, так она начала ходить с одним. Он на шахте работал. Клевый такой парень, многим нравился, даже которым постарше. Способный; дали ему на шахте рекомендацию, чтоб в Москву ехать – поступать в институт. Стал он ходить на какие-то курсы. Он на курсы, а Галька вроде как не у дел, и встречаться почти перестали: то он угля дает –

отличник производства, ёкэлэмэнэ, то в институт готовится... Хороший шоколад, скажи?

– Шоколад классный; дальше-то что?

Зинка аккуратно запеленала в фольгу остаток шоколадки и положила на тумбочку.

– Дальше было – вам, любознательные. Этот уже на работе отвальную устроил, и они там киряли; маманя его чемодан собирает. Галька к нему, а маманя на нее ноль внимания: «Сани дома нету». Галька туда, сюда... Кинулась в управление: так, мол, и так, ваш отличник производства... А там, как назло, одно бабье сидело. Видим, говорят, что отличник. Хихикают и нагло так смотрят на Гальку, а та из-за пуза даже босоножки свои не видит. И ведь знали все, сволочи, что он ходит с Галькой – и бабы эти, и маманя его. Зато уж и наслушалась она про девичью честь – на всю жизнь нахлебалась. Отличник производства покатыл в Москву наукам обучаться, а Галька – в дальнюю станицу рожать, у ней там родня нашлась.

Настена снова раскрыла книгу, напрочь не помня, о чем она читала несколько минут назад.

– Так что думай, – неожиданно сказала Зинка.

«It did not occur to him to wonder what...» Кому «оссур»? Или этому второму, как его?... Пожала плечами:

– Жалко девчонку, конечно.

Зинка пружинисто прыгнула на пол, хлопнула дверцей тумбочки и начала шарить внутри.

– Печенье где-то было, целая пачка... Ладно, фиг с ним. Ой, а вот и открывалка

наша! Сама же и сунула, перед больницей. Сгущенку открыть?

Не отрываясь от книги, Настя помотала головой.

Зинка шелестела оберткой шоколадки. Повернулась к Насте:

– Вот и твой, между прочим, поматросит и бросит.

Настя вспыхнула:

– Он на курсы едет, повышения квалификации. С чего ты взяла?..

– Ну! – подхватила Зинка. – И тоже в Москву? Как тот, Галькин кадр?

«*“Almost rude!” Mrs. Small said to Aunt Hester, when June was gone*».

– Не вижу ничего общего, – реплика прозвучала суховато, и она добавила: –

Разные люди, вот и все дела.

– Мужик до старости дите, – убежденно ответила Зинка, – просто игрушки у них разные. Малые дети машинками забавляются, а как вырастут... – она махнула рукой, не договорив.

«А как вырастут, в вагончики играют», – с горечью подумала Настя, и сразу всплыли обрывки нелепых разговоров Карла. Как-то получается, что Зинка всегда права в насущных делах. Так посмотреть – простенькая девчонка, с этими своими дурацкими присказками. И не сразу поймешь, что Зинка вовсе не простушка, а другие и докапываться не станут. Поженятся они с Толяном, снимут квартиру, а там, смотришь, и кооперативная подоспеет. Еще несколько лет – и сопливый мальчишка будет сидеть на полу, играть с машинкой. Толян вставит новые зубы...

А я?.. Настене стало вдруг так обидно и так жалко себя, что она уткнулась в книгу, стараясь не смотреть в сторону Зинкиной кровати, но глаза как приклеились к одной и той же фразе: «*She was upset*» – *Она была опрокинута. Ее опрокинули.*

Ерунда какая-то. Кого опрокинули, Джун?! Конечно, одно дело – заливать родителям, как она найдет себе работу по специальности, а другое – найти такую работу. А жить где? Ирэн потому и плевать, попадет она домой или нет, что скоро она переедет в новый дом – вернее, не переедет, но без угла все равно не останется; Зинка с Толяном строят кооператив, а ей где жить? Из общаги вытурят, как только уйдет из цеха. «*She was upset*». Это я – *upset*, вот что. Хотя... Еще не вечер.

И я не такая размазня, как Джун.

Табеля выдали после третьего урока и сразу отпустили домой. Девочки дошли до троллейбуса и остановились. Томка предложила пойти в кино, «раз такая лафа».

– А что идет?

– «А если это любовь?» – Томка закатила глаза, отчего стало ясно: любовь, и двух мнений быть не может.

– Так мы же смотрели, – Ольга вытащила из кармана варежки.

– Я еще раз хочу.

Они попрощались. Ольке не хотелось в темный зал, хотя бы и полупустой в дневной сеанс, потому что легко было представить, как Томка будет красноречиво вздыхать и поглядывать на нее, приглашая разделить переживания. Когда смотрели фильм, Ольга добросовестно пыталась проникнуться любовью героев, но все казалось ей неестественным, только учителя похожи на настоящих. А когда Ксения бежала, говорила или плакала, то ясно было, что бежит, плачет и говорит молодая красивая артистка, а никакая не школьница. Да и форму они там не носят; интересно, почему? Неестественными показались малыши во дворе, которые хором дразнили Ксению – этим-то что? И как влюбленные целоваться начали в церкви... Впрочем, настоящих любовных поцелуев Ольга не видела, но во время этой сцены Томка вцепилась ей в рукав мертвой хваткой, явно видя на месте героев себя с Гошей. После того как посмотрели, Томка долго повторяла: «А если это любовь?»

А если нет, думала Ольга, но подруге ничего не говорила.

Она спустилась по узкой улочке – от снега она сейчас казалась шире – и вышла

на Московскую. Обычно громкая и пыльная, сейчас Московская была неузнаваема: бархатно-белая, чистая и почти тихая – снег скрадывал скрежет трамваев.

Дом, где жила бабушка, был самый высокий, и в нескольких окнах уже зажегся свет; зимний полдень скукисился, солнце спряталось, но где-то еще подразумевалось за сплошными серыми облаками; снег стал сиреневым. Бабушкины окна темные – она была на работе, – но могло же случиться, что она вдруг вернулась раньше?

Нет, не могло: на работе табеля не выдают и никого раньше не отпускают. Ольга медленно прошла мимо дома сначала в одну сторону, потом назад. Вспыхнуло еще несколько окон, в некоторых виднелись елки. Пора было возвращаться.

Пока она шла по улице, в домах зажигалось все больше окон, идти было легко и весело. Только бы не промочить ноги: это потащит за собой новую ангину, поликлинику и страшный сон про старух на кровати, который снится ей всякий раз, как только поднимается температура.

Чем больше появлялось светящихся окон, тем чаще она замечала елки. Некоторые из них сверкали разноцветными огоньками гирлянд; такие гирлянды она видела не только на «больших» официальных елках, но и у крестных, а также на пятом этаже, где живут Илья с Лилькой.

Вдруг все окна одновременно как-то потускнели, будто выцвели: зажглись уличные фонари. Она не заглядывала в окна, а просто *смотрела* их, как Ленечка смотрит диафильмы. Смотреть окна было намного интереснее, потому что, в отличие от диафильмов, где под картинкой есть подпись, окна чужих домов были в полном Олькином распоряжении, независимо от воли тех, кто за этими окнами жил. Да ей и не было никакого дела до этих людей – она их не знала, и поэтому было

намного интересней и проще их придумать, как она придумала себе ежевечернюю игру с окнами – давно, в четвертом классе, когда уроки в школе были во вторую смену.

Придуманные люди жили по-разному. Самыми счастливыми были обладатели абажуров, потому что человек, заботливо облекший обыкновенную лампочку уютной оранжевой полусферой, просто не может жить плохо. И – занавески; не тяжелые мрачные шторы, способные задушить даже ласковое тепло абажура, а тюлевые, кружевные, ажурные, иногда собранные посередине, приоткрывающие все тот же лучащийся уютом абажур, который непременно должен висеть над столом, где собирается семья. Четверо, например, или пятеро человек, и каждый из этих четверых или пятерых любит всех остальных – и его все любят.

Из-за плотных штор свет едва пробивается, поэтому непонятно, есть ли там абажур. Если есть, то шторы его душили; но могло не быть, а вместо него висела, например, хрустальная люстра, свет которой не успокаивал, а раздражал глаза хозяев дома, отчего они сами становились раздражительными, вспыльчивыми и решительно задергивали свои шторы. Попадались окна нарядные, словно праздничная витрина: сквозь затейливые ажурные занавески лился мягкий свет, хотя самого абажура видно не было; между рамами уместились елочные игрушки, и даже шторы, если они были, совсем не выглядели угрюмо или зловеще и никогда не задергивались, а заботливо окружали с обеих сторон занавески. Из одного такого окна струился нежный зеленый свет. Лампу под зеленым абажуром Оляка видела только на картинке в учебнике истории, где был изображен кабинет Ленина в Кремле.

Все чаще в окнах появлялся конкурент абажуру – мерцающий голубоватый свет телевизора. Ольга телевизор не любила, и не потому, что у них телевизора не было, а просто он казался ей унылым по сравнению с цветными диафильмами, не говоря о настоящих окнах, о которых никому и никогда не рассказывала.

Она растягивала дорогу домой изо всех сил и основательно замерзла. Оставался один квартал. Все внутри словно сжалось в плотный ком, как плотный тяжелый снежок. Так происходило всякий раз, когда она приближалась к дому; от этого становилось еще холоднее.

Теперь светились почти все окна в домах, но Ольга скользила по ним глазами и механически считала елки, сбиваясь со счета, думая о другом, и только задержала взгляд на окне, напоминавшем бабушкино – так плотно подоконник был уставлен комнатными цветами. В здании напротив, где находилось транспортное управление, не было ни занавесок, ни абажуров, ни елок, а только мелькали фигуры людей, которые управляли транспортом.

Вот и дом. К парадному ведут две ступеньки. Нижняя похожа на оттопыренную нижнюю губу с поперечным шрамом посередине. Теперь главное – не задерживаться: вперед, мимо зеркала – зачем-то поправила шапочку, хотя сейчас снимать, – вторая дверь, квартира № 11. Очень хотелось согреться, и чтобы Сержанта не было дома.

Однако квартира № 11 встретила такими новостями, что ни мать, ни Сержант не стали пилить ее за позднее возвращение и, похоже, забыли про табель.

И не удивительно: пришло письмо от матери Сержанта!

Такие истории описывались в газетах, о них рассказывали по радио: люди, потерявшиеся во время войны, находили друг друга. Мужчина-диктор говорил мягко

и задушевно, а потом в микрофон врывался заполошный, растерянный женский голос: «...я уже потеряла всякую надежду».

Таисия с мужем сидели за столом, выхватывая друг у друга из рук листок; рядом лежал разорванный конверт. Ленечка медленно перекапывал в тарелке манную кашу. Самое время было «заткнуться в угол», что Ольга и сделала, тем более что «Отверженных» пора было возвращать в библиотеку.

– Нет, с ума сойти, честное слово! С ума сойти! – восклицала Таечка.

Убедившись, что это относится не к ней, Ольга пыталась вернуться к «Отверженным», но читать не получалось. Это не радиопередача – это происходит прямо здесь, уже произошло, потому что пришло письмо из Кременчуга, так всех взбудоражившее, что мать повторяла свое «с ума сойти», а Сержант сидел с глупой растерянной улыбкой.

...Было от чего сойти с ума, но такое редко происходит с людьми от радости. А вот как женщина, отлучившаяся на вокзале за кипятком, не сошла с ума, когда вернулась с этим чертовым кипятком и нашла у вагона с эвакуированными только дочку, а пятилетнего сынишки нигде не было? Как она не бросила чайник, не завыла, не кинулась его искать, волоча за собой ревушую девчонку, всего-то шести лет от роду, как она не сошла с ума от горя?.. Или так все и было: завыла, метнулась искать по всему вокзалу и наверняка упустила свой поезд? А что было дальше, приоткрылось только сейчас, хотя продолжалось двадцать лет.

«Я, Володенька, еще проклятая война не кончилась, как во все детские дома писать стала. Что пять лет, мол, тебе было, и с какого вокзала ты потерялся.

Фамилия, говорю, ему Лазаревич, и что ты знал, как тебя зовут, и маму, и сестричку Мусю – помнишь Мусю, Володенька? Тебе сейчас двадцать шесть, а Мусенька на год тебя старше... Мы ведь не знаем даже, как ты сейчас выглядишь, а маленький на папу был похож. И в каждый детдом я твои детские фотокарточки отсылала...»

Шла в фотоателье, доставала из сумки старую фотокарточку с обломанными уголками, просила – в который раз! – переснять. И рассылала, рассылала, рассылала. Наверное, приходила в одно и то же место, где приемщица давно ее знала и ни о чем не спрашивала: выписывала квитанцию и засовывала драгоценную фотокарточку в ящик. Сколько таких квитанций скопилось? Ведь она их не выбрасывала, суеверная женщина, не могла выбросить.

«Потом, Володенька, я про Ташкент узнала, что тебя в тамошний детдом отправили. Приезжаю, а мне говорят: у нас, мамаша, двое было: один Лазуркович по фамилии, а другой Лазаревич, как вы запрашивали. Что вокзал донецкий, нам ничего не дает, потому как детей к нам из распределителя присылают. У меня, Володенька, сердце зашло, а тут бумагу приносят, что Лазаревич Владимир окончил семилетку и что тебя отправили в музыкальное училище: талант у тебя к музыке. Фотографию мне заведующая показала, у ней под стеклом лежит. Я смотрю, а слезы так на стекло и капают, так и капают; не вижу ничего. Узнала тебя сразу: какой же ты красивый, Володенька, и вылитый папа».

Все это время Олька сидела неподвижно, но в этот момент чуть не расхохоталась. Сержант – красивый! Она незаметно посмотрела на сидящих и

вздрыгнула: Сержант плакал. Обильные слезы лились по беспомощному покрасневшему лицу, он собирал их пальцами в уголках глаз, словно пытаясь вдавить обратно, но слезы продолжали течь и неслышно падали на скатерть. «Как у той... как у его матери, когда на стекло», – Ольга опустила глаза в книгу: «*ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Последствия торжества*». Мужчина за столом всхлипывал громко, как ребенок; потом закашлялся, с сипеньем и хлюпаньем, всегда сопровождающими приступ кашля, и быстро вышел, жадно хватая воздух открытым ртом.

Ленечка захныкал.

– Дай мама поцелует, – рассеянно сказала Таечка. – Ты почему кашу не доел?

И повернувшись к дочери, спросила:

– Ну, как тебе нравится? Вот-вот приедет, как только напишем ответ.

– Кто приедет?

– Ну кто. Родственница у нас объявилась, ты же слышала. Вот, прислала, – она вытащила из конверта и протянула фотографию.

Ольга всмотрелась в худое морщинистое лицо.

– Как ее зовут? – спросила осторожно.

– Дора, – мать пожала плечами. – Будешь называть ее «бабушка Дора». Сколько времени? – спохватилась и посмотрела на часы. – Седьмой час; хорошо бы к Танте съездить посоветоваться. Куда эту Дору класть, ума не приложу, сами с трудом умещаемся. Ты собирайся пока и Лешку одевай, поедете с нами.

Из коридора доносился воющий кашель, но интервалы между спазмами становились длиннее, приступ утихал.

В наглухо застегнутой шинели и надвинутой на лоб ушанке, Сержант в такси

совсем не был похож на плачущего человека за столом, и девочке представилось на миг, что тот, плачущий, остался у стола, а в такси сидит обыкновенный Сержант, которого она привыкла видеть каждый день.

Когда приехали к крестным, в прихожей началась радостная суматоха. Тоня упрекала за редкие приходы и тут же извинялась за скромное угощение: «У нас пост». Таечка значительно объявила: «Мы по делу», что вызвало веселые шутки, но Тоня встревожилась, не подавая виду. Вскоре все расселись вокруг стола – все, кроме Ленечки, который замер при виде высокой наряженной елки. Ольга присела было к столу, а потом, тихонько соскользнув со стула, умостила в кресле, где принялась за «Отверженных».

Она привыкла, что в затруднительных ситуациях все родные приходят сюда, в этот дом. Крестные жили не там и не так, как остальные члены некогда обширной семьи: у них была просторная квартира, и не на «форштадте», а в самом центре. В квартире были все удобства, много места и паркетные полы, но все это не мешало отношениям с другими – наоборот, позволяло помочь, а порой и дать прибежище менее благополучным родственникам. Тоня была крестной матерью всех своих немалочисленных племянников, а затем, по инерции или традиции, внуков своей старшей сестры и братьев; Федор Федорович неизменно был крестным отцом.

– Лелечка, – повернулся он к Ольке, – принеси мне, детка, очки из кабинета, я на письменном столе оставил.

В кабинете многое изменилось. Теперь здесь находился телевизор, а на том месте, где когда-то стояла кровать – последняя кровать Олькиной прабабки, – теперь была широкая тахта. Что-то еще изменилось. Девочка внимательно огляделась.

Кушетка! Исчезла кушетка, на которой любил отдыхать крестный. Как часто ей снилась эта комната, с чужими старухами, сидящими в ряд на белой кровати!..

– Спасибо, детка.

Крестный аккуратно вынул из конверта письмо и погрузился в чтение; жена носила из кухни тарелки.

– Леля! – слышался ее высокий, сильный голос, и Оля радостно бросилась на кухню.

Пока она помогала накрывать на стол, Тоня сделала ей несколько бутербродов, ловко подкладывая на тарелку то одно, то другое: «И вот этот салатик попробуй, я по новому рецепту делала; пальчики оближешь...», поэтому за столом Оля делать было нечего. Не удержалась: съела ломтик селедки, лоснящийся от масла, а потом «вот этот салатик», оказавшийся необычайно вкусным, вернулась в кресло к «Отверженным» и продолжала читать, одновременно прислушиваясь к беседе.

Крестная не восклицала «с ума сойти» – она не сводила глаз с гостей, ухитряясь в то же время вставлять: «пирог с капустой», «селедочку попробуй...» Федор Федорович медленно проводил ладонью по щеке – Оля знала этот жест столько же, сколько его самого, – слушал, не перебивая и, в отличие от жены, ни на кого не смотрел, обводя комнату рассеянным взглядом. По этому рассеянному взгляду ясно было, что слушает внимательно. Очки отложил – значит, письмо прочитано. *«Получив письмо, Фантина целый день не выпускала его из рук. Вечером она зашла к цирюльнику, заведение которого находилось на углу, и вынула из прически гребень. Чудесные белокурые волосы покрыли ее до пояса».*

Оля представила, как она входит в парикмахерскую – парикмахерская

поблизости от дома тоже находилась на углу – и расплетает косы. До пояса... нет, до пояса, пожалуй, волосы немножко не достают, но в это время парикмахерша оторвется от чьей-то наполовину завитой головы и лениво спросит: «Тебе чего, девочка?». Она перевернула страницу.

«– Какие замечательные волосы! – вскричал цирюльник.

– А сколько бы вы дали мне за них? – спросила она.

– Десять франков».

Интересно, сколько это – десять франков, как десять рублей? Если да, то новыми, конечно. И хорошо, если в парикмахерской не будет народу, а то сразу начнут вопить: «Почему без очереди?».

– Танта, – голос матери звучал трагично, – разве я не имею права на мать? Она мне родной человек, и я хочу по-человечески. Зачем же меня отталкивать, танта?

Олька украдкой скосила глаза к столу. Крестная (только мать называла ее «тантой») была растеряна; Федор Федорович нежно дышал на стеклышки очков, протирали их платком и так внимательно всматривался в результат своих усилий, словно ему отшибло слух. *«Она купила вязаную юбку и отослала ее Тенардьё».*

– Я так думаю, мать есть мать, – вклинился Сержант. – Теща у меня, конечно, с характером, но с моей матерью они бы поладили. Мы хотим ее в гости пригласить, познакомить... Чтоб все как у людей. Я бы сам пригласил, но у меня своя гордость есть.

Он обиженно замолк.

«Эта юбка привела супругов Тенардьё в ярость. Они хотели получить деньги», а Сержант и мать хотят помириться с бабушкой. Олька делала вид, что внимательно

читает, а сама зажмурилась от страха. Когда-то в кино она видела фильм, пущенный задом наперед, – это было смешно и жутковато. Неужели ей и бабушке придется прокрутить назад эти четыре с лишним года, вернуться, пятясь, подпрыгивающими быстрыми шажками, в тот жуткий ноябрь, в детскую комнату милиции, а ей самой прожить еще почти пять лет там, где она живет сейчас?.. *«Фантина выбросила зеркало за окошко. Она давно уже перебралась из своей комнатки на третьем этаже в мансарду под самой крышей».*

– Фактически получается, что я сирота при живой матери, – горько произнесла Таечка.

– Скажи спасибо, что при живой, – обронил крестный и поднялся. – Нарзан принесу, – пояснил жене, – изжога у меня.

Он стоял посреди кухни и медленно пил колкую пузырящуюся воду, прислушиваясь, как крохотные пузырьки боксировали внутри друг с другом. Хотелось оттянуть возвращение в столовую. Ощущение, удивительно напоминающее изжогу, появлялось у Федора Федоровича всякий раз, когда он видел Таечкиного мужа. Никакого рационального объяснения он, медик, найти этому не мог и потому называл изжогой. И совсем уж было не понятно, почему Тайнька ему все время подыгрывает, вот как в конфликте с матерью. Он осторожно потер живот: мешала тяжесть в районе солнечного сплетения. Почему «конфликт», не было никакого конфликта, просто Ира наотрез отказалась видиться и разговаривать с дочкой. Тайка сама же и виновата: нет, чтобы прийти к матери, объяснить: хочу, мол, чтобы дети росли вместе; или что там ею двигало. Куда там! Явилась с милицией, устроила скандал, стоивший Ирине инфаркта, а теперь жалуется: «сирота при живой матери»,

«хочу, как у людей». Что за фарисейство... Сама разве сделала, «как у людей»?

Уже вернувшись за стол и следя за беседой, Федор Федорович наблюдал за мужем племянницы. Письмо, он видел, произвело на Тоню такое же сильное впечатление, как на него самого. Как, интересно, такое потрясение может отразиться на этом жестком человеке, изменится ли в нем что-нибудь? Мельком взглянув на говорившего, Федор Федорович поразился: глаза блестели, и в них светилась глубокая нежность, а лицо и голос были полны воодушевления. «Да он совсем мальчишка, – неожиданно подумал Федор Федорович, – мальчишка, зачем-то отрастивший усы. Вот кто был сиротой, при живой, как выяснилось, матери. Он, а не Тайка. А теперь вот мать отыскалась. Слава Богу».

– Как же вы разместитесь впятером? – озабоченно спросила Тоня. – Где вы спать положите человека?

– Ума не приложу, – Таечка медленно покачала головой, – не представляю. Наверное, купим раскладушку, пусть еще одна будет. Если складывать на ночь стол и ставить к окну...

– Пожилой женщине на раскладушке будет неудобно, детка. Купите кресло-кровать. Места занимает мало, раскладывается легко, – теперь Федор Федорович смотрел на крестницу, но не улыбался.

– Кресло-кровать нам не по карману, – криво усмехнулась та, – раскладушка-то шестнадцать рублей стоит, это мы себе позволить еще можем.

«...ему нужны сто франков, и притом немедленно; в противном случае он вышвырнет Козетту, хотя она только еще оправляется после тяжелой болезни, на холод, на улицу...»

– Можно не тратиться на мебель, – Федор Федорович коротко глянул на девочку в кресле и понизил голос, – можно ничего не тратить, а просто, – он заговорил совсем тихо, – пусть Леленька поживет у Иры. Школа рядом, тебе меньше хлопот...

– Это исключается, – твердо ответила Таечка, – ребенок должен жить интересами семьи. К тому же, если ее отправить к матушке, мне потом месяцами придется расхлебывать последствия.

«Какие последствия, о чем она? Ведь только что говорила, что хочет наладить контакт», – Федор Федорович потянулся к нарзану.

– Но зато, – Тоня тоже заговорила тише, – Леленька поможет вам, наконец, столкнуться. – Она с воодушевлением продолжала: – Может, сестра немножко оттает, а вы через Лелю пригласите ее в гости, познакомите с Дорой. Подумай, Тайка!

«Не менее странное действие произвела эта фраза и на Фантину. Она подняла голую руку и схватилась за печную заслонку, словно у нее вдруг закружилась голова. Потом оглянулась по сторонам и заговорила тихо, словно про себя:

– На свободу! Меня отпустят! Значит, я не сяду в тюрьму...»

– Для моей матушки дверь в наш дом всегда открыта, – так же твердо и громко ответила крестница, – и она это знает.

Федор Федорович поморщился:

– Подожди, детка; подожди. Давай все-таки решим, как вы разместитесь.

– В тесноте, да не в обиде! – запальчиво отозвалась Таечка.

– Комната не резиновая, – покачал головой Федор Федорович. – Можно сделать иначе: пусть Леленька ночует здесь, у нас, а дни проводит дома, как следует быть.

Таким образом, – торопливо добавил, – не нужно покупать ни раскладушку, ни кресло-кровать, и складывать стол тоже не нужно. Ну?

Олька боялась поднять глаза. Ну?.. «– *Приказываю отпустить эту женщину на свободу*».

Таечка покачала головой, потом посмотрела на часы и поднялась.

– Ляля! Собирайся. Дома дочитаешь.

«– *Ступайте*, – сказал Мадлен.

Жавер принял этот удар грудью, как русский солдат, не дрогнув, не опустив глаза. Он низко поклонился господину мэру и вышел».

В прихожей, как обычно, все топтались, мешая друг другу. Тоня переглянулась с мужем и полезла в сумочку, Федор Федорович пошел в кабинет за бумажником. «Возьми, возьми, ты должна принять свекровь достойно, как следует быть», – и оба совали Таечке деньги в карман пальто.

Спустя еще какое-то время, убирая посуду в буфет, Тоня повернулась к мужу:

– Пока то до се, приедет эта Дора, осмотрится, а потом, наверное, надо к нам пригласить. Однако с сестрой как быть?

Федор Федорович пожал плечами:

– Не ломай себе голову: мать приезжает к сыну, двадцать лет не виделись. Какое «пригласить», кому это нужно? А потом что – «приезжайте к нам в Кременчуг»? Или письма будешь писать? Успокойся.

Тоня задернула занавески, расправила складки и задумчиво, безо всякой связи со сказанным ранее, произнесла:

– Все-таки я не понимаю: ну что Ирине нужно?..

«Не понимаю: чего ей надо, этой Ирэн?..»

Настя раскрыла книгу, и Зинкина фраза словно выскользнула из нее вместе с закладкой.

Пока она продиралась через английский текст, Зинка проглотила роман залпом, а потом, когда Настя по вечерам уходила на лекции, внимательно перечитывала, встречая подругу очередным возмущенным – или восхищенным – замечанием.

Сегодня Зинки не было: на завод приехала иностранная делегация, в столовой шла подготовка к торжественному банкету, и Зинка торчала на работе допоздна. Это не мешало ей возобновлять с Настей разговор о Форсайтах так, словно речь шла об ее собственных родственниках.

Благодаря доценту Присухе Настя привыкла произносить имя героини так, как произносили его в Англии: Айрин, но переубеждать подругу не стала. Зинку раздражало в героине буквально все, включая «дурацкое» имя.

Работа над курсовой шла, к удовлетворению доцента Присухи, очень успешно. Он не только не скрывал своего удовлетворения, но и собирался представить курсовую на конкурс студенческих научных работ. Каждый раз он с особым нажимом говорил о перспективной теме, из которой «вырастет ваша дипломная работа». Потом спохватывался и напоминал о социальном аспекте, хотя, по мнению Насти, почти вся библиография состояла из этого аспекта. Сначала она опасалась, что завязнет в английских литературоведческих статьях, но Присуха ободряюще улыбался: все не так страшно, мисс Кузнецова; главное, проработайте список

тщательно.

Тщательной проработке следовало в первую очередь подвергнуть работу В. И. Ленина «Государство и революция», в которой щедро цитировался труд Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Все критические статьи, в свою очередь, сводились к этим двум работам, так что список библиографии напоминал не то матрешку, не то набор разнокалиберных детских формочек для песочницы, ладно вкладывающихся одна в другую. Бесхитрость социального аспекта настолько вдохновила мисс Кузнецову, что она быстро покончила с библиографией и с упоением погрузилась в «Сагу». Она ухитрялась прочитывать несколько страниц даже в обеденный перерыв, а потом, сидя за конвейером, все еще видела растерянного Сомса – «Собственника», только что узнавшего об уходе жены, брала в руки очередную телефонную трубку, поправляла микрофон внутри, чтобы находился ровно по центру, в то время как натренированные пальцы привычно и бездумно навинчивали крышечку с отверстием-дуплом, и отправляла трубку плыть по конвейеру дальше.

Когда она читала роман впервые, он тоже захватил ее, но иначе, не так, как сейчас. Тогда было жалко немногословную красавицу Ирэн, которая безгранично презирала богатого преуспевающего мужа, самозабвенно полюбила дерзкого архитектора и предпочла благополучной жизни одиночество и отчаяние. Теперь – всего-то несколько лет спустя! – Настя обнаружила, что красавица Ирэн, с ее презрением, любовью и одиночеством, становится для нее все более непонятной, причем на обоих языках. Тем не менее она спорила с Зинкой, отстаивая и защищая прежнюю, близкую ей Ирэн, и малодушно прибегала даже к «социальному

аспекту»: а куда, мол, в том обществе было деваться бесприданнице, как не замуж за богатого?..

– Ну ты даешь, мать, – фыркнула Зинка. – Ее что, на улицу выгоняли? Куда деваться... Сидеть и не рыпаться, вот куда. дождалась бы симпатичного, если Сомс ей оказался не хорош. Кто ее замуж гнал? Она что, в девках засиделась? Нет! Однако же за Сомса выскочила... И, главное, сначала пять раз заворачивала его, какой мужик такое бы терпел?

– Да плохо ей было с Сомсом, как ты не понимаешь? Она и не знала, что такое настоящая любовь, пока Босини не встретила!

– Ну так и шла бы к своему Босини, раз так. А то – сам не ам и другому не дам. Подруге жизнь поломала – жениха увела; крутила с ним у всех на виду, и Сомс видел. Зачем мужика позорила?

Вначале Настя слушала немножко снисходительно, но мало-помалу жесткая Зинкина житейская правда одерживала верх. Как всегда, в каждодневных делах Зинка оказывалась права, если только семейную драму викторианской Англии можно назвать каждодневностью. Бледнел и становился бессильным «социальный аспект», несмотря на всю обещанную Присухой перспективность, и семья как важнейшая первичная ячейка общества не объясняла трагическую жизнь этих двоих людей.

Многое в книге так и осталось загадочным, на каком языке ни читай: биржа... вложения... какие-то падающие консоли (это ведь из архитектуры?), разговоры о близящейся войне, хотя до Первой мировой минимум десять лет. Скользила глазами по невразумительным консолям, как делала в детстве, когда непонятные слова из

захватывающей книжки просто отбрасываются; но человеческая боль не отпускала.

То же самое происходило с Зинкой: она настолько сжилась с Форсайтами, что легко и непринужденно находила самые неожиданные аналогии: «вот у нас в Днепропетровске одна тоже гуляла от мужа» или: «слышь, у нас на трубном похожий случай был...». Эти параллели смешили Настю: представить себе старого Джолиона в Днепропетровске было все равно что поселить его на «болоте», где рабочие в конце дня толпятся у ларьков «ПИВО – ВОДЫ», в которых никаких «вод» отродясь не было. Отсмеявшись, пробовала «перенести» героев на «болото», и стало еще смешней: хороша была бы Ирэн, в вечернем платье, с обнаженными плечами, на шарикоподшипниковом заводе! Однако где можно было представить себе этих людей, в их безнадежно старомодных нарядах, но с чувствами и поступками, не подвластными времени, чтобы не получилась карикатура? Да хотя бы здесь, в Старом Городе: и Сомс, и Босини, и старый Джолион со своей тростью – все безукоризненно в него бы вписались! Представить это не составляло никакого труда: читая, Настя видела всех Форсайтов именно здесь, и тогда уличные электрические фонари превращались в газовые, улочки Сохо и Уэст Энда мало чем отличались от тех, по которым она ходит каждый день, и красавица Ирэн так же естественно выглядела бы в квартире у Карла, за пианино. Правда, у него не было пианино, но ничто не помешало бы ему стоять в углу столовой – торцом к окну, например. Встречаясь с Карлом, Настя охотно рассказывала о работе над курсовой, снисходительно посмеиваясь про себя: ну что технари в этом понимают!

Карлушка внимательно слушал, иногда задавал вопросы, казавшиеся ей наивными, но главное, он перестал говорить о сценарии, что, по правде говоря,

давно пора было сделать. Да и о чем там можно говорить, в самом деле? Она добросовестно прочитала этот «Вагон» – название было напечатано почему-то с твердым знаком на конце, – терпеливо ожидая, когда же начнется действие, появятся герои, начнут что-то говорить?.. Ничуть не бывало: никаких реплик, диалогов; ничего не происходит. Трамвай едет по улице – вот и все. Ничего удивительного, что Герман Карлович его не поставил – там нечего ставить, это обыкновенный черновик, набросок чего-то; не более того.

Так прямолинейно высказаться о рукописи «классика кинематографии», только что умершего, было невозможно, поэтому Настя энергично похвалила «интересный замысел», после чего как-то сами собой высочили слова о единстве места и времени действия и о том, как важно сохранить архив Германа Карловича; в целом получилось очень достойно.

От удивления не осталось места для обиды.

Лучше бы она ничего не говорила, просто вернула бы рукопись. Или улыбнулась бы – не снисходительно, а своей обычной улыбкой, когда на щеке появляется милая ямочка.

Лучше бы он не давал ей читать рукопись. Вот если б можно было открутить события назад, как иногда показывают в кино, и герой пятится смешными шажками, словно его ритмично дергают за веревочку; его одежда за несколько секунд взлетает обратно к вешалкам и повисает неподвижно, а сам он, недавно вставший с постели, притягивается к ней обратно, словно магнитом, и скрывается в сугробе одеяла. Или, что совсем жутко, старик стремительно молодеет и превращается в юношу, каким он

был в начале фильма – никакого «единства времени». Если бы вот так же рукопись, не дойдя до Настиных рук, послушно легла обратно в тонкую папку, ее створки захлопнулись бы сами собой и тесемки снова связались в бантик, похожий на кукиш. Либо он просто оставил бы сценарий лежать в черной отцовской папке, откуда тот вышел на свет – и никому оказался не нужен, и чем дальше, тем меньше шансов, что понадобится.

В сущности, Настины слова ничего не изменили, потому что непрошенная и безнадежная мысль, что фильм никогда не будет снят, появилась прежде этих слов. Только отец, и никто другой, мог вдохнуть жизнь в этот сценарий. Карл листал – в который раз! – рукопись и пытался увидеть незамысловатые картинки так, как их видел отец. Получалось плохо. Толстяк с тростью, садившийся в трамвай у газетного киоска, смахивал на соседа-старика с мемуарами; торговка, которая везла яблоки, неуловимо напоминала продавщицу из овощного магазина, и только улыбающаяся барышня никем не могла быть, кроме как самой собою, сошедшей со старой ростовской фотографии. Почему Карлушка был уверен, что это именно она, он не сумел бы объяснить.

Сейчас смешным выглядел поход в литературную студию, из которой только и запомнились стихи о драдедамовом платке (так и не выяснил, что это означает) да пьяненькая Ксения с украденным у нее романом. Вздумай он выйти и прочесть сценарий там, наверняка услышал бы что-то похожее на сказанное Настей.

А может быть, на филфаке принято так изъясняться?

Карлушка ровно уложил все пять экземпляров в черную папку – навсегда. Трамвай подошел к конечной остановке, вагон остановился, пассажиры вышли – нет,

замерли и остались сидеть, как сидели, на своих местах. Когда-нибудь он вернется к отцовскому архиву; когда-нибудь, не скоро. Пока старался не думать об этом, чтобы не возвращаться мысленно к сценарию.

Помогало то, что ни с кем, кроме Насти, он на эту тему не говорил – и с нею тоже говорить перестал. Зато мешала взявшаяся откуда-то привычка пристально вглядываться в улицы, дома и вывески, чтобы увидеть город так, как умел видеть отец. Город стал другим, твердил он себе, и гасил неудобную пристальность взгляда, словно менял фокус фотоаппарата. Внимательно слушал Настю и в то же время наблюдал, как сиреневые голуби ходят по краю мостовой, упруго отталкиваясь друг от друга, как отодвинулась занавеска на окне, на миг возникла женская фигура, и руки с закатанными рукавами поставили синюю эмалированную кастрюлю. Занавески сомкнулись, Настин голос продолжал звучать. Посмеиваясь, она описывала своего руководителя – в ее рассказах он выходил похожим на одного из Форсайтов, – хотя Карлушка ничего смешного, кроме фамилии, в нем не находил, зато угадывал в этом человеке одержимость сродни его собственной над несостоявшимся фильмом – ничего похожего он не испытывал на работе.

– Он фанатик, конечно, – кивнула Настя. – У него все защищается по «Сage».

Про себя подумала, что такой энтузиазм вполне объясним, например, неудачно сложившейся личной жизнью. Это подтверждали рубашки доцента Присухи: все они были каких-то неопределенных то ли серых, то ли бежевых тонов, как будто он умышленно покупал немаркие, пока она не догадалась вдруг, что рубашки эти были некогда белыми, а теперь просто застираны. Когда Присуха поворачивал голову или кивал особенно энергично, то на внутренней стороне воротничка был виден

пришитый номерок прачечной с многообещающим началом «314», напомнившим число «пи», и едва ли не такой же длинный. Холостяк, решила Настя, или жена – корова ленивая. Отводила взгляд от прачечных цифр и сосредоточивалась на беседе.

Пока Настя наблюдала за доцентом Присухой, сам он составил определенное мнение о студентке Кузнецовой, в результате чего индифферентная вежливость сменилась вначале удивлением, а затем интересом. Его интерес не имел никакого отношения к красноречивым намекам Настиных однокурсниц («присушила ты Присуху»), да Присуха и не знал об их перемигиваниях, зато видел, что Кузнецова работает вдумчиво и целенаправленно, и за это доцент прощал ее неуклюжий, беспомощный язык изложения, когда пишущий не думает на английском, а переводит с русского, нагромождая сложные периоды, которые довели бы автора «Саги» до ярости или гомерического хохота, случись ему таковые прочесть.

Дмитрий Иванович Присуха внимательно проверял тезисы работы и нещадно правил синтаксические конструкции, чтобы мысли, четкие и неожиданно зрелые, не проигрывали от способа их передачи. Что-что, а работать девица умеет, этого не отнять. Социальный аспект осенял своим могучим крылом курсовую работу и делал ее неуязвимой для придирок, что позволило студентке сделать жертвой общества потребления... Сомса! Собственника, которого кто только не клеймил, противопоставляя ему несчастную страдалицу Ирэн, читай Айрин.

В этом месте он так разволновался, что ослабил узел галстука, встал из-за стола и начал ходить по комнате. Интересно, сколько ей лет, Кузнецовой этой, что она с такой легкостью усвоила «правила игры», как он это называл, которые позволяют высказать и защитить столь крамольный тезис? В том-то и дело, что барышне лет

двадцать или немногим больше, но дело, пожалуй, не в возрасте, а в привычной *советскости* мышления, коей он сам так до конца и не проникся. Да, кто-то из его университетских товарищей сумел-таки *осоветиться*, другие молча приняли правила игры, открывавшие дорогу к докторским диссертациям и кафедрам в Москве и Ленинграде.

Успехи друзей повергали Присуху в задумчивость, в результате чего появилась кандидатская диссертация, которая и сделала его доцентом Присухой. Тему выбрал безопасную: «Внутренний монолог как важнейшее изобразительное средство в творчестве Голсуорси», ибо в начале 50-х тот же «социальный аспект», например, не был еще такой удобной ширмой, а правила игры менялись часто и непредсказуемо. Диссертацию написал легко, однако защитился не скоро; одну за другой опубликовал несколько изящных статей с академически скучными названиями, а после защиты считался уже специалистом по Голсуорси и вел семинар. Доцент Присуха отлично понимал, что большего едва ли достигнет и в профессорско-преподавательском составе навсегда останется во второй его части, после дефиса.

В течение многих лет он был настолько поглощен «Сагой о Форсайтах» – книгой и своей работой над ней, – что невнимательно и безболезненно пережил два брака (к счастью, бездетных) и соответственно два развода. Наступившая одинокая жизнь его не тяготила: университетская столовая и гастроном неподалеку от дома оставляли желать лучшего, а прачечная находилась в двух кварталах. Возникающий время от времени естественный дискомфорт отвлекал от работы, мешал сконцентрироваться; в такие дни Присуха вспоминал слова друга юности: «Не чурайся добрых женщин, Митенька» – и не чурался. Дамы с кафедры английского

языка и литературы проявляли к нему некоторый интерес, особенно когда он выходил из супружеского периода и вступал в междубрачный, но интерес этот угасал на корню, не будучи поддержан объектом. Романы со студентками, даже пылкими поклонницами «Саги о Форсайтах», Дмитрий Иванович считал дурным вкусом и никогда не заводил. О второй жене Присуха вспоминал довольно часто: она хорошо печатала на машинке, и после развода ему пришлось осваивать трудоемкое искусство самостоятельно: ждала работа – научный труд, который никогда, он это понимал, не будет опубликован, даже если правила игры станут совсем либеральными; разве что сменится сама *игра*. А пока все это не имело ни названия, ни библиографического указателя, без коего никакой научный труд немыслим. Однако, если бы автор вознамерился как-то его назвать, то написал бы на титульном листе... а черт его знает, что бы он написал. Рано об этом думать; ближе к концу работа сама подскажет название, равно как и подзаголовок.

В этой работе – единственно ценной, по мнению Присухи, из всего им написанного, – с кристальной четкостью доказывается, что средоточием и воплощением «форсайтизма» является не кто иной, как... Айрин, она же Ирэн в русском переводе.

Ирэн становится членом клана Форсайтов не по кровному родству, а выйдя замуж за Сомса, человека расчетливого и цепкого, к тому же не только нелюбимого – вызывающего у нее почти гадливость. Сомс помнит свое очередное сватовство: «Схватив ее руку, он прижался к ней губами повыше кисти. Ирэн содрогнулась – до сих пор он не мог забыть ни той дрожи, ни того неудержимого отвращения, которое

было в ее глазах.

Спустя год она уступила».

Спустя четыре года, увидев во взгляде жены «глубоко затаенную неприязнь», Сомс мучится вопросом: «Но зачем же тогда было выходить за меня замуж?». Он требовательно ищет ответа у зеркала; осторожно, исподлобья – во взглядах других людей; он пытается разгадать собственную жену, которая легко сумела очаровать и покорить всех Форсайтов, включая его собственного отца. Даже дамы не устояли перед этим обаянием, и настроение их неохотно начинает меняться под влиянием странных слухов: что, Ирэн в самом деле настаивает на отдельной спальне?.. Новость муссируют вполголоса, со стыдливym недоумением, но отношение к Ирэн не меняется: все по-прежнему ею очарованы. Когда становится известно о ее разрыве с Сомсом, в кругу Форсайтов перестают о ней говорить, однако нет-нет да и прозвучит в воспоминаниях имя Ирэн, ее красота, грация и безукоризненный вкус. Ни для кого не секрет, что она живет здесь же, в Лондоне, в прежнем статусе жены Сомса, не будучи при этом его женой *de facto*. Так продолжается ни много ни мало двенадцать лет, и самое существенное событие этого периода – встреча, после многих лет, Ирэн и старого Джолиона Форсайта: яркая вспышка, озарившая его последние дни перед смертью. Старый Джолион умирает счастливым: последние недели своей жизни он наслаждался красотой и гармонией в лице Ирэн. Этого могло не произойти, если бы Ирэн *сама* не пришла к его дому – дому, некогда построенному Сомсом для нее.

Итак, старый Джолион уходит из жизни и со сцены. На смену ему появляется молодой Джолион – ироничный скептик, художник-акварелист, до сих пор сам

обозначаемый автором легкими акварельными мазками; приходит – и перенимает эстафету отца, став по его воле попечителем Ирэн, и по своей собственной – страстным поклонником ее красоты. Восхищение переходит в любовь. Это чувство, однако же, так и осталось бы восхищенным любованием, ибо одно дело – осуществить посмертную волю отца и регулярно отсылать Ирэн чек из отцовского наследства, а другое... Нет, на другое молодой Джолион не пошел бы никогда в жизни: он свято соблюдает кодекс чести человека своего времени. Созерцать, любоваться – да; ему удастся это делать даже при исполнении неприятнейшей миссии, возложенной на него Сомсом, когда молодой Джолион приходит говорить о разводе.

...Целый пассаж работы Присухи был посвящен этому эпизоду, и жена (вторая) печатала его, не скрывая удовольствия от того, что теперь, слава богу, развод не представляет собой ничего сложного. Сложность для нее заключалась совсем в другом: работа частично была написана по-русски, частично – по-английски; отдельные реплики (а иногда и целые абзацы) Присуха приводил на языке оригинала, сравнивая с переводом и внося в последний коррективы – на его взгляд, совершенно необходимые для «полного проникновения», как он утверждал, в текст. Машинка исправно печатала русскую часть, а для английских вставок жена оставляла пустые места, отчего рукопись напоминала карту с белыми пятнами.

...Уже поняв, что такое для него Ирэн, молодой Джолион передает разговор с Сомсом и задает вопрос, хочет ли она развестись.

«– Я? – вырвалось у нее изумленно. – После двенадцати лет немножко поздно, пожалуй. Не трудно ли это будет?»

Реакция скорее неожиданная, тем более что в оригинале «*“I?” The word seemed startled out of her*». Это оторопь, испуг, ошарашенность. Что странно: было бы естественней, если бы она обрадовалась – ведь, еще живя с мужем, она хотела уйти и просила отпустить ее. И почему Ирэн заботит, что это «немножко поздно, пожалуй», – пусть бы Сомс об этом беспокоился? Молодой Джолион удивлен, но удивление отходит на второй план и скоро забывается, вытесненное восхищением, болью, сочувствием и... любовью, в которой он так и не может признаться.

– Митя, английские куски будешь вписывать сам. Я вообще не понимаю, зачем тебе это надо: все люди как люди, цитируют по-русски. А у тебя прямо салон Анны Шерер, в самом деле.

Кисть жены скользнула по клавиатуре машинки, и несколько костлявых рычагов поднялись – и тут же опустились обратно.

– И потом, – продолжала она, – вот этот кусок – отдельная работа, целая статья, понимаешь? Я уже не говорю, сколько ты времени на него грохнул. Смотри, двенадцать страниц. Отошли в сборник, что ли... В самом деле.

Присуха сбился с диктовки: он отлично знал, что должно идти дальше, пока она не начала говорить... И продолжает, а ведь он сбился с мысли:

– Ну, хочешь, я договорюсь с девочками на кафедре насчет машинки? На воскресенье точно дадут.

Насчет машинки... Машинки?

– Какой машинки, чем тебе эта плоха? – он кивнул на облезлую «Олимпию»; пусть облезлая, зато печатает отменно.

– Английскую машинку, Митя, – терпеливо объясняла жена, пока он раскуривал

потухшую папиросу. – А не хочешь на кафедре, я попробую в библиотеке выпросить. На один день-то дадут, в самом деле.

Не сразу, но выяснилось, что она говорит об одном отрывке: взять, мол, и впечатать, «а то посылать неудобно». Куда посылать (и куда его потом могут послать), она не задумывалась. Женщина, что с нее... Присуха не умел объяснить, что нет здесь самостоятельных отрывков, нет, понимаешь? Это одно целое, и нечего из него салат крошить, сколько раз... А чего ты орешь сразу, ну чего, в самом деле? Ну не хочешь – и не надо, Митя, черт с ним, со сборником, а только можно в эти... ну, в «Чтения» какие-то в Ленинграде, помнишь, ты говорил?

Он останавливался несколько раз – да что там, много раз останавливался, – вот так, внезапно, сраженный непроходимой глухотой любимой, как ему казалось, женщины; потом круто разворачивался и уходил. Бродил по улицам, курил; вспоминал, что слишком легко одет, но вспоминал об этом слишком поздно, чтобы возвращаться, а возвращаться все-таки приходилось; жена дулась, хмурила обиженно бровки, в глаза смотреть избегала, что тоже было признаком обиды – затяжной, на несколько дней. Это, в свою очередь, означало совершенно бесплодные несколько дней, потому что думалось Присухе лучше всего не за столом, а когда он мерно шагал по комнате, с папиросой или без (мог забыть о куреве на много часов), чтобы вдруг резко затормозить перед машинкой и продолжать с того места, где остановился. Как-то поймал себя на мысли: а что, если?.. Отогнал; второй раз позволил крамольной идее задержаться чуть дольше, а потом хладнокровно прикинул, так ли уж сложна и неодолима наука машинописи? На кафедре как раз появилась новая лаборантка, и одновременно с нею появилась зеленая книжка

«Самоучитель по печатанию на пишущей машинке». Когда лаборантка ушла в столовую, Присуха с безразличным видом полистал полезный учебник, узнал на одной из фотографий собственную «Олимпию» и настолько проникся к книжке доверием, что открыл самую первую страницу, решив начать с азов. Пробежав глазами абзац с неизбежным партийным съездом и его ролью в машинописи, если судить по названию книги, нашел главу «ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ». Первая фраза: «Поставьте машинку клавиатурой к себе» обнадежила настолько, что он положил учебник на место и направился к двери, то ли смеясь, то ли кашляя, – вошедшая лаборантка так и не поняла.

Дома, наедине с «Олимпией», Присуха сел, убрав со стула толстый словарь, и устался на начатую страницу. Почему бы, собственно, не рискнуть? Ведь если один человек придумал пишущую машинку, то другому по силам научиться пользоваться ею... Очень хотелось закончить фразу об изменившихся обстоятельствах, ведь обстоятельства редко меняются сами по себе – мы сами их меняем. Так получилось и с молодым Джолионом – обстоятельства изменил не кто иной, как Ирэн, когда *сама* к нему пришла, – точно так же, как ранее она приходила в этот же дом к его отцу.

На поиск нужной клавиши уходило времени не меньше, чем на точную формулировку. Непривычные к машинке пальцы задевали сразу две кнопочки, отчего железные рычаги вздымались и сцеплялись друг с другом; приходилось их разнимать, и страница вскоре запестрела грязно-серыми пятнами от его пальцев. Каретка упрямо звонила и останавливалась в конце строки, но вовсе не фразы, и он не сразу привык ее перегонять; какие-то буквы прятались, и Дмитрий Иванович

долго всматривался в бессмысленный ряд Ч С М И Т Ь Б Ю Ё, недоумевая, что мешало расставить буквы по алфавиту. Одни отпечатывались четко, другие выходили призрачно-бледными; некоторые двоились, словно отбрасывая тень. Чтобы ускорить процесс, он стал печатать некоторые слова в сокращенном виде. Наконец страница соскользнула с каретки, и он смог насладиться видом с грехом пополам напечатанного листа. Греха было намного больше. Ни ушедшая жена, ни настоящая машинистка не могли видеть его творчества; сам же Присуха остался доволен первой попыткой. «И, между прочим, без нот», – подумал удовлетворенно, представив себе человека, впервые севшего за рояль. «Поставьте инструмент клавиатурой к себе» – интересно, в самоучителях игры на фортепьяно тоже так пишут?

...Итак, сложившиеся по инициативе Ирэн обстоятельства делают возможным объяснение между нею и молодым Джолионом – во всяком случае, молодой Джолион объясняется, тогда как Ирэн ограничивается красноречивым взглядом.

Вот здесь очень пригодилась бы машинка с латинским шрифтом, однако за неимением таковой пришлось довольствоваться интервалом. Позже он впишет строчки из оригинала: «*Those dark eyes clinging to his said as no words could have: "I have come to an end; if you want me, here I am"*» и приведет перевод (весьма, на его взгляд, пошлый и неудовлетворительный): «Эти темные глаза, льнущие к его глазам, говорили, как не могли бы сказать никакие слова: “Я дошла до конца; если ты хочешь меня, бери”». Дама, заговорившая языком кокотки!.. Объяснение, таким образом, состоялось, и через некоторое время Ирэн выходит за молодого Джолиона замуж, то есть разводится с одним Форсайтом, чтобы стать женой другого: дважды

Форсайт в обособленном клане Форсайтов. Можно было бы считать, что все происшедшее – happy end; однако следует еще более счастливое продолжение, ибо от союза Ирэн и молодого Джолиона рождается ребенок.

...Присуха никогда не жалел о своей бездетности. Должно быть, нужно испытывать к женщине необычайно глубокое чувство, чтобы захотелось... продолжения, что ли, себя и ее, но сама эта мысль вызывала недоумение. В нем жил страх, что дети или хотя бы один ребенок навсегда положат конец спокойной налаженной жизни, без которой он себя не мыслил. Или нужно очень хотеть детей, как страстно жаждал сына Сомс Форсайт.

На этом и строится продолжение «Саги», только сын появляется у Ирэн, а Сомс обретает дочь. Сага продолжается, и в ней становится слышен Шекспир: по фатальным законам жанра молодые люди страстно влюбляются друг в друга и сталкиваются с дикой, не понятной им враждой родителей. И здесь не кто иной, как Сомс заставляет себя пойти на объяснение с Ирэн: фактически он приходит просить руки ее сына для своей дочери. Он, Форсайт, собственник номер один! Просит – и получает отказ; еще один отказ от женщины, защищенной своей красотой и обаянием, как... как курсовая работа студентки Кузнецовой защищена социальным аспектом. Ирэн не отпускает сына самой страшной властью – своей любовью; дает ему свободу выбора – и невозможность этой свободой пользоваться.

Так кто здесь более всего «собственник»? Все еще Сомс?

Если бы случилось рассказать кому-то об этой работе, Дмитрий Иванович был бы в большом затруднении и скорее всего бы промолчал: как ни подай, звучит

плоско, почти вульгарно; а главное, в штыки существующим работам. Он не нумеровал страницы – зачем? Ведь если бы вдруг появился шанс публикации (откуда бы...), то можно было бы и сосчитать, сколько там листов. Часть так и осталась в рукописи, поскольку начал он в эпоху жены номер один, которая печатать не умела, а тезисы и отдельные соображения записывал еще раньше. Но если собрался бы опубликовать, то пронумеровал бы страницы, нашел расторопную машинистку, а потом взялся бы редактировать: в отдельной папке собралась стопка листов с поправками, а сколько еще появится новых! Сам того не замечая, он все чаще «примерял» эту мысль – вернее, мечту: вот если бы, если бы вдруг... Однако правила игры пока не менялись.

Доценту Присухе и в голову не приходило, насколько отдельные его соображения и тезисы совпадают с таковыми Зинки Трымчук, едва ли знающей слово «тезис».

Прав оказался Федор Федорович: прием гости – матери, свекрови и бабушки – занял в жизни Лазаревичей такое значительное место, что было не до гостей: к себе не приглашали, да и сами никого не навещали, что при сложившихся обстоятельствах было только естественно. Об этом Федор Федорович и говорил жене незадолго до Нового года, хотя сам убедиться в своей правоте не смог, потому что за три дня до приезда Доры он упал с инфарктом. Не «слег», что нередко случалось с людьми его возраста, а именно упал – и не встал. Тоня, наполовину ослепшая от слез, забыла все и вся, кроме своего горя, что уж говорить о незнакомой Тайкиной свекрови из Кременчуга.

Киевский поезд прибывал вечером. Встречать отправились вдвоем, Оля с братишкой остались дома. Ленечка задавал одни и те же вопросы:

- Это папина бабушка приезжает?
- Нет, это папина мама, а твоя бабушка.
- Как бабушка Ира?
- Да нет же, бабушка Ира – мамина мама.
- Она мамина мама, а твоя бабушка?
- Моя и твоя, понимаешь?

На очередном: «А новая бабушка скоро приедет?» Оля достала фильмоскоп и коробку с диафильмами. Ленечка обрадовался, но в этот момент в прихожей зажегся свет. Там уже топали, отряхивая снег, и громко разговаривали. Первой вошла Таисия, празднично улыбаясь, следом гостья; за ее спиной маячила шинель.

Ольку поразила в первую очередь шуба – просторная, как мантия, только персикового цвета, а главное – нейлоновая. Они только начали мелькать на улицах, но авторитет нейлоновой шубы стремительно вытеснил привычные глазу каракуль, цигейку и прочих котиков – настолько, что эти шубы добывали – «доставали» – с бешеной переплатой.

– Ленечка... Олечка...

Дора вытянула руки вперед и сгребла обоих, прикрыв полами нейлонового великолепия и крепко прижав детей к себе. Хотела сказать что-то ласковое, но только повторяла: «Ленечка, Олечка».

Ольке мешал фильмоскоп, который она все еще держала в руках и боялась уронить. Наконец Дора разжала объятия. Сняв шубу, она оказалась высокой и сутулой худощавой старухой, очень живой, с мелкими и быстрыми движениями. Только обилие морщин, пожалуй, и делало ее старухой, все остальное в Доре: губная помада, ярко-черные волосы без единой сединки да та же модная шуба – старуху отрицало. Единственное, что внешне роднило ее с сыном, был высокий рост. Темные блестящие глаза смотрели радостно и тревожно. Метнулась к чемодану: «Я вам тут подарки привезла...», но Таечка остановила: «Завтра, завтра. Прошу за стол, что бог послал».

Ольке стало неловко от того, как фальшиво прозвучали слова, тем более что мать накупила в кулинарии кучу вкусных вещей.

– Вот как раз и к столу, – Дора вытащила увесистый промасленный пакет, – Володенька сало очень любил, когда был маленький. У вас тут разве бывает такое сало? – добавила горделиво.

Дора ловко отрезала несколько нежных розоватых ломтей и положила на тарелку. Перед тем как сесть, она нежно и робко погладила сына по волосам и сразу же убрала руку. Олька обратила внимание, что Сержант не называет Дору ни мамой, ни матерью – никак не называет; жадно следит за всеми ее движениями, но ни о чем не спрашивает – только отвечает, когда она обращается к нему.

– Иди ко мне, Ленечка!

Дора усадила малыша к себе на колени и крепко обняла.

– Нет-нет, мне как раз очень удобно, – поспешно отвела невесткины протесты, – а тебе хорошо у бабы, Ленечка?

Жуя сало, Ленечка кивнул, а потом потянулся жирным пальчиком к черной пряди:

– А у бабушки Иры белые волосы.

– И у меня белые! – обрадовалась Дора. – Они у меня белые совсем, потому я и крашу; а так совсем белые.

– Белые, только черные? – Ленечке нужна была ясность.

Все с облегчением рассмеялись.

Олька склонилась над тарелкой. Вчера хоронили крестного. Как они могут смеяться? Ну ладно Сержант – он дядю Федю не любил, и к нему Дора приехала; пусть радуется. Но как мать может смеяться? *«Принеси мне, детка, очки из кабинета»*. В гробу у дяди Феди очков не было, как не было и привычных мешков под глазами, без которых Олька его не помнила. И как страшно было видеть крестную, все лицо в слезах. Олька старалась не смотреть и переводила взгляд на руку с зажатым платком, который тетя Тоня все время подносила к лицу. Чуть в

стороне стояла бабушка.

– ...и с твоей мамой, Таинька, очень хочу встретиться. Она вас, наверно, часто навещает. Хорошо, когда в одном городе. А потом вы все к нам приедете, вместе с мамой. Вы на Украине бывали когда-нибудь?

Дора почти не ела и говорила без умолку и сразу обо всем – вернее, вперемешку. Рассказы о дочери («ты Мусю помнишь, Вовочка? – должен помнить, конечно!») перебивались обрывочным описанием собственных мытарств («только когда из военкомата письмо пришло, я узнала ваш адрес»), и беспокойный взгляд становился на мгновение неподвижным, а сама Дора вдруг замолкала и крепче прижимала к себе сонного Ленечку.

В одно из таких мгновений Олька перевела взгляд с полустершейся губной помады на руки, надеясь увидеть маникюр, но Дорины руки, грубые и изношенные, маникюра не знали. Дора погладила ее по голове, и прикосновение этой грубой, почти мужской, руки оказалось неожиданно легким.

– Какие у тебя косы длинные... Ты в каком классе учишься, Оленька?

– В седьмом.

Хорошо, что она не называет ее дурацким именем «Ляля» и не говорит «Ольга», как Сержант. Хотя лучше уж «Ольга», чем «Ляля». Как называть «бабушку Дору», она еще не придумала. «Дора-дора-помидора», давно крутившееся в голове, совсем не подходило и не годилось для этой черноволосой старухи, особенно после ее рассказа о том злосчастном вокзале двадцатилетней давности. Олька отчетливо видела ее, с дымящимся чайником и почему-то в оранжевой нейлоновой шубе – так отчетливо, словно сама стояла на перроне; какая уж тут «помидора».

Дора хлопотала, собирая тарелки и ласково препираясь с невесткой.

– Ляля сейчас помает.

– Нет-нет, Таинька, я сама; да тут и мыть-то нечего.

– Тем более.

Последние слова были сказаны с нажимом, и Таисия коротко кивнула дочке, что означало «марш на кухню».

Олька стояла у остывшей плиты и мыла тарелки. В голом темном окне отражалась лампочка под потолком, угол кухонного шкафчика и профиль девочки-подростка в клетчатом платье. Было слышно, как стукнула дверь во двор. Она не повернула головы, но знала, что кто-то смотрит, как она сама смотрела на окна, проходя мимо. И занавески, и абажур Таисия считала мещанством и в квартиру не допускала. В комнате, правда, висела люстра, то ли забытая, то ли великодушно оставленная прежним хозяином: два матовых стеклянных плафона в форме тюльпанов на причудливо завитых латунных трубках. В детстве Олька думала, что они золотые. Поскольку люстру не назовешь абажуром (а следовательно, мещанством), ей было позволено висеть. Олька не раз замечала, что матери приятно, когда гости хвалят люстру, хотя она машет рукой и небрежно отвечает: «Остатки былой роскоши». Девочка почти не помнила, а мать охотно забыла жившего в этой квартире дворника, которого трудно было заподозрить в роскоши.

Дора промолчала о голых окнах, но тоже обратила внимание на люстру: «Наверное, старинная?», и Таисия бросила неопределенно: «Более-менее», умолчав о былой роскоши.

Из комнаты слышалось лязганье. Стол передвигают, догадалась Олька.

Шарада размещения Доры так и не была решена, и она не спешила возвращаться в комнату. Опять вспомнился разговор у крестных и мелькнувшая на миг надежда: вдруг разрешат – если не у бабушки, так у них? И как дядя Федя уговаривал... Сколько раз в детстве она там ночевала! Тяжелые кресла сдвигались сиденьями друг к другу, крестный скреплял ножки («чтобы Леленька не упала ночью»), так что получалась глубокая кровать с высокими выпуклыми стенками. Нет, ножки кресел никогда не разъезжались. Она лежала в темноте, прислушиваясь к тихим булькающим звукам аквариума и видя широкое окно эркера, его отражение в трюмо и стеклах буфета. Лежать было так уютно, что жалко было засыпать, однако сон налетал быстро и властно, а утром все выглядело иначе и оказывалось, что аквариум не булькал. Теперь, если б ей разрешили остаться на ночь у крестных, она бы уже не уместилась в креслах. И вдруг поняла, что «крестных» больше нет – есть одна тетя Тоня, крестная.

«Принеси мне, детка, очки из кабинета».

В комнате громко обсуждалось, куда кого положить.

– Вовка на полу поспит, не барин, – задорно говорила Таисия.

– Ну как же так, – Дора всплеснула руками и засмеялась, – я в твоём возрасте, Таинька, не любила, чтобы меня с молодым мужем разлучали. Лучше я на полу лягу.

Сказала – и осеклась. Замолчала, глядя куда-то мимо невестки, потому что как раз в этом возрасте её разлучили с мужем – на «десять лет без права переписки». Так они и тянутся, эти бесконечные десять лет...

Её уложили на диване, рядом со спящим Ленечкой, сами кое-как уместились вдвоем на раскладушке (*«Леленьке будет удобно»*, говорил дядя Федя), и теперь,

когда погасили свет, Оляка боялась пошевелиться, чтобы ее кровать не лязгнула или, чего доброго, не надломилась посредине в первую же Дорину ночь.

Жизнь ощутимо изменилась. В доме вкусно пахло едой и все время было тепло: Дора постоянно что-то готовила. Когда Оляка приходила из школы, на столе появлялась тарелка: «А вот у меня как раз...», хотя больше никого дома не было. «Как раз» случался то куриный суп, почти такой же вкусный, как у тети Тони, хотя Дора сетовала, что лапша из магазина, а не домашняя; или борщ, который Оляка ела у бабушки, но жгучий от перца; или неопишимо вкусное блюдо со смешным названием «ленивые голубцы».

– А почему «ленивые»? – ворочая во рту сочный кусок, с трудом выговорила Оляка.

– Потому что стряпуха поленилась, – засмеялась Дора. – По-хорошему, так надо каждый голубчик завернуть в капусту, как ребеночка пеленают, и уложить в кастрюлю томиться.

Ежедневные яства не обходились без каких-то оладушек, «блинков», рассыпчатого «струцеля», как называла его Дора, которые даже как бы и едой не считались, а – так, заморить червячка, равно как и «печенюшки», которые Дора пекла каждые два-три дня.

– Дора Моисеевна, я же скоро ни в какое платье не влезу, – кокетливо жаловалась невестка. – Ну кто может столько съесть? Да и на базар каждый день ходить ни к чему.

– Зачем на базар? Мне вон соседка все магазины показала. Нам на Украине такое изобилие и не снилось, у вас все есть, чего душа ни пожелает!

– Кто, Клавка-дворничиха? – Таечкина рука замерла над противнем с печеньем. – Эта сплетница?

– Да я ж не сплетничаю ни с кем, – оправдывалась Дора. – Вот с одной женщиной познакомилась, она наверху живет. Внуки близнецы у нее, Оленькины ровесники.

– А-а, старуха эта... Не знаю; вы бы, Дора Моисеевна, лучше меня спросили – чай, не чужие.

Таисия любила вставлять в речь слова, которые встречались в книгах, а в жизни почти никто не употреблял: «намедни», «чай», «нынче», «аккурат» или «давеча»; она смутно различала их смысл и была уверена, что остальные тоже его не знают.

– Не такая уж старуха – моих лет женщина, – вступилась Дора. – Они с Украины приезжие, семья эта. Сколько пережить пришлось, ни в какой книге не рассказать. Там ведь немцы были.

– Здесь тоже были немцы!

– Всем нашим худо пришлось, кто не смог эвакуироваться.

– А если кто и смог? Мы голодали в эвакуации! – не унималась невестка. – В школе, как сейчас помню, холод жуткий. Чернила замерзали; а писали мы на старых газетах, на полях. Вот как было!

Дора кивнула:

– Я помню. Мусенька наша в школу пошла, когда мы жили в эвакуации...

Встречаясь на лестнице с соседями, Дора приветливо здоровалась, как делала дома. Женщину с зычным голосом она иногда видела во дворе, но чаще слышала

трубный бас, призывающий внуков. Разговорились в очереди за ванильными сушками. «У вас тут даже хала продается», – восхитилась Дора. За что получила в ответ: «Ха! Или это хала?!», а потом гордое заверение, что она-то уж эту халу в рот не возьмет; Дора ограничилась сушками и батоном. По дороге домой беседу продолжили, не только уже о хале, и она охотно рассказала, как нашла сына, Володеньку, через двадцать-то лет, подумайте! Слово за слово выяснилось, что собеседница – землячка, из Винницы, где сына как раз потеряла примерно в то же время, когда молодая Дора бежала на вокзале за кипятком. Как?..

Пятилетний сынишка лежал в больнице после тяжелого аппендицита, и врачи категорически не разрешили его везти. Эшелон с эвакуированными вот-вот уходил, муж ушел на фронт еще раньше, и родители мужа настояли, чтобы Роза ехала с дочками: они, мол, поспеют с внуком на следующем.

Следующий эшелон не пришел, зато пришли немцы.

Писала, а как же. Какая больница, и сколько лет было сыну, и что операция тяжелая была, потому что несколько раз у нее спрашивали: «Как же вы, мамаша, двоих детей увезли, а третьего оставили?», точно она по своей воле оставила. Про свекровь со свекром тоже писала, да с ними тетка еще была, старая совсем, а Розиных родителей уже не было в живых. Оно и к лучшему; а как про Арончика моего подумаю, так... лучше бы от аппендицита, правда? Ведь правда же?..

Сейчас Дора смотрела в красивое невесткино лицо с вытянутыми трубочкой губами – у нее часто такое лицо, словно она недовольна чем-то, а ведь счастливая: Володенька при ней, а уж как любит! И дети здоровы, умненькие оба, послушные;

квартиру бы скорей получили, да Володеньке надо врачу показаться, кашляет сильно. А бывает другое счастье, необъяснимое: счастье матери, которая спасла двоих детей, потеряв третьего – и не найдя, а теперь уж едва ли найдет... Сколько дней и ночей за эти годы она подходила к кровати, брала его, с завязанным животом, на руки («лучше б от аппендицита...») и спасала – бежала к поезду, который уходит. Потеряв одного, спасти двоих – и терзаться, что спасла *ценою* этого одного... И никакими словами не объяснить, что мальчик той «старухи», как Таинька безжалостно ее назвала, не успел ни поголодать, ни померзнуть в нетопленной школе, потому что остался в теплой Виннице – навсегда.

А вдруг?... Ведь сама она нашла Володеньку, через двадцать-то лет!

...Таинька не одна такая – с людьми так уж бывает: каждый уверен, что ему пришлось горше, чем другому, вот как с чернилами замерзшими.

Может, завтра женщина пожалеет, что рассказала ей так много, но человек так уж устроен, что должен выговариваться хоть изредка. К тому же Дора ей чужая, приехала и уедет, увезет ее тайну и боль в свой Кременчуг, откуда до Винницы намного ближе, чем досюда.

– Война, Таинька, – медленно сказала Дора. – Редко какая семья не пострадала.

Помолчав, добавила:

– Особенно из наших.

Таисия достала из сумки папиросы и вышла.

Олька слышала, как разговор коснулся Ильки-Лилькиной бабки (ее за глаза называли Боцманом), но поняла не все. Конечно, нашим досталось в войне больше всех – и на фронте, и в тылу, но Дора как-то по-особенному сказала про наших. Или

показалось, и с бабкой-Боцманом это никак не связано?

В тот же вечер мать с Сержантом ушли в кино. Звали и Дору, но та отказалась: «Хочу лечь пораньше». Уложила Ленечку («ты, Оленька, делай уроки, не отвлекайся»), так что можно было спокойно читать «Дневник Анны Франк», наполовину задвинутый собственным школьным дневником. На кухне слышался плеск воды. Дора тихонько звякала тазом. Потом она вышла, в своем ставшем уже привычным халате, пахнущая хвойным мылом. Небольшой узелок волнистых черных волос был чуть влажным.

– Привыкла я, – пояснила зачем-то с извиняющейся улыбкой, – у нас дома ванна, горячая вода. А можно и в тазике помыться.

Развесила полотенце редкой красоты: розовое, с яркими изумрудными и желтыми цветами. Халат у нее тоже был в цветах – мясистых бордовых розах по фиолетовой фланели. Причесав и подколов волосы, повернулась к Ольке:

– Про что книжка, Оленька?

На белой обложке был контур занесенного в шаг сапога и название, больше ничего.

Как ответить, про что – про войну? Про любовь? Про смерть?

– Вот это убежище, где они прятались. Там не только Анна была. Книжная полка отодвигалась, и здесь была лестница.

Дора держала расческу в руке и сжимала ее все крепче, не замечая, что зубья впиваются в руку. Долго смотрела на портрет девочки.

– Правда, она милая какая? – спросила Оля. – Ей здесь тринадцать лет.

Как мне, подумала. Ровно столько же.

– Тоже из наших, – ответила Дора.

Это поставило Ольку в тупик. Ну да, она ж не читала!..

– Нет, – она говорила тихо, чтобы не проснулся Ленечка, – нет, не наша. Она в Голландии жила. Просто имя такое, что оно много где есть. У нас в классе тоже Анна есть, Кудрявцева, но ее все Нюрой зовут. А Анна Франк в Амстердаме жила, это столица Голландии, мы проходили. Я уже дочитываю; хотите, дам почитать?

– Из наших, – повторила Дора. – *А идише мэйделэ*. Ты ложись, Оленька: поздно уже.

Жизнь стала не только вкусной, но и намного более легкой: Дора почти полностью разгрузила Ольку от домашних дел. Разгрузила бы и полностью, если б не заметила невесткиного недовольства, которое та и не пыталась скрыть; однако заметила и пустилась на маленькие хитрости. «Вытри, Оленька, посуду», – и совала ей в руки полотенце, хотя все уже было вытерто, кроме двух-трех блюдецек, или: «Помоги мне накрыть на стол», когда оставалось только принести хлеб. Днем, накормив Ольку обедом («ешь-ешь, вон худенькая какая, прямо *як тріска*»), выпроваживала из дому:

– Ты иди погуляй, погода вон какая хорошая, а на обратном пути зайди за Ленечкой в садик. Ступай-ступай, я полы мыть буду.

Олька убегала, не веря своему счастью, что можно свалить и что полы будет мыть не она, а Дора, которую назвать бабушкой все же не умела. «*Як тріска*», повторяла про себя. Треска, что ли?..

– Ну, классная у тебя бабка! – заявила Томка. – Она к вам надолго?

– Не знаю, – Оляка пожалала плечами.

– Слышь... а как она с батей твоим, через столько лет?

От «бати» Ольку передернуло. Если у Сержанта нашлась мать, то для Ольки он все равно оставался Сержантом, а никаким не «батей».

Она незаметно и внимательно наблюдала за обоими и поняла, что они словно бы стесняются друг друга. Сержант начал почему-то называть Дору «мамашей», и слово это звучало так, будто он шутил. Например, когда кто-то заходил в гости, он представлял ее каким-то дурацким клоунским голосом: «А вот и моя мамаша нашлась!». От этого всем становилось неловко, и Дорина хлопотливость: «Вот чаю, чайку сейчас попьем!» ничему не помогала; печенье, впрочем, все охотно ели и хвалили. Зачем он притворяется, недоумевала и злилась Оляка, она ведь все понимает. Дору было жалко, и Оляка мучилась, что не умеет выразить ей сочувствие.

Старуха не понимала, но чувствовала, что сын фальшивит, фальшивит и знает об этом, – потому, наверное, что абсолютный музыкальный слух неприменим к человеческим отношениям. Не понимала и старалась все исправить и улучшить теми средствами, которые были в ее распоряжении: повкусней и посытней накормить, окружить уютом, чистотой и теплом – всем тем, чего так долго у Володеньки не было, ведь мальчик прямо из детдома попал в казарму. А разве детдом не казарма? Она быстро поняла, что Таисия хозяйка никакая, зато строгая мать (и это хорошо, поспешно добавляла про себя), что тринадцатилетняя девочка дом вести не может: ребенок есть ребенок, ей расти надо. Кабы не отчаянная теснота, пожила бы она здесь годик – да хоть полгода, все же им облегчение. Однако об этом можно было мечтать по ночам, когда все спали, мечтать и готовиться к возвращению домой: Дора

чувствовала сгущавшееся недовольство невестки. Это недовольство пробивалось сквозь все ее комплименты Дориным борщам и рассольникам, сквозь все «вы-на-совсем-разбаловали-Дора-Моисеевна», что звучало как «пора и честь знать».

Пора было собираться, и единственное, что не отпускало, это болезнь сына.

С этого все начало кончаться.

– У него кашель, – уверяла Тая. – То лучше, то хуже; вы же сами видите. Бывает, что неделями ни одного приступа. А то вдруг опять... Правда, Вовк?

Правда, согласно кивал сын; правда.

Хорошо, что они в таком согласии живут, думала Дора, однако снова и снова слышала, как сын захлебывается кашлем, и повторяла с беспомощной болью, когда приступ кончался: «Володенька, тебе же серьезно лечиться нужно, Володенька». Случилось так, что вызвали «скорую», и «Володеньку» увезли ночью с кислородной маской. Дора, обезумев от страха, выскочила за машиной и стояла на тротуаре, не замечая намокших тапок и тяжелого мокрого снега, падающего на халат с яркими розами.

На следующий день он вернулся, размахивая какой-то медицинской бумажкой, и объявил, что ложится в военный госпиталь. Ужин прошел мрачновато. Близилось 23 февраля, что означало не только усиленные репетиции оркестра и большой концерт в Доме офицеров, но и праздник, а он должен торчать в койке! И хотя Таисия сама вызвала «скорую», она тоже сидела с надутыми губами и на свекровь не смотрела, словно это она, Дора, своими разговорами о болезни накаркала все обрушившиеся сложности.

Руководитель группы, выслушав сбивчивое объяснение Карла, отправил его к начальнику отдела. Тот недоверчиво переспросил: «Как, не хотите ехать в Москву?» – однако смотрел не на него, а на новенькую авторучку с непомерно длинным хвостом, торчавшую из «гнезда» на письменном столе.

Пришлось опять объяснять. Он еще не договорил, а начальник, покачивая головой, выдернул авторучку и ровненько вычеркнул из списка его фамилию.

Когда дверь закрылась, оба вздохнули с облегчением: Карл – от того, что самое трудное позади, а начальник по другой, не менее веской причине: он пробивал место на курсах молодых специалистов для этого Лунканса, за что и получил нахлобучку от отдела кадров. Во-первых, оказалось, что Карл Лунканс из семьи репрессированных («куда смотрите»); а во-вторых, не член ВЛКСМ. А ему откуда знать, спрашивается?!

– Должны знать, – ласково пожурил кадровик, – Лунканс ваш работник.

– Вот я и знаю его как работника – я специалист, а не общественный сектор; парень он способ...

В этом месте кадровик стер улыбку, сдвинул очки с переносицы вниз и посмотрел ему прямо в глаза внимательно и серьезно.

– Обязаны знать, – повторил кадровик. – А незаменимых у нас нет; поищите другого способного. И чтобы комсомолец.

«Ну и что, что из репрессированных, кого это...» – кипятился начальник, но уже на лестнице, потому что разговор в отделе кадров кончился словом

«комсомолец». Ничего этим кадровикам не докажешь, а Лунканса жаль: перспективный парень, только безынициативный немножко. Надо было ему как-то дать понять, что на курсы он не поедет, хотя уже в списке и сроки известны; а тут этот Лунканс сам заявляет, что не может ехать – по личным, мол, обстоятельствам. Теперь можно вздохнуть спокойно, и пусть руководители групп сами ломают головы, кого посылать вместо него. И чтоб комсомолец!..

...Хоть 8 Марта был рабочим днем, по-настоящему работали только в цехах, а в конструкторском бюро готовились к празднику. Нарядные женщины делали вид, что ничего особенного не происходит. Мужчины обменивались красноречивыми взглядами и многозначительно переговаривались вполголоса, хотя и те и другие знали, что в обеденный перерыв на столах у женщин появятся шоколадки, тюльпаны, поздравительные открытки с изображением тех же тюльпанов (а то сирени или ландышей). Несмотря на всю предсказуемость событий, одни радостно заахают, другие скромно опустят глаза, после чего откуда-то возьмутся бутылки с сухим вином и девочки-лаборантки начнут собирать стаканы. Стаканов, как обычно, на всех не хватит, и в ход пойдут кофейные чашки, которые вскоре и украсятся следами губной помады. Лица женщин разругаются, заблестят глаза, и кто-то плеснет красным вином на рулон кальки.

Одним словом, праздник.

В пять часов запыхавшийся Карлушка подлетел к общежитию. Насте он купил нежные белые нарциссы, пленившись хрупким их изяществом, а матери – ее любимые белые розы, которые всегда приносил отец. В троллейбусе была давка, и,

выйдя, он первым делом осторожно развернул нарциссы. Целы, к счастью. Розы тоже не пострадали, только надорвалась бумага, в которую они были завернуты.

– Какая прелесть!

Настя радостно выхватила розы у него из рук.

– Прелесть, просто прелесть! – повторяла она. – Я сразу поставлю их в воду, у нас в комнате банка есть. Подожди меня, ладно? Там Зинка красится. Я сейчас.

Подхватив букет, Настя побежала назад, но обернулась:

– А нарциссы кому?.. – ответ, кажется, не услышала.

Хорошо, что мать всякие цветы любит, не только розы. Розы, точно такие же, он купит ей в другой раз, не дожидаясь праздника. Просто так.

У кафе «Орбита» стояла очередь, однако Настя уверенно прошла к самым дверям, по пути отвечая недовольным: «Нас ждут». Карл едва поспевал за ней. На стоящих он старался не смотреть: было неловко. «Меня тоже ждут!» – выкрикнул кто-то вследа. Настя чуть повернула голову:

– Так что же вы стоите? – И тут же, Карлу: – Рубль есть?

Пока он поспешно расстегивал пальто и лез в пиджачный карман за бумажником, швейцар из-за двери без интереса наблюдал за его манипуляциями, а потом медленно повернулся спиной. В очереди злорадно засмеялись. Не оборачиваясь, Настя постучала в стекло. Швейцар поправил фуражку и чуть приоткрыл дверь – ровно настолько, чтобы слышать Настин пароль: «Нас ждут». Посмотрел куда-то поверх Настиного плеча, в упор не видя стоящей очереди, и приоткрыл дверь шире:

– Столик заказан?

– Заказан, – Настя решительно вошла внутрь и протянула швейцару рубль, словно трамвайный билет контролеру.

Тот принял рубль и негромко произнес: «Пальтишко попрошу». Карлушка дернулся было помочь Насте, но руки в мундире с потускневшим золотым позументом уже взяли пальто, и он увидел между собой и Настей плотно обтянутую мундиром спину, перхоть на плечах и фуражку, туго перетягивающую массивную седоватую голову.

Швейцар повернулся к нему:

– Прошу.

У швейцара было тяжелое лицо с широкими челюстями и внимательные, но скучающие серые глаза. Карлушка торопливо расстегнул пальто и сдернул шарф.

«Предбанник» был отделен от зала фигурной решеткой, на которой прямые линии под разными углами пересекались со звездами и кругами. И круги, и звезды были похожи на жестяные трафареты, которыми мать вырезала печенье из теста.

Настя приветливо махала рукой, глядя куда-то в зал, потом потянула его за руку:

– Вон они!

Зинка широко улыбалась. Анатолий – непривычно нарядный, в модном пиджаке – тоже обрадовался:

– Мы ждем-ждем, коктейлями полощемся. Давайте вы тоже!..

Зинка, слегка раздурманившаяся, поднялась и увлекла Настю куда-то в сторону: «Слышь, у меня на чулке...»

Похоже, что Анатолий рад был остаться наедине с Карлом.

– Вовремя пришли, – он расстегнул верхнюю пуговку новенькой белой

нейлоновой рубашки, – а то мы чуть не разругались. Не, ну в самом деле, – горячо продолжал, не дожидаясь вопросов, – Зинка че придумала: пойду, говорит, с тобой в рейс.

– А почему «чуть не разругались»? – удивился Карл.

– Не, ну ты соображаешь? – вскинулся Анатолий. – Ты знаешь, что такое баба на судне, хоть бы рейс всего три месяца?

Откуда ему было знать; он и «судно», как Анатолий неизменно именовал корабль, видел только издали в порту. Анатолий это понял и начал объяснять:

– Вот у нас есть одна, буфетчицей ходит. И че хорошего? Ну башли, конечно, зашибает будь здоров, вашему заводу и не снились такие ставки. Зато и лапают ее все кому не лень да... не только. Баба на судне – ребят понять можно.

– А муж-то есть у нее?

Анатолий хохотнул:

– Кабы муж был, она бы дома сидела, ногти красила. Мать-одиночка она. Затем и в море ходит, что надеется мужа найти. А там ведь как? «Наше дело не рожать – сунул, вынул – и бежать»: валят все, а потом соскакивают.

– Погоди, – Карлушка старался говорить поубедительней, – погоди. Но вы же будете плавать как муж и жена, а не...

Анатолий перебил:

– Плавает знаешь что? Г...о в проруби. А моряк ходит в море, а не плавает.

– Хорошо; пойдет она в море...

– Хрен она пойдет, понял? – с жаром выкрикнул Анатолий, и подошедшая официантка нахмурилась, но он прежним, спокойным голосом попросил:

– Шампанского бутылочку, девушка. Полусладкое есть?

– Найдется, – кивнула та. – Закусывать чем будете?

– Икрой, если «найдется», – ее же тоном продолжал Анатолий, – но вначале два коктейля для опоздавших.

Карлушка похолодел, прикидывая, сколько останется от аванса и сможет ли он хоть что-то отдать матери.

– Так вот. Хрен она пойдет, я говорю, – понизив голос, продолжал Анатолий, когда официантка отошла к другому столику. – Жена или не жена, все равно ее по углам обжимать будут. А я, – он придвинулся к Карлу ближе, – я у Зинки первый. И мне не надо, чтоб она других пробовала, понял?

Он продолжал рассказывать о женщинах на судне («ты не подумай, что только у нас так – это везде одинаково, у кого хошь спроси»), о том, как их тискают, принуждают к сожительству; о драках матросов за право обладания все той же буфетчицей (Карлу казалось, что у неизвестной буфетчицы Зинкино лицо); о том, как одна «хорошая девка, слушай, и не виновата совсем, просто так вышло» была списана в иностранном порту для... аборта.

– Она, слушай, че-то себе там сделала, ну и... В общем, кровь хлещет, она не то что работать – на ногах стоять не может. Старший помощник и докапываться не стал: все ясно. Ну и списали. Так ей, слушай, потом еще в пароходстве распиналку устроили: как допустили, да вы отдаете себе отчет... В общем, понеслась душа в рай. А все почему?

Карл смотрел непонимающими глазами.

– Да потому, что за этот аборт надо было валютой платить, вот почему!

Списали-то ее на берег в капстране, потому и валютой. А пароходство не любит такие номера. Не инфаркт, понимаешь.

Вернулись девушки; за ними появилась и официантка с подносом.

– Догоняйте, а то шампанское выдохнется, – беззубо посмеивался Анатолий, словно не он только что рассказывал жуткие судовые байки.

Карлушка с любопытством выпил коктейль. То, что он принял за вишенку, оказалось какой-то твердой соленой гадостью.

– Маслина, – снисходительно пояснил Анатолий.

Зинка весело смеялась. Высоко зачесанные надо лбом волосы ей не шли, но Анатолий не сводил с нее влюбленного взгляда. Настя легонько сдвигала со лба блестящую челку – челка тут же возвращалась на место, – и смотрела на них, подперев голову рукой. В оркестре, до сих пор бездействующем, раздалось нерешительное треньканье, нарядно звякнули тарелки, и вдруг, с нескольких аккордов, начался вальс – сначала осторожно, под сурдинку, а потом в полную силу.

Анатолий поднялся первым и протянул Зинке руку. За ними, как по команде, одна за другой потянулись другие пары. Карлушка тоже встал и коротко поклонился Насте.

С площадки было видно, что в «предбаннике» толпится народ. Карл смотрел на танцующих и думал, насколько вальс не подходит к этим куцым, узким юбчонкам: юбка должна кружиться, а шлейф лететь за музыкой. Он ощущал рукой Настино тепло, и от этого, вместе с торопливо выпитым коктейлем, кружилась голова. «Давай сядем, у меня голова кружится», – попросила Настя, и он в очередной раз радостно удивился совпадению их мыслей. Тут же мелькнуло, что такие совпадения

стали редки, но он прогнал непрошеную мысль; ну и что, что редки, – тем ценнее.

Они вернулись к столу. Вальс продолжался. Настя смотрела на счастливое и гордое Зинкино лицо, на руку Толяна, властно лежащую на ее спине, и с горечью, которую никак не могла прогнать, думала: без пяти минут женатики, все у них ясно. В который раз спросила себя, хотела бы она такого Анатолия – насовсем, на всю жизнь, – ответила стандартным «нет», но легче от этого не стало.

– Двадцать четвертое – это какой день? – спросил Карл.

– Суббота, кажется, – подумав, ответила Настя. – А что?

– Я забыл, во сколько свадьба? – он кивнул на возвращающихся Зинку с Анатолием.

– В двенадцать.

Настя улыбнулась, но горечь усилилась. Какого черта, в самом деле? Вот у Зинки все, как у людей, хотя в университете не учится и... талии нет, зато не будет век сидеть в общежитии; через две недели станет женой моряка, а в заграничных тряпках талия не так важна. Зато я, как дура последняя, вернусь на болото. С дипломом.

– Ой, повело меня че-то; Толян закружил совсем, – пожаловалась Зинка. – А ты че на икру надулась, как мышь на крупу? Не бойсь, не кабачковая!

– Это шампанское на коктейли легло, давайте по икре вдарим, – Анатолий почему-то подмигнул Карлу, – и масло мажь потолще, Зинуля, потолще.

Он ловко подцеплял ножом шарик масла, клал на толстый слой ярко-оранжевые бусины икры и брал следующий кусок. Карлушка попробовал делать точно так же и первым делом уронил на скатерть тяжелое желтое ядрышко масла. «Бутерброд не может сделать по-человечески, – подумала Настя, – да и сам он... не Жерар

Филип», – и улыбнулась, потому что недавно кто-то из однокурсниц сказал, что Карлушка похож на Жерара Филипа. Не так уж и похож, глупости; а все равно приятно.

Музыка звучала громче, люди за столиками тоже говорили громче и оживленней, но голоса звучали невнятно, сливались в общий гул.

– Ой, ну отцепись уже, Толян, – говорила Зинка, – не нужно мне твое судно. Была охота менять часы на трусы, будто мне в столовке плохо. Сам будешь башлять, а я на заводе останусь, все ж прописка будет. Правда, инженер?

Она с вызовом посмотрела на Карла и засмеялась. Слово «инженер» прозвучало снисходительно до оскорбительности. Наверное, Зинка чувствует, что он ее недолюбливает, и платит той же монетой. Если б у него спросили, за что, он не сумел бы определить словами безотчетное раздражение, которое в нем поднималось от нелепой ее прически, чуть выпяченной нижней губы и густо намазанных ресниц. Особенно напрягало, когда Зинка говорила что-то и вдруг обращалась к нему, неизменно добавляя слово «инженер», насмешливо, хоть безо всякой злобы, и тогда Карлу казалось, что он раздражает Зинку не меньше, чем она его. Потом это забывалось – до следующей встречи и следующего «инженера». Нормальная девчонка, убеждал он себя; немножко вульгарная, но здесь больше наносного. И вообще, какое ему дело, пусть это заботит Анатолия; ему-то что. Настя с ней дружит – значит, видит что-то такое, чего он сам, сквозь свою неприязнь, рассмотреть не умеет.

Из оркестра, примолкшего на какое-то время, теперь доносились негромкие звуки – не игра даже, а словно разговор музыкантов друг с другом, не

предназначенный для непосвященных. Игриво полоскалось фортепьяно – и вдруг окрепло, зазвучало отчетливей, громче; включились другие инструменты; начался фокстрот. Зинка азартно постукивала ногой:

– Толян, пошли!

Через минуту они влились в толпу танцующих. Встал и Карлушка:

– Потанцуем?

– Не-а, посидим, – покачала головой Настя. – Я устала.

В зале было дымно. Свежий воздух почти не проникал, а шум и музыка, казалось, делали духоту плотной.

Фокстрот кончился.

На эстраду вышла певица в белом платье, сужающемся внизу, но с таким широким воротником, как будто ее окунули в ведро без доньшка. Одно плечо певицы украшал пышный шелковый цветок; другой, поменьше, нашел приют в прическе, похожей на Зинкину. Певица посмотрела в зал и улыбнулась:

– Дорогие друзья, наш коллектив поздравляет всех присутствующих дам с Международным женским днем!

В зале захлопали. Певица протяжно запела о любви и разлуке. Анатолий пригласил Настю на танго, и Карлу ничего не оставалось, как пригласить Зинку. Вблизи, сам того не желая, он видел слипшиеся от туши ресницы и веснушки, старательно замаскированные пудрой, и сейчас, тронутый этой наивной старательностью, он простил ей «инженера» и дурацкие прибаутки.

Вдруг, почти без паузы, оркестр сменил темп, и певица окрепшим голосом азартно закричала в микрофон:

Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно,
Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино.
Там, под океаном, трезвый или пьяный,
Не видно все равно!

Оторопев на несколько секунд, пары распались, и танцующие оживленно затопали на месте, потряхивая головами и руками.

– Во дает! – восхитилась Зинка. – Только что было: «Передаем концерт классической музыки», – она скорчила постную гримасу, – а теперь матч «Динамо» – «Зенит», прямая трансляция. Давай, что ли?

Краем глаза Карлушка наблюдал за другими. Помогал ритм. Главное было – дернуть девушку на себя не слишком сильно. Кажется, получалось.

– А ты молоток, – похвалила запыхавшаяся Зинка, – классно бацаешь!

Он усмехнулся. Как мало нужно, чтобы она не пристегнула «инженера».

Настя с Анатолием тоже вернулись за столик. Певица хитровато улыбалась. Кто-то подходил к эстраде, совал деньги. Улыбнувшись еще хитрее, певица придвинулась к микрофону:

– По просьбе наших дорогих женщин... а также их верных спутников... повторим...

Она не договорила – а может быть, договорила, но из-за аплодисментов ничего не было слышно. И снова моряк слишком долго плавал, а дьяволу морскому несли бочонок рому; оживились официантки («Мороженое будем?» – «Кофе со сливками,

без?..» – «Торт фирменный, суфле, два...»), и снова неслось с площадки ритмичное топание, мелькали лица и руки.

Мне теперь морской по нраву дьявол —
Его хочу лю-у-уби-и-и-ить! —

уверяла певица, да могла и не стараться: кто ж не хотел? Не было в кинотеатрах пустых мест на «Человека-амфибию», и если в каком-то киоске появлялись фотокарточки артиста с нежным юношеским лицом, то их расхватывали так быстро, что ушлые киоскерши стали продавать их не иначе как с нагрузкой в виде лотерейного билета.

В зале тоже начали подпевать: *«Его хочу лю-у-уби-и-ить!»*.

Очень хотелось любить.

Кофе оказался горячим, крепким, а главное, подоспел кстати.

В гардеробе Анатолий уверенно отеснил швейцара и подал Зинке пальто. Настя быстро набросила свое — Карл не успел даже протянуть руку и стоял, растерянно глядя на нее. Настя подхватила под руку Зинку и пошла к выходу, не оборачиваясь. Швейцар с готовностью распахнул дверь, и Анатолий сунул ему в руку мзду. Черт, опять не сообразил, вяло подумал Карлушка. Но что с ней? Мы почти не разговаривали, она все время с Зинкой. Я что-то не так?.. И спросить невозможно — не выяснять же отношения в праздник!

Он резко остановился: цветы, нарциссы; где они? Обернулся на дверь кафе. Здесь стояла очередь, мы прошли мимо, внутрь; там швейцар этот, в тесной

фуражке... А потом? Коктейль... Но нарциссы, нарциссы-то где оставил?!

Первым обернулся Анатолий:

– Эй, ты чего там? – и придержал Зинку за плечо.

– Цветы. Наверно, в гардеробе забыл, – догнав, объяснил Карл. – Оставил, в общем.

– Слышь, Толян, – нежно проворковала Зинка, – канайте с инженером обратно, мы подождем вас.

Швейцар не удивился их возвращению: узнал, но на вопрос о цветах только повел отрицательно головой: «Не видел. Не знаю. Я за польты отвечаю, не за цветы ваши», – и отвернулся, чтобы подать одно из «полт».

Можно было не ломать голову: раздобыть цветы вечером 8 марта было нереально.

– Да ладно, ребята, – повторял он, – что-нибудь придумаю. Завтра куплю – мать поймет.

Зинка закричала:

– Ой, такси! Ладно, вы там провожайтесь, пока!

Анатолий шепнул Карлу на ухо: «Мы не в общагу: мне кореш ключ оставил. Не тушуйся!». Подмигнул, хлопнул по плечу и полез в машину, складываясь, как перочинный нож.

Такси укатило, и Карлу показалось вдруг, что стало очень тихо – так тихо, словно не два голоса перестали быть слышны, а смолк весь город, выключили звук, и только Настя легонько постукивает одной ногой в нарядной туфельке о другую на тротуаре, покрытом, как паутинкой, тонким-тонким ледком. Пока шли, их обогнал

троллейбус, но вдруг остановился: одна штанга упала. Из кабины выскочил водитель, на ходу натягивая огромные рукавицы. Подбежал, схватился за трос, пытаясь вернуть ее на место. Штанга пьяно раскачивалась, сверху маленьким салютом сыпались искры.

У входа в общежитие стояли парень с девушкой и курили. Вернее, курил он, а девушка протягивала руку, брала у него сигарету и затягивалась. Парень был без пальто – в него уютно куталась спутница, выпуская дым вверх, к тусклой лампочке над дверью. Оставшись без сигареты, парень наклонялся и то ли говорил что-то на ухо, то ли целовал.

Карл обнял Настю за плечи – как давно он этого не делал! – и легонько притянул к себе. Сейчас... Сейчас отпущу. Позовет? Там никого нет. И Зинка с Толяном не появятся.

Он почувствовал, как Настя напряглась и чуть отстранилась. Не хотел спрашивать, но вырвалось:

– Ты... сердишься на меня?

Настя отступила на шаг, словно хотела рассмотреть его внимательней, и спокойно ответила:

– Я сделала аборт.

Вот и все.

Сказала. Без надрыва, без слез – очень спокойно; именно так, как собиралась. Как репетировала, поправила себя Настя и поморщилась. От себя не скроешь: репетировать начала с того самого дня, как вернулась от родителей, да-да, и поехала

с Зинкой в больницу по этому самому делу. Тогда, наверное, и пришла в голову эта мысль, пришла и крепко внедрилась.

Но ведь я хотела по-честному, чтобы все по-людски, разве нет? Давно могла бы сказать: мол, тошнит меня, и вообще... Не понимает – уточнить, что значит «вообще». Нет; ничего этого не говорила – давала ему шанс, и не один, *самоу сообразить*. Конечно, если бы познакомился тогда с родителями, может, оно пошло бы скорее. Да только никуда оно не «шло» вообще, Зинка тыщу раз права – все они одинаковы: поматросят и бросят, а мне что, «перспективную тему» допахать, сделать диплом – и на болото? Большое спасибо; ешьте сами с волосами. Я не Ирэн – двенадцать лет ждать дураков нет. Да и то: Ирэн-то ждала, будучи замужем за своим Сомсом, а за углом уже молодой Джолион топтался.

Тем более в следующем году переводческая практика. Тут рядом скандинавские страны – английский, между прочим, международный язык, а что ее ждет на болоте? В лучшем случае возьмут преподавать английский в ту же школу, будем коллегами с Валентиной Петровной: «Здравствуй, Кузнецова! Ты по “Case о Форсайтах” защищалась?» – «Меня зовут Анастасия Сергеевна». И не улыбаться этой мымре ни за какие коврижки.

Ладно; размечталась. Главное – сказала. И ко всем вопросам была готова – отрепетировала так, что от зубов отскакивало. Любой мужик стал бы доскребываться:

«Когда?» – «Когда к родителям ездила, ты еще не мог маму оставить, помнишь?»

«Зачем?» – «А что мне было делать, милый, – мы ведь не расписаны...»

«Почему мне не сказала?» – «Сразу не поняла, а потом времени не было: затянула. Да и растерялась я: вдруг из общаги попрут...»

Да мало ли какие вопросы может задать.

А только никаких вопросов не было.

Не было и – Настена почувствовала – не будет. Он стоял и молчал, а сколько времени прошло, Настя не знала. На нее напал какой-то озноб, хотя холода не чувствовала, просто дрожала всем телом. Он шагнул вперед, сгреб ее обеими руками, уткнулся в челку губами и сказал: «Девочка моя... Бедная моя девочка».

И вот тогда захотелось провалиться сквозь землю, рассыпаться в прах, исчезнуть. Хорошо бы так и сделать, и пускай больше ничего не будет. Или перевести дух и честно сказать: «Прости, я все выдумала: ничего этого не было, никакого аборта», но как раз этого-то и нельзя было говорить. Поздно. Вперед, Настена, мосты сожжены.

Именно вперед, чтобы не встречаться с ним взглядом. Она пробормотала: «Замерзла я дико», схватила Карла за руку и потащила наверх. Загадала: если будет сидеть дежурная, то ничего хорошего у них не получится. Чушь, конечно; при чем тут дежурная? Однако дежурной не было – горела лампа, стоял пустой стул, а на столике лежало пестрое вязанье, и спицы были воинственно вонзены в клубок.

И хотя в комнате было тепло, озноб не проходил, но это было хорошо, потому что началась суeta с поисками свитера, сверху она накинула бабулин платок, и все это метание по комнате позволяло не смотреть ему в глаза. Он заставил ее забраться с ногами на кровать и набросил на ноги пальто.

Не помнила даже, когда в первый раз посмотрела в глаза, но, наверное, потому

и не помнила, что стало можно это сделать. Теперь не обернешь все в дурную шутку, поздно; мосты сгорели дотла, воздух пропитан гарью и вяло дымятся опоры.

Воздух был пропитан ложью, и с этой ложью теперь нужно жить.

...Девчонки в цехе обсуждали другой вариант: фиктивный брак. Мол, прописка в городе обеспечена, «а потом развестись – и вася». Настя не верила: что, найдется идиот, который вот так, за красивые глаза, поделится своей жилплощадью? Над ней с удовольствием посмеялись: кому нужны красивые глаза? – Капусту гони. Пошли истории, одна другой невероятнее, о каких-то девчонках, приехавших с башлями прямо из «сельской местности – и сразу в дамках», хотя что за девчонки, из какой такой «сельской местности» и с какими башлями, никто, как бывает в подобных случаях, конкретно не знал. А хоть бы и знали, что толку?.. Тем более что денег нет и не предвидится – суммы назывались неопределенные, но неизменно астрономические. Только новыми, разумеется. Но главное, что Насте нужна была не только прописка, а *муж с пропиской*. И не просто муж с пропиской, а надежный муж. Вроде Сомса или, на худой конец, Анатолия, только чтоб не такой страшненький и не беззубый. Хотя Сомса никак страшненьким не назовешь, и почему там Ирэн содрогалась от отвращения, убей не понять: зажралась. А ей нужен муж надежный, да; и можно даже помечтать, чтоб – любящий.

Так вот, пожалуйста – все эти качества в одном Карле Лункансе. Разве что практичности не хватает, так это пока семьи нет, а как семья появится, так будет не до «вагончиков», придется вкалывать. Можно было только голову ломать, как его занесло на танцы в заводской клуб на ее, Настюхино, счастье. Такой клевый чувак, инженер и почти Жерар Филип. И квартира просторная, ребенку места хватит... в

разумное время, конечно. Они будут счастливы, как Зинка со своим Толяном. Или еще счастливей. А не возьми Настена это в свои руки, он бы не мычал и не телился еще год, если не все два. Нет, кто-то должен был сделать первый шаг. Он сам еще спасибо скажет.

За что – за ложь?

А хоть бы и так – он никогда о ней не узнает! Как Сомс был на седьмом небе от счастья, когда Ирэн согласилась выйти за него. Сначала водила за нос: отказывала-отказывала, содрогалась-содрогалась, а потом вдруг «уступила». Вот интересно, почему? Она-то не в общежитии жила, и какое-никакое состояние от папаши-профессора оставалось, и собой красавица такая, что весь Лондон оборачивался. Между тем Ирэн, пока содрогалась да тренькала на пианино, трезво прикинула, что надежнее Сомса ей никого не найти; потому и «уступила». Жила с ним, как у Христа за пазухой, а на мужа – ноль внимания, фунт презрения: гулять не пойду, потому что Босини обещал зайти в гости, и вообще у меня голова болит. При этом ни в чем отказа не знала: платье один раз уже надето – значит, больше никуда не годится; Сомсову дядюшке можно похвастаться бриллиантами, которые Сомс подарил, и перед ним же, Сомсом, спокойно запереть дверь спальни. И никто не задавался вопросом, почему Ирэн, такая нежная и трепетная, вышла за него, да и до Сомса не сразу дошло. Думал: мол, я люблю – и она оценит, полюбит, привяжется. Никому, между прочим, не позволял вмешиваться в свои дела, переживал по-тихому. Дескать, моя жена и моя жизнь, а больше никого это не касается.

Вот и моя ложь никого не касается. И Карла в первую очередь.

И потом, ведь могло же так быть, могло! Так, что не она Зинку, а, наоборот,

Зинка ее проводила бы в «абортарий». Вполне могло бы так случиться. Вон сколько там молодых девчонок в коридоре стояло, не одна Зинка.

За время «репетиций» Настя так часто прокручивала в уме сегодняшнюю фразу, что ей казалось иногда, будто она и в самом деле сделала аборт, а напряженное и долгое «вживание в роль», возможно, было не менее мучительно.

Нет, это никого не касается.

Конечно же, она станет его женой.

Настя улыбнулась, и знакомая милая ямочка тоже улыбнулась ему со щеки.

Она заставила Карлушку взять розы домой («представляешь, мама просыпается утром и видит цветы!»), и они долго пытались разделить нечетное число так, чтобы получилось два нечетных, пока Настя не сунула одну розу в бутылку на Зинкиной тумбочке, а три – ему в руки.

На столе у дежурной по-прежнему горела лампа, но клубок со спицами больше не лежал.

Он шел пустыми улицами, а потом на цыпочках – по квартире, к себе в комнату. Сбросил пиджак, повалился на диван и заснул почти сразу – возбужденный, растерянный, почти женатый. Ярко, как на киноэкране, вдруг высветился гардероб в кафе и плотно завернутые нарциссы, которые он, перед тем как снять пальто, положил на барьер.

Кто первым произнес слово «загостилась»: дворничиха Клава, всегда с готовностью вступавшая в разговоры, или Ксения, которая «заглянула на огонек», а на самом деле в надежде занять у Таисии трешку? Могла быть и та и другая. Действительно, дворничиха частенько останавливала Дору пытливыми вопросами типа «а почему у вас на Украине» (далее следовал перечень продуктов) и где длинной очередь за стиральным порошком, здесь или «у вас там». Дора охотно рассказывала, что «это где как», продукты по городам разные, и непременно добавляла, как Володенька в детстве сало любил: «Ну что вам сказать, до войны-то сало совсем другое было». Стиральный порошок Доре был в диковинку («у нас на Украине только мыло хозяйственное»), и она охотно отдавала ему должное, устраивая вместо большой стирки частые постирушки – веселые, как само слово, – а потом развешивала во дворе свой халат, полыхавший яркими розами, и мелкие Ленечкины бебехи. Дворничиха кивала мелкими кудряшками, соглашаясь с несомненными достоинствами порошка, хотя сама относилась к нему без особого доверия и держалась надежного вонючего хозяйственного мыла.

И Ксения наверняка зашла, как частенько заходила прежде, «на огонек», причем Оляка всегда представляла одинокую хижину в лесу с горящей на столе свечой и заблудившегося путника на пороге. Раздавался стук, и на пороге появлялась Ксения со своей неопределенной улыбкой и словами: «Вот, зашла к вам на огонек», неизменными, как ее желтовато-серые волосы по плечам, припухлое, с полузаплывшими глазами, лицо и красные руки, тоже пухлые. Почему-то было

неприятно, когда Ксения оставалась дожидаться мать, хотя от чая и «печенюшек» отказывалась, а Дора бестолково топталась на пороге кухни, и Ольке становилось ее жалко.

Когда Таисия была дома, они разом выходили курить, и получалось, что она буквально «зашла на огонек» спички, которую Таисия подносила к ее папиросе. Может быть, слово «загостилась» было обронено во время дружеского перекура, но кому оно принадлежало, уже не установить. Могло случиться и так, что слово выпало в осадок, сгустилось от вынужденно пропущенной реплики, вовремя прикушенного языка и всего накопившегося раздражения, а не Дора, заботливая и ловкая хлопотунья, была его причиной, вовсе нет. Раздражение возникло от постоянного присутствия еще одного, пятого, человека там, где и четверым с трудом хватало не только пространства, но и воздуха.

– Дождусь, что Володеньке доктора скажут – и домой, – негромко сказала Дора за ужином. – Загостилась я у вас.

Вот это оказалось самым важным: сама, сама Дора произнесла слово, висевшее в воздухе. И сразу все изменилось – вернее, начало меняться. Таисия всплеснула руками и громко воскликнула:

– Да что же вы такое говорите, Дора Моисеевна? Разве мы вас гоним? Или вам у нас так плохо?

И сын, и невестка заговорили наперебой, хотя до этого молча жевали пельмени Дориного приготовления – именно молча, потому что сколько же можно хвалить, да и не для чужих ведь готовит – для своих. Голоса зазвучали теплей, и теплота была совершенно искренней, ибо предстояло прощание, провожание, зрелище плывущего

вдоль перрона поезда, а потом – возвращение домой, где стало на одну биологию меньше; а вы смотрите, напишите сразу, как приедете, непременно!

От этого оживления и теплоты стало почему-то грустно, и намерение превратилось в решение.

Все оставшиеся дни Дора ревностно занималась уборкой, словно можно было навести порядок впрок и оставить про запас чистоту, как домашнее печенье и коржики. Володенька ложится в госпиталь во вторник, так что уедет она где-нибудь на следующей неделе, вот только подарки Мусеньке да зятю с внучкой купит. Таечка обещала отписать, что скажут врачи, или даже позвонить с главной почты по междугороднему. Главное – сынок нашелся, вот он; теперь уже не потеряется, потому и никакой перрон не страшен.

Ольке неожиданно стало грустно, хотя с чего бы? «Меньше народу – больше кислороду», повторяла она Томкину формулу, и все равно было жалко, что Дора уезжает. И дело не в том, что иссякнет рог изобилия, что на кухне перестанет маячить халат в розах немыслимой яркости, что Дора не заставит ее съесть на завтрак свежие сырники («Вы мне Ляльку балуете, Дора Моисеевна» – «Как же, Таинька, ребенок перед школой должен горяченького покушать...»), не в этом дело, а в том, что Дора уедет, а Сержант останется, и потому становилось еще грустней. Ну в госпиталь ляжет (и то спасибо), однако потом опять вернется – и вся прежняя жизнь вернется, потому что при Доре он почти не пьет, только иногда, и то дома. «Имею я право у себя дома выпить, мамаша?» Как тогда растерялась Дора («конечно, Володенька, конечно...»), как подставляла ему сало, сливочное масло и сама намазывала его на хлеб толстым слоем: «Ты закуси, сынок, закуси», а этот

кретин кивал так важно, словно она прислуга какая-то.

Зато с приближением Дориного отъезда мать повеселела и почти перестала пилить Ольку, хотя зудела несколько недель: «Ты не живешь интересами семьи».

«Интересы семьи» заключались в том, чтобы познакомить Дору с бабушкой. Ради этого мать и Сержант отпустили Ольку к бабушке одну, без Ленечки. Этот праздник был сильно подпорчен, потому что забыть об «интересах семьи» не удавалось. Бабуся перепугалась не на шутку: «Ты не заболела?»

Проще было рассказать. О Доре, об «интересах семьи», а что сама она чувствовала себя вражеской лазутчицей, промолчала.

Бабушка отреагировала коротко:

– Сына нашла – и слава Богу. А мне с ней детей не крестить.

Ответ Ольку не удивил, но никак не укладывался в дипломатическую миссию. День не прошел, а пролетел, как всегда у бабушки, хотя они успели навестить Тоню.

Олька с трудом узнала крестную. Всегда приветливое ее лицо исхудало, побледнело и выглядело очень строгим без улыбки. Оно было старательно запудрено, волосы аккуратно собраны под невидимую сеточку. Сидела тетя Тоня, как всегда, прямо, забыв о стынущем чае. Они говорили с бабушкой негромко и спокойно, как вдруг крестная уронила голову на руки, заплакала, и ложечка в стакане встревоженно зазвенела. Потом обе сестры проводили Ольку «до угла», дальше она пошла сама и вспомнила об «интересах семьи» только у самого дома.

Где, к сожалению, застала самую нежелательную компанию: мать и Сержанта. Оба вопросительно повернулись к ней:

– Ну?..

Про детей, которых не крестить, говорить не стала. Зато, когда сообщила о визите к крестной, мать задумчиво протянула: «А это идея...».

Вскоре вернулась Дора, привела с прогулки румяного Ленечку; потом ужинали. За ужином Таисия обратилась к свекрови каким-то особенным задумчивым голосом:

– Вы, Дора Моисеевна, с моей матушкой хотели, кажется, познакомиться?..

Старуха с радостной готовностью повернулась к ней, а та продолжала:

– Боюсь, что ничего из этого не получится: траур у нас. Муж моей крестной тетки, недавно умерший...

Голос невестки, казалось, был обведен траурной каймой. Она рассказала, как ее «матушка» была привязана к покойному, а теперь, когда ее, «матушки», сестра осталась одна, «матушка» безотлучно находится при ней, потому что, вы понимаете, она в таком состоянии...

Дора беспомощно ахала, слушая невестку: «Да конечно, господи! Разве ж я... да я понимаю, как же, это ж такое горе, такое горе! Сколько, пятьдесят шесть лет ему было?». И вздыхала намного глубже, чем вздыхают о чужом умершем муже, но совершенно искренне, потому что жива была память о своем, едва дожившем до тридцати.

...Приближался день Дориного отъезда. Каждый день она металась по магазинам, покупая подарки домой, в Кременчуг. После беготни по четырем этажам центрального универмага возвращалась, измученная духотой, и пышная нейлоновая шуба, уместная в январе, тоже выглядела измученной от мартовского солнца.

Таисия настроилась, что свекровь вот-вот канет в свой Кременчуг – ведь сама же сказала, что загостилась, сама! – а потому к суете с подарками отнеслась с

неприязню и сама никаких попыток в этом направлении не предприняла. Чего ради, собственно, и кому? Родственникам, которых в глаза не видела и вовсе не стремилась увидеть в дальнейшем.

Разочарование ее проявлялось в том, что она, против своего обыкновения, даже вступала иногда в беседу с дворничихой Клавой, не только с Ксенией.

– Духовитая сдоба у мамыши-то, – начинала Клава без надежды на ответ и приятно удивлялась, когда он следовал.

– Мне ее сдоба вот тут уже сидит, – Таисия красноречиво проводила по горлу ребром ладони.

– Да ну? – весело дивилась Клава. – Пускай пекет, тебе забот меньше.

– Можно подумать, – дергала соседка плечом, – можно подумать, мы тут без нее с голоду помирали.

– С голоду не с голоду, а тебе разве плохо? – резонно возражала дворничиха не столько для убеждения, сколько для поддержания беседы. – Пекет себе и пекет. Все лучше, чем покупное, она меня угощала. Да и дешевле, чем с магазина.

Пока Клава обдумывала следующий ход, Таисия гасила окурок и возвращалась в квартиру.

Беседы с Ксенией велись в другом ключе. Завидев на пороге знакомую бесформенную фигуру, Таисия накидывала пальто, совала в карман папиросы и шла ей навстречу, встряхнув спичечным коробком.

После первой затяжки она озабоченно крутила головой:

– Скорей бы Вовку выписали из госпиталя, честное слово.

Молча курили. Ксения с готовностью и терпеливой улыбкой ждала

продолжения, которое вскоре и следовало:

– Сил моих нет, как я устала.

Согласный кивок, словно Ксения тоже устала.

– И ведь что поражает, – продолжала Таисия, ободренная поддержкой, – никаких духовных запросов!

Сочувственное покачивание головой, седые волосы от ветра взметываются и паклей ложатся на щеку.

– Ровным счетом никаких, – Таисия тоже покачивает головой, – а мне за Вовку обидно, ведь родная мать!

– Вот вы интеллигентный человек, – продолжает Таисия, и Ксения с готовностью подается вперед, – вы как никто понимаете, насколько это важно. А она, – кивок в сторону окна, – печет и печет. Фабрика-кухня какая-то, честное слово. Сил моих никаких нет.

И это бы все ничего, и сил бы хватило, хотя и «не было никаких», но непременно хватило бы на последние дни, и ничем они не были бы омрачены, если бы Дора сама, своими руками, все не испортила.

А ведь хотела как лучше, не подозревая, что таким больше всех достается. Хотела как лучше, потому и отстояла в тяжелой шубе огромную очередь, чтобы купить невестке в подарок тюлевые занавески – вещь, по ее убеждению, совершенно необходимую в доме. Настоящий гэдээровский тюль купила и радовалась, что хватило денег, а уж как Таинька-то обрадуется! И то: совершенно другой вид в доме будет, и никто на голые окна не станет пялиться, как сейчас.

Да это еще не все, вот ведь какой день удачный: на втором этаже, где

электротовары, такой абажур на кухню углядела, что грех было не взять, и недорогой совсем, а то ведь у них голая лампочка висит, как в казарме, куда это годится. Хотела сюрприз сделать, а сделает два сюрприза!

Дома ждал третий сюрприз: Володеньку выписали! Только безрадостный он совсем, что же это, что с ним?!

– Комиссовали меня, мамаша, – объяснил Володенька, с усилием ворочая языком, и только тут Дора увидела бутылку с водкой на столе, и пьет Володенька один, к тому же закуски на столе никакой не видно.

Сунула авоськи с подарками в уголок (хоть бы абажур не разбился) и бросилась метать на стол что было из еды вперемишку с вопросами, один беспокойней другого.

– Что доктора сказали, Володенька? – суежилась Дора, – Сказали что-то?

– Так я ж говорю, мамаша: комиссовали меня. Вчистую.

Оба слова ничего не объясняли. Тогда объяснил сын. Из объяснения стало ясно, что играть ему больше нельзя. А доктора – ну что доктора, мамаша... астма у меня, вот что.

Так назывался Володенькин кашель: астма. Коротенькое слово, будто ртом воздух хватаешь, да так ведь с ним и происходит, когда кашель душит.

Пришла с работы невестка. Невнимательно похлебала борща, выслушала новости и помрачнела.

О Доре попросту забыли. Что тоже было понятно: не до нее. К чему-к чему, а к такому итогу никто готов не был. Комиссовали; а дальше что?

– Нет, ну это ничего не значит, – кого он пытался убедить, неизвестно, – мне запретили валторну... вообще все духовые. Но я ж на фортепьяно могу. Куда-нибудь

устроюсь.

– Куда, интересно? – спросила жена. – В детский сад на елку?

– Форму больше носить нельзя, – он удрученно налил новую рюмку.

Дора переводила осторожный взгляд с невестки на сына. В разговор не вмешивалась – и так все было понятно. Вернее, почти все, потому что о главном так ничего пока и не было сказано. Ждала, что вот-вот заговорят, и от этого неистового ожидания так извелась, что вопрос вырвался сам собой, вопреки ее воле:

– Но ведь астму лечат, Володенька? Ведь лечат, правда?

Тут же добавила торопливо, чтобы сын не услышал тревогу в голосе:

– И тебя вылечат. Обязательно вылечат, вот увидишь.

В ее голосе была такая убежденность, что сын вдруг ощутил себя ребенком, заболевшим мальчишкой, которого мать уложит в постель, ласково подоткнет одеяло и даст выпить лекарство, от которого он, конечно же, выздоровеет.

– Сказали: на курорт, мол, надо вам ехать, в Анапу. Путевку обещали дать, то-се.

Невестка вспыхнула:

– Нелепый вопрос, Дора Моисеевна, даже странно слышать, ей-богу. Будут лечить, конечно. А путевку дадут – не дадут, это еще бабушка надвое сказала. Мы должны думать, на какие шиши будем теперь жить, раз Вовка работать не сможет. Одной моей зарплатой всех дыр не заткнешь!

– Путевки, говорят, есть бесплатные, – буркнул муж.

– Говорят, и кур доят, – отрезала Таисия, но развить эту мысль не успела, потому что Дора перебила:

– На путевку я вышлю, ты не переживай. Ты, Володенька, напиши мне, и я

перевод отправлю, сколько надо.

Продолжение разговора получилось совсем уже бестолковым, потому что теперь все перебивали друг друга, чем и воспользовалась пришедшая с братом Олька, чтобы незаметно снять с него промокшие ботинки.

Уже в прихожей она почувствовала запах больницы: Сержант вернулся. Услышала его голос, а потом, очень возбужденный, – матери. Живот стянуло изнутри каким-то узлом, так что стало трудно дышать. В книгах пишут: «засосало под ложечкой», но Олька не знала, где находится загадочная «ложечка», зато живот всегда одинаково реагировал на опасность. Нет, при Доре ничего не случится.

Ничего и не случилось бы – подумаешь, пустяковая перепалка жены с мужем, к тому же свекровь под руку попалась; бывает. Она же и виляет теперь хвостом, хотя так и не поняла, чем опять прогневила невестку. Знает одно: вкусная и сытная еда примиряет. Притом горячая: пока недовольные будут дуть на вилку да вдыхать соблазнительный аромат, у них неизбежно потекут слюнки и для обид не останется ни времени, ни места. Потому-то Дора не стала класть ужин на тарелки, а водрузила в середину стола кастрюлю.

Больничный обед давно остался позади, а выпитая водка возбудила аппетит, поэтому сын с готовностью протянул тарелку, однако Дора предприняла стратегически мудрый шаг и первой надела на невестку.

– Мм, елки-палки! – восхитилась та. – Что же это вы такое настряпали нынче, Дора Моисеевна, аж слюнки текут?

– Битки, – скромно ответила Дора, – в мясном магазине телятину давали. Дай, думаю, битки сготовлю.

Присела к столу, радостно и гордо обводя взглядом всех четверых, дружно жующих; что еще нужно хозяйке?

– А испечь ничего не успела, – признавалась виновато, – разве что хрустики вчерашние остались, к чаю.

Уютным словом *хрустики* у Доры назывались сухарики с изюмом – такие крохотные, что каждого хватало на один хруст.

Таисия положила себе второй биток и укоризненно покачала головой:

– Что же вы с моим семейством сделали, Дора Моисеевна? Вам-то хорошо – вы уедете, а они меня тут с потрохами съедят!

Все были сыты, а значит, ушла досада, и жизнь не казалась больше такой безысходной, как недавно, и Дора с умилением смотрит на малыша, перемазанного подливкой, – но это пустяки, завтра устрою постирушку.

Олька отнесла на кухню тарелки и поставила греть воду. Все притворяются – все, кроме Лешки. Сержант злой как черт, просто перед матерью хочет казаться ласковым, а сам злой и несколько раз смотрел на бутылку: мало ему. Мать притворяется и капризничает, а сама ждет не дождется, когда Дора в свой Кременчуг уедет. Отлично знает, что «с потрохами» никто ее не съест: опять будут покупать сардельки или готовые супы в пол-литровых банках. Бухнешь в кастрюлю, зальешь кипятком – и готово: хоть борщ, хоть харчо. Конечно, сама она по магазинам не побежит, а будут гонять ее, Ольку, но это как раз хорошо: можно поболтаться по улицам, а потом сказать, что была очередь... Дора притворяется больше всех – зачем она подлизывается к ним, зачем? Все время старается угодить, а им наплевать, даже Сержанту, хоть она ему мать. Получается, что он притворяется еще больше, чем

Олька, Дора-то в нем души не чает.

...Она и впрямь не чаяла в сыне души – за хворое дитя материнское сердце сильней болит. Главное, чтобы поправился, все остальное наладится, утрясется, забудется, как забылась сегодняшняя размолвка, а могло дойти до скандала; всяко бывает.

Дора совсем успокоилась и с улыбкой наблюдала за Ленечкой. Тот, увлеченно сопя, раздирал новенькую упаковку... Надо же, совсем забыла!.. Цел, цел; не разбился.

Она торжественно вытащила из картона плафон и поставила его на стол так же гордо, как час назад кастрюлю с битками:

– Вот; на кухню.

Метнулась обратно к свертку, извлекла из него гэдээровский тюль, который развернулся и низвергнулся из ее поднятых рук, словно подвенечный наряд.

– Что – это.

Оба слова невестка произнесла медленно и громко, как на диктанте, с гневно-брезгливой интонацией.

Так легко было бы исправить промах, скажи Дора: «Да купила своим в Кременчуг» или что-нибудь в этом роде.

Но Дора сияла, будучи уверена, что Таинька онемела от щедрого подарка, а потому только усугубила ситуацию:

– Да вам это, тебе! Ты полюбуйся, какой тюль чудный; абажур на кухню повесите, а то у вас там лампочка голая...

И запнулась, осеклась от накаленного невесткиного молчания. Которое та,

выждав бесконечную паузу, наконец нарушила:

– Мне? В мой дом? Вот это мещанство?!

С лицом пунцовым, как розы на ее халате, Дора несла какую-то оправдательную чушь: «Это тюль гэдээровский... в одни руки не давали, а я в очереди... и недорого совсем, ты не думай», закончив стандартным: «Я хотела как лучше, Тайнька», но «Тайнька», гремя спичечным коробком, захлопнула за собой дверь.

Если правда, что браки совершаются на небесах, то непонятно, почему проводниками и исполнителями воли небес назначаются такие неприятные тетки. В первый раз Настя с Карлом увидели их в конце марта, когда были свидетелями во время бракосочетания Зинки и Анатолия. В июне та же уютная улица, где находился ЗАГС, стала еще уютней от свежей зелени деревьев, туфли не скользили по грязи и не ляпали безобразными кляксами на чулки, тротуар был вымыт летним дождем и высушен ветром, но тетки остались такими же неприветливыми, чтобы не сказать угрюмыми.

Нужно было иметь неистребимый оптимизм или могучую окрыленность счастьем, чтобы не замечать пасмурного лица стоящей за столом женщины, не вслушиваться в скрипучий голос, хоть бы и вещал он что-то жизненно важное. Одна из вершащих волю небес, средних лет блондинка вопреки этой воле и обладательница скрипучего голоса, была, судя по всему, главной. Она громко называла фамилии, придирчиво сверяя ответы с паспортами, с судейской требовательностью выкликала свидетелей и первой подписывала бумагу с гербом. Вторая чиновница, моложе и тоже блондинка, но натуральная, играла роль второстепенную: вызывала очередную пару, ровненько клала паспорта на стол и притискивала к подушечке заветное клеймо, время от времени озабоченно поправляя зеленые бусы.

Супружество здесь не являлось таинством, а только гражданским состоянием, которое присуждалось в процессе бракосочетания, что ассоциировалось с судебным

процессом, особенно когда вызвали свидетелей, Зинку с Анатолием.

Карл обернулся только один раз и машинально отметил, что присутствующие как разделились у входа на два крыла, так и не слились. Справа стояла мать, сразу тревожно поймавшая его взгляд, дед с бабкой и Анна Яновна; Настины родители приехать не смогли. С другой стороны толпилась группка «посвященных»: тихая и торжественная Даце из общаги, несколько Настиных однокурсниц и двое приятелей Карла с работы.

Настя, похудевшая и сказочно красивая в белом платице, прямом и почти строгом, но с новой прической под пышной фатой, закрепленной какими-то елочными блестками, смотрела прямо на ответственную тетку и, казалось, даже слушала, что она говорит.

Карлушка смотрел мимо теток, хотя ничего интересного за их спинами не было: высилась небольшая трибуна (в голове мелькнуло слово «алтарь»), на которой стоял понурый гипсовый Ленин – то ли по причине своей бюстовой усеченности, то ли устав от однообразия процедур. На бутафорских ступеньках под ним выстроились горшки с альпийскими фиалками. Над бюстом висел герб республики, где золотые колосья окружали синее море с повисшим над ним серп-и-молотом. Из чего, интересно, делают эти гербы? Наверное, из дерева; а потом раскрашивают.

Я женюсь, одернул он себя.

Теперь все станет иначе. Как «иначе», он представлял слабо, но все чудесным образом изменится, в этом сомнений не было. Неужели эта фурия с золотым зубом тоже замужем? И муж ее любит, торопится домой, а она встречает его, скрипя, как несмазанная телега: «Здравствуй, милый!» Или дома она не фурия вовсе?.. А вот

вторая – вторая может быть и замужем. Хотя вид у нее какой-то... уцененный, и бусы похожи на крыжовник.

Анатолий и Зинка вышли вперед и наклонились над столом. Вклинилась совсем уже посторонняя мысль: кто регистрирует этих теток, если они сами женятся? В смысле, выходят замуж...

Додумать не успел: Анатолий его подтолкнул вперед, Настя взяла ручку и склонилась над столом, мазнув его по щеке фатой, потом передала ручку ему, и Карлушка поставил свою подпись неизвестно под чем, но рядом с Настиным росчерком.

Старшая чиновница взяла услужливо подsunутую печать и так азартно и сильнодохнула на нее, словно только чтохватила стопку водки. Выпрямилась за столом и каркнула:

– Молодые, поздравьте друг друга!

Сзади грянула торжественная музыка и хлопнула пробка от шампанского.

Какое счастье, что они не приехали, повторяла про себя Настя, как перед ЗАГСом мысленно заклинала: только бы не приехали, только бы не приехали, нет, нет...

Они с Карлом съездили на два дня – познакомиться с Настиными родителями, объявить о решении и быстро уехать, чтобы провести день в Москве.

В первый раз на Настиной памяти бабка с матерью оказались солидарны: отцу ехать нельзя – сраму не оберешься. Однако он как раз и уперся: еду, и все тут! Дочь, дескать, у меня одна – так что, я у нее на свадьбе не погуляю?

Пришлось сказать решительно:

– Нет, батя, не погуляешь. Потому что свадьбы у нас не будет.

Смягчая категоричность, пояснила, что свадьба – затея дорогая, им с Карлом не по карману. Приготовилась заранее – и правильно, потому что папаня начал возбужать родительской щедростью: «Да разве мы... Да когда я в чем тебе отказывал?». Настя терпеливо кивала (пусть выговорится), потом подвела итог:

– Не, пап; никогда и ни в чем. Как раз поэтому мы и не можем принять от вас деньги. Ты мужчина, – продолжала убедительно и сразу поняла, что взяла верный тон, – ты Карла поймешь. У инженера зарплата скромная, а ведь он должен и о матери подумать, – и кивнула почему-то на бабуку.

Заботу о матери приплела экспромтом и безо всякой необходимости. Оказалось, весьма кстати: бабука встала за нее горой: «Ихнее дело, Сережа. Они женятся – им и решать; не мешайся».

Зато неожиданно вызвалась ехать мать: «Мне свадьба была не была, хоть в ЗАГС приду...». Однако бабука задавила инициативу на корню:

– А люди что скажут? Разве ты брошенка или разведенка какая, что одна приедешь? Не-е-ет! Раз уж Сергей остается, так и ты сиди дома.

Вся дискуссия прошла быстрым яростным шепотом и с завидной скоростью, пока Карлушка брился и приводил себя в порядок; в том же темпе был вынесен бабкин приговор и обжалованию не подлежал.

Настя видела: жених понравился всем. Теперь нужно было опасаться долгих семейных застолий, с неизбежной бутылкой, от которой у отца развяжется язык, и что бы он ни понес, Карлу это слушать ни к чему. Однако мать наготовила еды, как

на роту солдат, да и они здорово проголодались с дороги.

Любовно оглаживая, отец поставил на стол «беленькую». Одновременно с ним Карлушка достал тяжелую глиняную бутылку, в этих краях никогда не виданную.

– Эт-то что ж такое? – одобрительно удивился отец.

– Национальная гордость нашей республики – бальзам, – охотно пояснил Карл. – Настоян на сорока травах.

– Лекарственный, что ли? – бабка сощурилась на непонятные буквы, золотом выдавленные на черной этикетке.

Отец потер руки:

– Вот счас и полечимся!

Как раз этого Настя боялась. Он нетерпеливо выколупывал пробку, поглядывая на пустую рюмку; коричневые крошки сургуча падали в тарелку. Наконец!.. Откупорил, налил густую темную жидкость, поднял с готовностью: «За знакомство!» и метнул в рот.

И замер, уставившись враз заслезившимися глазами на будущего зятя, с аппетитом поедающего холодец.

– Заб... бирает, – выдохнул медленно. – В ней сколько же градусов будет?

– Сорок пять, кажется. Оригинальный вкус, правда?

Сам он бальзам не пил – предпочел, к удовлетворению бабки, брусничную настойку ее изготовления. «Не сорок пять трав, конечно, – подпустила она шпильку, – зато домашняя, не покупная». Ульяна Степановна с самого начала внимательно и зорко присматривалась к Карлушкиной рюмке: не сколько пьет, а *как*, заранее страхась заметить алчное нетерпение, ожидание следующего тоста и

знакомое блаженство на лице от выпитого. Так бдительно следила, что почти не ела ничего, зато вполне успокоилась. Инженер до выпивки не жадный: на столе водка, а ему хоть бы хны; деготь, что привез в подарок, не пил совсем, а чуть нацедил себе в чай. Настюхино счастье. Как и то, что не на болоте жить: здесь инженер не инженер – все пьют...

Перед встречей с будущими родственниками Карлушка сосредоточился на том, чтобы запомнить и не перепутать от волнения имена. Отец – Сергей Дмитриевич, мать – Вера Арсеньевна, бабка – Ульяна Степановна; выучил, но все равно волновался. Мать беспокоилась по-своему – приносила коробки конфет: «Вот, отвези непременно, а цветы прямо там купишь».

Анатолий посоветовал бальзам: отвези, там такого не достать. Бутылка, тяжелая, как снаряд, чудом не побилась. И правильно сделал, что купил, а то хорош бы он был с коробками конфет – цветов раздобыть не удалось. Знать бы, так купил бы в Москве на вокзале... Пока тряслись в автобусе от областного центра, надеялся по наивности: хоть *городского типа*, но ведь *поселок* же? Значит, и цветы будут.

Не было. Зато рядом с автобусной остановкой они увидели здание с широкими витринами и буквами «ГАСТРОНОМ» над входом. «Новый, – с гордостью сказала Настя, – достраивали, когда я приезжала». Внутри было просторно и малоллюдно, только над прилавком винного отдела тяжелой гроздью нависала очередь. За спиной продавщицы, над полкой с батареей однообразных бутылок, висел транспарант: «НАЧИНАЙТЕ ДЕНЬ С КАКАО!». Жизнерадостный призыв не раздражал угрюмую очередь только потому, что никто его не замечал, как не замечают мутные стекла

витрин, следы на полу или пирамиды из пачек сухого киселя на полках, поскольку все это, включая оптимистический транспарант, стало частью магазинного пейзажа. А вот какао в гастрономе не оказалось, и это Карла рассмешило. Настя почему-то нахмурилась: «Ну и что тут особенного?». Он пожал плечами: ничего. Не мог же сказать, как царапнуло что-то внутри, и на миг ожила в памяти чужая тесная квартирка, где в проеме кухни стояла хмурая девочка-подросток с дымящейся кружкой в руках: «Я сделала вам какао». Еще раз пожал плечами и выкинул из головы абсурдный лозунг: предстояло самое трудное – знакомство.

Простая рабочая семья, какой Карлушка представлял себе Настину, оказалась не так проста. Глава семьи – худой, жилистый и коротконогий, с синими, как у Насти, глазами, вовсе не был главой, как не была ею Настина мать, женщина нерешительная и суетливая. Настоящим же главой, рулевым этой семьи оказалась бабка, невзрачная на вид старуха с неулыбчивым тонкогубым ртом и в белой косынке, глубоко надвинутой на лоб, как у монашки.

Сергей Дмитриевич говорил больше всех. Его интересовало Карлушкино имя – не в честь ли Карла Маркса; его «успехи на производстве» – прямо так и задал вопрос – и «жилищные условия».

– Нормальные условия, пап, – вступила в разговор Настя, – жить будем с Ларисой Павловной. Как-нибудь разместимся в трех комнатах, правда? – и весело улыбнулась, подмигнув Карлу.

Вера Арсеньевна спросила только, где он живет. Услышав, что в Старом Городе, оживилась.

– А мы знаешь, где жили?.. – начала было, но бабка громко напомнила про

духовку, и та заторопилась на кухню. Вернулась некоторое время спустя, но разговор продолжения не имел. Вернее, говорил один Сергей Дмитриевич. Начал, в отсутствие жены, рассказывать, как во время войны их часть перебросили «в этот ваш Старый Город, вот так прямо ихний бульвар главный, а с той стороны площадь; ну так у нас там казармы были». Две рюмки спустя, сам того не заметив, уже повествовал, как два года назад его сделали бригадиром. По мере того как в бутылке понижался уровень водки (бальзам он больше не наливал), Сергей становился все более словоохотливым. Обращался по большей части к Карлу, всякий раз с одинаковым зачином: «А я тебе так скажу...», о чем бы ни говорил, а говорил главным образом о «производстве», то есть о торфодобыче. Собеседник понятиливо кивал, отвечая все реже и в основном междометиями, надеясь, что его «конечно» и «угу» не звучат невежливо.

– Твой-то батя тоже небось воевал?

Вопрос был неожиданный и совершенно непонятный после детального описания, как он, бригадир, закрывает наряды.

– Отец? Нет, он не воевал, – начал было Карлушка, но в этот момент Настя наступила ему под столом на ногу.

– Отец не воевал, – повторил он, глядя в синие глаза будущего тестя, – он... работал.

– Бронь, значит, имел, эт-та, – вслух решил Сергей Дмитриевич. – У нас в роте один служил. Сам он с Челябинска, с Урала, так евоному отцу тоже бронь дали, как война началась. Я тебе так скажу: он на этом своем заводе...

Или она нечаянно наступила? Поймав Настин взгляд, понял: нет, не случайно.

Карл не удивился. Он так часто встречал внезапное молчание, переглядывания, а то и откровенную холодность, чтобы не сказать враждебность по отношению к бывшим сосланным, что понял: лучше промолчать. Он не солгал: отец работал всю войну не покладая рук, и не его вина, что не воевал – с ним воевали...

– Сережа, Сереженька! Смотри, гость-то усталый совсем, тем более с дороги, и Настена вон носом клюет.

Старуха ловко ухватила бутылку с остатками водки, Вера почти синхронно сняла со стола бальзам и наливку. Пока Настя с матерью относили посуду на кухню, Карлушка бесцельно слонялся по комнате, пока не наткнулся на невысокую полку с книгами в углу.

Говорят, что по библиотеке можно определить характер и пристрастия владельца, но Карл оказался в тупике. Он с недоумением пробежал глазами заголовки на корешках: «Русский лес», «Легенды и мифы Древней Греции», «Бухгалтерский учет в торфодобыче»... Рядом стоял свекольного цвета Беранже: «Песни». К Беранже прислонилась «Княжна Тараканова», потом шли «Справочник по элементарной математике», «Как закалялась сталь»... Увидев два корешка с одинаковыми названиями, он удивился и вытащил обе книжки и с недоумением переводил взгляд с одной обложки на другую. Одна называлась «Барсуки» и принадлежала перу Ф. Панферова, другую – «Бруски» – написал Л. Леонов. Вместе с «Русским лесом» вполне могли бы составить трилогию – чем не материал для литературной студии? «Вы литературовед, молодой человек?» – спросили бы. «Нет, инженер-радиотехник». Две книги – «Время жить и время умирать» и «Сага о Форсайтах» – стояли с наклоном в противоположную сторону, словно отшатнувшись

от соседей. Он невольно улыбнулся.

– Эт-та...

Сергей Дмитриевич остановился рядом.

– Эт-та... – повторил он и показал пальцем на книги. – Мы Настене ни в чем не отказывали, вот и с книжками тоже. У ей этого добра в старом доме целая куча осталась, там сейчас мать живет. Огород, то-се. А я тебе, эт-та... если хочешь стоящее что почитать, то вот сюда гляди.

Он нагнулся и жестом поманил Карла последовать его примеру.

«Стоящее» было сложено стопкой на нижней полке. Было видно, что это книги, многократно читанные и любимые хозяином.

– Во, смотри!

Он совал Карлушке в руки маленькие томики с лохматыми корешками, в сильно потрепанных обложках и с интригующими названиями: «Что происходит в тишине», «Паутина», «Вынужденная посадка», «Под чужим именем»...

– Очень жизненная, я тебе скажу, – он сунул Карлушке толстый томик в некогда зеленом переплете, – как они их на чистую воду вывели, эт-та...

Книжка называлась «Похождения Нила Кручинина».

Хозяин вдохновился настолько, что начал путано пересказывать сюжет про какого-то пастора («священник ихний»), спортсмена и горные ботинки; сюда же каким-то образом лепился стакан молока... В это время его, к счастью, позвали.

Настя, пробегая на кухню, заглянула Карлушке через плечо и скорчила гримаску. Он улыбнулся в ответ, маясь от неловкости, поскольку стал невольным свидетелем разговоров о ночлеге, и продолжал стоять, уставившись в книжные корешки.

Квартира состояла из двух смежных комнат, одна из которых была родительской спальней. Идея ночевки жениха и невесты в одной комнате была слишком крамольной даже для обсуждения, в результате чего проблема гостеприимства выглядела столь же трудно решаемой, как задача о волке, козе и капусте, и эту задачу блистательно разрешила именно бабка.

– Вот как сделаем, – твердо сказала она. – Вы, – кивнула сыну с невесткой, – отправляйтесь ко мне, а то что ж я буду на ночь глядя шлендать? Заночуете там, я с Настеной в спальне лягу, а гостя положим в *зало* на диван – вот и вся недолга.

Он был уверен, что уснет сразу, как дойдет до дивана, однако стоило лечь – и сонливость как сдуло. В темноте комната, которую старуха гордо именовала «зало», выглядела иначе – нарядней. Ровно и ярко светил фонарь за окном. Тюлевые занавески казались твердыми и рельефными, как и свисающая из-под радиолы вышитая салфетка; вторая салфетка, кружевная, лихим чубом свисала с ее полированной крышки. Плюшевая скатерть на круглом столе спадала дорогой драпировкой на простые деревянные стулья. В углу на таком же стуле покоился баян. Над столом – лампа с кистями на абажуре. Застекленная фотография в деревянной рамке висела на противоположной стене. Сидя за столом напротив нее, Карлушка свыкся с безмолвным свидетелем трапезы – худощавым молодым мужчиной в плечистом пиджаке, скрывающем его худобу, и наглухо застегнутой сорочке. Мужчина смотрел не в глаза фотографу, а куда-то над его головой, как будто ждал, что кто-то оттуда появится. «Муж мой покойный», – пояснила старуха. Теперь не было видно массивного пиджака, свет фонаря превращал фотографию в маленькое

оконце и выхватывал абрис помолодевшего, совсем мальчишеского лица, так что казалось, будто мальчуган пытается заглянуть в комнату.

За стенкой слышался глуховатый протяжный кашель, потом стих. Настю слышно не было. Спит. Он улыбнулся. Во время ужина, переводя взгляд с одного лица на другое, пытался понять, на кого она похожа, и не смог. Если бы сходство состояло в сличении черт, то можно было бы найти немало общего: голубые, как у отца, глаза, но без этих безобразных красных прожилок, высокий – материнский – лоб, да мало ли!.. Однако сходство легко ускользает или проявляется в чем-то неуловимом: вот она упрямо наклонила голову, совсем как Сергей Дмитриевич, а потом улыбнулась – и сходство с отцом исчезло, растворилось, словно он для нее чужой человек. Некоторое время спустя что-то заставило Карла пристальней взглянуть на Веру Арсеньевну, и он поразился, заметив милую ямочку на щеке – точь-в-точь как у Насти. Это случилось, когда она хотела рассказать, где они жили – тогда, до войны, до Насти; и бабка послала ее на кухню. Ямочка мелькнула – и пропала, а вместе с ней исчезло сходство.

Нет, Настя не случайно наступила ему на ногу: здесь не нужно говорить про ссылку. Значит, родители не знают, и знать им не нужно. Об отце Сергей Дмитриевич спросил только, воевал ли, – и сам же придумал ему бронь, примерив на однополчанина из Челябинска. Как странно, что этот малосимпатичный человек должен стать его родственником и будет называться «тесть»; булочное какое-то слово. О чем он может спросить завтра? – Да о чем угодно; например, поинтересуется, служил ли в армии будущий зять. А что тогда – рассказать про плоскостопие? Нет, ни за что. И что сказать, если опять будет расспрашивать об отце

– говорить о кино? Или о ларьке, где отец проработал всю войну – и всю ссылку, о которой говорить не следует? Вдруг захотелось оказаться дома, достать черную папку и не спеша перебрать то, что пролистал тогда впопыхах, а потом так и не удосужился разобрать подробно. Конечно, ничего они не знают, если Настя не рассказала; да и что они могут знать, если я сам знаю о нем так мало?..

Простая и беспощадная мысль может посетить в самом неожиданном месте: в очереди за хлебом, на вечеринке, в поезде или на пустой ветреной улице. Или на чужом диване в гостях, в столь же чужом доме. Он даже сел, бездумно уставившись в окно.

Я почти ничего о нем не знаю. Как отец, с его мощной энергией, сделал только один фильм – и остановился; почему? И почему он не стал снимать «Вагонъ»? И дом, где они жили до войны, до ссылки – что это был за дом, где он? Там росла высокая трава, и мячик сразу в ней терялся. Карлушка прикрыл глаза, силясь вспомнить что-то помимо уже знакомой картинки. С закрытыми глазами вспоминать было легче. Гравиевая дорожка, да: он не раз на ней расшибал коленки. Гравий заканчивался... где, около забора? Нет, у лестницы; там ступеньки были. Вдруг отчетливо вспомнился запах промытого дождем дерева – ступеньки просыхали неравномерно, темные полосы влаги держались в трещинах и незаметно светлели. Дверь, тоже со следами дождя, ведущая... куда? Карлушка мысленно не открыл, а – толкнул эту дверь, не зная еще, что увидит за ней, но сразу же узнал комнату и высокое окно со множеством переплетов. Верхняя часть окна была составлена из разноцветных стеклышек, и солнце, просачиваясь сквозь них,

раскинуло на нагретом полу веселый лоскутный половичок. Маленькая детская рука водит по импровизированному коврику и становится то синей, то желтой, то зеленой, а то вдруг обливается багрянцем.

Это моя рука.

...Значит, они жили в деревне. Ну да, они ведь ездили с отцом в город! Или это была дача? Надо спросить у матери. И какое яркое было солнце – или в детстве солнце всегда светит особенно ярко?

Он открыл глаза и очутился в чужой комнате. С фотографии смотрело чужое лицо. В углу горбился баян. Стулья, расправив плечи, со всех сторон обороняли стол. Тускло поблескивали клавиши радиолы.

Что за фонарь у них на улице – не заснешь. Он встал и на цыпочках подошел к окну. Улицы не было – окна выходили во двор. Фонаря не было тоже, зато прямо напротив окна на голом черном суку висела полная луна.

Карлушка лег, отвернулся к стенке и закрыл глаза.

Начинайте день с какао.

После Дориного отъезда все стало быстро кончаться: запасы печенья и коржиков, казавшиеся неиссякаемыми, бесконечно долгая третья четверть, чистое белье и весь тот комфорт и порядок, которых она добилась. Теперь на кухне снова скапливались банки от огурцов, баклажанной икры и «рассольника домашнего». Эти банки нужно было мыть, потом они толпились на плите, пока мать не убирала их в кладовку. «Сдадим», – говорила она. Банки, однако, неделями не сдавались, как вражеская армия, и Ольга тайком, по одной-две, их выбрасывала. Можно было бы, конечно, проявить инициативу, набить две сетки и сдать в бакалейном, но дураков нет, потому что деньги все равно отберут. Или Сержант сядет подсчитывать на бумажке, а потом важно объявит: «Рубль шестьдесят; как раз тебе на школьные завтраки. Считай, что заработала».

Третья четверть – ладно; кончился покой в доме, каким бы шатким он ни был во время Дориного пребывания. Сержант больше не орал по утрам: «Ольга, вставай!» – ее расталкивала мать перед уходом на работу. Ольга отводила брата в садик, ехала в школу и уже в утреннем троллейбусе с тоской думала о том, как после уроков надо будет возвращаться.

Сержант целыми днями торчал дома. Он бессмысленно слонялся по квартире, в своих стоптанных тапках и в галифе с болтающимися кальсонными тесемками и в одной нижней рубахе. Ольке казалось, что он вот-вот наступит на тесемки и грохнется во весь рост, но этого не случалось, хотя редкий день Сержант обходился без водки. Бутылку он прятал в куче грязного белья. Иногда он открывал футляр,

вытаскивал валторну и начинал играть, вперив неподвижный взгляд в голое окно. Оживляясь, ставил на пюпитр ноты, быстро находил искомое и снова играл. В эти минуты можно было незаметно ускользнуть из дому.

Терция – доминанта – терция.

Потом вдруг он брился, прыскался одеколоном и, переодевшись, уходил на целый вечер, а то и до завтра. Где и с кем он был – вернее, пил, – никто не знал.

В такие дни мать вела себя совсем иначе, чем когда он был дома. Она то хватала журнал или книгу и садилась читать, то вытаскивала начатое вязанье и, вытянув губы трубочкой, ловила спицей спущенные петли. Потом откладывала спицы, тянулась к папиросам. Олька уже знала, что мать направится к дверям, но на полпути махнет рукой и закурит прямо на кухне, присев на корточки перед плитой.

– Открой трубу, кому сказано, – бросала она, хотя ни слова «сказано» не было.

Затянувшись, выпускала дым и поворачивалась, держа папиросу на отлете, у самой дверцы.

– Безработный чертов... Где он шляется, дармоед этот? И какого лешего ему нужно?

Ни на один вопрос Олька ответить не могла. Чтобы раздражение матери не перекинулось на нее, бралась мыть посуду – вместе с банками, чтоб не к чему было придраться.

Однако Таисия не унималась:

– Нет, ты скажи: кто виноват, что его комиссовали? Я, что ли?

Олька пожимала плечами. Риторический вопрос – это вопрос, не требующий ответа, они это проходили.

Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?

Ясно, что не даром, как ясно, что мать не виновата ни в его астме, ни в инвалидности. Правда, слово «безработный» к Сержанту не подходит, особенно если его сравнивать с безработными на Западе, в «Огоньке» печатают фотографии. На них изображены угрюмые люди в комбинезонах, многие держат какие-то плакаты или флажки, а над снимками всегда зловещие заголовки.

В противоположность американским безработным, обреченным на нищету мертвой хваткой империализма, Сержант недавно заказал себе в ателье костюм модного сине-зеленого цвета, который мать называла почему-то «электрик». Она купила два галстука, которые Сержант надевал, не развязывая, а только ослабляя узел. К гражданскому костюму понадобились туфли – купили туфли, причем на коже, а не на микропорке, чем особенно гордилась мать.

– Вовка ищет работу, – гордо объясняла она всем знакомым. – Он должен прилично выглядеть. Что ни говори, а встречают у нас аккуратно по одежке.

На Олькин взгляд, отчим выглядел почти стилигой.

Откуда-то взялось тяжелое темное пальто вместо всегдашней привычной шинели и шляпа.

Во всем этом снаряжении он и ушел из дому вчера утром.

Давно осталось позади то время, когда Таисия волновалась из-за того, что муж

задерживается. Он всегда возвращался, но теперь она волновалась, пытаясь угадать, в каком виде он придет. Не раз бывало, что она, содрогаясь от брезгливости, стаскивала с него одежду – сначала форменную, теперь гражданскую, – и перед работой относила вонючий узел в химчистку. Вернуться мог в середине ночи или под утро. Обычно его сопровождал кто-то из приятелей-оркестрантов, пригласивших на совместную «халтурку» и пришедших своими ногами, с безжизненно висящим на плечах товарищем, которого сгружали на раскладушку или прямо на пол. Потоптавшись у дверей, уходили.

И это был еще не самый плохой вариант, когда его приволакивали. Таисия волей-неволей научилась не только стаскивать изгаженную одежду, но и обшаривать карманы, чтобы оставить утром на столе несколько мятых рублевков – ему же на опохмел, чертова пьянь.

Хуже было, когда он приходил сам, без посторонней помощи. Вваливался в комнату – бледный, пьяный и задыхающийся от бешенства, не от кашля, хотя в такие ночи только сильный приступ был спасением от того, что должно было последовать и неминуемо следовало.

Да как ты терпишь, говорили знакомые, рано или поздно посвященные в то, что ей приходится терпеть. Как можно допускать такое обращение?! Родные высказывались более осторожно. Покойный дядя Федя уверял, что это не просто пьянство – это алкоголизм, детка, и ты должна изолировать детей от отца-алкоголика.

Что, это Вовка-то – алкоголик?! Вот спасибо. Таисия почему-то обиделась на крестного, хотя и он, и Танта настойчиво предлагали ей провести несколько ночей у

них. Хорошо говорить – несколько ночей! А потом что, как потом вернуться? Его лечить надо, детка, звучал в ушах голос крестного, иначе это плохо кончится, – и милосердно не договаривал, для кого.

Бывало, что период пьянства (Таисия избегала слова «запой») затягивался, синяки долго не сходили, ибо покрывались новыми, и тогда ее охватывала паника.

– Собирайся, Ляля, – коротко бросала она, – черт его знает, какой он явится нынче. Пойдем к дяде Моте. Что я, одна на свете, в самом-то деле?

Дядя Мотя и дядя Сеня были родными братьями Таечкиной матери, и каждый из них был рад видеть племянницу, которая неожиданно появлялась вечером на пороге, с обоими детьми и неизменной фразой: «Вот, зашли на огонек; не прогоните?». Конечно же, не прогоняли, а, напротив, кормили ужином и выслушивали путаное повествование о том, что «Вовка куролесит», но она, конечно же, найдет на него управу. Выслушивали, но реагировали по-разному. Дядя Мотя, как и крестные, говорил, что нужно, мол, поберечь детей, и Таисия внутренне закипала. «Детей поберечь», кто бы говорил! Милый дядюшка в свое время – не так давно, кстати, – ушел из дому, оставив жену, с которой прожил всю жизнь. Ушел к другой женщине и, между прочим, не поберег четверых собственных детей. О том, что трое были взрослыми людьми, со своими семьями, а четвертый готовился поступать в институт, Таисия, поглощенная своим внутренним кипением, думать не хотела. Эта другая женщина, Даша, нынешняя его жена, сидела за столом, но в разговор не вмешивалась, только кивала сочувственно и скормливала Ленечке изюмный кекс.

– Мне и домой-то страшно возвращаться, – Таисия беспомощно развела руками.

Ответ на такое признание мог быть только один. Она уже предвкушала, как будет изумлен пьяный муж, не застав никого дома.

Даша отрезала от кекса новый кусок. Дядя Мотя встал, засунул обе руки в карманы и отошел к окну. Постоял, а потом повернулся к племяннице и сказал:

– Оставь детей и возвращайся. Придет – вызовешь милицию; не впервой. Дальше сама решай, Тайка.

...Хорошо сказать: «Сама решай». Таисия тащила за руку сонного сынишку, на ходу затягиваясь папиросой. Вместо родственного гостеприимства сунули кусок кекса, большое спасибо! «Ну что ты плетешься, как больная кляча!» – прикрикнула на дочь.

Олька успела заметить в окне женщину, которая сидела под лампой и шила. Свет был неяркий, уютный; поэтому, наверное, она придвинулась так близко, иначе плохо видно. Когда бабушка шьет или вяжет, она садится точно так же, близко к лампе. Зачем, ну зачем мать ходит и жалуется, ведь все равно никто ничего не поймет, тем более что говорит она так, словно рассказывает о нашалившем ребенке: «Володька куролесит». Только бабушка поняла бы – и... приняла бы их, а Сержанта не впустила бы в дом никогда, но именно бабушке об этом нельзя говорить – у нее больное сердце, и дядя Федя говорил, что она не переживет второй инфаркт.

Она бабушке ничего об этом не говорила, никогда.

Пока стояли на перекрестке, пережидая машины, Ольга смотрела на деревянный дом с облупившейся краской. Угловое окно было завешено тонкой полупрозрачной гардинкой, а на подоконнике лежал большой черный кот, уютно подложив под себя лапы. Ленечка остановился как вкопанный, но в это время

включили зеленый свет. Мальчик долго шел, повернувшись назад и вывернув руку, так что матери пришлось дернуть его еще раз.

...Как она не понимает, что просить стыдно? Они закрывают за нами дверь и с облегчением возвращаются в свою жизнь, к своим трезвым, понятным делам. У родственников, как у людей в окнах, всегда прибрано, висят занавески, люди шутят, а у кого-то – вот как здесь – кот. У всех людей за окнами происходит уютная жизнь, без сырости на стенах и без этих дурацких банок; жизнь, в которую не может ворваться пьяный Сержант, ни за что – достаточно посмотреть на окна. А придет он к себе домой, куда и мы сейчас идем, он всегда вваливается уверенно, он – хозяин. Значит, сегодня снова придется спать не раздеваясь. Мать ложилась в Дорином халате – старуха то ли забыла, то ли не смогла упихать его в чемодан, набитый подарками в свой Кременчуг. Оляк натягивала физкультурный костюм. Если дойдет до «Ляля, зови милицию!», то можно успеть выскочить.

Можно не успеть.

Сейчас, укладываясь в эту идиотскую младенческую кроватку, даже странно было вспомнить, что когда-то, во втором классе, она приходила из школы и с наслаждением бухалась животом на просторную бабушкину кровать. Прямо в школьной форме. Засыпала – как уплывала; и спала крепко и сладко. Главная хитрость: надо было аккуратно и ровно расправить под собой платье и передник, чтобы не помялись. И – не мялись! Проснувшись, переодевалась и вешала форму в шкаф, как примерная девочка, какой она и была.

Сержанта дома не было. Вернулись почти в девять часов, и топить печку было поздно, а в апреле по ночам еще холодно. Поверх физкультурного костюма Оляк

натянула толстый свитер, Дорин подарок: он согреет.

Только бы завтра не надо было тащиться куда-то еще, как тогда к дяде Сене.

...У второго дядюшки – это было прошлой зимой – Таисия встретила больше понимания. Первым делом дядя Сеня поставил на стол бутылку и налил себе стакан, а гостье рюмку. Валя, его жена, торопливо шуршала на кухне какими-то обертками, варила макароны. Когда они сварились, хозяин уже несколько захмелел.

– Нет, что он себе думает, сукин сын, елкин корень! – громко выкрикивал он, размахивая вилкой, и Таисия почувствовала, что именно этого, такой вот мужской решимости, ей не хватало. Дядя Сеня сделает то, что не смог пока сделать никто другой: прикрикнет, припугнет Вовку... Одним словом, поговорит с ним по-мужски.

– Да прямо сейчас и пойдем; о чем разговор, елкин корень.

Он уже поднялся и стоял, озабоченно хлопая себя по карманам пиджака – не забыл ли папиросы, – застегнулся и решительно мотнул лобастой головой: «Пошли!». Ловко перехватил такси под носом у пожилой пары, и только когда приехали, обнаружилось, что не взял бумажник. Ну да не в деньгах счастье.

Зато не забыл сунуть в карман пиджака недопитую бутылку, очень пригодившуюся для решительного разговора с «сукиным сыном».

Так они и вошли в комнату: первым шел гость с грозно сдвинутыми бровями, за ним Таисия и дети.

– Ты, Володька, брось это! – заявил дядя Сеня, переступив порог.

Хозяин, любовно протиравший мягкой тряпочкой валторну, оторопело поднял голову, но тут же заметил опытным глазом оттопыривавшийся карман пиджака и с

радостной улыбкой встал навстречу гостю. Раздалось командное: «Тая, рюмки! Ольга, там огурчики на кухне; сообрази ужин!».

И сладился какой-никакой ужин вокруг принесенной полбутылки, а потом и вторая, полная, нашлась – то ли в шинели, то ли где-то еще. Гость пошарил у себя в кармане и наградил малыша карамелькой («скажи спасибо, Ленечка»), дочери не было слышно – наверное, приткнулась с книжкой на кухне, – и Таисия с надеждой вглядывалась то в мужа, то в дядьку, всем сердцем надеясь, что вразумит он Вовку, вправит ему мозги. И станут они жить, наконец, как все люди, без кошмарных этих ночей, когда... Обязательно вразумит, ведь это не мямля дядя Мотя, а сам Семен Григорьевич Иванов – фронтовик, грудью защищавший Родину.

– Я в танке горел! – кричал фронтовик. – А ты выпей, Тайка, с нами, выпей, елкин корень! За то, чтоб Володька не смел больше пить, а то я...

Дядя Сеня выразительно сжал мощный кулак, и Таисия совсем успокоилась. Прогнала зародившееся подозрение, что за столом идет обыкновенная пьянка, – мелькнула такая мысль, прошмыгнула нахальной мышью, и вместе с ней подползла тоска, а потом страх, что эта пьянка кончится так же, как все остальные кончались... Нет, не может этого быть, дядя Сеня не для того пришел, чтобы напиться – он Вовку наставит на истинный путь, ведь он старше, он сильный.

Он и вправду оказался сильным – настолько, что сам вышел из квартиры и властно отмахнулся от племянницы, сующей ему деньги на такси и лепечущей слова благодарности («я так вам, дядя Сеня, признательна... в любое время... спасибо вам огромное» и прочие «заходите на огонек»). Такси довезло сильного человека до дому, где он рухнул и уснул, а на следующий день очень удивился бы, если бы ему

рассказали, где он провел вечер накануне.

Визит родственника произвел на Таисию определенный терапевтический эффект. Она поняла, что все пьют, и ничего с этим не поделаешь. Пила Ксения, мать ее подруги Оли – в юности они были так неразлучны, что Таисия назвала дочку ее именем. Пил муж дворничихи Клавы – регулярно, в каждую получку. Машинистка Муза, с которой они вместе ходили в столовую в обеденный перерыв, жаловалась на своего хахаля: «опять пьяный приперся», но жаловалась с оттенком горделивости: вот, мол, хоть и пьян, а «приперся» именно к ней. Хотя что он такое – любовник, не более; у меня-то муж, семья; это важнее. Хорошо было крестному говорить: «Пойми, детка, Володе водки нельзя, ни капли». Немного спустя жизнь доказала сомнительность его утверждения: крестный совсем не пил, кроме рюмки кагора по праздникам, однако умер от инфаркта. Опять же Таисия хорошо помнила своего деда, который не то чтобы пил, но выпивал, бывало, крепко; и что? Дело разумел, как говорится, лучше многих непьющих – вон какую мебель делал! В мещанском вкусе, конечно, со всеми этими... бирюльками да завитушками; но в то время это было модно.

За неимением более подходящей аудитории Таисия все это излагала дочери. Та сидела в застегнутом наглухо свитере и угрюмо слушала, уставившись в книгу и поднимая изредка глаза на мать.

– Ну, да ты Максимыча помнить не можешь, – махнула Таисия рукой, – но Максимыч тоже выпивал – и ничего.

– Помню, – буркнула девочка.

– Как это – «помню», – снисходительно улыбнулась мать, – тебе было от силы

года четыре, когда он умер.

– Пять.

– Как пять? Максимыч умер в... Погоди; это мне тогда было... В общем, не важно. Четыре, пять – какая разница? Все равно ты не...

В прихожей что-то стукнуло. Обе замерли.

– Полено упало, – сказала девочка.

Самое главное: не он. Можно было перевести дух и вернуться к книжке.

Когда-то, в самом начале того, что Таисия называла невинным «Вовка куролесит», она пробовала не впускать мужа в квартиру. Запирала дверь на ключ и на задвижку, и он ломился с руганью, однако прочная дверь выдерживала пьяный натиск. Не выдерживали соседи – они и вызывали милицию. Уже несколько протрезвев в борьбе с дверью, он признавался стражам закона, что пришел «слегка выпивши», а жена с детьми, должно быть, спят и не слышат; прописка – вот она, а то как же. Соседи расходились; милиционеры, обезоруженные чистосердечным признанием и этим «слегка выпивши», авторитетно и уверенно стучали, делали «слегка выпившему» внушение – и уезжали.

Ни они, ни соседи не видели того, что происходило потом.

В детском саду Таисии советовали «обратить внимание», что Ленечка перестал проситься на горшок, и поинтересовались, просится ли дома. «Конечно!» – заверила та, но умолчала, что на ночь теперь приходится класть на диван клеенку... Повела сынишку к врачу, от которого вынесла слово «энурез» и направление к детскому невропатологу. Так разволновалась, что впору было самой бежать к невропатологу, однако до детского руки так и не дошли, тем более что подвернулась выгодная

«халтурка», а потом приехала Дора и стало вовсе не до того, чтобы бегать по поликлиникам. И ведь не пил Вовка, пока она с ними жила, целых два месяца не пил, что еще раз подтвердило, что крестный был не прав: погорячился покойник, никакой у Вовки не алкоголизм, а элементарная распушенность, вот и все!

– И все-таки, что делать? – вырвалось у нее.

Дочка, обычно молча погруженная в книжку, неожиданно ответила:

– Почему ты с ним не разведешься?

И эта туда же – мало ей родственников! Все уши прожужжали: «Подумай о детях, Таинька, о детях!». Как будто она о себе думает, честное слово.

– По-твоему, пусть Лешка без отца растет?

Девочка пожала плечами:

– А что такого? Я выросла без отца.

– Положим, ты еще не выросла! – выпалила Таисия. – И закрой книжку, когда с матерью разговариваешь! Что ты там читаешь?

– «Сагу о Форсайтах», – девочка неохотно закрыла книгу, придерживая пальцем страницу.

– Оно и видно; нахваталась... Тебе это еще рано. Вон Жюль Верн стоит – для тебя подписывалась; ты хоть открыть удосужилась? Хоть один том прочитала?

Олька снова пожала плечами. Скучный он, Жюль Верн твой, хотела сказать, но не сказала. Зачем? Про отца, конечно, не надо было – как-то нечаянно вырвалось.

Максими́ча, вот кого ей не хватало. Почему-то жила твердая вера в то, что, будь Макси́мич жив, он не позволил бы Сержанту... Да при Макси́миче не было бы Сержанта в их жизни, Макси́мич бы не позволил! А если бы... Если бы и...

Выгнал бы его, как бабушка Матрена когда-то выгнала.

Когда никого не было дома, Олька усаживалась на диван – Максимычев диван, она помнила его столько же, сколько помнила себя, – закрывала глаза и видела себя в бабушкиной комнате, и Максимыч сидел рядом, во всегдашней своей косоворотке, она ни у кого больше таких не видела с тех пор как... с тех пор как Максимыч больше не сидит с нею рядом.

В сказках летают на ковре-самолете – почему же не на диване?.. Кроме того, на нем было очень уютно читать «нелегальную литературу»: лечь на живот, прислонить к валику тяжеленный том «Нивы», и – понеслась душа в рай!

...до первого шороха в прихожей. Такое бывало, и не раз, но теперь Олька стала опытной: успевала спустить книгу за диван, и Максимыч одобрительно хмыкал, улыбался в усы: «Молодца!»

Только он говорил это слово. Он и бабушка.

...«Форсайтов» она дочитает все равно, мать не всерьез выступает, а просто боится, что вот-вот Сержант явится. Когда его подолгу нет, она другая, но все равно зачем-то кидается его защищать. Не только с ней – со всеми: с Ксенией, с бабой Натой, с подругой Олей, хотя видно, что Оля ей нисколько не верит, однако кивает и поддакивает. Как и все остальные, включая родственников. Все сочувствуют, вздыхают, но мать все равно защищает «Вовку».

Зачем, зачем только она жалуется?

А что, если... А если это любовь? Не та, что в любимом Томкином фильме, и не та, что у Томки с Гошей, но... может, у взрослых так всегда, и как раз это и есть настоящая любовь, когда мать ждет, что он явится, а потом... Как тогда: Олька

притворялась, что спит, нечаянно уснула и проспала, а утром радовалась: обошлось. Коробка с зубным порошком была почему-то забрызгана томатной пастой, она пробовала стереть, но то, что она приняла за томатную пасту, присохло и не сходило. Раковину мать помыла, но кляксы остались на стенке и на полотенцах, даже на Лешкином, с вышитым утенком.

И это – любовь?..

У Форсайтов все намного проще. Молодой Джолион ушел от жены, хоть они почему-то не развелись, и жил спокойно, писал акварели. Ирэн тоже не развелась, что было совсем уже непонятно: ведь полюбила архитектора, а мужа терпеть не могла; он вообще не пил, между прочим. Зато Монтегью не только пил, но и деньги проигрывал, и вообще мерзавцем был, однако жена все ему прощала, вот это было самое непостижимое.

Раздался легкий щелчок, и девочка вздрогнула. Это будильник – стрелка перескочила. Без двадцати пяти час. В голом пустом окне отражалась настольная лампочка с покосившимся абажуром, толстая раскрытая книга и руки, подпирающие подбородок – лица видно не было, свет падал на страницы. Сейчас скажет: «Кончай читать, гаси свет!».

Олька посмотрела на диван. Мать спала, уронив голову на раскрытый «Новый мир». Одна рука была согнута в локте, другая вытянута вперед, словно ей должны делать укол в вену. Медленно, чтобы не грохнулась чертова кровать, Ольга встала и, не выключая свет, осторожно вытащила журнал.

Господи, сделай так, чтобы он не пришел. Пожалуйста, Господи!..

Помнишь, мама моя, как девчонку чужую
Я привел к тебе в дом, у тебя не спросив?
Строго глянула ты на жену молодую
И заплакала вдруг, нас поздравить забыв...

Лариса с досадой выключила радио. Чего уж там – «девчонка» давно не чужая, симпатичная и, как выяснилось, хозяйственная; пускай приводит. Да если б оказалась не хозяйственной, тогда что? Карлушка ее любит, а больше ничего не нужно. Брал какие-то дни за свой счет, ездил знакомиться с Настинными родителями. Ничего толком от него не добиться – как встретили, что за люди... Сказал что-то непонятное: «Начинайте день с какао!», поцеловал в щеку, засмеялся и убежал встречать Настю.

Вот и пойми.

Узнав о готовящейся свадьбе, Ларисины родители вдруг начали проявлять необычную активность. Отец взялся «обеспечить стол», и Лариса устала объяснять, что свадьбы как таковой, то есть свадебного застолья, не предвидится. Спасибо, вмешался сын, охладив деда: «Свадьбы не будет». Побушевав, тот ретировался, но включилась Аглая, вызвавшись «одеть молодых с ног до головы». Что она, всю жизнь прожившая в деревне, под этим подразумевала и как предполагала осуществить, с одним только мизерным доходом со своего огорода, было непонятно. Эта нелепость

обсуждалась по телефону, с раздражающими подробностями. В трубке что-то скворчало и потрескивало, словно жарили яичницу.

– И милости просим к нам, в следующее воскресенье!

Материнское воркованье перебил нетерпеливый голос отца:

– Обязательно приезжайте, будем ждать!

В поезде Лариса уговаривала себя, что как-нибудь обойдется, не станут они при Насте ссориться. А что поехали, хорошо; матери нездоровилось: жаловалась на боли в боку, и Лариса взяла с собой какие-то капли – Анна Яновна посоветовала.

– Какая тут у вас красотища! – воскликнула Настя, и родители заулыбались так радостно, что у Ларисы почти отлегло от сердца: обойдется. Девушка с любопытством рассматривала деревянную табличку, висящую на сухой ветке.

Давно – Лариса не помнила даже, сколько лет назад – отец написал на ней название хутора: «У озера» и повесил дощечку на сук дерева. Полюбовался делом своих рук и отправился порыбачить. Когда вернулся, жена дописывала последнюю букву на обратной стороне дощечки. В ее редакции хутор назывался «Сосны». Те, кто подходил к дому со стороны железной дороги, видели именно эту надпись; другие, пройдя через лес и прочитав лиричное название «У озера», начинали оглядываться в поисках такового. Это много лет давало Аглае повод лишний раз поддеть мужа: мол, до озера еще добраться надо, на что муж, в очередной раз ткнув пальцем в табличку, ядовито спрашивал: а где тут сосны? Где хоть одна сосна, я спрашиваю?

Дощечка с разноречивой надписью висела на старом буке.

Труднее всего было почтальонам, да и то на первых порах, тем более что менялись они редко и быстро привыкали к чудачествам хозяев.

На самом деле сосна, и далеко не единственная, росла в том самом лесу, который находился слева от хутора, да и озеро располагалось немногим дальше, так что добраться до него не составляло никакого труда. Однако так уж была устроена жизнь родителей, с горечью думала Лариса, на вечном противостоянии «брито» и «стрижено». Герман был прав: иначе они жить не умеют.

Настя повертела табличку и мечтательно произнесла:

– «Сосны у озера»... Так оригинально, что с обеих сторон. Это вы вместе придумали?

Хозяева смешались, встретив доверчивый взгляд голубых глаз. Было от чего: никто из них не помнил, когда они что-то придумывали вместе.

– Прошу к столу, – вышла из положения Аглая.

Стол был накрыт новой клеенкой. Ее пронзительный запах удачно конкурировал с бодрым укусным духом тугих пупырчатых огурцов. «Сметана!» – спохватилась Аглая, но Карлушка вскочил первым: «Я сам. – И повернулся к Насте: – Пойдем, покажу погреб!»

Настя никогда не видела таких погребов. Скрытая под прошлогодней травой и мхом снаружи, так должна была бы выглядеть пещера Али-Бабы. Плотная дубовая дверь, к которой вели вниз четыре ступеньки, открывалась в просторное помещение с низким потолком, где места было намного больше, чем содержимого. Стояло несколько кадушек («Грибы, наверное», – пожал плечами Карл), а в стороне, на кирпичках – молоко, сметана и творог.

Настена хорошо помнила погреб у них в старом доме, хотя он куда как отличался от этого: здесь атомную войну пересидеть можно. В бабулином доме был

обычный подпол: дверь прямо в кухонном полу – тянешь за кольцо, как рыбак сеть, а потом спускаешься со свечой или фонариком в тесную темень, где едва можно повернуться и набрать миску картошки, которая все равно прорастает, хоть и в подполе хранится. Настя ненавидела старый дом, но сейчас вдруг такая нахлынула обида – за его невзрачность, за вонючую уборную в огороде, за неудобный тесный подпол, по сравнению с этими буржуйскими хоромами, что даже глаза защипало.

– Ты... чего? – испугался Карл.

– Ничего; солнце яркое.

Майское солнце лупило в окна – блики и впрямь могли ослепить – и высвечивало все краски обильной трапезы. Аглая поставила на стол тяжелую сковороду с запеченным в сливках карпом.

– Дед, сам ловил? – спросил Карлушка, зная, как он ждет вопроса.

– А как же, – с готовностью ответил тот и добавил, не удержавшись: – Живем-то у озера, в соснах карпы не ловятся.

Быстрел, к счастью, оказался мимо цели: жена то ли не слышала, то ли была поглощена главной задачей – накормить гостей до отвала. Карпа – вернее, то, что от него осталось – сменили румяные ломти свинины на ребрышках.

– Нигде вам такого не подадут, ни в одном ресторане, – приговаривала Аглая, – только словами красивыми заманивают: «эскалоп» там или «лангет», а мясо такое поди поищи. – Ешьте, ешьте на здоровье! – И не скрывала горделивой улыбки от похвал, на которые никто не скупился.

Лангет, эскалоп... Сюда бы седло барашка – и не хуже, чем у Форсайтов. Настя вспомнила, как ее сбило с толку это «седло», когда читала в первый раз. Сразу

представился нарядный стол, а в центре – настоящее, пахнущее кожей седло, еще теплое от спины только что распряженного... кого? Если коня, то почему «седло барашка»? Да и сейчас, хоть с улыбкой вспоминала первую ассоциацию, Настена смутно представляла себе, что за блюдо скрывается под загадочным названием, однако не было уверенности, что оно выдержало бы конкуренцию с отбивными Аглаи. Зинкино правило соблюдается: закуски, рыба, мясо. Впрочем, не было птицы. Мысль об отсутствующих цыплятах доставила Насте странное удовлетворение, словно в компенсацию за роскошный буржуйский погреб. Хотя представить на столе что-то еще было невозможно, тем более что закуски оказались отменными. Капуста хрустела во рту, как зимой хрустит утром под ногами наст; тмин не мешал, как ожидала Настя, а придавал удивительный вкус – она никогда такую капусту не пробовала. Огурцы, плотно обвитые водорослями укропа, не потеряли при засоле твердости, разве что изменили цвет. Была нарезана ветчина, которую она не попробовала; в вазе до сих пор высилась горка салата, почти нетронутая...

– Я сделала с майонезом, Лара. Как у тебя тогда.

Не договорила: «на сороковинах». Сидела, устало опершись на локти, пока дочь убирала со стола. Настя с Карлом отправились на озеро. Отец молча курил. Лариса внимательно приглядывалась к матери, хотя сразу, как только пришли, бросилось в глаза, насколько скверно она выглядит: отечное лицо, подглазья набрякли, да и сами глаза какие-то больные. Скучные глаза.

– Да ничего у меня не болит, Лара, – отбивалась та от ее расспросов. – Бок вот тут тянет как будто. Продуло, не иначе. Этот вон, – она кивнула на мужа, – все время сквозняк устраивает.

Когда они приезжали вместе с Германом, им доставалось поровну родительских жалоб друг на друга. Теперь Ларисе нужно было выслушать обоих.

Аглая немного оживилась, когда речь зашла о свадьбе. И она, и Павел были недовольны скромными масштабами торжества.

– Ну что это, Лара, в самом деле! Почему не в ресторане, не в кафе, наконец?

Лариса не выдержала:

– О чем ты говоришь, мама? Карлушка получает девяносто рублей, я семьдесят. Какой ресторан, какое кафе?

Вот тут-то и произошло невероятное: мать достала из кармана фартука и жестом картежника шлепнула на стол что-то вроде колоды карт, рассыпавшейся с едва слышным шелестом, ибо никакой было не колодой, а пачкой денег.

Новых, что Ларису поразило до немоты. Это состояние – и хотела бы что-то сказать, да гортань свело – долго не проходило и, похоже, доставило родителям удовольствие. Потом они заговорили разом, но о чем, она не понимала, потому что не могла сосредоточиться ни на чем, кроме разноцветных этих радужных бумажек – сиреневых, розовых, голубых... Не так уж много, в сущности, их было, но для Ларисы это оказалось в буквальном смысле *кучей денег*, ибо видеть новые купюры в таком количестве ей не приходилось.

Как и старые.

На вопрос «откуда?» последовали невнятные ответы, неожиданно вскипевшие бурной обидой. Что же, родная дочка им не доверяет? Или они, дед с бабкой, не могут единственному внуку свадьбу справить, всю жизнь проишачив в колхозе? Говорили необычайно слаженно, что Ларису поразило больше всего.

– За столько лет! – надсаживался отец. – За столько лет удалось кой-каких деньжат подкопить. Мы ж никогда на себя не тратили!

Что было правдой. Сколько Лариса помнила, родители всегда жили не то что скромно – почти скудно, даже в самые лучшие времена. Они были, эти времена, еще до всего: до советской власти, до Сибири, до войны. Жили в изобилии, но тратили очень скупно, больше всего боясь, что их заподозрят в достатке. Это сыграло тогда не последнюю роль в ее переезде в город, а потом, всем на изумление – даже невозмутимый Герман удивился, – отец первым записался в колхоз... Потому, наверное, родителей и не тронули, когда всех выслали и окрестные мызы пустели.

– Да и не тыщи ведь, не тыщи! – оправдывался отец.

– И сколько нам самим надо? – подхватывала мать и сама же отвечала: – Все равно что ничего. Поверишь, Лара, курей – и то держать не хочу. А тут еще бок разболелся.

Это напомнило Ларисе о привезенных каплях.

– Молодежь цену деньгам не знает, – отец опять закурил. – Что понятно: откуда у них деньги, они настоящих денег-то и не видели. – Павел помолчал, щурясь не то от дыма, не то вспоминая «настоящие деньги». – А подарки не отдарки, так и скажи. Что я, побегу сервиз покупать? Хотят – пускай свадьбу играют, не хотят – деньги места не занимают; пусть лежат, пригодятся.

Все сошлись только в том, что Карлу нужен приличный костюм, а то, стыдно признаться, в ЗАГС не в чем идти.

– Вот, а ты говоришь! – засмеялся отец. – Из-за паршивых денег мой внук и жениться не мог, так получается? Бери, бери! – и решительно сунул дочери в

карман «паршивые деньги».

Карлушка никогда не знал, как называется это озеро. Озеро и озеро, всегда таким было: летом на берегу густой аир, мягкое дно, дощатый помост на замшелых столбах. В детстве он был уверен, что это недостроенный мост, и ждал, когда же его достроят.

Они медленно шли вдоль берега.

– Здесь разве никто не живет, кроме ваших? – наконец спросила Настя.

– Почему? Живут. Вот у того берега видишь дом? Мыза «Подсолнухи».

– А за лесом?

– За лесом колхозное поле. Ну и хутор чей-то. Только там новые хозяева, я их не знаю.

«Мыза»... Само звучание чуждого слова раздражало Настю. «Хутор» остался в книге, близ Диканьки; однако вот этот просторный дом – «Сосны у озера» – тоже хутор, и он чрезвычайно ей понравился, понравился как раз удивительной для деревни основательностью, какой и в помине не было в старом бабулином доме, который и домом-то назвать большая честь. Домишко, чего уж. Домишко, отбрасывавший *поселок городского типа* на его настоящее место, в деревню, где ему и полагалось находиться. Но говорить об этом ни к чему.

Как раз уместно было рассказать, что ее работа закончена, теперь уже по-настоящему. Тезисы нужно представить на русском языке тоже («в комиссии не все читают по-английски», пояснила скромно), тезисы и несколько фрагментов.

– А мне дашь прочитать? – спросил он.

– Ты сначала книжку прочитай! – упрекнула Настя. – Ведь так и не прочитал?

Пришлось опять, в который раз, обещать, что «завтра же» пойдет в библиотеку.

Возвращались кружным путем, через рощу. Тропинка поднималась в гору. Прошлогодня хвоя скользила под ногами, и, чтобы не оступиться, нужно было крепко держаться друг за друга, а еще лучше – останавливаться и целоваться, после чего требовалось перевести дух и только потом идти дальше, но никому из двоих дорога не показалась длинной.

Дом (он же хутор) возник перед Настей как-то внезапно и другой стороной, ярко и четко освещенный заходящим майским солнцем: солидный фундамент из тесаного камня, высокие окна на обоих этажах, на вершине пологого склона – высокое дерево с табличкой-оборотнем: то ли «Сосны», то ли «У озера».

Не Робин Хилл, конечно; ну и что? Зато у них там озера не было.

Собираясь к старикам, Карлушка загадал: если увидит гравиевую дорожку, то все остальное будет вспомнить легко: ступеньки, ведущие на террасу – или прямо в комнату? В комнату, да; но вначале нужно было пройти – прошлепать босиком – веранду с разноцветными стеклами.

Или я все это придумал? Солнечный день, цветные стеклышки, влажные ступеньки да та же гравиевая дорожка – все это видел когда-то в кино или у кого-то на даче, а по-настоящему существовал – и сейчас существует – только черный мячик с полустершейся полоской? Могло быть и так; однако пол в той комнате был теплым, и он сам водил маленькой рукой по разноцветным веселым пятнышкам. Он с удивлением смотрел на свою ладонь – нет, взрослая ладонь не помнила тепла, и

поэтому так нужно было найти и увидеть все, что помнилось, начиная с гравиевой дорожки.

Карлу казалось, что он хорошо знает дедов хутор, однако вспомнить, где там у них гравий, не мог и проклинал себя за ненаблюдательность. И ведь так всегда: вытираешь руки привычным полотенцем, а если захочешь вспомнить, какие на нем полоски, ни за что не вспомнишь. И здесь то же самое: нужен толчок, импульс *узнавания*, чтобы ожила вся картинка, как он про себя это называл; ведь вспомнил, вспомнил и ступеньки, и комнату! Спокойно, не торопясь обойти знакомый дом и двор, чтобы суметь увидеть его таким, каким он был двадцать с лишним лет назад.

Однако медленно и в одиночестве обойти хутор не получилось. Расчет на легкий и беспредметный «гостевой» разговор тоже не оправдался: хотя дед с бабкой, похоже, в честь Настиного приезда заключили что-то вроде перемирия, свара готова была вот-вот разразиться. Как на бочке с порохом живут, привычно удивился он и с готовностью выскочил было в погреб за сметаной, но поймал красноречивый взгляд матери: Настя.

Во время обеда он мысленно перечислял не то, что удалось восстановить в памяти – теперь оно никуда не денется, – а то, что, наоборот, никак вспомнить не мог. Например, дерево с табличкой не укладывалось ни в одну из картинок. У входа в дом не увидел – не то с сожалением, не то с облегчением – гравиевой дорожки. Веранды на хуторе не было, зато всегда, сколько он помнил этот дом, с задней стороны находилась просторная терраса; несколько широких ступенек – каменных, не деревянных – вели в сад.

После обеда была прогулка с Настей около озера, и он почти забыл о странном

пасьянсе из картинок, который сам же себе придумал. Прощаясь, все же спросил, путившись на маленькую хитрость:

– Дед, а где у вас гравий был, дорожка такая, что-то я не нашел?

– Сроду гравия не было, – решительно отрубил тот, – да и к чему? Грунт плотный; смотри, как утрамбован! Это если песок, то гравий насыпают, а у нас...

– И давно пора бы насыпать, – оживилась усталая бабка, – потому что твой прекрасный грунт травой вон зарастает, а выпалывать мне приходится, с больной-то спиной.

Атмосфера стремительно сгущалась. Настя с вежливой улыбкой смотрела в сторону.

– Мама, – торопливо прервала Лариса, – мы на поезд опаздываем. Спасибо за обед и... за все спасибо. Не забудь про капли, слышишь? – крикнула удаляясь.

На поезд не опоздали, и ждать долго не пришлось. Закатное солнце окуналось куда-то, где встречались рельсы, и там появилась крохотная мушка, быстро разросшаяся в щербинку, так некстати нарушившую дивную целостность раскаленного диска. Щербинка росла, приближаясь, и победно загудела издалека. Казалось, подошедший поезд нагрелся от прикосновения к садящемуся солнцу и понесет частичку этого жара до самого города.

Когда Карлушка вернулся, проводив Настю, мать еще не спала.

– Почему ты заговорил с дедом про гравий? – спросила она.

Кое-как объяснил; о мячике не упоминал.

– Был гравий, конечно, – кивнула Лариса, – только не там. У другого дома... вокруг дорожка шла. Там, где мы жили: ты, папа и я. Откуда нас тогда...

Он боялся, что мать заплачет. Но Лариса не заплакала, а продолжала, помолчав:
– Это был совсем другой хутор, в другую сторону ехать. И дальше.

– Там была комната с разноцветными стеклами в окне? – не удержался Карл. – Комната или веранда, я не помню. Пустая. И к ней ступеньки деревянные...

Мать медленно опустилась на стул.

– Ты запомнил? Ты же совсем крохой был! Гравий – это папина причуда была, он хотел, чтобы хутор был похож на виллу, их тогда начали строить. Он очень увлекся хозяйством, это после кино-то!.. Вначале разорился. Нет, не так: сначала разбогател – фильм дал огромную прибыль, не сходил с экранов.

И замолчала опять. Не из-за воспоминаний – память не подводила; а в поисках слов для описания никогда не виденного и не испытанного сыном. Герман, Герман... Он сам мечтал когда-нибудь рассказать ему (когда *будет можно* говорить) и сделал бы это намного лучше, если бы успел.

Они с Германом берегли мальчика. Будь он не четырехлетней, когда они оказались в ссылке, а постарше, можно было бы понемногу, осторожно... Нет; нельзя было. В школу ходили не только дети сосланных – были местные ребята, родители которых не очень разбирались, кто и за что принудительно оказался в тех краях, а уж тех, кто «ни за что», встречали в лучшем случае настороженно. Сын рос и выросл, а когда стало можно говорить о пережитом вслух, потребность в этом отпала – Карл уже знал главное. Если же от детства у него сохранилась в памяти гравиевая дорожка и веранда с цветными стеклами, а не красноармейцы, которые расхаживали по дому, то не благо ли это? Как свободно солдаты распахивали все

двери, с каким-то *уверенным правом* ощупывая все, что попадалось на пути: портьеры, рамы картин, посуду, – как бесцеремонно шарили по ящикам и шкафам, вытащили зачем-то скрипку из футляра...

Разрешили взять вещи. Пока Лариса собирала, обходя красноармейцев, один из них (похоже, офицер) долго рассматривал фотографию под стеклом, висевшую на стене. Герман был снят рядом с Аверьяновым, известным киномагнатом; оба во фраках, рядом с Германом она сама, в вечернем туалете. Герман держит ее под руку и улыбается, Аверьянов серьезен. «Это кто?» – спросил офицер, ткнув пальцем в Аверьянова. «Приятель мой по гимназии», – небрежно ответил муж. Аверьянова к тому времени уже расстреляли. Сколько Германа ни убеждали в этом, он не верил: «Не может быть. Это был кто-то другой». Много позже, в ссылке, он неожиданно сказал: «Жалко, что с ним... так. Лучше бы сюда сослали, он ведь не то что мы – он мужик был, Аверьянов. Потому и фильмом увлекся – фильм-то про мужиков, вроде него самого».

Когда их обокрали в пятьдесят третьем, то унесли и скрипку, и ту фотографию, которую Лариса зачем-то сунула в чемодан. Лариса не жалела своих шелковых платьев, она разучилась их носить, да и куда? А фотографии было жаль. Помнила, как радовался Герман: только обокрали, подумай – ведь убить могли! Что и происходило вокруг по деревням, где шныряли амнистированные и грабили, и убивали, и зверствовали. Счастье, что дома не было никого. Она-то о фотографии жалела, а муж о скрипке, она видела.

Думали, конечно, и не раз: как рассказать сыну о прежней жизни, какую часть рассказать и нужно ли это делать. Карлушка, как и его сверстники, знал, что отец

работает в сельском магазинчике, и едва ли мог представить его талантливым и процветающим кинорежиссером, а впоследствии таким же хуторянином, к которому приезжали «за секретом» издалека. А «секретом» Германа был талант ко всему, что бы он ни делал. Как об этом рассказать сыну? И – в который раз: а надо ли? О чем ни начни рассказывать, неизбежно пришли бы к вопросу, почему они живут здесь, а не дома, хотя сибирский поселок был для сына домом, да и они с Германом привыкли к давно уже, в сущности, не новому жилью.

Однако с какой силой потянуло назад, *домой*, когда...

– Мама?..

Лариса не знала, сколько длилось молчание. Тряхнула волосами, все еще пышными, и заставила себя улыбнуться.

– О чем тебе рассказать, сынок?

Карлушка медленно крутил кольцо на мизинце. Герман, точь-в-точь Герман.

– Я хочу сам увидеть, – ответил, наконец. – Дом и все... вокруг.

Доцент Присуха возвращался из университета в недовольном и раздраженном настроении. Во-первых, жаль девчонку (в первый раз он обозначил студентку Кузнецову таким бытовым словом): работу прокатали – или прокатят, что одно и то же. На первое место он, конечно, не надеялся, хотя бы потому что по неписаному правилу первые места вечерникам не дают; считается – неофициально, конечно, – что вечерников, как ни крути, обсчитывают знаниями. Мнение это было устойчиво, и, как Присуха ни боролся за «равноправие» дневного и вечернего отделений, он ни у кого не встречал поддержки; скорее, наоборот. «Вы еще заочников, Дмитрий Иванович, на конкурс выдвигайте, – заколыхалась от смеха декан. – Не тянут вечерники ваши, будь они хоть семи пядей во лбу: часов-то на них меньше приходится. Потому и знаний получают меньше. Чистая диалектика». Сколько раз он себя одергивал, когда хотелось возразить: дипломы-то им одинаковые выдают – хоть дневное кончай, хоть вечернее. Было ему что сказать о количестве и качестве получаемых знаний, однако кому другому и возразил бы, а декан исполняет на факультете священные обязанности парторга, и не ему, беспартийному доценту, бодаться с ней по вопросам диалектики.

Бесило другое: не было ни одного члена комиссии, который бы не ознакомился с работой Кузнецовой. Одни прочесали весь текст, другие ограничились тезисами (благо написала она их под копирку в четырех экземплярах), а на столе у ассистентки внезапно появилась «Сага», недавно переизданная.

Прочитали все, и все живо заинтересовались, а только реакция последовала

странная.

Завкафедрой, или Патриарх, как его называли за глаза, помахал ему издали в столовой, и когда Присуха, сманеврировав с полным подносом, сел за столик, тот сразу о работе и заговорил, причем заговорил в мажоре, отчего Присуха забыл про рагу и только отщипывал хлеб. Патриарх перечислил все достоинства курсовой, после чего понизил голос:

– Однако Сомс как жертва – это многовато, Дима. Работа с заявкой, безусловно, и с хорошей заявкой. Вырастет в дипломную. Только, – профессор на Присуху не смотрел, а смотрел на кончик чайной ложки, которой он пытался выловить из компота изюмину, – только жертва-то не Сомс, конечно; ты сам понимаешь. Жертва – этот... как его? Ну кто там дом проектировал?

– Босини.

– Ну да, ну да, – Патриарх улыбнулся и загреб сразу две ягодки. – Босини, конечно. Художник, богема; не от мира сего. А мир сей, то бишь форсайтовский социум, раздавил его – сначала финансово, затем буквально. А то – Сомс; вот и протеже твою так же... раздавят.

Он подцепил разваренную черносливину и втянул ее с ложки сочным поцелуйным чмоком.

У рагу оказался такой же вкус, как у этого разговора.

К концу дня, немного поостыв, Присуха подумал, что Патриарх на самом-то деле дал ему толковый совет. Когда-то Присуха, молодой аспирант, пришел к нему, еще не профессору и не завкафедрой, и с тех пор остался для Патриарха Димой. Потому и дал совет; другой вопрос, как донести его до мисс Кузнецовой. Молодость

не терпит компромиссов. Его же задача как руководителя в том и заключается, чтобы навязать ей сомнительный компромисс. «И с ярлыками пусть там... поаккуратней», – вспомнил замечание Патриарха. Читай: убрать слово «жертва» применительно к Сомсу («раздавят») и назначить жертвой Босини (беспроектный вариант).

...Присуха так часто перечитывал «Сагу о Форсайтах», целиком или отрывками, что сам себе напоминал героя известного романа, который всю жизнь с наслаждением читал «Робинзона Крузо», зачитывал до дыр и получал в подарок от хозяйки новый экземпляр.

У него в рукописи есть глава «Пиратско-авантюрное начало Босини – тяга к форсайтизму», которая могла бы вызвать агрессивные нападки. Дескать, любовь сильнее условностей, и нельзя подходить к художнику Босини с теми же мерками, что и к филистеру Сомсу. Мол, Сомс – собственник, стяжатель и ничего не видит, кроме своей выгоды. Сомс отлично знал, что суд встанет на его сторону, как знал и то, что у нищего архитектора нет тех четырехсот фунтов, из-за которых Сомс затеял процесс (кстати, сколько это, по тем временам, четыреста фунтов?..). И никому не приходило в голову, что дело не в деньгах – Сомс затевает процесс в попытке погасить скандал, разгорающийся вокруг жены, переключить внимание на архитектора, который позволил себе превысить смету. Сомса судят по самой суровой шкале, клеймя в нем собственническое начало, словно речь идет о Гарпагоне, и отказывая в других человеческих свойствах, в том числе в способности любить. А ведь он страстно любит! Любит, не будучи любимым, что намного труднее, чем при взаимной любви. При этом все студентки очень симпатизируют Айрин и Босини.

Нет, позвольте... Присуха даже остановился. Четыреста фунтов во времена расцвета Форсайтов – это очень серьезные деньги! Позвольте, ведь Айрин до замужества получала, по завещанию отца, пятьдесят фунтов в год – в год! Курс фунта стерлингов можно найти в «Известиях», это не хитрость; намного сложнее – и тем интереснее – выяснить, чему соответствовала эта сумма тогда, в 1886 году.

В киоске на углу купил «Известия» и тут же развернул, но таблички с курсом валют не нашел. Или это публикуют в «Правде»? Он так увлекся своими рассуждениями, что давно миновал гастроном, который именовал «хорошим» и, следовательно, был обречен на «плохой». Мало того, что Патриарх испортил ему обед, так еще и ужин катится в тартарары. Он не архитектор Босини, чтобы сидеть на одном какао; не дойти ли до универмага? Подошедший трамвай развеял сомнения, и через десять минут Присуха, все еще с газетой в руках, уже стоял у витрины, а затем в очереди.

Он купил триста граммов ветчины и две банки сардин. Пока продавщица взвешивала ветчину, он тщетно пытался понять, отчего колбаса, которая всегда называлась «Любительская», сегодня красовалась в витрине под псевдонимом «Особая». Старательно укладывая в портфель покупки (вот и газета пригодилась), не заметил, как от той же очереди отделились и пошли к выходу две девушки. Одна из них держала в руках пакетик с такой же ветчиной и не подозревала, что доцент Присуха едва не остался без ужина из-за ее курсовой работы.

У Зинки на правой руке блестело обручальное колечко, а больше ничего не изменилось. Жила она по-прежнему в общежитии, потому что Толян ушел в море, и

за время его отсутствия она надеялась снять квартиру. Или комнату, на худой конец. Вся общага, включая дежурных, знала о том, что Зинка Трымчук теперь замужняя дама, да и не Трымчук вовсе, но дежурные не возникали, а значит, новость до коменданта не дошла. Да и с чего бы им возникать, если Зинка продолжала работать на заводе и, что еще важнее, в столовой?

Сегодня у Насти занятий в университете не было, что Зинку очень обрадовало: «Пойдем вместе?». До сих пор все квартиры она смотрела сама и сделала для себя два важных вывода: во-первых, пустующей жилплощади куда больше, чем она себе представляла, и во-вторых, появляться в одиночестве не всегда безопасно. Настя уже выслушала бурный Зинкин монолог о поисках «хаты». Вернее, до собственно «хаты» дело не дошло: Зинка испугалась, что хозяин к ней пристаёт, и убежала, так и не посмотрев квартиру.

Сколько Настя ни уверяла подругу, что хозяин был с женой и ничего плохого не замышлял, Зинка только головой мотала: «Не уговаривай, мать. Тебя там не было, а то бы тоже труханула. У тебя про жилплощадь голова не болит – твое счастье, а то бы намаялась... Непрактичный он, твой Лунканс».

Зинка почему-то всегда называла Карла по фамилии, но Настя не обращала внимания. На скрытый упрек можно было возразить, что практичный Анатолий ушел в долгий рейс, а тебя бросил на поиски «хаты»; можно было бы, но зачем? Одному дороже истина, а другому – Платон. К тому же истин всегда хватает, а Зинка одна.

Настя уловила уже некоторую Зинкину настороженность, готовую в любой момент обернуться обидой, и легко ее расшифровала. Они обе здесь чужие, такие же

чужие, как Зинкин Днепропетровск и Настин *поселок городского типа* – этому дивному городу, и хоть Зинка влюблена по уши в своего беззубого Анатолия, ее путь к блестящему колечку трижды проходил через «абортарий», и по утрам она идет на работу не в цех, как Настя, а в столовку, где единственная радость – кусок послаще, съеденный торопливо и на ногах. После пышной свадьбы мало что изменилось: пахать надо будь здоров – «башлять», как Зинка говорит, на кооператив, ведь Анатолий тоже приезжий, так что Настя со своими Форсайтами, надвигающимся дипломом и женихом-инженером живет все равно как на курорте. Деньги, конечно, другие, кто спорит; так ведь трехкомнатная квартира в старом Городе избавляет от необходимости вкалывать, как Зинка в столовой, а ее молодой муж на вахте в океане: не плачь, Зинуль, через три месяца увидимся.

Если бы Зинка могла подслушать эти мысли, она не поверила бы, потому что сочувствовала Настюхе от всей души. Еще бы, с таким лопухом, как этот Лунканс, девяносто рэ в месяц – и вася. Инженер... Ну, будет старший инженер, аж сто двадцать. Плюс жить со свекровью. Вроде тетка не вредная: сама садик я садила, сама буду поливать, а только все они хорошие, пока не жить вместе. Не, то ли дело они с Толяном: квартира будет своя, вот как пальто, и ничья больше. Обставим, конечно; тоже капуста нужна будь здоров. Нагрянет родня из Днепропетровска – милости просим; гости – дело святое, всегда примем культурно, по-людски, потому что они уедут, а мы останемся. Настюху жалко, конечно: почти каждый день бегаёт на лекции, пашет по-страшному, а нафига такая бодяга? Корочки получить, диплом. И – опять в школу: «Кто дежурный? Садись, два». Несколько лет в школе – и нервы в тряпочки. Вот если б она, Зинка, пошла учиться, то на курсы бухгалтеров, она уже

узнавала; не вечно же тарелки таскать и на раздаче стоять, чтобы тебе напоминали: ты, Зинуль, со дна-то не черпай, а вот подливку не жалея. Курсы – четыре месяца, Толян только-только с рейса да в рейс, а я уже не у плиты, а за письменным столом, при арифмометре... А подливку пускай другие не жалеют: она теперь обедать будет за тем столиком, где администрация, и уж будьте спокойны – как раз со дна и зачерпнут, никто с бухгалтером схлестываться не захочет... И что Настюхе за радость читать «Форсайтов» на этом идиотском английском, когда можно по-русски? Переводчик уже попотел; хватит, не?

Она никогда не делилась своими рассуждениями с подругой. Известное дело: правда хорошо, а счастье лучше.

Преграда не преграда, но что-то возникло, о чем обе предпочитали не говорить, и если это «что-то» нельзя было устранить, то и задевать не следовало.

Единодушны были только в том, что Форсайты, несмотря ни на что, оставались общими, и при любой неловко повисшей паузе «Сага» стала палочкой-выручалочкой – обе мгновенно включались в разговор. Особенно теперь, после того как в свадебный подарочный конвертик Настя с Карлушкой вложили подписку на собрание сочинений Голсуорси, и Зинка с трепетом ждала следующего тома, продолжения «Саги».

После ужина настроение доцента Присухи изменилось. Так ведь это хорошо, думал он за вкусной папиросой, просто замечательно, что работу Кузнецовой прокатали! Живой интерес всей комиссии, интерес с виноватыми оговорками: «Дмитрий Иванович, так это ведь Ирэн жертва...», «Студентка ваша передергивает,

но зато проделан глубокий анализ...», «Недопонимание замысла, при оригинальном подходе...». Право, все отзывы можно уложить в одну развесистую цитату; и вот этот интерес намного важнее, чем премия, если бы ее дали. Девчонка бы загордилась, почила на лаврах, а так она сотворит такой диплом, что... что небу жарко станет.

Что-то там зацепило, в первом отзыве. А, вот оно: Ирэн – жертва. У него это во второй главе, сейчас... Все же когда-нибудь надо это привести в порядок – не для публикации, а просто чтобы упорядочить, а то здесь черт ногу сломит. Вот; осталось только немножко дополнить.

У Айрин-Ирэн рождается сын, а у Сомса – дочь. Даже в этом Айрин «перефорсайтила» его, главного Собственника, неистово ждавшего сына. Неожиданно для всех – и главное, для самого себя – он становится отцом, столь же преданным своей дочери, как мальчик Айрин вырастает преданным сыном своей матери. Дочь Сомса унаследовала не только инстинкт, но и дар приобретения – настолько, что даже отец для нее в первую очередь собственность. Именно она, юная Флер, становится единственной серьезной конкуренткой «дважды Форсайт» Айрин, полюбив ее сына. На страницы романа падает тень бессмертного Шекспира. Оживают Ромео и Джульетта, и оба носят фамилию Форсайт.

...Он писал быстро, не заботясь о разборчивости, хотя строчки вылетали из-под послушного пера четкими, как всегда, и только пепел, падавший из остывшей папиросы и сметаемый нетерпеливыми движениями, раскрашивал страницы серыми кометами.

Часы показывали пять. Стояла – как замерла навсегда – тишина, но это было

обманчивое впечатление, магия «Саги». Сквозь очарование волшебного романа начали пробиваться симптомы бытия доцента Присухи: задумчиво капала вода из кухонного крана, дым резал глаза, по ногам тянуло холодом, на среднем пальце краснела натруженная впадинка от авторучки.

Пять часов. Хорошо, что завтра нет первой пары. Вернее, сегодня. Необходимо найти машинистку, цитаты впишу сам. Хороший кусок получился, но его надо, пожалуй, вынести в отдельную главу – или связать с той, большой, об Айрин. И в середине что-то не закончено... Однако на сегодня хватит. Можно продолжать, но ничего хорошего, он знал по опыту, не выйдет.

Ага, вот оно: сначала бодро, затем угрожающе что-то задрожало и завывало в трубах, как бывало иногда по ночам. Жалобным нытьем отозвался голодный желудок, неблагодарно забывший и сардины, и ветчину, и свежий батон, гармонично сочетавшийся с тем и другим. Дмитрий Иванович малодушно подумал, что осталась еще половина батона, но это чистое баловство – наедаться ночью. Или утром? Встал из-за стола, и сразу усталость навалилась, словно кто-то на спину запрыгнул, даже плечи заломило и налились свинцом ноги.

На тяжелых ногах подошел к постели (опять не поменял белье, а ведь хотел, хотел сегодня перестелить, вот и наволочку приготовил!), сбросил одежду – и заполз под одеяло, как в пещеру. Завтра сменю, черт с ней. А перепечатать просто необходимо – и выкидывать абзацы и целые страницы: чай, не Голсуорси.

Кончился учебный год. Началось лето, то есть свежий воздух, на котором мать была помешана: «Детям необходим свежий воздух». Это означало дачу на взморье, которую Таисии ежегодно предоставлял местком.

Свежий воздух был необходим самой Таисии. Зимнее нашествие неожиданной свекрови уже не казалось катастрофой – особенно теперь, когда подходил к концу май; катастрофой стало буйное пьянство мужа. В конечном итоге, болезнь и даже вторая группа инвалидности – не светопреставление, как выразилась бы Матрена, ее покойная бабка. Не то чтобы Володька не пил раньше; пил, но «знал меру», как степенно говорила Таечка раньше и как теперь сказать уже не могла.

От свекрови приходили письма, длинные и бестолковые, с неизбежными приветами от незнакомых родственников в конце. На эти письма, набитые беспомощными советами (*«мне еще сказали, хорошо столетник с медом и топленным салом, по одной столовой ложке натошак»*), Таечка писала ответные письма, благо это было несложно, если ничего не отвечать на вопрос «как вы там, дорогие?», потому что сказать правду было невозможно.

Да, суетливая кременчугская старуха давно перестала ее раздражать, и что-то даже царапалось в душе, когда натыкалась в шкафу на тюлевые занавески, – как затолкала их в негодование на верхнюю полку, так и остались лежать. Более того, Таисия понимала, каким мощным сдерживающим средством было для мужа Дорино присутствие. Может быть, поэтому ответные письма выходили легко и содержали описание утренняя в детском садике, костюма и пальто, которые были куплены

Володьке, предстоящей поездки на дачу, а также неопределенное обещание когда-нибудь приехать в Кременчуг. Фразы получались беззаботные и ладные, особенно радужное пожелание крепкого здоровья Доре и горячие приветы незнакомой Мусе с чадами и домочадцами. Интересно, что она из себя представляет, эта Муся, лениво думала Таечка, заклеивая конверт, и тут же забывала о Мусе, потому что вне письма остались гораздо более насущные вещи: хроническое безденежье, вечно пьяный муж и неприятное слово «энурез».

А тут еще папиросы кончились.

Следующее послание от свекрови приходило с пугающей быстротой, и снова нужно было писать о самом безобидном и хорошем в их жизни, однако все безобидное и хорошее вдруг выворачивалось какой-то уродливой изнанкой, отчего отосланное письмо больше походило на пародию.

Утренник в детском саду Ленечка пропустил: начал кашлять так свирепо, что заподозрили коклюш. Оказалось, бронхит с астматическим компонентом; иди знай, что хуже. А вот этот компонент как раз и хуже, сказала медсестра, приходившая делать уколы.

Или взять хотя бы это пальто, которое она с таким трудом добыла для Володьки. Денег наодалживала, моталась в универмаг чуть ли не каждый день: вдруг выбросят? И выбросили, только она в это время сидела с Ленечкой дома на больничном. Когда пришла на работу, застала Музу в слезах. Та купила пальто своему кто-он-ей-там (хахалю, в общем), да польстила размером: мелковат оказался хахаль. Муза, дуреха такая, бирку срезала – сюрприз хотела приготовить. Вот и приготовила, только не хахалю, а Володьке: на нем сидело идеально, как влитое. Пальто, что и говорить,

породистое: темно-серый ратин в рубчик, типично мужской материал. Добротное пальто. Муза так рада была от него избавиться, что предложила подождать с деньгами, а тут как раз зарплата – те, что приготовила было, почти разошлись. На что? А по мелочам утекли; хоть бы халтурка подвернулась.

...Добротное пальто, что и говорить, и Таечка необычайно им гордилась. Потому что вид у Володьки совсем другой стал. Не дядя Федя (матушка обязательно добавила бы про царство небесное), нет; однако вроде уже и не совсем Володька, вид такой... одухотворенный. Начал носить – со шляпой, естественно, причем выяснилось, что шляпа ему тоже идет – вон Клавка-дворничиха его в коридоре не узнала даже, а ведь всегда здоровается.

А потом пришел без пальто. Совсем без пальто, в одном костюме. Шляпа, впрочем, сидела на голове, хоть и криво, но была в таком виде, чтобы лучше бы он шляпу потерял, чем пальто, за которое она еще не полностью расплатилась с Музой. Где, как?! – все вопросы остались без ответа, еще и раздевать его пришлось да костюм в чистку тащить; спасибо, хоть в тот вечер не дебоширил.

Сволочь, какая же сволочь, бессильно думала она, стоя во дворе с папироской. Какая сволочь, просто зла не хватает...

От всего этого было уже не до писем – пускай сам теперь своей мамаше и пишет; хотелось только на свежий воздух.

Но вдруг случилось чудо! Именно чудо, потому что Таисия не знала, как иначе назвать бесплатную путевку в санаторий, которая свалилась на «эту сволочь», и в санаторий не куда-нибудь, а в Анапу, к тому же на двойной срок!! И матушка, и покойная бабка не преминули бы торжественно сказать, что есть, мол, бог на небе,

хотя она, Таечка, не могла представить себе, что кто-то может на полном серьезе верить в этот бред сивой кобылы. «Ты крещеная, Тайка!» – говорила мать, когда она легко развенчивала глупые предрассудки. Раз навсегда Таисия тогда поставила ее на место – и заодно поставила точки над «и», решительно парировав: «Я никого не просила меня крестить и мозги мне зас...ть не позволю!».

Хорошо отшила.

Хотя путевка была чудом, матушкин бог не имел к нему никакого отношения: путевку обещали – и выделили. А кому же давать – здоровым, что ли?

Дача была хороша тем, что можно будет долго не видеть Сержанта. Тем более что он вообще уезжает в Анапу – это было далеко, Ольга проверила по карте, и уезжает надолго. А в остальном дача – что-то вроде класса, только не тридцать восемь человек, а шестеро: сестры Лена с Юлей, Димка, Гришка, Людка и она, Ольга. Не считая мелочь пузатую вроде Ленечки.

Все съехались бледные и от этого казались потолстевшими, пока вдруг Ольга не догадалась, что они просто «повзрослели». Она так часто слышала от матери «ты уже взрослая», что научилась не слышать дурацкое заклинание, тем более что ничего определенного оно не означало, а все то же самое: смотаться в магазин или принести из подвала уголь. Спасибо, хоть про круглые пятерки в табеле мать зудеть перестала – год кончился, пора было собираться на дачу, и она переключилась на «свежий воздух, свежий воздух».

Взрослыми неожиданно стали сразу две девчонки в их классе, когда пришли в одинаковых туфлях – не из «Детского мира», а из нормального взрослого магазина.

Остальные как-то сразу взбудоражились, а еще через день в таких же туфлях, только другого цвета, явилась Томка. «Танкетка», – объяснила на перемене. Потом вздохнула: «Тебе вообще лафа – ты же с мамашей одного роста. И вообще...» – она неопределенно крутанула рукой в воздухе и отправилась разнашивать свои танкетки.

«Взросление», как называла это мать, обозначалось еще противным овощным словом «созревание» и до сих пор не приносило ничего, кроме регулярных неудобств, а в дальнейшем могло наградить прыщами. Как у Томкиного Гоши.

Присмотревшись к дачной компании, Ольга начала понимать Томкино «вообще» и обрадовалась: сама она почти не выросла, судя по школьной форме, зато ноги... О танкетках она даже не мечтала, а мечтала о новых кедах, но мать наотрез отказалась их покупать. Как и сандалии, повторяя одно и то же: «негигиеничная обувь». Значит, светило ехать на дачу в старых туфлях – их почему-то называли «полуботинками», хотя по степени избитости они скорее были похожи на «полутуфли», – и эта перспектива повергала Ольку в уныние. Подумав, Таечка сбросила с ног босоножки:

– А ну, примерь.

Ольга кое-как влезла в босоножки, теплые от материнских ног, и с трудом затянула тоненький ремешок. На каблуках она себя чувствовала примерно, как на коньках.

– Неужели малы? – всплеснула руками Таисия. – Ну что за копыта! Снимай-снимай, а то растянешь.

Победили негигиеничные, зато нежно-сиреневого цвета сандалии – других не было.

Дачная жизнь имела свои прелести – море и пинг-понг. Купаться можно было в любую погоду, а вот зеленый пинг-понговый стол при малейшем дожде разбирали и заносили в темноватую просторную «ничью» комнату, где часто оставались сами, пережидая дождь.

В ничьей комнате не было никакой мебели, зато стоял рояль, единственным эксплуататором которого (вернее, рабом) был Гришка. Из года в год он разучивал одну и ту же «Тарантеллу» Чайковского. За последний год он превратился в широкоплечего коренастого подростка, прыщавого и нахального, но оставался верен «Тарантелле» – как, впрочем, и все остальные дачники, особенно женщины, которые готовили на кухне за стеной и начинали подпевать всякий раз, как только Гришка садился за рояль.

В свободное от бойкой тарантеллы время на рояле играли в карты или в «чепуху». Ольга устраивалась на подоконнике и раскрывала книжку. Вначале ее дразнили, в полной уверенности, что «Ольга просто выставляется и воображает», но, убедившись в полной ее карточной бездарности – даже масти путала, – отстали и звали только на «чепуху».

Сама дача представляла собой просторный двухэтажный дом с тремя входами, двумя верандами и чердаком. Со стороны огорода к даче примыкала аппендиксом отдельная постройка – здесь из года в год жил главный бухгалтер министерства; он же собственноручно каждый год красил стенки в белый цвет. Говорили, что это его «собственность», и за глаза называли частником. Кроме главбуха, Ольга знала еще одного частника – старого сапожника, который сидел в будке на их улице. Размером будка была меньше газетного киоска, и каждый раз, принося старику ремонтировать

очередную пару туфель, девочка вспоминала книжку о Чиполлино: именно таким ей представлялся домик Кума Тыквы.

Главбух жил намного просторнее.

На даче было так много места, что странно было слышать жалобы на тесноту: матери выделяли целых *две* комнаты! Если бы можно было здесь жить круглый год, Оля не колебалась бы ни минуты. Так легко было представить огород, заваленный снегом, белые воротники на карнизах, сугробы, от которых забор с калиткой сразу как будто делается ниже... Правда, непонятно было, как добираться в уборную по глубокому снегу: на весь дом, включая собственность главбуха, был только один нужник. Это создавало много неудобств даже при отсутствии снега.

Оля заметила, что люди стараются пройти к уборной как можно незаметней. Когда они подходили совсем близко, лица их становились нарочито равнодушными, будто человек оказался здесь случайно; с таким же безразличным видом подошедший дергал ручку двери. Если она оказывалась запертой, отходили тоже с равнодушными лицами – не больно, мол, и хотелось.

В этом году Олье повезло, как петуху из басни, нашедшему жемчужное зерно. Увидев рядом с круглым отверстием толстую книгу, старинную, как подпольная литература, она чуть не забыла, зачем пришла и зачем вообще ходят в уборную. Обложка отсутствовала; на верхней странице было написано:

«Николай Васильевич Гоголь
въ его письмахъ и литературныхъ произведеніяхъ»

Читать письма и литературные произведения было некогда. Не было только

содержания и нескольких последних страниц – к счастью, том использовали с конца – пробыл он здесь, судя всему, очень короткое время.

Оставлять жемчужное зерно в навозной куче?..

Гоголя надо было спасать. Пока она листала книгу, кто-то уже два раза нетерпеливо дергал ручку двери. Вдруг увидят?..

Озарение может посетить человека везде – так почему не в сортире? Оляка кое-как обернула драгоценную находку «Известиями», потом громко хлопнула крышкой и вышла, сосредоточенно уткнувшись в раскрытую книгу.

Снаружи переминалась Гришкина мать. Перед тем как ринуться в уборную, она сделала Оляке замечание: «Тут тебе не библиотека! Нашла место...».

Оляка с удовольствием извинилась в захлопнутую дверь.

Этим летом все было, как всегда, и все же чуть-чуть иначе. Людка первой пришла с «конским хвостом», а потом и вовсе распустила волосы. Как назло, Оляка встала играть в пинг-понг с ней в паре против Лены с Юлей, и продули они именно из-за этих Людкиных волос. Счастливые сестры помчались домой и вернулись через полчаса. Юлиному «хвосту» позавидовала бы любая лошадь, а Ленка распустила волосы и низко перехватила лентой на лбу.

На пляже сестры держались особняком: на них были совершенно взрослые купальники. Людка надулась, и мамаша ей привезла из города почти такой же; мир был восстановлен. Оляка набралась духу и тоже попросила у матери новый купальник.

Таисия по привычке возмутилась, но муж, пьяный или трезвый, был в далекой

Анапе, на веревке болтались девчачьи купальники, в огороде кучерявился горошек, из бессмысленной на первый и второй взгляд рассады неожиданно вылупились огурцы, и так приятно было сидеть на скамеечке, наслаждаясь папиросой и свежим воздухом, что захотелось быть великодушной:

– Бери мой, если тебе есть что в него класть.

Спохватившись, добавила:

– Чтобы к вечеру был сухим, когда я с работы приезжаю!

Отныне Оля тоже приобщилась к обладательницам взрослых купальников, но относиться к нему следовало, как к пороху: держать сухим, и, если не было ветра, она приноровилась сушить купальник на себе, не снимая.

Однако на пляже случилось то, что она до сих пор вспоминала с ужасом.

Они с Леной первыми вылезли из воды: замерзли. Как часто бывает на взморье, солнце жарило во всю мочь, но вода оставалась холодной.

– Потом сплаваем за третью мель, ладно? – обнимая себя обеими руками, спросила Лена.

Оля покладисто застучала зубами.

У самой воды, где песок всегда мокрый, темный и твердый, сидел на корточках загорелый мальчик. Оля встречала его каждый раз, приходя на пляж, но никогда не видела, чтобы он купался, играл в волейбол или просто дурачился, как другие ребята. Мальчик всегда строил, но то, что получалось у него из мокрого песка, так же отличалось от построек всех остальных, как сарай отличается от дворца.

Это и были дворцы – с башнями разной высоты, со шпилями, с круглыми бастионами и, что самое поразительное, с мостами, нависающими над

выкопанными рвами.

Мальчик как раз закончил постройку и встал с корточек. Оля с Леной смотрели на дворец. Рядом маленькие ребяташки – и среди них Ленечка – лепили куличи из послушного влажного песка и азартно пререкались, чья очередь возить новенький танк, счастливый обладатель которого вовсе не собирался с ним расставаться. Голоса малышей звучали все громче. Выяснилось, что кому-то купят точь-в-точь такой же, а у другого тоже есть танк, еще получше, только дома, и не один, а целых два!.. Все трое – мальчик-строитель и Оля с Леной – снисходительно прислушивались к спору, как вдруг заговорил Ленечка, до сих пор безмолвный:

– А у моей сестры сиськи растут.

И ребяташки уважительно затихли. Крыть было нечем.

Убью гада, вспыхнула Оля.

Если бы на минуту раньше... успела бы увести!.. Ничего бы не случилось, никто бы ничего не услышал, а теперь...

Она остановилась в оцепенении, не решаясь приблизиться и надавать подзатыльников, чтоб заткнулся. Но подходить было нельзя – во всяком случае, сейчас это сделать было просто невозможно.

Мальчик-строитель снова присел на корточки и решительно смахнул одну из башенок. Потом погрузил руку в ямку и вынул горсть мокрого песка.

Слышал или не слышал?

– Да ладно тебе, – успокоила Лена. – Ничего не растут.

...Они по-прежнему играли в пинг-понг и волейбол, в карты и «чепуху», но

вдруг кто-то предложил вместо «чепухи» сыграть «в бутылочку». Девочки вскипели громким возмущением, поэтому был принят компромиссный вариант: сначала в «чепуху», а потом «в бутылочку». Интерес быстро угас, потому что Людке все время выпадало целоваться то с Леной, то с Олькой, и мальчишки хором кричали, что это нечестно.

В августе, как всегда, поспели яблоки, такие же сочные и вкусные, как в прошлом году, и точно так же можно было залезать на дерево, чтобы занять самую удобную ветку, но почему-то девчонки не хотели лезть первыми, а если уже забрались, то громко кричали приближающимся мальчикам: «Уйди, дурак!».

Они и уходили, ехидно посмеиваясь, а Гришка ходил гоголем и всем желающим показывал учебник анатомии для 8-го класса. «Тоже мне редкость, – пожалала плечами Олька, – у меня такой же». Гришка поинтересовался, знает ли она разницу между мужчиной и женщиной. «Конечно, – невозмутимо ответила Олька, – мужчины – это те, кто “Тарантеллу” умеют играть». Все засмеялись, и Гришка долго с ней не разговаривал.

Она не открывала новый учебник: вряд ли «Анатомия» для 8-го класса расскажет интересней и больше, чем «Мужчина и женщина» за множество полноценных ангин, а чего не хватало в «Мужчине и женщине», Ольке открыла все та же Томка еще в пятом классе. Они дежурили – подметали пустой класс в четыре руки. «Ну что такое мужчина? – снисходительно рассуждала Томка, – живот да ноги. Придет с работы, пожрет – и мордой в газету. Так и сидит на диване. Мамаша моя очередь в парикмахерской высидела на шестимесячную завивку, приходит такая

интересная, только ухо обожгла под колпаком. Крутится вокруг стола, крутится, а этот газету читает. Мне жалко ее стало; спрашиваю: “Пап, ты маму-то видел? Как она тебе?”. Он тогда посмотрел и говорит: “Потолстела вроде”, – и опять за газету».

А если это любовь, опять подумала Олька. Если и это, *живот да ноги* – тоже любовь?

Томка остановила щетку и повернулась:

– У вас тоже так?

Так я тебе и сказала, как «у нас». Правда, Томка и не ждала ответа – она была уверена, что *так* – у всех. Живот да ноги.

Дача была хороша еще и тем, что не надо было «затыкаться в угол», чтобы читать. В тот ужасный день Ленечка получил хорошую взбучку, особенно обидную, что без причины и от сестры, которую обожал. Громко плакать не решился: похлопал в лопухах, отвлекся на грядку с клубникой и читать не мешал.

Олька брала книгу с собой на пляж, и потом, как ни вытряхивай, между страниц долго еще шуршал песок.

Мальчик продолжал созидать свои песочные замки. Первое время Олька наблюдала за ним со стороны. Около него всегда кто-то останавливался, иногда собирались кружком. Задавали вопросы, но мальчик не отвечал, и было понятно: не от невежливости, а потому что не хочет отвлекаться. Однажды она приостановилась и заметила, что у входа в замок появились часовые: мальчик набирал в ладонь песок с водой и осторожно лил из кулака тоненькой струйкой темную жижу. Первые фигурки, чем-то его не удовлетворявшие, он тут же смел и снова погрузил ладонь в

песок. Вдруг на Олькиных глазах вылилась и застыла совершенно законченная человеческая фигурка в опадающем плаще – или халате? Рядом симметрично выросла вторая. Мальчик поднял на Ольку глаза и молча подвинулся. Опустившись на корточки рядом, она протянула ему две крохотные розовые ракушки, похожих на веера.

– Шляпы, – сказала почему-то шепотом. – Как у китайцев.

Мальчик улыбнулся. Шляпы оказались впору. Он расставил еще несколько фигурок, всякий раз молча протягивая руку, в которую Ольга послушно клала очередную ракушку. Занеся над мостиком горсть жидкого песка, мальчик внезапно отдернул руку. Ольга поняла: хватит. Мальчик перебросил легкое тело и лег, опершись на руку.

– Они все китайцы, – и засмеялся.

Ольга впервые слышала его голос и смех, да и вообще ничего не знала об этом худеньком смуглом зодчем. На вид ему было лет двенадцать, а как зовут и где он живет, никто не знал. Казалось, он появлялся на пляже с одной-единственной целью: построить новый дворец. Глядя на него, многие увлеклись возней с мокрым песком. Наиболее активные подходили и спрашивали: а как ты это делаешь? Мальчик только вздергивал худые плечи: не знаю.

Про себя Ольга называла его «Босини», как того архитектора из «Саги о Форсайтах». Она привезла с собой несколько книг, но снова читала «Сагу».

Удивительная это была книга. «Сага» потеснила даже «Отверженных» и любимого «Давида Копперфильда». В этой книге можно было жить, что она и делала. Поэтому, наверное, дочитав в первый раз, Ольга перевела дух, обвела

комнату пустым взглядом и... снова открыла начало. Так гость возвращается и открывает дверь дома, из которого только что вышел, но обнаружил, что впопыхах забыл шапку. Его встречают и радостно тормозят: хорошо, что вернулся, побудь еще! Вот, кстати, и чай горячий. И кажется человеку, что это сейчас самое важное – выпить чаю, поговорить, посидеть здесь подольше; а улица – куда она денется, эта холодная улица! Как и шапка, которую вовсе не забыл, оказывается, а попросту затолкал в рукав пальто, и если уши вдруг вспыхнут, то не из-за шапки, конечно, а от горячего чая.

В этой книге Оля была у *себя дома*, каким был для нее дом до появления в их жизни Сержанта. Дом ее детства ничем не напоминал роскошные гостиные Форсайтов, с дворецкими и горничными, с обязательными переодеваниями к обеду, где дамы сидели за столом в декольтированных платьях. Нет, ее дом был совсем другим, да и не домом вовсе, а обыкновенной квартирой, где, кроме нее и бабушки Иры, жили прадед с прабабкой, Максимыч и Матрена, и семья пропавшего на фронте бабушкиного брата. На всех – две просторные комнаты и кухня, казавшаяся огромной, потому что Оля ездила по ней на трехколесном велосипеде, стараясь не попасться под ноги бабушке Матрене. «Ос-споди, что за ребенок такой, – ворчала она, – ступай с глаз, пока я тебя не обварила!» – и отправляла правнучку, которую тогда все звали веселым именем «Лелька», в комнату, подсластив ссылку свежей и хрусткой капустной кочерыжкой. Дом, где перед иконами горели лампадки, на кухне пахло керосином и подспудно зреющим скандалом, но всегда хватало главного лакомства: жареной картошки и книжек, – тот дом ничем не напоминал дома

Форсайтов, кроме разве что чая, который неизменно пили как Форсайты, так и Ивановы. Когда Оляка читала об очередном чаепитии, она видела Максимыча, протягивающего жене свою любимую чашку, чтобы она привычным за пятьдесят с лишним лет движением поднесла чашку к самовару и повернула блестящий краник; потом налила бы себе в тонкий стакан, вдетый в ажурный серебряный подстаканник. Оба всегда пили вприкуску, обмениваясь привычными жалобами, что сейчас хорошего рафинаду «днем с огнем», и вздыхая – о рафинаде и о многом другом.

Нищие старики, Ивановы не только не были похожи на Форсайтов – они были их полной противоположностью. Как не были похожи бабушка, тетя Тоня, дядя Мотя и покойный крестный ни на кого из Форсайтов следующего поколения. Отчего же, читая о приеме у Тимоти, Оляка видела столовую крестных и твердо знала, что все три тетки – Энн, Джули и Эстер принимали гостей именно здесь? И тетя Джули, нелепая и трогательная, никогда не казалась ее смешной, ведь только Джули по-настоящему огорчилась, увидев брата, старого Джолиона, и безошибочно почувствовав главное; вот... Она быстро пролистала страницы: *«...тетя Джули остановилась у окна и сквозь щелку между кисейными занавесками, плотно задернутыми, чтобы с улицы ничего не было видно, стала смотреть на луну... И, стоя там в розовом чепчике, обрамлявшем ее круглое, печально сморщившееся лицо, она пролила слезы и думала о “бедном Джолионе” – старом, одиноком, и о том, что она могла бы помочь ему и он привязался бы к ней и любил бы ее так, как никто не любил после... после смерти бедного Септимуса».*

Точно так же стояла тетя Тоня, неподвижно и долго стояла у окна столовой,

когда умерла бабушка Матрена, и потом, совсем недавно, в январе, после похорон дяди Феди. Никакого чепчика, и лицо у нее не круглое и не морщинистое, но слезы, но слезы – о живых и умерших... Читая, Оля словно смотрела с улицы на окна и видела сразу обеих: сморщенную английскую старушку, плачущую о брате, да, но едва ли не больше о своем давнем и безнадежном одиночестве и никому-не-нужности; и крестную – подтянутую, со строгим лицом, бледным и припухшим от слез.

Это было одно и то же окно.

Читая о гениально выдуманных Форсайтах, Оля думала о совершенно реальных Ивановых, и когда Форсайты хоронили своих родных, она видела знакомое кладбище, потому что хорошо помнила смерть прадеда и прабабки, как помнила свою детскую веру в то, что они обязательно воскреснут.

Не воскресли; а теперь умер дядя Федя.

Нарядный и веселый дом крестных, где проходили шумные и многолюдные праздники, изменился – перестал быть праздничным. Разве не то же самое произошло, когда умерла тетя Энн – ушел из жизни только один Форсайт (старший, да, но не самый главный), однако унес с собой что-то очень важное для всех?..

Даже Босини, наиболее чужой Форсайтам человек, дикий и дерзкий (не зря его прозвали «пиратом») – неожиданно воплотился в незнакомом худеньком мальчике, который давно уже не возится с мокрым песком на пляже в своих выгоревших сатиновых трусах, а тоже торчит за партой в какой-то школе. Этот «Босини» не только позволил ей поучаствовать в своем дворце – он сделал понятным Босини настоящего, который не останавливался ни перед чем, потому что строил не просто

дом по заказу, а дом для Ирэн, дворец для любимой.

Несколько раз она носила «Сагу» в библиотеку и получала кривоватый штамп в карточку об очередном продлении. Получала – и с трепетом ждала, когда библиотекарь скажет: «Хватит, девочка; сколько можно продлевать?». Однако все сложилось иначе: перед самым отъездом на дачу мать сама понесла библиотечные книги, но вернулась обратно:

– У них, видите ли, ремонт; пускай пеняют на себя, я штраф платить не намерена.

«Сага» благополучно поехала на дачу: свежий воздух. Чтобы отделаться от дурацких вопросов («опять перечитываешь, а Жюль Верн так и стоит, для-кого-я-покупала?»), Оля обвернула книгу в бумагу, как всегда делала с учебниками.

А теперь лето кончилось, пора было сдаваться библиотеке – и сдавать «Форсайтов».

Почувствовать себя женатым у Карла никак не получалось. И дело не в том, что жизнь не изменилась – изменилась, конечно, да иначе и быть не могло. Настя так легко заняла место в квартире, что стало ясно: именно для нее оно и было предназначено. Отцовский кабинет мать теперь именовала «вашей комнатой». Здесь на письменном столе лежали Настины учебники и конспекты, подушка пахла Настиными волосами; в ванной появились какие-то баночки и флаконы, а на раковине постоянно дежурили две-три мокрые шпильки. На двери висел Настин зеленый халат в горошек, а когда она приходила домой, халатик этот мелькал то на кухне, то в прихожей, то в «вашей комнате», которая, впрочем, навсегда осталась для Карла кабинетом отца – с той лишь разницей, что теперь на диване он спал не один, а с Настей.

С женой.

Настя, девушка с любимой ямочкой на щеке, Настя, которую он почти два года провожал в общагу и больше не должен туда провожать – Настя стала его женой. Общагу можно вообще забыть навсегда, не думать о ней, как не думать о том, что теперь можно спокойно закрыть дверь у себя дома и делать то, ради чего он совал рубли и трешки дежурным в этой чертовой общаге. Теперь можно было вместе засыпать и просыпаться, а потом вместе завтракать.

Завтракать с женой.

Настина смена начиналась рано, мать уходила еще раньше, и Карл оставался один на час или час с четвертью. Весь этот кусочек одинокого времени он проводил,

словно заново привыкая к дому, где теперь живет Настя.

Жена.

Каждое утро, оставшись один, он здоровался с вещами и вещицами, которые принадлежали Насте, были ей необходимы, являлись ее частью – здоровался и улыбался, словно они тоже привыкали к нему и начали его узнавать.

Непривычно ощущалось на правой руке обручальное кольцо – кольцо, раньше принадлежавшее его деду-тезке. Второе, бабкино (хотя невозможно было представить бабкой печальную даму со старинной прической, которую увидел на фотографии), мать подарила Насте. Кольца были одинаковые: легкие, плоские, с косой насечкой; на внутренней поверхности изящно выгравированы имена и даты. Настя прибежала обрадованная: в ювелирной мастерской можно переделать кольца, она узнавала.

– Как – «переделать»? – удивилась мать.

– Ну, на более современные. Не будем же мы носить такие... допотопные. А, Карл?

Лариса растерялась. Помолчав, сказала: «Как хотите, конечно» – и улыбнулась, скрывая улыбкой недоумение.

– Я, пожалуй, буду носить «допотопное», – Карлушка тоже улыбнулся.

Как они по-разному растерялись, мать и Настя, тогда еще невеста, но к слову «невеста» он и привыкнуть не успел.

Из-за этого бестолкового разговора они так и обменялись в ЗАГСе разными кольцами: Настя надела ему на палец дедово, чуть потускневшего золота, а он неловко пытался поймать тонкий Настин палец в пухлый и блестящий обруч чужого,

не бабкиного уже, кольца – и не сумел, так что она сама ловко натянула колечко, и сзади кто-то негромко засмеялся.

Стул в кабинете теперь стоял не на обычном своем месте у окна, а рядом с диваном, и на спинке висела Настина кофточка. Рукава, чуть растянутые на локтях, торчали врасстырку, сохраняя форму рук. На подоконнике лежала пилочка для ногтей, маленькие ножницы с загибающимися, как лыжи, концами и стояла бутылочка лака.

Карлушка сел за письменный стол, придвинул тяжелую отцовскую пепельницу и закурил. Наверное, отцу тоже когда-то удивительно было привыкать к тому, что у него появилась жена и теперь он каждый день видит ее, слышит ее голос, ласковый или раздраженный, с ним она говорит или с кем-то другим; приходилось привыкать к не знакомым прежде каждодневным привычкам самого близкого человека – жены.

Он привыкал к тому, как Настя звонит в дверь, если забудет ключи: длинным, непрерывным звонком; как она ест яблоко – целиком, оставляя только черенок; как пьет чай, глядя в окно поверх края чашки; как моет посуду, быстро и ловко, но забывает о плите; как разговаривает по телефону, глядя сбоку в зеркало, словно надеясь взглядом выманить оттуда собеседника; как режет хлеб прямо на клеенке, хотя доска лежит рядом... Однако про доску он забывал, увидев, как Настя отсекает ножом корку под разными углами так, что в результате батон становится похож на плохо очищенную картофелину. Увидев освежеванную буханку, Лариса удивилась: «Зачем?».

– Я горбушки люблю, – улыбнулась Настя.

Больше мать вопросов не задавала.

Надо покупать два батона, думал Карлушка, и пусть она режет один как хочет, а другой... Нет, два нельзя: Настя обидится (и правильно сделает); нужно вернуться к старой («холостой», добавил про себя) традиции и резать хлеб самому.

Раньше ему казалось, что отец с матерью все делали одинаково. Теперь стало понятно, что он принимал за одинаковость выработанную за много лет согласованность привычек: одни гармонично дополняли другие, вот и все. Значит, нужно принять Настины как данность – да, именно так, и даже формулировка «принять как данность» казалась единственно правильной. Принять как данность и подстроиться под них.

И потом, продолжал он рассуждать уже по пути к троллейбусу, я ведь не знаю, как моя жена воспринимает *мои* привычки – я не вижу себя со стороны.

Остановка находилась рядом с хлебным магазином. Карлушка скользнул привычным взглядом по выставленным раскрашенным булкам и караваем на фоне нарисованных колосьев толщиной в руку. Лицом к витрине стоял парень («молодой женатый мужчина», поправил он себя) в осеннем пальто. Густые волосы чуть взлохмачены (берет забыл), шарф небрежно торчит из-под воротника (поправил). Глаза ему решительно не нравились: неуверенные какие-то глаза. За его спиной люди быстро шли по своим делам, никто не оглядывался, а потом все потянулись к дверям троллейбуса, втиснулись, и... Идиот – троллейбус упустил! Он бросился вслед, понимая всю тщетность спешки, и троллейбус издевательски замедлил ход, но не от гуманного порыва, а просто впереди горел красный светофор. Он сделал вид, что ему плевать на все троллейбусы мира, и демонстративно смотрел в другую сторону, откуда должен был появиться следующий.

На работе он незаметно присматривался к другим «женатикам» своего возраста, стараясь увидеть что-то общее с собой. Пока не получалось. Карлу казалось, что у всех этих людей совсем другая жизнь, не похожая на его с Настей. Паша Одинцов, например, был фанатичным байдарочником. Он охотно рассказывал во время перекуров о последнем или предпоследнем походе, и в представлении Карла каждый поход только чудом не кончался гибелью всех участников. Во все походы Одинцов отправлялся вместе с женой.

– Это пока у вас детей нет, – убежденно хмыкал Алик Штрумель. – Мы тоже, пока дочка не родилась, ни одной выставки не пропускали, ни одной премьеры. Вот посмотришь...

Карлушка помнил Алика по институту: Штрумель тоже учился на вечернем, только в параллельной группе. Когда встретились в КБ, обрадовались друг другу, но дальше простого приятельства не пошло: Штрумель был женат и страстно хотел того же для Карла, предлагая познакомить его с «такой чувихой, старик – закачаешься!» При слове «чувиха» Карлушка представлял себе жутковатое существо, заросшее волосами с головы до ног и почему-то в огромных растоптанных ботинках; «закачаться» отнюдь не рвался. Теперь, когда Алик стал отцом, он выжидающе посматривал на Карла, словно ожидая от него того же, как раньше стремился увидеть его женатым.

– В прошлом году, на Севере, – торопливо досказывал Одинцов, – когда у нас байдарка перевернулась, так Люся – это жена моя – дико простудилась. Хорошо еще, что...

На лестничную площадку, где они обычно курили, вышел четвертый, худой

сутуловатый человек лет тридцати, и достал из кармана пачку «Памира». Ничего другого Кондрашин не курил из соображений экономии. По той же причине носил всегда одни и те же брюки – отглаженные, блестящие от возраста сзади и чуть коротковатые. Пиджак был еще старше, чем брюки, поэтому Кондрашин им не злоупотреблял и часто приходил на работу в свитере. Кондрашина называли «камнем раздетый»: обе зарплаты, его и жены, поглощал строящийся кооператив. Он закурил, выдохнул струю вонючего «памирного» дыма и стоял с погасшей спичкой в левой руке, снисходительно прислушиваясь к беседе.

– ...Штормовку унесло, конечно, – продолжал Паша, – рюкзак пошел на дно, как утюг. К счастью, спирт и все лекарства в моем были. Ну, мы сразу костерок развели, Люську в спальник, естественно, загнали, но сначала приняли спирта, – он щелкнул по плохо выбритому горлу.

Алик умудренно покивал:

– Вот вспомнишь мои слова, когда ребенок родится. Забудете, как ваша байдарка выглядит. Будете только мечтать, как бы поспать полчасика.

– Ну, мечтать мне никто не запретит, – уверенно возразил Одинцов. – У нас ребята и детей в походы берут; подумаешь!

– Это точно, – легко согласился Алик, – только не в девять месяцев. А мечтать – да, надо мечтать. Вот я тоже мечтаю сначала выспаться, а потом еще клопа придавить часок. Чтобы впрок. А, Кондрашин?

Странно, удивился Карлушка, что к нему всегда только по фамилии обращаются. Как его зовут, Гера? Или Гена?..

Кондрашин дотянул свою «памирину» и швырнул невесомый окурок в

плевательницу.

– Эт точно, – отозвался Кондрашин в тон Алику. – Вот у меня тоже мечта есть: тестю морду набить.

Кондрашин был аскетичен не только в одежде. В обеденный перерыв он обычно в столовую не ходил, а ел принесенные из дому бутерброды. Если приходил без бутербродов, то появлялся в столовой либо раньше, либо позже всех и всегда брал полную порцию супа, а на второе что-то диетическое, вроде рисовой запеканки или картофельных котлет, но не из соображений особой полезности, а ради дешевизны. Иногда Кондрашин «срывался» и заказывал бефстроганов или гуляш и съедал его с ожесточенным видом, словно бросал вызов то ли сотрудникам, которые могли себе позволить есть мясо хоть каждый день, то ли тестю, ожидающему, когда Кондрашин осуществит свою мечту.

Неужели и я буду курить такую дрянь, думал Карлушка, и приносить с собой бутерброды. И уже мысленно видел склеенные по два куски хлеба, помятые в троллейбусной давке. Вспомнил поездку к Настиным родителям и так же мысленно примерил, как он бьет морду Сергею Дмитриевичу. С какой стати? Но если бы пришлось, как Кондрашину, жить вместе, в одной квартире, да еще с ребенком? Однако живут же они с матерью – и ничего, никто морду никому бить не собирается. Да, ехидно поправлял он сам себя, это пока ребенка нет – вот Алик Штрумель на ходу спит.

У них с Настей ребенка пока не предвиделось, и Карла это нисколько не огорчало. Он привык, что раз в месяц Настя становится особенно раздраженной, всем недовольна и взрывается по самому ничтожному поводу (в книгах это

уклончиво называется «нездоровьем»). Знал, что состояние это совершенно естественное и является показателем самого что ни на есть здоровья, и отсутствие «нездоровья» как раз и будет предвестником его отцовства. К этому Карлушка готов не был. Да и многие, кого он знал, становились родителями не от страстного желания, а нечаянно: сначала появлялся ребенок, а затем – любовь к нему. Спрашивается: так ли уж необходимо заводить детей? С Настей они ни разу не обсуждали эту перспективу, если не считать того единственного разговора прошлой зимой, когда она сказала про аборт, да это и не разговор был, а Настина исповедь, из которой он против воли запомнил мерзкое слово «абортарий». Тогда же и поклялся – себе, не Насте, – что никогда больше этого слова в их жизни не будет.

...Попробовал было представить Настю и себя в компании байдарочников Одинцовых – и отказался от этой идеи. Конечно, общие интересы необходимы, рассудительно подумал он, и тут же почувствовал стыд за «Форсайтов», даже не недочитанных, а едва начатых. Раздражало обилие родственников, пьющих чай, которых не мог запомнить. Мешало и то, что странные англичане, казалось, поселились у них в доме одновременно с Настей. Форсайтам составил компанию Настин научный руководитель, отнюдь не английского происхождения человек со смешной фамилией Присуха. Как-то Карлушка назвал его «Примочкой» – и совершенно зря, как сразу выяснилось: Настя не на шутку обиделась. Долго молчала, и Карл не знал, куда себя деть, внутренне извиваясь от собственной глупости и пытаясь поймать ее взгляд.

Не поймал.

Взял сигарету и встал, но в этот момент Настя посмотрела на него, сузив глаза,

и произнесла неожиданно:

– Да. У меня есть перспективная тема и есть научный руководитель. Чего и тебе желаю.

Резко отодвинула стул и вышла из комнаты, а через минуту из квартиры; щелкнул дверной замок.

В первый раз у нее были такие глаза и прищур, словно целилась вдаль из ружья, хотя цель, было очевидно, находилась прямо перед нею. Только он все равно не понял, к чему это пожелание и какое отношение этот чертов Присуха-Примочка, вместе с перспективной темой, имеет к нему, инженеру-радиотехнику? Сидел, так не закулив: вот и первая семейная сцена, которая прилась как раз на день, предшествовавший Настиному «нездоровью», а следовательно, была просто вспышкой беспричинного раздражения, в чем она и призналась: «Ненавижу эти дни. Такое состояние, что убить кого-то хочется». Это Настя говорила в темноте, лежа горячей щекой на его плече, и он опять удивлялся, какая нежная у нее щека, и ничего не отвечал, только легко целовал лицо, чувствуя губами щекотку ресниц.

«Эти» дни или другие, но Карлушка с тех пор избегал называть Присуху по фамилии, и уж тем более не обыгрывал ее.

И сейчас, спустя полгода ровной и вроде бы бессобытийной супружеской жизни, он чувствовал себя в роли мужа самозванцем: казалось, что все происходит как-то понарошку, не так, как должно быть, однако как должно быть по-настоящему, он не знал.

И «Форсайты» оставались непрочитанными, но Карла угнетало не это, а недовольство самим собой: так и не съездил до сих пор на отцовский хутор, пусть

давно не отцовский и не хутор даже – мать говорила, что там не то библиотека, не то школа. Не съездил, хотя собирался, однако до свадьбы не успел, а потом отдел залихорадило: готовили выпуск нового радиоприемника, экспериментальную модель. Все пороли горячку, начальник отдела бегал, как таракан, но в последнюю минуту опять потребовались изменения. Когда аврал кончился, Карлушка тоже не смог: бабушку отправили на «скорой» в больницу, и Лариса поехала в деревню. От помощи сына отказалась: «Нет-нет, оставайтесь дома, я сама».

Нет, жизнь вовсе не была бессобытийной, как ему представлялось. У Аглаи нашли камни в желчном пузыре, сделали операцию, и мать, срочно взяв отпуск, уехала на хутор. В ближайшее воскресенье собрался и Карл (Настя готовилась к семинару), явился без предупреждения к деду, затем помчался в больницу и едва не опоздал на обратный поезд. В вагоне сидел, раскиснув от жары, и с содроганием и жалостью все еще видел перед собой желтое опухшее бабукино лицо, а рядом – мать, с коричневыми кругами под глазами. «Иди, иди, – махала рукой бабука, – вот поправлюсь, тогда... И жену привози». Ободранная, жалкая, нищая районная больница – неужели там делают операции? Выходя, он повернул не туда и оказался в детском отделении. Понял свою ошибку, только очутившись в каком-то тупиковом коридоре, где на облупленных железных кроватях лежали ребятишки, лица их были в ярких пятнах зеленки. При его приближении они поднялись и сели, молча и с любопытством его рассматривая.

В поезде сидели люди с усталыми лицами: воскресенье кончилось, предстоял рабочий день. Напротив него расположилась молодая пара. Девушка сердито отвернулась к окну, парень смотрел вверх Карла, изредка скашивая глаза на

спутницу. Поссорились? И тут же вспомнился другой вагон, так живо описанный отцом, и одновременно зашевелилась вина: в письменном столе ждала черная папка, которую жадно разворошил когда-то и бегло просмотрел, а вернуться к ней так и не собрался.

Приходилось часто ездить к старикам; у Насти начался учебный отпуск – и кончился, сессия была сдана и осталась позади. Кончалось лето. Осень, теплая и спокойная, пришла незаметно, словно лето продлили. Бабка выздоравливала, но медленно; дед «блажил», по выражению матери. Стало можно появляться на хуторе реже, но как раз тут Карла с Аликом Штрумелем послали в командировку в Ленинград, на целую неделю.

Обратный поезд шел всю ночь. Позднее утро было ленивое, туманное, промозглое.

Поручень был тусклым от мороси, рука скользила по пронзительно холодному металлу.

Гравиевую дорожку, он почему-то был уверен в этом, нужно было увидеть летом. Осталось его дождаться.

Листопад начинается незаметно. Пожелтевшие листья, упругие и шелковистые, бесшумно слетают с деревьев и не падают, а легко садятся на землю, как бабочки на цветок, не зная еще, что никогда не вернутся на ветку. Пройдет неделя – и они утратят нежную гибкость, начнут сохнуть, темнеть, а потом и вовсе перестанут быть чем были – листьями, и превратятся в сухой шелестящий мусор.

Кладбище выглядело по-осеннему нарядным. В отличие от Ботанического сада здесь не убрали опадающую листву. Лариса замедлила шаги, уступая дорогу пожилой паре. Мужчина нес банку с краской и в той же руке держал кисточку, завернутую в газетную бумагу; женщина коротко взглянула на Ларису, поправила платок.

Еще один поворот; пришла.

Такое нехитрое действо: сполоснуть банку, набрать воды, поставить четыре белые гвоздики, любимые цветы Германа. Убрать опавшие листья и налетевший сор. Когда все сделано, хорошо бы присесть на скамейку и помолчать наедине с ним. Однако скамейки нет, как нет и ограды: могила стоит в дальнем углу кладбища, чуть особняком; разве что кусты посадить? Не здесь Германа следовало бы хоронить, а рядом с могилами его матери и отца, где росли могучие клены, однако Лариса не была на старом хуторе с того самого летнего дня сорокового года, когда их оттуда выслали, а потому не знала, сохранилось ли кладбище. Когда же человек умирает в одночасье, дом для него только один – земля; а земля везде земля. И хорошо, подумалось внезапно, что вокруг столько места, хотя сколько мне его понадобится?..

Неужели целый год прошел, целый год без тебя? Без тебя, но я разговариваю с тобой все время. Если я до сих пор не сошла с ума, то... Или сошла, но не знаю об этом? Как странно, Герман, как странно. Я так часто говорю эти слова: как странно, так и не зная, о чем они были сказаны, но ведь все вокруг так странно, что другие слова просто не приходят на язык, и это тоже странно, что не находится других слов, правда? Темнеет рано, Герман: октябрь. Я опять оставляю тебя. Но ведь ты первым нас оставил... Теперь жди.

Прощай, милый.

Назад по той же тропинке; день темнеет, тропинка тоже. Оказаться одной на кладбище, да еще в сумерки, совсем неудобно. Почему-то вспомнилась пара с краской и кисточкой. Должно быть, скамейку красили.

Из-за небольшого холма впереди показалась женская фигура, тоже двигавшаяся в сторону выхода. Теперь Лариса боялась испугать женщину своими неслышными шагами. Тут же обернулась – не идет ли кто-нибудь сзади так же неслышно. Обернулась, словно почувствовав ее присутствие, и женщина, но не пошла вперед, а остановилась. Не знает, куда идти? Лариса ускорила шаг, но та уже удалялась.

В воздухе разливалась синька сумерек, затапливая пестроту деревьев, заштриховывая кусты и памятники в бесформенные темные глыбы. Глаз еще различал на дорожке яркие опавшие листья. Среди желтых пятен белел четкий прямоугольник. Лариса нагнулась: платок, и ускорила шаг:

– Подождите, пожалуйста!

Догнала у самых ворот. Женщина обернулась и оказалась Тоней, но Тоней такой бледной и исхудавшей со дня сороковин, когда они виделись в последний раз, что

мало походила на себя прежнюю.

Здесь, за воротами кладбища, светил уличный фонарь. Домики по обе стороны были по большей части деревянные, редко двухэтажные, только в конце улицы нелепо высился каменный дом этажей на пять.

Тоня кивнула, поблагодарив, и бережно спрятала платок в сумку.

– Федора Федоровича платок, Царствие ему Небесное.

И медленно перекрестилась под громкое Ларисино «как?!», после чего рассказала, «как». Говорила коротко и сухо, чтобы – Лариса понимала – не разрыдаться, но все равно голос временами срывался и стал прежним Тониным голосом, только когда она властно перебила виноватое Ларисино бормотание, что «не знала, а то бы, конечно...»

– Не знала, конечно; откуда тебе знать было? В газетах не объявляли.

Замолчала. Лариса прикусила губу: зачем она про газеты – не потому ведь, что о Германе писали, что некролог был?

– Мы так живем, что никому ни до кого дела нет, – продолжала Тоня. – Кто слег, кто помирает, кто... – голос перехватило, – кого больше... кого схоронили. И телефоны есть, да что толку?..

Не договорила, да и не было в этом нужды, все уже сказала. Пока Лариса думала, когда будет уместно отвлечь, спросить о детях, собеседница ее опередила:

– Как твой сын, не женился еще?

Благосклонно выслушала ответ, спросила о свадьбе и тоже осталась довольна, сделав к тому же непрерываемый вывод: какая же свадьба могла быть, если недавно были похороны.

В конце квартала Лариса приготовилась попрощаться, но Тоня снова опередила: – Зайдем ко мне чаю попить, тут совсем близко.

Пришлось согласиться. Не потому что «совсем близко», а все еще чувствуя вину, что не пришла *тогда* – ни на похороны, ни после.

Узнала дом – он не изменился. На первом этаже были, как и перед войной, аптека и пекарня. Вернее, тогда-то как раз была пекарня, а теперь обыкновенный хлебный магазин, каких в городе достаточно, и ни один не является пекарней: велят завтра продавать ботинки – начнут продавать, только вывеску «ХЛЕБ» заменят на «ОБУВЬ».

– У нас пекарня хорошая, – похвасталась Тоня, – то вафли, то сухарики ванильные дают.

Наверху, в квартире, стояла тишина. Свет в прихожей был тусклым, словно в тамбуре. В столовой что-то изменилось, да и не мудрено за столько лет.

– Вы с Германом к нам редко заходили.

Тоня доставала из буфета посуду.

Действительно, согласилась мысленно Лариса, всего раз или два заходили. Над буфетом висела большая картина маслом, которую она не помнила: грозное море, огромная надвигающаяся волна – и крохотный плот с обломком мачты и мечущимися людьми, которых вот-вот этой волной накроет.

Хозяйка, хоть и стояла спиной, горделиво кивнула на картину:

– Один пациент Федору Федоровичу подарил. Художник.

На столе между тем появился благородного фарфора чайник, в тугом блестящем чреве которого набухла плотная стая чайнок, готовая пролиться темной медовой

струей в такие же благородные, как и чайник, чашки. На блюдца послушно легли серебряные ложечки, а посреди стола красовалась ваза из той же фарфоровой семьи, полная домашнего печенья, даже на глаз рассыпчатого. Изысканный сервиз, в большинстве домов предназначенный специально для гостей, когда хозяйка достает спящие летаргическим сном чашки и поспешно бежит на кухню их перемывать, Тоня расставила быстро и привычно, так что стало ясно: пьют из этих чашек часто, а то и каждый день.

– Бери сахар, – Тоня отхлебнула глоток и первая потянулась к подбоченившейся сахарнице. – Мои родители, Царствие им Небесное, только с кусковым пили. Ну а я отвыкла уже.

Лариса плохо помнила Тониных родителей и чувствовала какую-то неловкость из-за нарядного стола с крахмальными белейшими салфетками и дорогим сервизом, но не попробовать печенье было нельзя. Оно и впрямь оказалось рассыпчатым, таяло во рту, и за признание этих достоинств Ларисе тут же был подробно изложен рецепт. Она кивала, но знала, что не запомнит. Рассказала о болезни матери и получила несколько советов («вот у меня однажды так схватило...»).

Разговор о детях начался ровно, но вышел у Тони неожиданно горьким: сын женился внезапно и не на той, которую «нам с Федор Федоровичем хотелось бы видеть невесткой»; дочка, не дай бог, вот-вот выскочит замуж за весьма сомнительного субъекта (Лариса решила не спрашивать, что это означает).

Последовали вопросы о Насте, как и ожидалось.

– Что родители далеко, это хорошо, – заключила Тоня, – а плохо, что не нашего круга люди.

– Почему же, – возразила Лариса, – мать до войны здесь жила. Отец держал небольшой магазин с галантереей.

– Как фамилия? – заинтересовалась Тоня.

– Как-то на «м»... Маркелов? Нет; Маркианов, кажется.

Тоня еще наморщила лоб и резюмировала:

– Нет, не знаю. Если галантерейный, то сестра моя знать может, она шьет.

Беседа перешла на Ирину. Тоня рассказала, что несколько лет назад сестра перенесла тяжелый инфаркт; произнесла – и споткнулась на этом слове. Обе помолчали. Потом Тоня спросила чуть севшим голосом:

– Ты памятник заказала уже? Год прошел, теперь можно ставить.

И стало легко рассказать о жасмине, который Лариса собиралась посадить, об отсутствующей скамейке, и Тоня уже другим, окрепшим, голосом стала расспрашивать, что лучше высадить на могиле, «ведь зимой все померзнет». Говорили негромко о том насущном, что никто, кроме них, не сделает для ушедших, хотя обе знали, что делается это для себя – и рассада, и кусты, и та же скамейка, едва ли потребная тому, кто лежит глубоко в земле.

– Я брата попрошу, – решительно объявила Тоня, пока Лариса надевала пальто. – Он сделает тебе скамейку. Мотя ведь тоже столяр, как наш отец покойный.

Закрыв дверь за гостьей, Тоня вернулась в столовую. Какая-то она не разбери-поймешь, эта Лариса. Странно, что Герман в ней нашел, ведь сколько лет ухаживал за Ирккой! А та возьми да обвенчайся с Колей, вот тебе и брат. Двоюродный, правда, а похожи были, как родные, их за близнецов принимали. Даром что Коля тихоней был, а невесту увел. С Ларисой Герман, наверное, познакомился, когда свое кино снимал.

Не иначе: она сама-то деревенская, а кино про деревню. Красавицей она не была (Тоня мельком посмотрела в зеркало и отвела взгляд), только волосы у нее богатые, даже сейчас. Тоже с невесткой жить приходится, однако молчит, не жалуется.

Мысли перескочили на свою невестку. Сын в командировке, а эта цаца с подругой в кино отправилась, хотя через два месяца рожать. Нет чтобы дома сидеть, режим соблюдать, а ведь первый ребенок!

Мой первый внук. Или первая внучка. А Федя никогда не увидит, Господи! Не узнает, мальчик или девочка. И ребенок никогда не увидит деда, разве что на фотографии.

Сегодня, рассказывая Ларисе про тот страшный январский день, она словно прожила его еще раз, однако легче не стало. А станет ли когда-нибудь?

Станет. Когда не станет меня.

От горячего чая было тепло – или на улице потеплело? Лариса двинулась к дому.

Она думала, что день кончится безмолвным разговором с Германом, потом она выпьет дома чаю – и спать. Однако все повернулось совсем другой стороной – известие о смерти Тониного мужа ошеломило. Так хорошо запомнилась Тоня за столом – звонкоголосая, улыбчивая, уверенная в себе и в том, что говорила, поэтому все и поворачивались к ней, а она с достоинством отвечала, всякий раз горделиво ссылаясь на «Федора Федоровича».

Которого не стало через два месяца.

И как она об этом рассказывала, с пересыхающим горлом, а в голосе горечь и

обида. Хотелось тихонько погладить эту женщину по рукаву, потому что сказать было нечего, слов никаких не было. Погладить не осмелилась; вместо этого отправилась к ней в гости – вот так, с пустыми руками, какой стыд, только б не оставлять ее одну с этой обидой на темной улице.

За чаем отвлеклась – сначала на картину, потом на стол. Поразительно, как Тоня сохранила почти забытый Ларисой застольный обряд, с этими белоснежными салфетками, которые стирать не перестирать, крахмалить не перекрахмалить. Словно не было войны, не прошло двадцати с лишним лет. Если быть точной, так двадцати двух, потому что для них с Германом война началась в сороковом.

Но чем же Тоня виновата, одернула она себя. Не было в ее жизни ссылки – ее счастье. Я бы тоже салфетки крахмалила, если бы... да если бы эти салфетки сохранились. А теперь и не нужно новые заводить – зачем? Карлушке все равно; а если Насте захочется – милости просим, пускай сама и крахмалит.

«Не нашего круга...» Что ж, Тоня права: «в нашем кругу» филологов не было. Да и в вашем не было, насколько я знаю. Усмехнулась и поймала настороженный взгляд встречного мужчины. И что я могла рассказать о Насте? Или об ее родителях, которых в глаза не видела. Скоро увижу – не обоих, так мать, и не одну, а с заграничной сестрой, хотя о сестре тоже ничего не знаю, кроме того, что в Германии живет, а как туда попала и почему до сих пор не объявлялась, так не мое это дело. Зато принять ее как положено как раз мое дело. А как «положено»?

...Сначала, когда Настя только объявила: «Моя тетя из Германии приедет, хочет родной город навестить», Лариса быстро прикинула, как она уступит гостье

спальню, а сама ляжет в столовой, только кресло-кровать из кабинета передвинуть. Однако невестка снисходительно успокоила: тетя приедет по туристической визе и остановится в гостинице «Центральная». Малодушие, конечно; однако сразу отлегло от сердца. И все же гостиница гостиницей, но необходимо будет пригласить на обед, и не раз; а то и на чай (вот они, крахмальные салфетки, которых нет!). А чем угощать? Угощать чем, спрашивается? Вот о чем надо было с Тоней посоветоваться – она сама говорила, что у нее блат есть!

Успею посоветоваться, если решусь. Не сегодня же, после известия о смерти мужа... И мысль такая не закралась, не шевельнулась. Как-нибудь, как-нибудь справимся.

Кресло же придется все равно передвинуть, потому что заграничная сестра будет жить в гостинице, а своя... Настину мать куда? В спальню; со своими проще.

Окна были темные, в прихожей тоже темно. Скорей, скорей, пока сон не передумал – так Герман говорил, – сбросить пальто, туфли – и лечь.

К приезду немецкой тетки Настя готовилась по-своему. Все началось с того, что мать не написала, как обыкновенно делала, а позвонила: пришло письмо, Лиза едет в гости, ты можешь себе представить?! Настя похолодела. Немка – в *поселке городского типа*? Нет, такого она представить себе не могла. А голос матери вибрировал от радости: «Едет! И я тоже приеду, конечно».

Самое время ущипнуть себя, и Настя была готова прибегнуть к этому книжному средству, потому что мать продолжала бурлить от радости, и понять, чем это бурление вызвано, удалось далеко не сразу. Когда поняла, впору было ликовать

самой: тетка приезжает сюда, в *свой* родной город, а не к родителям. Уже все решено, она получила визу, а там и мать подтянется. Безо всякой визы, улыбнулась Настя телефонной трубке.

После разговора, все так же улыбаясь, сообщила новость Карлу и свекрови. Ну, Карлушка-то о существовании тетки знал, а свекровь сразу начала хлопать крыльями: кресло переставить в столовую, я на нем спать буду, а вот чем угощать?.. Узнав про гостиницу, немного успокоилась, но это уже потом, когда Настя выяснила. А хоть бы и не в гостинице – в таких хоромах нашлось бы достойное место интуристу, в грязь лицом не ударишь. «Чем угощать, чем угощать»... Это здесь-то?! Постояли бы вы, Лариса Павловна, в нашем «болотном» гастрономе, тогда бы не выступали. Чего в магазине нет, так на базаре найдется – у матери голова закружится от изобилия. Приставить ее на кухню к Ларисе Павловне, пускай там стряпают дуэтом. Заодно и познакомятся.

Настя страстно хотела познакомиться с таинственной немецкой теткой – с того самого первого известия, «подтверждения родства». Тем более обидно было, что по немецкому получила «четверку»: хоть убей, не давалось их картавое «р» и вот это «х», которое преподаватель-немец не произносил, а как-то выдыхал, точно на морозное стекло дышал или на свои очки перед тем как протереть. Настя старательно пробовала делать то же самое, но заслужила только ядовитое замечание: «Г» фрикативное свойственно украинскому, но никак не языку Шиллера и Хайне», вот это самое «Хайне» и выдохнул; иди знай, что это Гейне. К тексту придраться не мог – спасительная усидчивость выручила, а с фонетикой полный завал. Вдруг тетка ее не поймет? Да, с матерью Лиза переписывается по-русски, но это ничего не

значит: пусть она будет приятно удивлена, что племянница говорит на языке теткиной страны – из уважения.

Для этого и существуют частные преподаватели, надо только поискать. Нашелся и преподаватель – вернее, преподавательница.

Круглыми прицельными глазами и убедительным клювоподобным носом Эльза Эрнестовна была похожа на бодрого вздорного попугая. Узкий череп был часто усеян, словно карликовыми кактусами, тугими седыми кудряшками. Старость так высушила ее тельце, что не оставила сколько-нибудь значительных складок или морщин, так что ей могло быть как семьдесят, так и девяносто пять лет. На тонкой жилистой шее мерзли крупные янтарные бусы; кисти рук были сухие и маленькие, но с маникюром. Сложение и габариты Эльзы Эрнестовны позволяли ей покупать одежду в «Детском мире», однако внешне простого покроя костюм исключал такую вероятность. Сходство с попугаем усиливалось какой-то вздернутостью ее миниатюрной фигуры, готовой, казалось, вот-вот взлететь на насест.

Не попугай, а скорее попугайчик.

Настя боялась опоздать, приехала на шесть минут раньше назначенного времени и, сидя в прихожей, наблюдала, как Попугайчик заканчивает урок с какой-то взрослой школьницей. Вскоре девочка выскочила в прихожую, испуганно поздоровалась, натянула пальто и убежала.

Эльза Эрнестовна преподавала немецкий и французский языки («английский я знаю плохо») и брала три рубля за урок. Урок длился ровно час и доводил обучаемого до полного изнеможения, чего никак нельзя было сказать о преподавательнице.

Настино объяснение: «Хочу в следующем семестре “пятерку”» вызвало одобрителный кивок и старомодное слово «похвально». После этого Эльза Эрнестовна заговорила по-немецки с такой пылкостью и быстротой, что Насте вспомнились кадры с выступлением Гитлера из какой-то военной кинохроники. Она растерялась.

– Что же вы молчите? – возмутилась Эльза Эрнестовна. – Вы поняли, о чем я вас спрашиваю?

Выходит, она спрашивала.

...И началось хождение по мукам, три рубля за каждое хождение, раз в неделю. Однако делать было нечего – магнитофон стоил дороже, да еще поди достань.

Требовательность Попугайчика не шла ни в какое сравнение с тем, что Настя до сих пор считала требовательностью. Домашние задания должны были выполняться полностью и в срок, Эльза Эрнестовна проверяла их в процессе урока, скашивая круглый глаз и брезгливо, как в червяков, тыча в ошибки. Переносы «на следующий раз» или отсрочки допускались исключительно редко – или не допускались вообще. Посторонние разговоры исключались, разве что «на языке оригинала», но в этом последнем случае разрешались не надолго. Опоздания вызывали ярость. Опасаясь последнего, Настя иногда приезжала на несколько минут раньше и была обречена на сидение в прихожей, при полуоткрытой двери в комнату, где шел урок.

Испуганная школьница больше не приходила, достигнув, по-видимому, высот французского языка, и теперь Настя сменяла рыжеволосую девушку, которой Эльза Эрнестовна часто оставалась недовольна. Придя в очередной раз раньше времени, Настя поймала кусок диалога, почему-то на русском.

– В прошлый раз, – голос Попугайчика был накален от ярости, – у вас тоже болел ребенок. Неужели вы не можете ничего поделать? Что обычно делают люди, когда у них часто болеют дети?

– По всей вероятности, они везут своих детей на воды! – ядовито ответила рыжеволосая (это была она).

– Куда?.. – растерялась Эльза Эрнестовна.

– Куда угодно!! – Теперь разъярилась ученица. – В Баден-Баден, например. Вот вы – куда бы вы повезли своего ребенка, Эльза Эрнестовна?

Девушка выскочила с багровым лицом, сдернула с вешалки пальто и выбежала из квартиры.

Настя поздоровалась. Преподавательница едва кивнула вместо традиционного «Guten Tag» и неожиданно сама заговорила по-русски:

– Такая странная барышня. Посудите сами: как я могу знать, что делать с больными детьми, ведь у меня никогда не было детей? Я спрашиваю у нее, а она, представьте, отвечает: везти на воды! Какие воды?.. Как вы полагаете, что она имела в виду?

– Она пошутила, – пожала плечами Настя.

– Пошутила? – Эльза Эрнестовна была озадачена. – Очень странно. Но зачем она учит французский, чтобы везти ребенка в Баден-Баден, я не понимаю?

Помолчав, добавила:

– А какие способности, какое чувство языка...

Настя остро позавидовала, что сказано это было не о ней, но пожалеть не успела. Поправив бусы, Эльза Эрнестовна произнесла совершенно другим, бодрым,

голосом, который предстояло слышать еще полтора месяца до теткинго приезда:
– Guten Tag!

Кончилось лето.

Восьмой класс ознаменовался тем, что некоторые девчонки стали делать начес, ребята отрастили густые чубы, и почти никто не носил галстуков. Прощай, «Пионерская зорька», весной вступаем в комсомол.

В день рождения Ольке подарили школьную форму, большая радость. Не обошлось без воплей Сержанта (Анапа тоже кончилась): ты должна спасибо сказать!.. И т. п.

Сказала «спасибо».

Они делают только полезные подарки. Например, пальто. И всегда с сопровождением: у других детей этого нет, они могут только мечтать о таком пальто (или о таких туфлях, о портфеле или еще о чем-то столь же необходимом). Что-то Ольке ни разу такие мечтатели не встречались.

Дорогие родители, подарите мне, пожалуйста, новую форму, о которой другие дети могут только мечтать.

Больше всего на свете ей хотелось велосипед – с тех пор, как научилась кататься. То ли дело Илька и Лилька – живут, как короли, с двумя великами: у Лильки «Ласточка», у Ильки «Орленок». Правда, кататься всегда дают, не жмутся.

Главное, мать сама обещала: будут в табеле одни «пятерки», получишь «Ласточку». Это еще в начале пятого класса было; и что? Ни одной «четверки» не было ни в пятом, ни в шестом, а велика до сих пор нет и теперь уже не предвидится. Один раз только заикнулась – напомнила про обещание, так что тут началось! Речь

держал Сержант, говорил торжественно и злорадно: «Мы убедились, что ты хорошо учишься только из-за выгоды. Вот если бы ты приносила хорошие оценки не за велосипед, а просто так, то мы бы еще подумали».

Мать кивала.

Мы. Мы убедились... Мы бы подумали...

Олька не успела рта раскрыть (оно и к лучшему, с ними лучше всего молчать), как Сержант добавил: «А если твоя дорогая бабушка вздумает тебе подарить велосипед, так я его в капусту изрублю, так ей и передай».

Ничего она бабушке, конечно, передавать не стала. Так легко и жутко перед глазами встало искореженное колесо с торчащими спицами, почему-то заброшенное на крышу сарая, а в помойке – изодранное седло, уродливо вывернутый руль и педаль – одна – рядом с порубленным капустным кочаном. Картинка высветилась ярко, словно кино показали.

Привыкнуть к тому, что велика нет, было намного легче, чем к предательству матери: «мы». Если говорила она, то это звучало как «мы с отцом».

Сержанта подолгу не было, и мать опять становилась другой. Подолгу сидела, печатая очередную «халтурку», и Лешка быстро засыпал под тюканье машинки. Она вставала и ходила по комнате, хрустя пальцами, потом шла курить. Возвращалась, смотрела тревожно и доверчиво на Ольку и спрашивала, как будто Ольга могла знать: «Где эту сволочь безработную носит, скажи?». Или задавала другой вопрос, умнее первого: «Вот скажи, на какие деньги он пьет, мне интересно? Кто его, сукина сына, поит?».

Никогда, ни разу в такие вечера не называла его «отцом» – только сволочью,

пьянью подзаборной и сукиным сыном.

Хорошо помня «мы», Оля дурацких вопросов не задавала, однако один все же вырвался:

– Зачем ты за него замуж вышла?

На ответ можно было не рассчитывать, однако мать ответила:

– Он раньше другой был.

Нет, такое Оля представить себе не могла. Сержант – другой?! Она его другим не знала. Никогда.

– Какой – «другой»? – спросила в полной уверенности, что мать отмахнется: «не твое дело, мала еще» или что-то в этом роде.

Однако та неожиданно опять ответила:

– Он был добрый. Искренний. Что думал, то и говорил.

Садилась, дробно стучала по клавишам; звякала каретка, мать заправляла новую порцию бумаги. Опять вскакивала:

– Сколько уже, полдвенадцатого? Ты ложись, Лялька, а то не встанешь. Ну где эту сволочь носит, где?!

В такие вечера можно было запросто вытащить «нелегальную литературу» и преспокойно читать на кухне – мать бы не придралась или просто не заметила, – но в каждый «такой» вечер Оля вспоминала странный диалог и пыталась понять, как «добрый и искренний» стал «сволочью» и «пьянью подзаборной» (повторить «сукиного сына» не получалось – из-за Доры). Только как понять такое, если Оля не верила ни в его доброту, ни в искренность?

И другая загадка – мать, которая без него менялась. Нет, она была не той,

которую Оляка помнила из раннего детства, когда неистово ждала ее появления, но совсем не знала, как себя вести, увидев ее на пороге. Та была «мамочкой-Таечкой» – или просто «мамочкой».

Слово «мамочка» выскочило откуда-то, как солнечный зайчик, но так живо, словно только что вошла она сама, в модном фиолетовом платье, с пышными волосами до плеч, и маленькая Оляка – Лелька, конечно же, тогда еще Лелька! – бросается ей навстречу и жадно втягивает запах холода, папирос и чего-то непонятного, только мамочкиного: духов? Пудры?.. Мамочка-Таечка гладит ее по голове, причесывает и называет «Лялька моя, Лялька», от ее пальцев пахнет табаком. Так много накопилось, о чем Лельке хочется рассказать! Но мамочка протягивает руку к стопке книжек: «Что это, “Гуттаперчевый мальчик”? Кто тебе такое читает?». И как ни уверяет Лелька: «Я сама, сама читаю!», мамочка качает головой: «Кошмар, это кошмар какой-то!».

Мохнатое слово потом приснилось – вернее, не слово, а кот Баюн, который разевал страшную пасть с кошшшмарррным урканьем и окутывал душным мехом, а прогнать его может только мамочка, но ее во сне нет.

Она приходит в Лелькин день рождения и приносит «шикарный» подарок: новое платье, «чистая шерсть», хотя никакая шерсть на платье не растет, оно зеленое и гладкое, а спереди вышиты белые елочки. Мамочка причесывает Лельку и долго причесывается сама, а потом они едут в ресторан – там Лелька еще никогда не была – и едят мороженое, но не такое, как продается в будке на углу, а в смешных маленьких тазиках на ножке. Мороженое тоже необычное: разноцветные шарики – белый, коричневый и розовый, – а сверху варенье. Салфетка у Лельки сползла, и

белая капля плюхнулась на платье, так что теперь «шерсть» перестала быть чистой, но мамочка смотрела в окно и не обратила внимания. Лелька так увлеклась раскопками в мороженом, что не заметила, как за столиком очутился чужой дядька. Он улыбался мамочке, во рту у него сверкал золотой зуб. Они разговаривали и пили лимонад. «Я тоже хочу!» – попросила Лелька, и золотозубый позвал тетеньку в переднике – маленьком и бесполезном, все равно что кукольном, – кивнул ей и сказал: «Крюшон». Немножко похоже на «кошмар»; оказалось, тоже лимонад, только не желтый, а розовый. Мамочка улыбнулась: «Вы балуете мою Ляльку», и стало жалко, что у мамочки нет такого нарядного золотого зуба. Кажется, дядька не заметил, что у Лельки новое платье, она хотела сказать ему, но мамочка все время с ним разговаривала, а мороженое кончилось, поэтому надо было ждать подходящего момента. Он и подвернулся, когда они выходили из ресторана и мамочка сказала, что сейчас пойдут фотографироваться «на память». Лелька решила сообщить о платье, когда будут фотографироваться. Однако фотографировались они вдвоем, золотозубый куда-то делся, так и не узнав, что платье новое.

...Сколько ей тогда исполнилось, четыре или пять? Если пять, то в этом году, через десять лет, мать сохранила традицию – шерстяное платье, хоть и школьное, а потому не зеленое, а синее.

Слова «мамочка» и «мама» давно забыты. Осталось – вернее, появилось само – слово «мать», короткое и взрослое. Постепенно Олька научилась обращаться к матери, избегая собственно обращения: ни «мама», ни «мать» не выговаривалось. Сначала это напрягало, теперь стало проще.

Хотя надо отдать ей должное: мать не всегда делала только полезные подарки – она дарила то, что любила сама: книжки. Правда, книжки старалась выбирать полезные, так появились Жюль Верн и Вальтер Скотт. «Я в твои годы зачитывалась Жюль Верном; как можно не любить его или Вальтера Скотта, ума не приложу!»

К Вальтеру Скотту в розовых, как женские трусы, обложках любви не получилось. Из Жюля Верна Оля прочитала только «Таинственный остров», но в это время начал выходить Майн Рид, том за томом, и Жюль Верн, никем больше не тревожимый, остался стоять на полке, безнадежно слипаясь серыми дерматиновыми переплетами. Кроме Майн Рида, мать подарила кучу сокровищ, среди которых были «Принц и нищий», трехтомник Беляева, «Тиль Уленшпигель»... В том, как она это делала, не было никакой праздничности – она покупала книги, как другие покупают хлеб, и не вручала торжественно, а просто клала на стол, часто со словами: «Можешь читать первая»; так она положила «Дневник Анны Франк». Мать словно говорила: ешь ты первая, потом я. Книги были хлебом насущным, о котором молится бабушка.

Книги – лучшее, что было в этой квартире и в этом доме.

Этот дом Оля ненавидела. Здесь началось предательство матери – тогда она еще была «мамой». Здесь появился Сержант и стал называть ее Ольгой; потом в этом чужом и враждебном доме заставили жить ее. Если «21» счастливое число, то не для Оли. Позолота на номере потускнела и кое-где стерлась, но совсем недавно над парадным приделали новенькую эмалевую табличку с тем же издевательским «счастливым» номером.

Все остальное в доме тоже было чужим, начиная с треснутой нижней ступеньки

парадного. Внутри всегда было прохладно. Слева от входа висело огромное зеркало – ну кому нужно зеркало в парадном? Люди вели себя странно: не заметить зеркало было нельзя, и поэтому на него посматривали со снисходительным презрением, кто-то даже бросил: «Буржуйская роскошь». Однако если никто не видел, то все охотно в это зеркало смотрелись. Еще понятно, мать: она красивая, но, когда мимо проходила дворничиха Клава, она тоже останавливалась и, втягивая живот, поворачивала голову то вправо, то влево и поправляла кудряшки. Бабушка сказала бы: «курам на смех», а Томка – «опухнуть можно».

Однажды Сержанту пришло в голову побриться у зеркала. «С ума сошел!» – не поверила мать. Сержант возмутился: «Имею право, зеркало общее!». Сам уже взбивал в стаканчике пену и через минуту в самом деле выперся в коридор в нижней рубаше, локтем открывая дверь, потому что в руке держал бритву и помазок. Встал, как идиот, у «общего» зеркала и намылил рожу, а за его спиной проходили люди, спеша на работу, и удивленно смотрели – не на него, а на его отражение, и так же удивленно здоровались. Сержант тоже здоровался – не с ними, а с отражениями, поэтому порезался. Эту процедуру Оля наблюдала своими глазами – ходила в погреб за углем, а если человек с тяжелым ведром идет по коридору, то имеет право не торопиться и получить удовольствие от бесплатного зрелища.

Добривался Сержант на кухне, а порезы, как обычно, заклеивал крохотными газетными клочками.

Не обошлось без дворничихи Клавы.

Постучала громко, как пожарник – попробуй не открой.

– Это ты чего в коридоре броешься? Все мушшины дома броеются, вот и Федя

мой дома; а ты зачем в коридор пошел?

Жалко, что Ольке не удалось дослушать дискуссию об «общем» зеркале – надо было уходить в школу. Правда, больше Сержант бритье «в коридоре» не повторял, объяснив, что там «свет плохой».

Свет в вестибюле и правда был слабый, так что надписи на черной доске, висевшей напротив зеркала, при той лампочке прочитать было нелегко, хотя кому интересны эти надписи? Олька давно выучила их наизусть, однако вовсе не потому что заинтересовалась, а просто чтобы оттянуть возвращение домой, в квартиру.

Доска была разграфлена, и в каждой графе против номера квартиры стояла фамилия жильца, как в классном журнале, только не по алфавиту. Графа против квартиры номер три, где сейчас живут старые большевики Севастьяновы, пустовала – значит, раньше там никто не жил. Остальные жили в других квартирах, только давным-давно (Клава говорит, до революции):

Нейде

Шихов

Гортынский

Ганич

Бергман

Стейнхернгляссер

Зильбер

Буртс

Эгле

Чужие, странные фамилии, никому не нужные, кроме этой доски.

Которая тоже никому не нужна, о чем дворничиха иногда вспоминает, однако доска как висела, так и висит.

Ольке нравятся две фамилии: Гортынский и Стейнхернгляссер. Первая ужасно благородная и... гордая, а вторая хороша тем, что никто не может ее выговорить, не запнувшись, кроме нее, они во дворе много раз спорили. У Лильки тоже хорошо получается, и брат на нее злится.

Иногда Ольга пробовала представить себе, какие они были, эти чужие люди со странными фамилиями. Мать, правда, утверждает, что такой фамилии – Стейнхернгляссер – просто не может быть, это наверняка ошибка. И вообще вместо того чтобы думать о ерунде, взяла бы да делом занялась, нечего лодыря гонять.

Ольга решила для себя, что Стейнхернгляссер был иностранцем, ведь при царе здесь французы жили, вот как Пушкин описывает, или немцы: у бабушки в молодости была подруга, настоящая немка. Стейнхернгляссер был путешественником, уезжал в дальние страны, откуда возвращался исхудавшим и загорелым и привозил какие-нибудь диковинки: отравленный наконечник копья (стрелу?..), диковинную птицу или обрывок пергамента на незнакомом языке. Он входил в парадное, бросив извозчику золотую монету, и шел к себе на четвертый этаж – в пробковом шлеме, пропыленном и выгоревшем костюме и щегольских сапогах, а за ним нес сундук его преданный слуга (мавр или турок, она еще не решила). У Стейнхернгляссера орлиный нос и горькая складка у губ. Он никогда не

улыбается, потому что невеста оказалась недостойна его: выскочила замуж, пока он скитался в тропических лесах Бразилии, отстав от экспедиции (тропики в Бразилии или не тропики?).

...А тут как раз вниз по лестнице идет господин Гортынский. «Здравствуйте, господин Стейнхернгляссер (выговаривает, между прочим, одним духом), с благополучным возвращением вас! Как прошла экспедиция?» – «Благодарю вас, господин Гортынский; весьма успешно. А как вы поживаете, позвольте спросить?»

Действительно, как поживает Гортынский? Обыкновенно он молчалив и рассеян – его мысли не здесь, он всегда поглощен новой идеей и доверяет... нет: поверяет ее только чистому листу бумаги, оставшись наедине с собой. Он сбрасывает сюртук, зажигает свечу... М-м-м... тогда уже было электричество; значит, включает канделяб... Нет, не так: зажигает настольную лампу, вот. Бронзовую. Изящная, но сильная рука его тянется к карандашу, и на бумагу ложатся легкие уверенные штрихи, рука движется все быстрее, и вот из-под карандаша выходят контуры дворца. Стрельчатые башни устремляются в небо, каждую башню украшает статуя рыцаря с мечом. Карандаш скользит вниз и очерчивает (безо всякого лекала) высокую арку входа, у которого...

– Ну? – нетерпеливо спросила Томка.

– Что «ну»?

– Дальше что?

Пришлось сознаться, что дальше она пока не придумала.

– Ай, ну это нечестно, – надулась Томка. – Потому что ты сама все время

путаешься и не даешь дослушать. Слышь, а этот Стерхрен... ну который в тропиках был, он симпатичный хотя бы?

Пока Олька думала, Томка неожиданно предложила:

– А ты придумай до конца и отошли в «Пионерскую правду». Как будто все это тимуровцы разузнали... А?

– Почему тимуровцы?

– Потому что в «Пионерской правде» только при тимуровцев пишут, – резонно пояснила Томка. – Или про героев.

К «Пионерской правде», с ее бодрыми тимуровцами, обе относились, примерно как к «Пионерской зорьке», поэтому идея завяла. Тем более что Томка быстро забыла про начатый сюжет, как забыла и обе фамилии: для нее они были еще более чужими, чем для Ольки. Да Олька и сама почти потеряла интерес к придумыванию чужих жизней, но изредка он нет-нет да и снова вспыхивал.

В отличие от доски, на которой ничего не менялось, в жизни господина Стейнхернгляссера наметился резкий поворот. Никакого путешественника с горькой складкой у губ больше не было – господин Стейнхернгляссер оказался банковским чиновником из обрусевших немцев: пузатым, но подвижным, со складчатым затылком и толстыми пальцами. Дома его встречала госпожа Стейнхернгляссер, востроносая и веснушчатая, с широкими бедрами, но в новом платье. Платье только что принесли от... модистки, потому что платье по самой последней моде. За обедом она вздыхала и спрашивала, когда же они поедут в Ниццу. Муж озабоченно крутил головой: не знаю, ма шер; право, не знаю. Стейнхернгляссерша (как ее звали,

не Аделаида ли?..) прижимала салфетку к лицу и отодвигала нетронутый обед (в общем-то правильно – и так бедра широкие, но она не потому). Шла в спальню торопливыми шагами, бросалась на кровать, и ее тело сотрясали бурные рыдания. Муж входил на цыпочках: «Адель, прошу тебя...», но она, конечно, отказывалась с ним говорить: «Ах, оставьте меня, оставьте!». Он «оставлял» и... что делал господин Стейнхернгляссер? В столовую возвращался, вот что. Доедать седло барашка, например, хотя такое блюдо было очень трудно представить; пусть лучше курицу ест. Целую зажаренную курицу на блюде, которую подавал преданный дворецкий, понимающе глядя на хозяина. Нет, дворецкий в Англии; пусть подает горничная. Опустив глаза. Но Стейнхернгляссер на нее не смотрит, потому что думает о своей содержанке Мими. У нее пухлый чувственный рот, родинка на щеке и никаких нравственных принципов. Она тоже хочет в Ниццу (или в Париж? – пожалуй, в Париж), и бедолага Стейнхернгляссер разрывается между долгом и страстью. Он называет Мими «мой котенок».

С Гортынским было сложнее. Внешне он оставался прежним: смуглым пышноволосым человеком лет тридцати, молчаливым и застенчивым (в этом месте Ольке вспомнился тот, с рукописью «Вагонъ»). На высоком лбу у Гортынского шрам (нужно было объяснить, откуда он взялся, – у «вагона» никакого шрама не было; но это пустяки). Самое трудное было придумать для него занятие – не делать же человека с такой фамилией врачом или учителем, в самом деле. Оля попеременно то превращала его в художника, то отправляла, вконец обнищавшего, на Клондайк, но последнее практически не помогло, потому что, напав на золотую жилу, он, вместо того чтобы промывать песок и просеивать драгоценные крупинки, стоит,

скрестив руки на груди, и любит закатом. В это время неслышно подкрадывается его напарник и коварно завладевает добычей. Господин Гортынский не может смириться с таким подлым предательством. Завязывается драка. Но силы не равны, и злодей едва не приканчивает его ударом камня (вот! вот откуда берется шрам на лбу). Гортынский без чувств падает прямо в золотоносный ручей, а когда очну... очне... очухивается... В общем, когда приходит в себя, то стоит глубокая ночь. Он подбирает камень со следами крови, чтобы сохранить его на память, и после долгих мытарств возвращается сюда, в квартиру № 5. Отмывая злополучный камень от песка и засохшей крови, он обращает внимание на не совсем обычный его цвет, вглядывается пристальней... Сомнений нет – это золотой самородок!

Если бы он так и остался нищим художником, самое время было бы превратить его в революционера, и тогда бы он жил, наверное, до сих пор в этом доме, как старые большевики Севастьяновы из третьей квартиры. Откуда, кстати, они взялись? На доске их фамилии нет, строчка против квартиры № 3 пустая. И тут Ольку осенило: потому и нет, что они жили на нелегальном положении, скрываясь от жандармов! Или вселились под другой фамилией и решили ее не писать, все равно ведь не настоящая.

Нет, господин Гортынский в революционеры не годился – не похож на Севастьянова. К тому же он разбогател, а тут уж какая революция.

...Спустя год он отправляется на алмазные копи Южной Африки – не столько в поисках алмазов, сколько в попытке бежать от несчастной любви. Да, он давно уже влюблен, и предмет его страсти не кто иной, как госпожа Нейде из квартиры № 2, где сейчас живет дядя Кеша, у которого «Победа». Госпожа Нейде молода и так

хороша собой, что на нее все оглядываются, а в магазине пропускают без очереди. Сколько бы раз Оляка ни рисовала себе ее внешность, возлюбленная господина Гортынского выходила у нее похожей на Ирэн. Когда же Оляка попробовала превратить Нейде-Ирэн в хрупкую брюнетку, получилась мать. Тогда, пользуясь отсутствием Гортынского, Оляка собралась выдать красавицу замуж за какого-нибудь военного – например, за полковника с сердитой фамилией Буртс. А то, что ли, опять за Сержанта? – Фигушки. Полковник был высокий, стройный и худой, с начисто выбритой блестящей головой. Хотя... с такой головы, наверное, фуражка сползала бы, да и красавицу жалко; полковнику срочно были дарованы коротко остриженные белокурые волосы.

В этом месте пришлось притормозить, потому что госпожа Нейде замуж идти не хотела и тайком плакала на балконе, да так горько, что ей сочувствовала дворничиха... Какая дворничиха, уж не Клава ли?..

Запутавшись вконец, Оляка проходила мимо доски, не поднимая глаз. Не знаю и знать не хочу, кто вы такие были. Какое мне дело до вас и до бывшего вашего дома с бывшим вашим зеркалом, перед которым теперь любой идиот может бриться. Мне все равно, слышите, даже если ваша красotka Нейде часами тренькала на рояле: ах, терция – доминанта – терция!

Я ненавижу ваш дом, я просто должна здесь жить. Я не виновата, что вы теперь не живете нигде и никто никогда не узнает, какими вы были на самом деле.

Порядок в доме может считаться порядком, пока смотришь на него собственными глазами, а потому не замечаешь. Стоит только представить, как он выглядит со стороны, тем более со стороны заграничного гостя, да еще женщины, как он моментально превращается в вопиющий беспорядок.

Лариса критически обводила глазами квартиру. Бросились в глаза, например, облупившиеся подоконники, особенно по контрасту с чисто вымытыми, празднично сверкающими стеклами. Да только ли подоконники! Чашки, привычные и совсем еще хорошие, однако на них кое-где видны щербинки; тарелки – редко две одинаковых, все разные: сервизом они с Германом обзавестись не успели, а сама она отвыкла от сервиза, разве что чаепитие у Тони напомнило. Полотенца в ванной прямо на гвоздиках висят, которые Герман вбил и покрасил белой краской, но гвозди остались гвоздями. Кран подтекает, и вода оставила вертикальную рыжую полосу ржавчины на раковине. Взялась проверять постельное белье – простыни старые совсем, пододеяльники заштопаны в нескольких местах... А трещины на потолке! Пусть мелкие, но ведь заметны!

Вот тебе и порядок.

Она никогда не была склонна к панике; не растерялась и сейчас. Все, что можно исправить собственными руками, не составляло трудностей; остальное требовало денег, которых не было и неоткуда было взять (к тем, родительским, она не притрагивалась – держала молодым на обустройство, мало ли что понадобится).

Сын снисходительно отмахивался от беспокойства матери, зато невестка

отнеслась с полной серьезностью и пониманием. В конце концов он сдался:

– Так что конкретно будем делать?

– Самое необходимое, – быстро ответила Настя. – Потолок подождет, зато ты покрасишь подоконники.

– Ладно, – охотно согласился Карлушка, – завтра куплю краску.

– Сегодня, – с нажимом поправила она. – Магазин до семи.

Каждый из троих представлял себе гостью по-своему, но про себя называли ее одинаково: «немка». Карлу рисовалась надменная молодящаяся старуха: высокие каблуки, пухлый жемчуг на шее, дорогая шуба; вместо лица – маска с неискренней улыбкой. Коверкает русскую речь и поминутно вставляет «Майн готт!».

Лариса, как ни напрягала воображение, видела только сумасшедшей красоты лицо Греты Гарбо с сонными равнодушными глазами и голодными впадинами щек. Молчит, почти не понимает по-русски, недоуменно поворачивает выпуклый лоб от одного к другому. Прогоняла бессмысленный образ, переключалась на более приятное. В универмаге видела хорошие столовые приборы – мельхиор, конечно; но изящные, надо бы взять, пока есть. По крайней мере, будут одинаковые; а потом отдать сыну с невесткой. Когда наступит «потом», она не задумывалась, а все же мысли немножко спотыкались об это слово.

Труднее всех, пожалуй, было Насте. С одной стороны, приезжает иностранка, поэтому сразу вспоминался журнал мод, который Зинкин муж привез из плавания. Чего там только не было! Одежда, туфли, прически, белье... Почему-то белье произвело на Настю такое сильное впечатление, что напала злость. Трусы и лифчик,

например, красные в белый горошек. Или в полоску. Или вообще что-то крохотное, без всяких полосок, одни только кружева: сверху, снизу, а в середине почти материала нет и... все просвечивает; на такое великолепие жалко одежду надевать.

– Они же такое каждый день не носят, – пояснила знающая Зинка, – и жалко, и дорого. А для подходящего случая – в самый раз.

– Так что, они белье с собой в сумке таскают, для подходящего случая? – не поверила Настя.

Много Зинка знает, можно подумать.

– Ну ты даешь, мать! На каждый день носят чего попроще, а это – на выход, праздничное. Или там... на свидание.

Зинка говорила очень авторитетно, однако все равно не верилось, что эти беззаботные, улыбающиеся во все лицо девушки так осмотрительно выбирают одну красоту – на каждый день, а что-то совсем уже немыслимое – на выход. Настя, наверное, не сумела бы выбрать: все было непередаваемо прекрасно...

В этом журнале были не только молодые девушки, но и пожилые тетки. Запомнилась страница, где одна совсем пожилая (лет сорок, согласилась Зинка) стоит в пеньюаре, а он прозрачный, и белье просвечивает – не хуже, чем у тех девчонок, хоть ни полосок, ни цветочков на нем нет. Они с Зинкой удивлялись: этой-то зачем? – хватит с нее пеньюара.

Именно такой представлялась ей немецкая тетка: беззаботной, позаграничному нарядной, и жизнь ее не зависит от сползающих чулок из-за того, что расстегнется резинка, от пуговиц лифчика, выпирающих под тонкой блузкой. Она даже простого слова «лифчик» небось не употребляет, а говорит «бюстгальтер»,

потому что у нее именно бюстгальтер, безо всяких пуговиц, а на деликатных плоских крючочках; не удивительно, что тетка в пеньюаре улыбается с таким превосходством.

Вместе с тем «немка» – сестра матери. Оставалось мысленно вырезать силуэт тетки в пеньюаре и приложить к семейной фотографии, которую мать недавно прислала – они с отцом, голова к голове, с бабулей на переднем плане. Идиотизм; убиться можно. Или сделать другой монтаж: поместить даму в пеньюаре на кухню рядом со свекровью – в переднике, плоских тапках, вечно обветренные руки намазаны вазелином.

Настоящая «немка» легко опрокинула все представления о себе, робкие или смелые.

Встрече предшествовал телефонный звонок воскресным утром. Сняв трубку, Настя услышала голос матери: она просила к телефону Ларису Павловну.

– Мам, привет! – удивилась Настя.

– Говорит Лиза Маркианова, – ответила трубка. – Вы моя племянница, да?

Звонила уже из гостиницы, полностью расстроив планы торжественной встречи на перроне. Резвая «немка» каким-то образом прибыла раньше и сейчас собиралась вместе с ними встретить Веру.

«Встреча на Эльбе», как обозначил это событие Карлушка, состоялась. Бессвязные восклицания и неизбежные счастливые слезы не мешали разглядеть «немку», а заодно сравнить сестер. Вера и Лиза были очень похожи, как могут быть похожи два портрета одного и того же человека, выполненные маслом и акварелью:

одинаковый рисунок губ и разрез глаз, и сами глаза глубокого серо-сизого цвета, одинаковая линия волос с четким крохотным треугольничком в центре лба – у Лизы он был меньше замечен из-за светлых волос.

Сходство было разительным, а отличий не так уж много: Вера, старшая, и выглядела старше из-за плотной, уже тяжелеющей, фигуры, более темных русских волос, изуродованных шестимесячной завивкой, и отчетливых морщинок у глаз и вокруг губ. У «немки», в ее тридцать восемь лет, было свежее, не отредактированное косметикой лицо и светлые волосы, чуть волнистые и коротко стриженные; брюки и свитер очень шли к стройной, почти девичьей фигуре. По-русски Лиза говорила легко и с удовольствием.

Обед окончился долгим чаем, который плавно перешел в ужин. Сестры вспоминали детство, школу, городские улицы (Настя только недоуменно моргала, слыша незнакомые названия), но – удивительное дело! – не касались войны. Наоборот, отталкивали ее, задев нечаянным словом; отталкивали, словно избегали главного.

Не сейчас. Не время. Еще не время.

...Днем, пока Лариса была на работе, сестры бродили по городу, а если погода становилась совсем уж «собачьей», заходили в кафе или шли домой. Они привыкали друг к другу и к Ларисе, которая оживала и словно молодела на глазах. Лиза почти перестала быть «немкой» – об этом вспоминали только вечером, когда провожали ее в гостиницу, где жили интуристы.

Карлушка с удовольствием наблюдал, как она, во всем заграничном обличье: брюки заправлены в сапожки, теплая куртка с капюшоном, – берет под руки Веру и

мать, в их тяжелых и бесформенных зимних пальто, и тащит на улицу. Крутя на мизинце кольцо, подумал внезапно: а ведь им вместе интересней, чем нам. И тут же торопливо объяснил сам себе: это естественно, ведь у них целый кусок прошлой жизни – общий.

Время никто не назначал и никто не торопил, а поэтому как-то само собой получилось, что оно, разочарованное тем, что никто его особо не ждет и не подгоняет, наступило.

...Весной сорок первого года Вера вышла замуж. Заманчиво было бы сказать, что одна сестра уехала на восток, другая – на запад, и понадобилось прожить еще двадцать два года – симметрия не только в направлении, но и во времени, – чтобы им снова встретиться. Однако жизнь не столь симметрична. Когда Вера уехала в Россию, Лиза осталась одна с надеждой, что уйдет Красная Армия и вернутся домой родители. Для нее уход чужих солдат и возвращение отца с матерью естественно следовали одно из другого, что было наивно, но извинительно для шестнадцатилетней барышни. Однако получилось так, что красные ушли, но родители не вернулись; более того, началась война, и письма от Веры перестали приходить.

Кончились деньги; это единственное постоянное свойство денег – кончаться. Помогал сколько мог старенький крестный, да кто бы ему самому помог – схоронил жену, осиротел, обветшал, да и перестал мешкать на этом свете, без сопротивления поддавшись легочной простуде. Еще пока был жив, Лиза пыталась устроиться на работу в лавку – не только галантерейную, а в любую; какое там! Только иногда для

нее находилась не работа даже, а подработка – заворачивать порошки в аптеке рядом с домом. Прежде с этой обязанностью легко справлялась жена аптекаря, да и сейчас могла бы справиться, а если позволяла Лизе заменить ее, то не по необходимости – жалела сироту.

Все сколько-нибудь ценные вещи Лиза распродала, только одежду родителей берегла – ждала, может, немцы выпустят их из тюрьмы, хотя догадывалась уже, что нет их в тюрьме.

И нигде нет.

Когда появились немецкие плакаты, вербующие на работу в Германию, она задумалась было, не поехать ли – уж в Германии-то побольше магазинчиков; вдруг устроится? Немецкий она немножко знала, да и не боги горшки обжигают. Сунулась было на их «биржу» (пункты такие были, где записывали желающих), но человек в форме как-то нехорошо смерил ее взглядом, и она убежала, слыша вдогонку веселый смех.

Время шло. Плакаты плакатами, но у немцев свой план поставки рабочей силы, который нужно было выполнять не только посредством наглядной агитации. Начались облавы на «уклоняющихся». Кого было больше, добровольцев или колеблющихся, Лиза не знала тогда, не знает и теперь: своих вокруг не было, а с чужими она всегда сходилась трудно. Не у кого было узнать, как живут в Германии уехавшие; не у немцев же спрашивать. Их послушать – душой будешь, если сейчас же не побежишь вербоваться; но зачем тогда облавы? Говорят, умный на чужих ошибках учится, а дурак на своих. Об этом было самое время подумать в поезде, который вез в Германию и тех и других, умных и дураков. Что-что, а подумать время было. Пока

поезд шел по знакомым местам, Лиза удивлялась новым названиям станций, которые теперь стали сплошь немецкими, а потом все вглядывалась: какая она, заграница?

Если судить по надписям, заграница везде была одинаковая: немецкая, хотя в поезде говорили – Польша. На одной из станций поезд остановился, всех заставили выйти и долго проверяли фамилии по спискам. Лиза крепко держала в руке баульчик с вещами, хотя самое ценное были не вещи, а метрика. Ее берегла пуще глаза, боясь, что потеряет или украдут, и как тогда она вернется домой?

...Много позже поняла и оценила, как сильна в юности уверенность, что все кончится хорошо и она непременно вернется.

Польша запомнилась словом «фильтрация» и баней с каким-то едким мылом – взять из баульчика свое Лизе не разрешили. Потом посадили в другой поезд. Больше не было видно лиц, к которым успела привыкнуть за несколько дней – должно быть, попали в другой вагон. Она успела устать за долгое путешествие – ехали больше недели – и часто засыпала прямо на полу вагона, на соломе, поэтому не видела, где началась настоящая Германия.

Высадили на одной из станций, отправили в лагерь. Несколько недель жили в бараках, гадая: что дальше? Куда? Приезжали серьезного вида немцы и отбирали людей, иногда спрашивая о чем-то, чаще внимательно рассматривая. Это называлось сортировкой. Лиза ловила на себе недоуменные и недовольные взгляды сортировщиков. Приходили новые поезда с новыми людьми, ошеломленными переездом и заграницей, а Лиза так и оставалась в лагере. Она успела ушить выданный комбинезон со знаком «OST» на груди и терпеливо дожидалась решения

своей судьбы. Из обрывков разговоров и реплик солдат она поняла, что мужчин чаще всего отбирают на угольные шахты, женщин – в деревню, и заранее приготовилась копать картошку или свеклу, что потребуется.

Попала Лиза на асбестоцементный завод – место, где она была так же необходима, как аптечные весы грузчику. То ли произошла какая-то ошибка сортировки, то ли лагерное начальство посчитало, что Лиза засиделась на месте – так или иначе, через два дня она была на заводе. Что такое асбест, Лиза не знала и не стремилась узнать – пока хватало цемента. Серый порошок подвозили в вагонетках, и нужно было перегрузить цемент из вагонетки на деревянные носилки, которые рабочие утаскивали куда-то в недра цеха – там делали трубы. Лиза неумело ворочала тяжелой лопатой, так что порошок часто просыпался на землю или в ботинки, а носилки долго не наполнялись.

Выходя из корпуса, директор увидел колонну рабочих, тянущуюся к рельсовым путям, и замедлил шаг. Не поворачивая головы (знал, что управляющий слушает), задал вопрос; на ответ дернул щекой – признак гнева. Управляющий бросился исполнять приказание. Перепуганную Лизу выдернули из колонны и привели прямо к директору.

Герр Штюбе редко вступал в прямой контакт с рабочими – не стал бы делать этого и сейчас, если бы этот недоумок управляющий сумел отобрать полноценных работников. Что смягчило гнев герра Штюбе, чем вообще гасятся негативные эмоции – это вопрос для психологов; в данном случае главную роль сыграло изумление: вошедшая сделала книксен. Не раболепный поклон, с боязливым взглядом исподлобья, в котором с готовностью сгибаются поляки, а изящный

книксен. И вышел он у нее как-то по-детски, словно благовоспитанная барышня пришла в гости.

Убедившись, что работница понимает по-немецки, герр Штюбе коротко кивнул управляющему; тот неслышно прикрыл за собой дверь.

Беседа с девушкой много времени не заняла – ровно столько, сколько директору понадобилось, чтобы рассмотреть ее внимательно и представить, что станет с этой нежной акварельной прелестью, да и с ней самой, через полгода работы на заводе. Если не раньше. Щека вновь дернулась. Как истинный немец, Теодор Штюбе обладал тонким эстетическим чувством, и сейчас это чувство было глубоко оскорблено. Как истинный немец, он был и чрезвычайно расчетлив, оттого его душа не могла смириться с такой бессмысленной расточительностью рабочего материала. Теперь щека задержалась по-настоящему, и в кабинет снова был вызван управляющий.

Так Лиза попала в поместье неподалеку от уютного городка D***, в распоряжение фрау Штюбе.

У хозяйки щека не дергалась и приступы недовольства или ярости, когда они случались, носили не столь выраженный характер. Фрау Штюбе была высокой громоздкой женщиной лет сорока пяти, с массивными боками и грудью и широкими борцовскими плечами, одно из которых было заметно выше другого. Несмотря на такое сложение, она умела выглядеть женственной, подтверждением чему являлись одобрительные взгляды мужчин, которые ценили мощную брунгильдовскую статью. Свежее, несмотря на возраст, лицо, внимательные серые глаза и волосы редкого платинового цвета дополняли облик.

Подобно мужу, Ханнелоре Штюбе, истинная немка, не допускала ни малейшего расточительства в хозяйстве, а потому с недоумением разглядывала Лизу: зачем Тео прислал эту бледную немочь? Однако истинная немка никогда не оспорит волю мужа, и «бледная немочь» была отправлена на кухню. Не к плите, разумеется – упаси бог! – а для уборки. В качестве напутствия Лиза получила три заповеди фрау Штюбе, одна из которых совпадала с библейской: не лениться, не воровать и делать что прикажут. За послушание полагался концлагерь.

Приказывала сама фрау Штюбе, и не только Лизе: в хозяйстве были заняты больше десятка мужчин и не меньше девушек. У многих на груди были нашиты одинаковые знаки «OST», как у нее; привезли их не то из Польши, не то с Украины, Лиза не сразу поняла. Мужчины держались особняком и независимо, говорили на непонятном языке.

Хозяйство включало, помимо каменного двухэтажного дома, длинный сарай с коровами, птичник и огород, за которым тянулось поле. Фрау Штюбе была спокойна, но требовательна. Уклониться от работы, нарушив одну из «заповедей», было рискованно не только из-за концлагеря, но и потому, что хозяйка умудрялась присутствовать везде одновременно – не для того чтобы следить за работниками, а просто работала сама не меньше других.

Просторная кухня со сводчатым потолком располагалась в подвальном этаже, однако ни темно, ни мрачно там не было. Из высоко сидящих окон лился свет, стены и потолок были чисто выбелены. Огромная квадратная плита находилась посередине помещения, словно выросла прямо из каменного пола. Плиту, пол и лестницу, ведущую на кухню, Лиза мыла каждый день – тщательно, внимательно, не оставляя

плохо промытой ни одной каменной плитки: глазу фрау Штюбе мог бы позавидовать орел. Кроме кухонной уборки, в Лизины обязанности входила стирка, и стирки было так много, что во сне Лиза тоже продолжала стирать.

С течением времени круг обязанностей расширялся, но и сноровки прибавилось, так что фрау Штюбе иногда открепляла от кухни вторую работницу, Ясю, и посылала то на огород, то в поле. Рабочий день начинался в пять утра, заканчивался «когда прикажут», зато кормили почти досыта, несмотря на то что вся Германия жила на «рационе». Экономная хозяйка, фрау Штюбе твердо знала, что рабочий скот, будь он четвероногим или двуногим, нуждается в корме, чтобы оставаться рабочим – в противном случае держать его убыточно.

Яся, Лизина товарка, была крепкой работящей украинкой. Черноволосая, с широко поставленными глазами и густыми бровями, сраставшимися на переносице, она была бы по-своему привлекательна, если бы не хмурое, набыченное лицо – Лиза ни разу не видела ее улыбающейся. Она не сразу поняла причину Ясиной неприязни, даже враждебности, по отношению к ней. Разгадка оказалась простой: Лиза постоянно оставалась при кухне и прачечной даже в сезон уборки. Темными зловещими намеками, редкими ухмылками, которые не смягчали угрюмого лица, Яся дала Лизе понять, для какой надобности ее в этом доме держат.

А для хозяйской, вот для какой.

«Собі або синові; а то навіщо потрібна?» На Ясином лице со сросшимися бровями было написано презрительное недоумение, зачем еще, как не для этого, было брать в дом «таку мозгляву шмаркачку».

«Мозглявая шмаркачка», то есть соплячка, исхудавшая за последние месяцы,

выглядела по сравнению с коренастой товаркой девочкой-подростком, хотя была всего на два года младше. Украинка говорила с какой-то злобной уверенностью, и Лиза теперь обреченно ждала приезда хозяина или сына, которого ждали с фронта в отпуск. Герр Штюбе появлялся часто, однако на кухню не заходил, да и зачем? Там хозяйничала жена, и Лиза поймала себя на том, что радуется присутствию хозяйки: во-первых, Яся при ней замолкала, а во-вторых не станет же хозяин приставать к работнице на глазах у жены?

Он и не приставал – не потому что боялся жены и не из-за брезгливости, а просто не приходило в голову: дома герр Штюбе отдыхал в кругу семьи.

Кроме хозяев, в доме жил отец фрау Штюбе, костистый лысый старик, ветеран предыдущей войны, и двадцатилетняя дочь, фройляйн Клара. Она не только не обладала могучей материнской фигурой, но была узкогрудой, щупловатой и ходила с палкой, с каждым шагом подтягивая правую ногу, обутую в специальный башмак, тяжелый и уродливый. Сама нога, недоразвитая и тонкая, была искорежена какой-то болезнью. Фройляйн Клара была также подвержена приступам истерии, поэтому раз в несколько недель в доме появлялся серьезный, озабоченного вида доктор и проводил с нею не меньше часа. Доктор не мог вылечить больную ногу фройляйн Клары, но успешно справлялся со вторым недугом – то ли с помощью прописываемых лекарств, то ли своим врачебным авторитетом.

Ровная и однообразная атмосфера дома изменилась летом сорок второго. Стало известно, что сын, Фридрих Штюбе, ранен и направлен в госпиталь. Лиза не помнила, как эти сведения просочились на кухню, потому что до сих пор о сыне упоминала только Яся, предсказывая, что Лиза непременно станет ему подстилкой,

если хозяин не воспользовался; к этому времени Лизин страх притупился, а потом и вовсе сошел на нет.

Лейтенант Штюбе прибыл из госпиталя без правой руки – ее отняли полностью, и так же полностью он выбыл из действующей армии. Высокий – в мать, сейчас он как-то карикатурно стал похож на нее, с одним плечом выше другого; на этом сходство кончалось, ибо Фридрих был сухопарым шатеном, как отец. Несмотря на увечье, держался он бодро, однако тело не привыкло к асимметрии, и можно было видеть иногда, как молодой Штюбе, молодежато взлетая по лестнице, вдруг взмахивал единственной рукой, не в силах удержать баланс и не имея второй, чтобы ухватиться за перила. Сын своих родителей, Фридрих Штюбе был истинным немцем, а потому твердо вознамерился приобрести протез и разработать его. Дома сын не задержался – уехал за искусственной рукой.

Так же как все происходящее в доме, становились известны внешние события – частью это были слухи, частью вымысел, когда люди выдают желаемое за действительное, с тонкими ручейками информации, которые нет-нет да и просачивались, растекаясь уже с новыми подробностями. После Сталинграда и Курска стало ясно: немцы отступают, и похоже, что окончательно. «Наши придут. Теперь скоро!» – по Ясиному лицу разлилось злорадство.

«Наши»? Нет – ваши.

Лиза никогда не сможет забыть, как пришли «наши» и увели отца, как мать бросилась следом, и один из «наших» толкнул ее прикладом к отцу. О том, что стало с сестрой, ставшей женой одного из «наших», она боялась думать.

«Наши» означало не просто «чужие» – враги.

С перспективой прихода «наших» Яся стала разговорчивей и даже помягчала к Лизе. «Отольются наши слезы, отольются», – повторяла она, хотя Лиза ни разу не видела ее плачущей.

Кончался сорок третий год, но в доме Штюбе не ощущалось перемен. Казалось, так будет всегда, да и раньше, до войны, жизнь текла, должно быть, по тому же руслу, только вместо «остовцев» в хозяйстве были заняты наемные рабочие. День по-прежнему начинался в пять утра, никто не воровал и делал что прикажут, только вдруг исчезла Яся. Вместо нее стала приходить «Катрина», как представила ее хозяйка. «Катрина» оказалась Катей, коровницей. Она рассказала, что Яся «слюбилась» с одним из работников и ее, беременную, отправили в особый лагерь, где «таких держат», объяснила Катя, словно речь шла о заразных больных.

Работала Катя быстро и ловко: «Я скотину люблю». Всю недолгую прежнюю жизнь прожила в деревне, где любовь к скотине чуть ее не сгубила, когда раскулачивали родителей и Катерина, тогда совсем девчонка, не хотела отпускать веревку; все бы ничего, но веревка была обвязана вокруг шеи коровы. «От такие мы кулаки были, – горько говорила она, – при одной корове-то. Она когда телкой была, мы зимой ее в хату брали». По сравнению с родителями Кате повезло по малолетству: стала колхозной дояркой, а потом началась война. «Коровы хоть и немецкие, – гордилась Катя, – а меня ой как хорошо понимают! И голос, и руки. Чувствуют, что я скотину люблю».

Благодаря Катерине Лиза намного быстрее управлялась с кухонной уборкой и была допущена «наверх», в комнаты. Фрау Штюбе, как и прежде, могла появиться в любой момент и в любом месте.

Могла, да, – но делала это все реже и не так придирчиво, как прежде. У нее прибавилось хлопот: мужа призвали на фронт. Как истинная немка она должна была бы приветствовать этот час, но Ханнелоре не находила в себе душевных сил на подобный энтузиазм. Сам герр Штюбе, терзаемый бездумной расточительностью (нельзя на управляющего оставлять завод, нельзя!), пытался кому-то объяснить свою позицию, но не преуспел – и отбыл.

Зато приехал сын. Рука выглядела совсем как настоящая, только перчатка, никогда не снимаемая, нарушала впечатление. Фрау Штюбе привыкла гордиться, что сын отдал правую руку за великую Германию, это так символично! Вместе с тем она горько и трезво осознавала, что Фридрих потерял руку, сражаясь за город с тревожным названием Charkow (Ханнелоре в нем слышала «horch!»). И что в итоге? Русские отбили свой Charkow, но кто вернет руку ее сыну? Другие женщины потеряли сыновей и мужей, твердила она себе, однако горечь не проходила. Если ты натер мозоль, то аргумент, что кто-то другой сломал ногу, не избавляет от мучений.

А ведь рука не мозоль.

Лиза видела, каким рассеянным, почти отрешенным становилось иногда лицо хозяйки, но удивляться было нечему: два инвалида в доме, муж на войне.

С фройляйн Кларой стало труднее: приступы истерии участились. В «хорошие» дни она выходила в сад или на террасу; когда наступали «плохие», не покидала своих комнат. При открытой двери было видно, как она стоит подолгу у окна, опираясь на палку, с подергивающейся головой; потом бессильно и тяжело опускается в кресло, палка глухо стучает об пол. Припадки начинались внезапно с громкого, визгливого смеха, который вдруг сменялся сильной рвотой; посылали за доктором. Дом

замирал, потому что на смену рвоте приходили рыдания – бурные, отчаянные. Затем наступала апатия и головная боль, которая могла длиться по двое-трое суток.

«Никакая это не хворь, – говорила Катерина. – Замуж ей надо, вот и вся недолга. А кто же калеку возьмет? Вот и блажит».

Меньше всех беспокойства доставлял отец фрау Штюбе. Лиза видела его очень редко, и то мельком: он занимал отдельное крыло дома с отдельным же входом.

Лейтенант Фридрих Штюбе много времени проводил в саду, упражняясь в стрельбе. С этой целью для него поставили высокий дощатый щит. Первое время Лиза вздрагивала от выстрелов, потом перестала их замечать. Труднее было не замечать искусственную руку молодого хозяина. Наверное, это была восхитительная в своем роде вещь, и те, кто ее создал, немало потрудились над сложной комбинацией стальных шарниров, кожи и чего-то еще, что должно было дать обладателю компенсацию потери.

Фридрих Штюбе заново учился стрелять. Правильнее было бы сказать, что он обучал протез искусству стрельбы. Он поднимал тяжелое скрипучее сооружение левой рукой, долго держал на весу, но затянутый в перчатку искусственный палец оставался искусственным пальцем и на курок нажимать не мог. Мокрый от пота и бессильного бешенства, с мокрыми волосами, лейтенант яростно расстреливал обойму левой рукой – в небо, в щит, в землю – и уходил к себе.

...Из Лизиного повествования могло сложиться впечатление, что жизнь уехавших в Германию – по своей воле или угнанных – текла в относительном благополучии, словно не было издевательств, побоев, зверств; так ли безбурно

прошли эти несколько лет, как ровно подходил к концу ее рассказ?

Судьба уберегла ее в тот момент, когда немец возмущился безрассудным расточительством рабочей силы – и продолжала беречь впоследствии, ибо все меряется в сравнении. Мыть и скрести каждый день чужой дом намного труднее, чем расфасовывать в аптеке порошки, но неизмеримо легче, чем грузить цемент и всю ночь выкашливать его. Судьба уберегла Лизу, а Лиза, в свою очередь, берегла сестру: рассказать без купюр все пережитое было невозможно. Например, рассуждение о «наших», которых неистово ждала ее незадачливая товарка, было опущено, осталось в одной из пауз, что только естественно: можно ли поделиться событиями двадцатилетней давности, не помолчав там, где душит отчаяние или перехватывает горло так, что только глоток чая – остывшего, всеми позабытого – может помочь?

Пересказ, иногда независимо от воли участника событий, бывает осложнен более поздним осознанием происшедшего, новым его постижением, в результате чего у каждого слушателя возникает свое представление об описываемых событиях. Проще говоря, пересказ – это разогретый обед двух– или трехдневной давности – слегка пригоревший, лишившийся оригинального аромата, хотя все еще вкусный и сытный.

Да, война осталась в документах – например, в кинохронике. Кинохроника правдива, она запечатлела непрерывную цепочку мгновений... в течение часа, и даже эта часовой продолжительности кинохроника лжет: сколько кадров из нее вырезано, прежде чем ленту выпускают на экран? С живым рассказом происходит то же самое: что сохранит память, то захочет скрыть сердце. И даже то, что рвалось

наружу, нужнее было утаить или пропустить через фильтр рассудка: так было бы спокойней и безопасней для сестры.

Такой получилась история Лизы, и не случайно последний период был описан более сжато и скупой, чтобы не сказать – скомкан.

С приближением конца войны жизнь скудела. Молока, которым иногда забеливали похлебку для работников, больше не было – один стакан в день подавали фройляйн Кларе. Катя рассказала, что всех коров куда-то забрали, осталась одна. Масло пропало давно, был только маргарин. Сократился «рацион», что сказалось на тех, кто получал продукты по карточкам, то есть на хозяевах, потому что работникам карточек не полагалось. Нужно было ездить в город и получать продукты, выстаивая длинные очереди. Фрау Штюбе все чаще брала с собой Лизу, веля надевать на комбинезон кофту, чтобы не было видно знака «OST». В кофте или без кофты, Лиза к тому времени уже превратилась в *Лизхен* (это тоже было ею «вырезано» из рассказа). В очередях никто не рассуждал о великой Германии – люди стояли в угрюмом молчании, редко прерываемом скупыми репликами.

Фридхельм так и не научил искусственную руку стрелять, но через какое-то время получил новое предписание и уехал. В доме остались хозяйка с дочерью и старик.

Для Лизы работы на кухне стало меньше, стирка тоже сократилась в объеме; что уж говорить о Катерине. Она тоже ждала прихода «наших», но совсем иначе, чем Яся: ждала со страхом. Назад, то есть опять в колхоз, не хотела и мечтала остаться – если не у фрау Штюбе, то в другом хозяйстве, при скотине. Обмолвилась – и

посмотрела на Лизу испуганно, прижав ладонь ко рту.

Лиза прислушивалась к сводкам вермахта по радио – наверху было слышно. Ее немецкого хватало для обихода, но быструю отрывистую речь, доносящуюся из приемника, различала труднее, «вылавливая» в первую очередь названия городов и стран. Красная Армия продвигалась по Европе. Лиза ловила куски разговоров в очереди – что-то удавалось извлечь. Смысл был тот же: русские идут, идут на Берлин; но не только русские – к Берлину рвутся американцы и англичане.

Слова, немыслимые год назад.

Слова, которые вот-вот – ни у кого уже не оставалось сомнений – станут реальностью. Самым лучшим доводом стало исчезновение продуктов.

Еще прежде продуктов исчезли мужчины. Оставшиеся – старики, за исключением самых больных и дряхлых, и подростки – тоже надели форму. На тех и других форма сидела нелепо, словно с чужого плеча; скорее всего, она и была чужой, уже побывавшей в окопах.

Чей-то голос в очереди твердил о «наших подкреплениях», которые должны остановить «вторжение», но Лизу поразило слово «наши».

И здесь – «наши»...

На обратном пути из города фрау Штюбе рассказала, что Фридхельм теперь руководит боевой подготовкой фольксштурмовцев, «вот этих детей – это же дети, дети!» Это была преступная расточительность, которой немка понять не могла. «Они – дети!» – повторяла снова и снова.

Ее, жену и мать, тревожило, что из этих детей едва ли вырастут мужчины, а значит, они не станут мужьями.

Не станут отцами, и – что будет с великой Германией? И будет ли?..

Лиза представила, как лейтенант Штюбе поднимает и держит левой рукой протез, чтобы отдать традиционное приветствие.

Апрель сорок пятого был теплым, почти летним, особенно в конце. Взрывы слышались все ближе. Часть магазинов закрылась.

Когда Лиза с хозяйкой направлялись в город, навстречу им двигались грузовики с солдатами. Они ехали медленно и как-то неохотно. Лица солдат были хмурые и насупленные. Юнцы, подростки. Фуражки и каски были для них велики и напоздали на лоб; некоторые ехали с непокрытой головой, подставив весеннему солнцу мальчишеские вихры. Из курток, застегнутых доверху, торчали тонкие шеи; под куртками были видны очертания их собственных узких плеч.

Дети с настоящими винтовками ехали воевать – с кем, со взрослыми мужчинами? Или с такими же юнцами, только одетыми в другую форму, которая тоже была им велика?

Грузовики увозили последнюю надежду Германии – горстку мальчуганов «гитлерюгенда». Увозили на фронт, хотя фронт подошел вплотную к городу.

Тогда же, в апреле, ушли рабочие. Не убежали, не скрылись – теперь в этом не было ни необходимости, ни риска, – просто ушли. Хозяйка не удивилась. До того ли? Русские танки подходят к городу, а сколько солдат, не считая увезенных подростков, осталось? Кто будет защищать город?

Надо полагать, что оставалось их совсем немного, и эти оставшиеся тоже ушли, взорвав мосты через реку, чтобы задержать русских хоть на один день.

И русские вошли сюда через день. Теперь город принадлежал им, победителям.

Город со всем, что в нем есть, со всем и *со всеми*.

Дальнейшие события, неизбежные и страшные, внутренняя Лизина цензура не пропустила. Нельзя было об этом знать ни Вере, ни Ларисе – ни одной женщине на свете она бы такое не рассказала.

Как входили, врывались, вламывались в дома, выволакивая все, на что падал взгляд: тарелки, пальто, картины, настольные часы, велосипеды, подушки.

Хватали и выволакивали женщин.

Женщины были главным трофеем. Их отыскивали на чердаках, в подвалах; распахивали ударом ноги шкафы, где они прятались; прикладами сбивали замки с сараев, в которых матери запирали дочерей.

Пригородный дом фрау Штюбе оказался одним из первых.

Фрау Штюбе почти на руках притащила дочь вниз, на кухню. Клара, с растрепанными волосами и злым, напряженным лицом, сопротивлялась, цепляя палкой за стены и ступеньки. Лиза и Катерина, оцепеневшие от страха, стояли около остывшей плиты. Хозяйка сама закрыла оба входа на тяжелые засовы.

Так они и помогли, те засовы...

Зазвенели оконные стекла, и почти одновременно раздался выстрел, за ним следующий. Отпрянув от окон, солдаты бросились в сад. Фрау Штюбе невольно подняла глаза к потолку.

Старик, поняла Лиза.

Один красноармеец – тот, кто первым разбил окно, – замер, навалившись на разбитое стекло, и глядел куда-то в угол. Он был мертв.

Сейчас они убьют старика, потом нас.

Послышалось еще несколько одиночных выстрелов, затем автоматная очередь. Громко зарыдала Клара.

По лестнице затоптали сапоги, дверь высадили. Катя, перегнувшись пополам и скрестив руки на груди, пронзительно завизжала: «Мы русские, дяденька, русские!...».

...Лиза хотела бы навсегда вычеркнуть тот день из памяти, ведь он был очень далеко – так же недостижимо далеко, как дверь кухни. Однако он снова явственно всплывал перед глазами плитками кухонного пола, знакомого, как собственная ладонь, только теперь он был покрыт битым стеклом и комьями земли; снова перед нею вырастал пожилой солдат, который бросил: «Втікайте, ну!...»; а на лестнице лежал окровавленным комом старик Штюбе, когда они «втікали».

Никуда не деться ей от этого дня, но сколько дней он длился, и куда девалась Катерина?..

Вечером – какой это был день? – Лиза оказалась в городе, на пустой улице, менее других пострадавших от бомбежки. По обеим сторонам на месте тротуара лежали кучи того, что было окнами, крышами и кусками домов. Сами здания, наполовину разрушенные, обгоревшие, стояли пустые и мертвые. На двухэтажном буром доме сохранились переплеты рам, продырявленные полосатые маркизы и обломок вывески: «...ОТНЕКЕ».

Аптека?

Она могла бы работать здесь – расфасовывать порошки в аккуратные бумажные фантики или приклеивать бирки к пузырькам, как делала это дома. Лиза перелезла

через груды мусора и вошла. Перила были разбиты, но лестница уцелела. Держась за стену и перешагивая через обломки, она наткнулась на широкое кожаное кресло, наполовину засыпанное штукатуркой, кое-как расчистила его и легла, свернувшись клубком. Запах дыма не мешал.

Тут меня не найдут.

И уснула.

Судьба и здесь уберегла Лизу. Если бы у нее хватило сил пройти в глубь квартиры, она увидела бы неподвижно сидящую на диване пару. Мужчина крепко держал женщину за руку. Оба были очень тщательно одеты, спокойные лица повернуты друг к другу.

Увидела она их на следующий день, когда заставила себя встать и пошла по квартире в поисках воды. Попятилась, не в силах отвести глаз от застывших лиц. Должно быть, они встретили бомбежку *уже не здесь*, иначе не было бы на лицах такого покоя; но когда Лиза об этом подумала – сбегая по лестнице на пустую улицу, или позже, когда оставшиеся в живых хоронили тех, кто предпочел надругательствам добровольную смерть? Хорошо, если она была такой безмятежной, как у той пары; а сколько было повесившихся, перерезавших вены, выбросившихся из окон? Сколько женщин, с детьми на руках, бросились в реку?

Ну да: аптека. В аптеке всегда есть яд, но в доме не всегда есть аптека – или хотя бы аптечка... Она вспомнила, что яды держат в шкафу с literой «А» – или в Германии по-другому?

Тех двоих так и похоронили вместе – никто не мог разнять сцепленных рук.

Женщины, копавшие могилы и длинные рвы, которые тоже стали могилами,

молчали или говорили об одном и том же – немногословно, скупое; кто-то цинично. Говорили, что кладбища переполнены, оттого приходится хоронить в скверах, на пустырях, а то и во дворах; безымянные могилы, могилы для двоих, вот как эти, для матерей, все еще прижимавших к себе детей... Мертвых заворачивали в одеяла или простыни; о гробах и речи не было.

Улицы больше не пустовали: люди убирали камни, мусор, расчищали тротуары. На стенах домов появились листовки на обоих языках, немецком и русском; люди останавливались, читали. Среди стоявших Лиза увидела Катерину.

...Вот с этой встречи она и продолжила повествование, сдвинув во времени свое появление с лопатой в руках, на чужой улице чужого города, несколько вперед, на неделю после того как был взят Берлин; но какое значение это имеет теперь, через восемнадцать лет после войны?

...Повествование стало более компактным, что понятно в свете великой Победы: страх, подневольный труд, оторванность от родного города – все это вот-вот останется позади. Листовка предписывала как можно скорее явиться на «пункт для советских граждан».

Обе, Катерина и Лиза, были в смятении. Как-то очень строго звучало это «как можно скорее». И не «прийти», не «собратся», а «явиться», как по приказу. Почему «скорее»? И что будет, если не явиться вот так, сразу – не разрешат уехать? Не хватит места в поезде?

Катерина по-прежнему решительно не хотела возвращаться, да только кто ж ее спрашивал? Один из пунктов листовки деловито сообщал, что своевременная явка и

регистрация «...относится ко всем советским гражданам, которые были интернированы или вывезены Германией со времени с 22 июня 1941 г.».

«Не пойду, – замотала головой Катерина, – ну их к лешему». И рассказала Лизе, как пряталась от бомбежки в каком-то подвале, где познакомилась с молодым бельгийцем, тоже работавшим у бауэра, как они. Антуан собирается ехать домой – денег на маленькую ферму хватит, а там будет видно; подруга одернула новую жакетку.

Можно было бы описать встречу с веселым кареглазым Антуаном, то, как он предложил познакомить Лизу с его приятелем – в те дни фиктивные браки оформлялись так же легко, как и подлинные; но так ли уж интересно Вере и Ларисе, двум советским женщинам, узнать про авантюрное Катино счастье? Едва ли; и потому история осталась не рассказанной, хотя сама Лиза успела порадоваться за Катерину, потому что ее брак с веселым бельгийцем оказался вовсе не фиктивным. И с его приятелями она познакомилась, благодаря чему узнала любопытную и спасительную подробность, которая помогла решить ее собственную жизнь.

Лизе не было необходимости выходить замуж за иностранца по той единственной причине, что гражданкой СССР она не была никогда, живя в одной из тех стран, которые «были оккупированы Советским Союзом против воли их жителей», как было написано в другой листовке, на английском языке. Следовательно, Лизе не нужно было являться «как можно скорее» на советский пункт: у нее сохранилась метрика, выписанная по месту рождения, в столице независимой республики, и теперь ее обладательница могла сама распорядиться своей судьбой. Руководило Лизой страстное желание больше никогда не видеть

красноармейскую форму, никогда, но желание это не сбылось. Да, война кончилась, но солдаты-победители остались, и всякий раз, встречая советский военный патруль, Лиза холодела от страха. Домой возвращаться было нельзя: ее город освободили от немцев солдаты в этой форме – и значит, они делали там то же, что и здесь.

Она увидела ту же форму спустя восемнадцать лет – на таможеннике, когда протянула ему свой паспорт и визу, и в животе ожил страх: не отдаст, ведь она за границей, впервые подумав о Германии как о доме. Молоденький паренек посмотрел внимательно, кивнул и повернулся к следующему туристу.

Итак, предстояло найти работу и жилье.

О том, как встретила Ансельма, будущего мужа, рассказала с улыбкой, потому что познакомились... в аптеке. Да-да, судьба снова привела ее под эту вывеску, только на другом конце города; нашлась работа. Упаковывать порошки пока не требовалось – вначале следовало привести в порядок заднее помещение, где хранились запасы лекарств и предметы гигиены. Выяснив, что Лизе негде переночевать, аптекарь – лысая голова, круглые глаза под круглыми очками, табачного цвета усы и птичье имя герр Фогель – предложил комнату на чердаке, легко прикинув, что скромное жалованье за вычетом квартплаты будет еще скромней. Лизу он априори принял за немку и потом, узнав об ошибочности своего суждения, был немало удивлен. Жена подсказала бы правильное решение – например, не брать на работу иностранную барышню или не сдавать ей квартиру; он бы возразил, что комнатенка на чердаке никого, кроме этой Lise, не привлечет. Жена покачала бы головой: вернется Ульрих, а в доме посторонняя девица? На это было

что возразить, да жена и сама знала: у сына есть невеста, а потому лишние несколько марок за пустующий чердак пригодятся на черном рынке; во всех спорах всегда побеждал он. К сожалению, спорить и побеждать можно было только мысленно, потому что герр Фогель схоронил жену еще до войны.

Он отвел девушку в мансарду.

Лиза обвела глазами нависающие скошенные стенки, топчан, старинный узкий стол, покрытый пылью, и низкую скамейку. Клозет – по коридору направо, объяснил аптекарь.

В конце лета вернулся Ульрих, сын хозяина. Вернулся из госпиталя, где застрял надолго – рана не заживала. Появился Ульрих не один, а с фронтовым приятелем. Это был Ансельм Келер.

Вместо описания Лиза вынула из сумки фотокарточку. Типичный немец, не сговариваясь решили Вера с Ларисой. Сосредоточенно уставился в толстую газету, глаза не поймешь какие. Над высоким лбом (или лысеть начал?) топорщатся волосы – серые, фотография есть фотография. Нет, улыбнулась Лиза, он блондин, немножко рыжеватый. А что сердитый, так встал недавно, еще не завтракал.

«Встал», «не завтракал» – когда это могло быть, неделю назад? Месяц? Во всяком случае, не летом сорок пятого. Современная фотография дала возможность перепрыгнуть через все эти годы и таким образом оставить за нераскрытыми скобками историю Ульриха, вернувшегося домой к невесте.

Невесту в живых он не застал; чудом удалось отыскать привратника дома, где она жила, который и рассказал, если это можно назвать рассказом, о гибели девушки. У старика тряслась голова, отвечал он медленно, не сводя испуганных глаз

с Ульриха. Сама, сама; в реку, как... как другие.

Отговаривать Ульриха от поисков тела было бесполезно. Они с Ансельмом уходили вдвоем утром рано и возвращались затемно. Поиски оказались бесплодны: большинство погибших уже покоились в общих могилах с белыми крестами.

Вставлять купюры помогало еще и то, что повествование не было сплошным, а часто прерывалось, и если Вера с Ларисой не узнали полной правды, то племяннице с мужем досталось и того меньше. Во-первых, молодые и войны не видели, детьми пережили в тылу; во-вторых, комсомольцы – Лиза уедет, а они останутся. Среди друзей-подруг станет известно, что тетка живет за границей, а девочке еще университет заканчивать... К чему лишние разговоры? Республика, спору нет, демократическая, однако же не издавна прирученная Польша, а – Германская, то есть немецкая; надо ли русскому человеку объяснять, что такое немцы, хоть и с прицепом «демократические»?

Лиза начинала рассказывать о каком-то эпизоде дома, а продолжала, например, в Ботаническом саду, куда они с сестрой заходили проведать Ларису или просто побыть в тишине. Здесь, как правило, никого не было, кроме редких замерзших влюбленных парочек или столь же редких школьных экскурсий. И те и другие неизбежно двигались к оранжерее: первые – согреться, вторые – поглазеть на диковинные растения и тут же забыть о них. Сестры бродили по расчищенным от снега аллеям и говорили, говорили, говорили...

Все последующие события, не соразмерные по масштабу и накалу с пережитыми ранее, Лиза отрапортовала и вовсе скороговоркой. Жизнь как жизнь, вполне обычная: после аптеки работала в бакалейном магазине, потом на заводе

химреактивов, после этого снова в аптеке; Ансельм – инженер на велосипедной фабрике. Нет, детей нет. Несколько лет назад решила разыскать сестру, надеясь не столько на удачу, сколько на редкую фамилию Маркиановых...

Не помогли бы ни редкая фамилия, ни удача, если бы не Ульрих. Он служил в том ведомстве, которое не только помогло найти Веру, но и дало разрешение на поездку. Существует вероятность, что все могло бы сложиться и без Ульриха, но хватило бы ей на это сил и жизни?

Что такое Лизина наполовину правдивая история – хроника или легенда? И почему не рассказать всей правды самому близкому человеку – сестре?

Кто бы ей поверил, расскажи она *всю* правду...

Что чувствует человек, высказавшись до конца? Облегчение? Усталость? Опустошенность?

Страх.

Страх, что больше сказать ничего не сможет, потому что главное высказано – вернее, написано; а значит, ничего не осталось.

Наверное, то же самое испытывает авторучка, когда на последней точке кончаются чернила, если этот преданный инструмент способен что-то чувствовать. Дмитрий Иванович смотрел на знакомую вмятинку среднего пальца, помеченную блеклым чернильным следом. Рука водит пером, но руку направляет мысль, и не может быть, чтобы инструмент оставался только послушным орудием, а не соучастником, хотя бы и в самой последней инстанции, мысли. «Олимпия» осталась для него скорее игрушкой, остроумным приспособлением, иногда помогающим в работе, но тормозящим мысль. Присуха обращался к машинке только затем, чтобы перепечатать наиболее запутанный кусок рукописи, испещренный зачеркиваниями, стрелками и вставками; самое главное было написано рукой. Это к вопросу об интеллигентах, усмехнулся он, которые боятся замарать свои белые ручки.

Итак, Главная Работа закончена.

Он пронумеровал страницы и теперь бездумно смотрел на две упитанные картонные папки. Взял папиросу, закурил. Сколько раз за последние годы он представлял себе этот финал? Собственно, финал наступит, когда папки будут отправлены на антресоли, где сложены журналы прошлых лет, диванные подушки от

давно почившего дивана (какого лешего он их держит?), коньки с окаменевшими от времени ботинками и намертво завязанными узлами на шнурках и прочий хлам. Он давно скучает по мусорнику, этот хлам, но руки не доходят претворить эту мечту в жизнь.

Папки много места не займут.

Интересничаешь, Митенька, сказал бы старый друг. Не валяй дурака, доведи до конца, а сложить на антресоли всегда успеешь.

«Довести до конца» было заманчиво и в то же время страшно. Печатный текст словно читаешь своими и чужими глазами одновременно. Начнешь читать – и поймешь, что рукопись мертва. Что тогда?

Вот тогда милости просим на антресоль, спокойно кивнул бы друг, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Займешься чем-нибудь другим... хотя бы Джеком Лондоном; через два года, согласишься, и докторскую высидишь.

Чтобы довести до конца, нужна опытная машинистка. Присуха с готовностью ухватился за эту мысль, потому что больше сейчас не за что было хвататься. Найти; отдать; дожидаться – и перечитать, а там...

Раздался телефонный звонок.

– Митя, слушай, – бывшая жена (номер два) говорила так, словно выбежала в гастроном за сосисками. – Здравствуй, во-первых! Это я из автомата, ты уж прости.

– Добрый вечер! За что простить? – улыбнулся Присуха.

– Ой, ну не придирайся к словам. Одним словом, мне нужна машинка. Ты же все равно на ней не печатаешь, правда? А мне сейчас позарез.

– Печатаю, – с удовольствием признался Дмитрий Иванович, – но мне не

позарез.

– Ну, чудно! Мне на какое-то время понадобится, я потом отдам, ты не подумай...

– И не подумаю, – он совсем развеселился.

– Митя, я тогда заеду, ладно?

Присуха был уверен, что к дому подкатит такси и ему придется тащить «Олимпию» вниз, однако Инга приехала на троллейбусе – «просто договориться», как она выразилась.

Договаривались за чаем, который она привычно и быстро заварила и налила в чашки.

– Где ты эту дрянь берешь, – поморщилась она, – надо покупать «Цейлонский» или желтенький такой, со слоном. Вот со слоном очень приятно пить.

Светскую беседу поддерживать было легко.

– Я не намерен пить чай со слоном, ни за какие коврижки, – заметил строго. – Лучше с тобой. Кстати, у меня печенье было, – он поднялся. – По крайней мере, мне хочется так думать...

Развел руками и сел на место.

– Действительно, печенье *было*. Но больше его нет. Съел, наверное.

– Митя, ты не меняешься, – жена укоризненно покачала головой. – Пустой буфет, хоть шаром покати. Купил бы сухарей, что ли.

– Да рано вроде...

Оба засмеялись.

– Слушай, – спохватилась она, – а что с твоими Форсайтами? Так небось и

сидишь с ними целыми вечерами?

– Нет, конечно; ты что, радио не слушаешь? Странно, странно...

Он любил когда-то простодушную переполошенность жены от его самого невинного зубоскальства. Вот и сейчас промелькнул испуг, растерянность, и снова лицо стало обычным:

– Ты... шутишь, да? Или... Неужто закончил?

Неожиданно признался, что – да, закончил; а толку?

– Пока не перепечатано, все равно не пойму ни черта. Там одних только повторов...

– А, так тебе машинка нужна? – спохватилась она.

Ей всегда требовалось говорить несколько раз. Ведь сказал же по телефону ясно, что нет, не нужна. Терпеливо объяснил, что нужна машинистка, причем грамотная и опытная.

– Не хочу тебе морочить голову, однако если узнаешь, что где-то есть такой ангел, позвони мне.

На том и порешили.

В прихожей Дмитрий Иванович подал ей пальто.

– Ой, я тебе наследила! погоди, дай вытру.

Стоял, как швейцар, с распряленным в руках пальто и наблюдал, как она быстро, экономными движениями вытирает мокрые следы на полу. Икры ног в тонких чулках дразнили взгляд. Повесить на вешалку пальто, шагнуть к ней, взять за плечи... Растеряется или засмеется? Предположим, второе; ну, а что делать *post coitum*, снова чай пить? Допустим, сама побежит за кексом или печеньем, потом

останется ночевать, утром – завтрак, и все потянется как прежде, а главное, в ту же сторону; благодарю покорно.

Она ловко вдела руки сразу в оба рукава, застегнулась:

– Ну, как тебе? Только честно!

– М-м? – не понял Присуха, все еще во власти греховного виденья.

– Ой, ну какой ты! Пальто мое новое как?

По его рассеянному взгляду догадалась, что новое пальто не заметил. За это Присуха должен был выслушать азартный монолог о том, как трудно было достать материал, потом ждать очереди в ателье, где все закройщицы болели разнообразными болезнями просто для того, чтобы не шить ей пальто.

И правильно сделал, что не повесил его обратно на вешалку.

Натягивая перчатки, внезапно остановилась:

– Митя, а машинку-то! Давай я сбегаю за такси.

Он сам вызвался «сбежать», что и сделал, даже не застегнув пальто.

Пока высматривал «зеленый огонек», снова начал раздражаться. Чушь собачья, честное слово. Оттащить машинку в такси не хитрое дело, а потом что, поднимать ей в квартиру? Придется вместе ехать, такси останется ждать внизу, потом возвращаться домой... Было зачем чай пить.

Никогда Присуха не мог решить задачу про козу, волка и капусту, однако сегодня его внезапно осенило. Сунул шоферу трешку – пускай тащит сам.

Разговор, который представлялся Дмитрию Ивановичу таким же холостым, как чай с прошлой женой, имел неожиданное продолжение. Позвонила Инга. На

Присуху обрушился сумбурный пересказ сложной цепочки перипетий, напоминающий эпопею с пальто, хотя речь шла о машинистке. Ты спрашивал, помнишь?

– Помню, разумеется. Где твоя машинистка?

– Ой, ну почему моя, я вообще ее не знаю, – и пустилась в пространное объяснение, кто и через кого на эту машинистку «вышел». – Она, мне говорили, очень опытная, у нее скорость...

– Знаю, знаю, шестьдесят километров в час, – перебил Дмитрий Иванович. – Диктуй телефон.

Обидевшись, жена сухо назвала пять цифр. Потом добавила:

– Если ты не бросишь трубку, то мне дали адрес тоже. Она всю левую работу печатает дома, можешь в министерство не ходить.

– В какое министерство? – опешил Присуха.

– Н-не помню, Митя. Что-то с машинами. Строительное, кажется. Или машиностроения? Ну, не суть важно. Да, чуть не забыла. Будешь звонить, скажи, что ты от Любы.

– ...от Любы, – записал Присуха. – От какой Любы?

– Понятия не имею. Она знает, наверное. Все, Митя, я бегу. Пока!

Опытная, значит. Он представил себе строгое лицо учительницы, седоватый рыхлый узел волос, оплывшую восьмерку фигуры в какой-нибудь бесформенной кофте с растянутыми карманами.

Боясь передумать, набрал машинисткин номер прямо на следующий день. Таисия Николаевна благосклонно отозвалась на пароль «от Любы», и Присуха

отправился с факультета домой за папками, а потом-таки в министерство (как выяснилось, тяжелого машиностроения). Приехал к шести часам – из массивных дверей выходили сотрудники.

В машинописное бюро, как и ко всем остальным отделам, вела малиновая ковровая дорожка. На стук ответил мелодичный женский голос, предложивший войти, что Присуха и сделал.

«Опытная и грамотная» оказалась хрупкой брюнеткой лет тридцати, которая сидела у самого окна и курила. Облик машинистки настолько не соответствовал уже сложившемуся представлению, что доцент чуть не забыл представиться. Чтобы скрыть растерянность, нырнул в портфель за папками.

– Почерк у вас хороший, разборчивый, – похвалила Таисия Николаевна. – А что делать с иностранными вставками?

– Понятия не имею, – сознался Присуха. – Может, у вас есть какие-то соображения?

У красавицы никаких соображений не было, равно как не было и машинки с английским шрифтом. Она задумчиво курила, выдувая струйку дыма вверх и в сторону, к окну.

– Хотите, я оставлю пустые строчки, а вы потом впишете?

На том и сговорились.

С этого могла бы начать, размышлял Присуха на обратном пути, хотя сознавал отчетливо свою неправоту.

Через полтора месяца на письменном столе доцента белели одинаковые белые стопки. Таисия Николаевна превосходно знала свое дело: исправлений почти не

было, а те единичные, которые встречались, были выполнены настолько искусно, что следы резинки или бритвы заметить было очень трудно.

Дмитрий Иванович бережно листал, стараясь не помять и любясь ровными строчками машинописи. Слова и фразы, знакомые и вместе с тем сделавшиеся немножко чужими, будучи напечатаны, не сразу проникали в сознание. Глаза выхватывали куски предложений, иногда задерживались на абзаце. Не раз и не два хмурился, встретив корявую, а то и совсем убогодочную фразу.

Закуривая, отводил далеко в сторону руку с папиросой, чтобы не уронить пепел на снежную белизну рукописи. Отгибал страницу за страницей, переводил зачем-то взгляд на книжную полку, где стояла «Сага»; снова ходил по комнате. Черт; многовато придется вписывать. Продолжал бегло просматривать текст и в какой-то момент подумал, не отказаться ли от английских цитат – в целом перевод очень хороший, а замеченные огрехи лучше выделить в отдельную главу или объединить в статью.

Главу о собственности пролистал особенно внимательно. Вот старый Джолион сокрушается об Ирэн: «...никакого чувства собственности у бедняжки». Странное высказывание для любящего деда Джун, жених которой стал любовником Ирэн. Да и рассуждает об этом старик, сидя в Робин Хилле – доме, который был построен для Ирэн. Сомс, хозяин этого дома, так и не становится его обитателем – Робин Хилл приобретает старый Джолион по просьбе внучки. Хотя он ворчливо называет это желание капризом, им самим движет каприз другого свойства: азарт приобретателя и желание утереть нос этому «собственнику», как он называет Сомса. Между тем хозяйкой Робин Хилла в конечном итоге делается... Ирэн, став женой молодого

Джолиона.

Интересно, что теперь сказал бы старый Джолион, будь он жив, о чувстве собственности у бедняжки?

Присуха отогнул стопочку листов. Не много ли о доме? С другой стороны, если речь идет о недвижимости – где, как не в этих обстоятельствах, человек проверяется на чувство собственности, идет ли речь о поместье неподалеку от Лондона или ветхой халупке здесь, на взморье, которую владелец гордо называет дачей?

Перед глазами встал старенький флигель, который в студенческие времена они снимали в складчину с другом. Друг юности давно превратился в редко звучащий голос и в собственную фотографию – даже улыбка помнилась не живая, а застывшая, пойманная чьим-то объективом. Флигель же напоминал сколоченный на скорую руку скворечник, однако хозяева гордо называли его «домом» на том основании, что к нему имелся отдельный вход. Да, это достоинство оба приятеля оценили: можно было вернуться сколь угодно поздно и в любом составе – по взаимному, разумеется, соглашению.

Однако сейчас флигелек вспомнился не из-за его несомненных достоинств, а от того, с какой горделивостью хозяин с женой показывали им свой дом, вместе со «скворечником»; как величественно старик обвел рукой небольшое огороженное пространство: «сад». Деревянная лестница тянулась по стенке флигеля на крышу, как друзья вначале подумали, но выяснилось – нет, на второй этаж, в крохотную мансарду. Там обитала надменная неулыбчивая барышня лет восемнадцати, всегда державшаяся по-балетному прямо; по лестнице она не поднималась – взлетала, едва касаясь перил. Думали: жиличка, из студенток; оказалось – дочка хозяев, Улле.

Пока раскладывали вещи, передвигали незамысловатую мебель (а другой студенту и не надобно), о барышне забыли. Деликатный стук в дверь отвлек от полезного дела, и Присуха распахнул дверь, чудом не сбив девушку с ног.

На пороге статуэткой застыла изящная фигурка. В руках Улле держала поднос, уставленный бокалами, а между бокалов красовался пузатый фаянсовый кувшин, от которого шел пар и восхитительный аромат.

– Глинтвейн, – пояснила барышня и сделала реверанс. – Добро пожаалуста!

«Добро пожаалуста» – это ладно, барышня не обязана была знать по-русски; но как она умудрилась совместить изящный реверанс с тяжелым подносом в руках, осталось загадкой. Улле позаботилась о бокале и для себя тоже. Впоследствии ее появление с подносом стало нередким. И то сказать: откуда бы взяться бокалам у студентов – спасибо, что имелось вино... Время от времени оба друга поднимались к ней в мансарду, с неизменным удивлением окидывая взглядом девичье гнездышко – по расположению и занимаемому пространству так оно и было. Там, наверху, повторялся привычный ритуал: поднос – бокалы – открываемая бутылка. Где она, кстати, держала этот арсенал? – Не вспомнить.

И что интересно, никто из них двоих не завел с нею романа. Девушка была неизменно мила, держалась легко и непринужденно. Знала вкус вина и кое-чего покрепче, выкуривала папироску-другую – и это не делало ее вульгарной, – комплексом весталки не страдала тоже: время от времени кто-то сопровождал ее в мансарду, спотыкаясь на непривычной лестнице. Вот это последнее обстоятельство почему-то раздражало обоих. Переглядывались, закуривали; если собирались уходить, вдруг решали остаться дома под каким-нибудь неуклюжим предлогом. У

обоих портилось настроение. Сверху доносились веселые голоса, звяканье бокалов (тех самых), смех – в том числе и ее, Улле, смех. Они с досадой пожимали плечами: куда, дескать, родители смотрят? Хотя было уже известно, что, в каком бы направлении родители ни смотрели, на все дочкины затеи они смотрят сквозь пальцы.

Приятели выучили ее шаги, запах духов, привычки; знали наперечет всех ухажеров.

Были в поведении девушки какие-то моменты, необъяснимые для обоих. Например, утром рано открывалась дверь наверху, и барышня что-то выплескивала щедрой струей прямо на грядки с клубникой позади домика.

Ты скажешь: ветренная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила, —

бормотал Присуха, продирая глаза. Друг молча поворачивался на другой бок. Из их окна барышню видно не было, только слышался плеск льющейся воды. В конце концов приятелю надоело слушать проборматываемого Тютчева, и он спросил: «Ты знаешь ли, Митенька, что она выливает?».

Вначале Присуха не поверил, а потом долго хохотал, хохотал до слез. Что ж, она не богиня, хоть и несколько ветренная.

Оба вежливо и твердо отказывались от клубники, поливаемой из ночного

горшка.

...Как-то раз они спросили девушку об очередном кавалере: не жених ли?.. И до чего же хороша была она в тот день, в платье с матросским воротником, с прямыми белокурыми волосами, перехваченными шелковой лентой! Улле подняла удивленные синие глаза: «Как, пожаалуста?». Потом надменно передернула плечами. Дословный ответ Присуха не помнил, но смысл был прост: он – голодранец, а я – хозяйка дома, наследница своих родителей.

Они с другом изумленно переглянулись: маленькая провинциальная барышня стояла величественная, как королева Виктория.

Хорошо, что никто из них двоих не успел влюбиться в нее: оба были «голодранцами», и прививка, сделанная вовремя, оказалась эффективной. Хотя, говоря по правде, немножко влюблены были оба, не заметить было невозможно.

...Дмитрий Иванович и сейчас с нежностью вспоминал ее имя: губы, готовые к поцелую, тихий всплеск волны. Улле.

Полюбовались – и закрыли картинки студенческой юности; вернемся к работе.

Это любопытный, кстати, момент, думал Присуха, шагая по комнате, интересный сам по себе. Меняется ли отношение собственника к объекту собственности в зависимости от того, чем именно он владеет? Иными словами, как масштаб собственности (пишущая машинка – велосипед – лошадь – дом – флигель – автомобиль) отражается на личности владельца? И можно ли продолжить этот бесконечный ряд иным видом собственности – людьми? Крепостные крестьяне и рабы в определенных общественных системах такой же объект собственности, как любой другой, ибо являются предметом купли и продажи.

Эва куда меня занесло, изумился Присуха. И был великий политэконом... Здесь легко передернуть. Лучше выбросить к чертовой матери. Он решительно перечеркнул несколько листов и читал дальше.

А вот пошли страницы, махровые от кавычек, с частыми пропусками – здесь собраны забавные нелепости перевода. Этот раздел легче остальных для проверки, зато много придется вписывать. Может, в самом деле раздобыть английскую машинку и печатывать, как советовала Таисия Николаевна, цитаты в каждый экземпляр?

Он улыбнулся, вспомнив, как машинистка снисходительно похвалила «Сагу»: «Такое совпадение, знаете: я только что прочла роман. Очень, очень добротная вещь». Дмитрию Ивановичу пришлось долго и старательно закуривать, чтобы не рассмеяться. До седых висков дожил, а все не мог избавиться от смешливости и несколько раз попадал в неловкое положение – как вчера на заседании кафедры. Выслушав заявление машинистки, он выдохнул дым, вместо рвущегося наружу смеха, и кивнул: «Шведская академия с вами полностью солидарна». Хорошенькая женщина не поняла, при чем тут Швеция, но смуглое лицо чуть зарумянилось. Она независимо вздернула голову и добавила: «Это мое впечатление. И я как человек пишущий...» – она сделала паузу, и Присуху подмывало вставить: «...и печатающий», но в этот момент зазвонил телефон. Очень вовремя зазвонил, ибо после такого заявления полагалось бы сделать уважительное лицо и спросить: «Вот как? А что вы пишете, если не секрет?». Вряд ли Таисия Николаевна стала бы делать секрет из своего творчества, и бог знает куда завела бы доцента беседа с хорошенькой женщиной, если бы не телефон.

Пока машинистка разговаривала, Присуха незаметно рассматривал ее. Черные кудрявые волосы (завивка?), помада густого винного цвета, едва заметная поземка пудры на смуглой щеке – все это выглядело особенно ярко на фоне белого зимнего окна. Судя по имени и внешности, грузинка или армянка. Курила тоже странно, как будто делала мелкую привычную работу, вроде пришивания пуговиц, и резким коротким жестом гасила папиросу в пепельнице, словно втыкала иглу. Замужем? Кольца нет; но такие руки и не нуждаются в кольцах. Наверняка замужем. Впрочем, не мое дело.

Тогда он не почувствовал ничего, кроме раздражения, а теперь изумился слову, которое она выбрала: «добротная вещь». Что это, убогий язык или полное неумение выразить собственное впечатление? «Я как человек пишуший...» Страшно вообразить, что она пишет, но что-то добротное, по всей вероятности.

...Теперь нужно встать и не спеша пойти на кухню, зажечь газ под чайником, перекусить и немного передохнуть.

И потом, когда был выпит чай и прожеваны бутерброды с килькой – до чего ж они вкусны и как противно их делать, – он даже сполоснул посуду, а потом долго мыл и вытирал руки, малодушно оттягивая момент возвращения к столу и встречу с самой трудной главой.

Начав читать, однако, с трудом заставил себя оторваться: не сейчас, благо сроки не поджимают, в отличие от студенческих работ. Как принес их вчера с кафедры и вынул из портфеля, так и не притрагивался. Всего два реферата, один из них Кузнецовой. Довольно амбициозной барышней оказалась эта Кузнецова, кто бы мог ожидать. Узнав, что ее работу на конкурсе «прокатали», она пожала плечами, словно

результат ей безразличен, однако Присуха видел, что она уязвлена; ничего удивительного. Дал ей на выбор один из двух рефератов и пытался угадать, какой выберет: «Чувство собственности у молодого поколения Форсайтов» или «Поэтичность “Интерлюдии” в “Саге о Форсайтах”». Выбор-то дал, только не учел, что на втором стуле уже полчаса изнывала заочница, с опозданием приехавшая за темой, и, покуда Кузнецова думала, та возьми да впиши свою фамилию против «Интерлюдии». Главное, ясно как день, что клюнула на тему из-за объема – самая короткая часть. Правда, и слепила реферат быстро – явно быстрее, чем Голсуорси написал свою «Интерлудию».

Посмотрим, посмотрим... Да где же они? Попробуй найди, если сверху журналы навалены: освобождал место для перепечатанной рукописи.

Дмитрий Иванович уселся в кресло, подвинул ближе пепельницу, взял тощие картонные папки и развязал первую. Так и есть: «Интерлудия».

Одной папиросы хватило на то, чтобы определить, чем пользовалась студентка... как ее? Куценко, вот, – при написании реферата. Опубликованные источники, даже и переписанные от руки, в проверке не нуждаются. Доцент поставил в низу страницы раздраженную закорючку и расписался.

Какое несчастье занесло деву Куценко на факультет иностранных языков, откуда она узнала фамилию писателя Голсуорси – один бог ведает. Ладная и крепкая, будто составленная из трех тугих репок (верхняя была увенчана вязаной шапочкой), заочница уважительно моргала, прислушиваясь к его разговору с Кузнецовой. Иногда она просовывала под шапочку большой палец, чтобы почесать голову, после чего заботливо поправляла шапочку, глядясь в стекло книжного шкафа. Язык почти на

школьном уровне; в реферате ни одной своей фразы не удосужилась написать. Лучше бы оставила «Интерлюдия» Кузнецовой.

Позвольте, позвольте... А где реферат Кузнецовой? Неужели лаборантка перепутала, или это я чужой прихватил? На самом верху страницы было четко написано: А. Лункане, 4-й курс. Но тему-то брала Кузнецова; кто такая А. Лункане? Или Кузнецова больше не Кузнецова – вышла замуж? Что ж, девушкам это свойственно. Они влюбляются в Голсуорси, а потом выходят замуж за паренька из техникума, обретают новые фамилии и другие интересы. Рука с папиросой замерла. Не тот ли это Лунканс, который сделал когда-то знаменитый фильм? Присуха тогда кончал гимназию и не помнил ни одного человека, кто не смотрел бы «Хуторян»... Нет, тот Лунканс умер. Родственник или однофамилец?.. Проверил, отчеркнув на полях несколько абзацев с неудачным синтаксисом, и в целом остался доволен. Придаться особо не к чему, реферат добросовестный. Какое-то другое слово в голове вертелось, но не удавалось от усталости поймать. Вольет Кузнецова свежий материал в будущую дипломную работу, вовремя разбавив ее молодыми Форсайтами, что будет полезно для защиты, чтобы дипломантку, чего доброго, не заподозрили в неуместных симпатиях к Сомсу. Получит диплом и осядет в школе. И хоть произношение у нее какое-то деревянное, будет преподавать английский по тем же учебникам, по которым сама училась.

Вспомнит ли когда-нибудь Голсуорси?

А реферат получился *добротный*. Вспомнил-таки машинисткино словцо!

Принялся ходить по комнате, массируя веки. Глаза устали: может, пора очки носить?

И все время, думая о защите Кузнецовой, старался представить себе, как выглядела бы на ученом совете его монография – его *Главная Работа*, но ровным счетом ничего из этих представлений не получалось.

И не надо. Провалитесь вы со своим ученым советом.

Голсуорси мне судья, руководитель и оппонент.

Самое трудное в школьной практике – это составить конспект урока: скучно, длинно и бесполезно, однако без подробного конспекта никакую практику не зачтут, хоть бы ты переплюнул самого Песталоцци, это Настя поняла быстро. Опять-таки учебный отпуск на то и дается, чтобы писать эти чертовы конспекты. Особенно хорошее впечатление производит наглядность, поэтому она не жалела цветных карандашей. То, что урок не соответствует конспекту, никого не беспокоило, и Настю меньше всех.

Школа находилась где-то за железной дорогой, в так называемом Московском форштадте, который именовали Московским районом только официально. Оказалось, совсем недалеко: двадцать минут на троллейбусе. Короткая прямая улица, высокие дома и среди них – школа. Скорее даже школка: старое здание из бывшего когда-то желтым, а теперь цвета закопченной бронзы кирпича, окруженное высокими заснеженными деревьями.

Внутри, однако, было просторно, чисто и почти уютно, насколько уютным может показаться место, где надолго не задержишься. Высокие потолки, стены выкрашены голубой масляной краской. Возраст школки выдавали ступеньки лестницы: на двух первых маршах они истончились, словно подтаяли; выше, к третьему этажу, ступеньки выглядели новее.

Насте достался восьмой «Б» класс. Познакомилась она с «англичанкой» Эльвирой Михайловной, симпатичной улыбчивой теткой лет пятидесяти, которая оказалась к тому же и «немкой». Как тут было не вспомнить «попугайчика» Эльзу

Эрнестовну, такую же многостаночницу.

– Вы, главное, не волнуйтесь, – мелодичным голосом говорила Эльвира Михайловна, – ребятки в восьмом «Б» славные. Класс хороший, сильный. Ну да сами увидите. На первом уроке я посижу, чтобы не сильно шумели. С любыми вопросами – милости прошу ко мне, чем смогу – помогу.

Настя вытащила было тетрадь с конспектами, но «англичанка» замахала обеими руками:

– Это вы, Анастасия Сергеевна, – она понизила голос, – для завуча приберегите, она очень ценит конспекты. Вот взгляните, на чем мы остановились в восьмом «Б»...

Славные ребятки в количестве сорока двух человек встретили Настю одобрительным гвалтом. Мальчишки показывали друг другу большие пальцы, девочки окидывали ее цепкими взглядами.

– Anastasiya Sergeyevna will be your new English teacher, – объявила «англичанка». – Please make friends.

Быстрым, легким шагом прошла и села за последнюю парту, ободрительно кивнув Насте.

Сама школа не была похожа на ту, в которой Настена училась, но «славные ребята» если и отличались чем-то от ее одноклассников, то разве что цветом и покроем школьной формы да прическами, как знакомый со школьных лет учебник сменил обложку, а более ничего. Вот и нужная страница, где двое придурковатого вида братьев Майкл и Стив приезжают с родителями из Лондона в столицу нашей Родины Москву. Когда они собрались впервые, Настя не знала, но, если судить по

учебнику, Майкл и Стив повадились ездить в Москву каждый год. Накануне вечером Настя приветствовала знакомую картинку и совсем не удивилась, что отец мальчиков все так же работает на заводе (не на шарикоподшипниковом ли?), а мать по-прежнему учителствует. Намного интереснее было бы узнать, что каждый из братьев давно женился, а заводской работяга и учительница состарились и нянчат внуков – судя по школьным учебникам, время стоит на месте и ничего в жизни не меняется.

А вот и меняется, подумала она, раскрывая классный журнал. Меняется, и доказательство тому – она, Настена, бывшая Кузнецова, а ныне Лункане, и фамилия ее так же отличается от прежней, которых тринадцать на дюжину, как чудесный европейский город, где она живет, от *поселка городского типа*, откуда ей удалось вырваться.

Кого же из сорока двух вызвать? Да выбрать самую простую фамилию и не ломать голову.

Иванова Ольга, хмурая чернявая девочка, встала не сразу, а только после дружеского тычка в бок от соседки. Затолкала что-то в парту, подняла глаза и начала читать о Майкле со Стивом – бегло, но без интереса. Насте интерес был не нужен – гораздо важнее, как учащийся отвечает на вопросы по тексту.

Путешествие неумной лондонской семьи позволило опросить с места человек двадцать; как выяснилось при подсчете, восемнадцать. Эльвира Михайловна одобрительно кивала с задней парты. Настя взялась за новый материал: текст, слова, домашнее задание. В общем, почти по конспекту. Не такая уж страшная тягомотина эта практика, всего месяц. Опять-таки, не сидеть же всю жизнь за конвейером? Да и

зарплаты учителям повысили.

Звонок оказался таким же, как и в ее школьном детстве, и тоже произвел действие небольшой бомбы, взорвавшей сонный покой восьмого «Б» класса.

Странно было встречать в коридоре и в учительской однокурсниц; странно и непривычно, что взрослые учителя обращаются к ним по имени-отчеству, да и слышать по отношению к себе обращение «Анастасия Сергеевна» было все равно что надеть пальто на два размера больше. А когда вышла из школы, мысленно поздравила себя с удачным первым уроком и начала мечтать совсем о другом. Пусть Майкл со Стивом едут в Москву – она, Настя, поедет в Берлин, уже с теткой договорилась: «Конечно, деточка, приезжай в гости». Ничего, что попугайчикова наука не понадобилась – она еще пригодится: теткин муж по-русски не сечет, не то что сама Лиза. Как его называть – дядя Ансельм? Ничего, объяснюсь. А в магазине, а с соседями поговорить? Нет, не зря она столько трешек перетаскала грозной Эльзе Эрнестовне, даже если поездка состоится не скоро.

Летом можно отправиться в отпуск на Черное море, об этом Настена давно мечтает. Карлушка тоже загорелся: Грузия! Армения! Мы же собирались, помнишь? Настя не помнила, хоть он произнес смешное слово «Мцхета», словно чихнул. «Грузия? Армения? – удивилась она, – а зачем?» Он улыбнулся: «Красиво. Я никогда там не был». *Пансионат* тоже красивое слово, подумала Настя, и я никогда там не была – ни на Черном море, ни в пансионате, который в ее воображении был связан с нарядным и беззаботным отдыхом на море. *Мы с мужем отдыхали в пансионате на Черном море.* Отпускных вполне хватит на нормальный отдых. Осенью будет не до этого: пятый курс, диплом, залежавшиеся Форсайты, которых можно будет взять с

собой на Черное море и неторопливо перечитать.

С такими приятными мечтами Настя вернулась домой. Прошла по квартире, пустой в это время дня; включила радио.

И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды,
С тобою, как ты, отважно
Сквозь бури она пойдет.

Одно и тоже: бури, отважно... Как будто маршируют и бухтят себе под нос, а не поют. В зубах навязло. Затянула поясок халатика, раскрыла тетрадь с конспектами и красиво написала вверху страницы: «План урока». Достала из портфеля учебник, и в это время позвонили в дверь.

На площадке стояла женщина с раздутой почтовой сумкой – не на боку, а скорее на животе. По лестнице поднималась Лариса. Почтальонша держала в руке конверт.

– Роспись мне нужна, девушка, – она совала Насте растрепанную тетрадку, – вот тут.

Письмо было адресовано Ларисе, которая уже стояла у двери.

Настя ей кивнула и протянула конверт. Не от Лизы; а жалко. Она вернулась в комнату, но дверь закрыть не успела, потому что Лариса вскрикнула. Настя быстро обернулась. Свекровь протянула письмо.

Короткий машинописный текст извещал, что «ответственный квартиросъемщик» должен освободить занимаемую им и членами его семьи

жилплощадь в трехмесячный срок со дня получения настоящего уведомления. По всем вопросам следовало обращаться в квартирный отдел горисполкома по адресу...

Следовал адрес.

Через три месяца можно ехать на Черное море.

Можно *было* ехать на Черное море – еще час назад можно было ехать, еще полчаса...

Гады.

– Гады, гады! Какие гады!

Она выкрикивала эти слова во весь голос, стоя в прихожей и ничего не видя перед собой, кроме разорванного конверта с горисполкомовским штампом.

– Гады!

Лариса, все еще стоявшая в застегнутом пальто, осторожно положила невестке руку на плечо: «Настенька, детка...», однако та резко стряхнула руку и продолжала выкрикивать свое «гады, гады!». Потом с ненавидящим прищуром смерила глазами свекровь и бросилась в комнату, так сильно хлопнув дверью, что Лариса в испуге прижала ладонь ко рту, боясь поверить, но безошибочно поняв, что слово относится и к ней тоже.

На следующий день в горисполкоме все разъяснилось. Ларису с Карлом принял начальник квартирного отдела, приветливый суетливый толстяк, часто поправлявший падающий на лоб зачес. Он вышел из-за стола и пожал обоим руки, потом усадил их и уселся сам.

После чего сообщил, что в том доме, где они живут, квартиры предоставляют

только заслуженным творческим работникам и старым большевикам.

– Ваша семья ни к одной категории не относится; такого вот плана, – закончил толстяк и даже развел слегка руками, демонстрируя сожаление.

– Квартиру дали моему мужу, – взволнованно начала Лариса, и толстяк с готовностью закивал.

– Как же; конечно. Творческих деятелей стараемся обеспечивать. Создаем, так сказать, условия; такого плана. Республика высоко ценит заслуги писателя Лунканса, и я лично вам очень сочувствую в связи вашей потери. Однако вы сами понимаете, что...

Они должны были, вероятно, сами догадаться, что заслуженных творческих работников хоть отбавляй, и всем требуются квартиры, квартиры, квартиры.

Карлушка боялся, что мать заплачет: у нее подрагивали губы.

– Я понимаю, – он посмотрел на толстяка, – но здесь сказано: «в трехмесячный срок освободить». А куда нам деваться?

Чуть не вылетело: «Хоть мы не творческие работники».

– Вот с этого мы и начнем, – толстяк перестал скорбеть о «писателе Лункансе» и стал деловитым. – У нас в стране люди под мостами не ночуют. Или там на улицах, такого плана. Вам с матерью будет выделена жилплощадь из имеющегося фонда. Такого плана. Вы получите смотровой ордер, а полагается вам на двоих...

– Нас трое, – спокойно поправила Лариса.

Толстяк удивился:

– А кто третий?

– Моя жена, – ответил Карл.

Квартирный начальник озабоченно перелистал бумаги на столе, нашел, по-видимому, нужную, покивал и, пробежав глазами, начал объяснять, что «...согласно законодательству о порядке обеспечения жильем, в настоящее время на семью из троих человек полагается двадцать четыре квадратных метра жилой площади». Он пристукивал в такт карандашом по бумаге и повторял, с нарастающим раздражением, уже сказанное.

– Смотровой ордер дает вам право осмотреть будущую жилплощадь, после чего вы приносите его обратно в обмен на постоянный. Такого плана.

Карлушка заметил, что ни разу не было произнесено слово «квартира» – только «жилплощадь», однако последнее «такого плана» прозвучало с откровенно итоговой интонацией. Толстяк выжидательно смотрел на посетителей.

– Дело в том, – неожиданно заговорила Лариса, – что у нас две семьи.

Карл удивленно посмотрел на мать, а Лариса продолжала, спокойно и медленно:

– Я сама по себе, а мой сын с невесткой – молодая семья.

Толстяк насупился. Не глядя на Ларису, отбросил со лба прядь волос и быстро сказал:

– Это, знаете, не играет значения. Каждому положено по восемь квадратных метров, а что мы предоставляем вам трехмесячный срок, так вы успеете выбрать, потому что идем навстречу семье писателя республиканского значения; такого плана.

– Вот поэтому мы хотели бы получить два смотровых ордера, – негромко ответила Лариса. – Один для меня, другой для молодых, – она кивнула на сына.

Прощался толстяк кисло. Обошлись без рукопожатия.

Как только вышли на улицу, Карлушка спросил:

– Мам, зачем ты говорила про отдельную семью? Откуда вообще ты все это знаешь?

Лариса «все это» знала от Анны Яновны, изрядно намыкавшей в коммуналке, где кроме нее и сына с семьей жили еще четверо соседей. Не рассказывать же, что между Анной Яновной и невесткой большой любви и раньше не было, а теперь и подавно нет; что сын начал попивать, а на очередь никто их не ставил по причине тех самых имеющихся восьми метров на человека; что любые попытки обмена разбивались вдребезги, как только за высокими потолками и просторной комнатой с балконом вставляли четверо соседей – чужие люди, чужие семьи...

Он истолковал паузу по-своему.

– Подожди... Ты не хочешь с нами вместе жить?

Самое простое было бы сказать: не хочу. Однако самое простое трудней всего выговорить. Особенно если не знаешь, правда ли это.

Правда. Третий лишний.

Полночи мучилась и думала, пока не приняла решение. Мешал страх: остаться одной, возвращаться с работы в пустой дом. Виделась, конечно же, привычная квартира, а ведь не в квартиру вовсе будешь приходить с работы – в тесную комнатку в общей квартире, и спасибо, если там будет, как у Анны Яновны, четверо соседей; а если восемь, десять? Куда попадет, по смотровому ордеру, ее взрослый женатый мальчик, в другую коммуналку? За себя она не боялась – станешь ли переживать из-за общей квартиры после сибирской избы, после житья втроем в тесной

комнатушке...

Втроем, да. Теперь придется в одиночку, потому что нынешнее «втроем» отличается от прежнего, как одна семья отличается от двух.

Герман, Герман! Я теперь везде одна, даже когда втроем...

Спасибо Анне Яновне: казалось бы, ненужные сведения, а какгодились.

Как мальчику объяснить? Встревожился – боится, что мать с женой не поладили; стандартная кухонная грызня невестки со свекровью... Какое там – не ссорились ни разу. Девочка жестковатая, но понять ее можно: приехала, считай, из деревни, в общежитии несладко было – та же коммуналка. Едва-едва привыкла к нормальной жизни, крылышки расправила, а тут вдруг приказывают выселяться неведомо куда, в трехмесячный срок, с молодым мужем. Не то обидно, что руку ее оттолкнула, а прищур враждебный, без слов. Хотя слова тоже были.

Никогда Лариса не расставалась с сыном, ни разу за его двадцать семь лет.

Тем более пора, прозвучал знакомый голос. Пожилые родители должны вовремя уходить, чтобы дети почувствовали себя взрослыми.

Пора, мягко, но настойчиво повторил голос. Пора, пора, кивнул Герман. Не во сне это происходило, да и слово «происходило» здесь не подходит – как может что-то происходить, если ты не спишь, а лежишь в темноте и бессмысленно считаешь повторяющиеся узоры на тюлевой занавеске? Один раз получается двенадцать, потом выясняется, что их тринадцать, один прячется в складке. Такая уж ночь выдалась нелегкая. Закроешь глаза, и вроде накатит тяжелая дрема, все с теми же узорами, причем нужно зачем-то их умножать на какое-то большое число, непременно четное. Утром рано вставать, а заснуть никак не удастся.

Она отвернулась к стене, чтобы прогнать назойливые узоры, но они все равно стояли перед глазами, точно отпечатались навсегда. Пыталась думать о чем-то другом, но все заслонила почтальонша с раздутой сумкой – как только ноги выдерживают такую тяжесть? – ее сменил листок с напечатанным текстом. Всего-то несколько строчек понадобилось, чтобы Настина приветливость обернулась ненавистью, несколько строчек... Орхидея может погибнуть от пятиминутного сквозняка, розы не проживут и дня в одной вазе с гвоздиками. Нужно совсем не много, чтобы выявить совместимость – людей или растений, не имеет значения.

Фонарь во дворе погас, размылись и потускнели докучные узоры, зато стала кружиться голова. Потолок легко двинулся и поплыл вокруг темной лампы. Эта карусель вначале убаюкивала, и Лариса с благодарностью закрыла глаза. Сон, однако, не шел, хотя день в оранжерее был трудным и она «урабаталась», по выражению Анны Яновны. Послезавтра воскресенье – надо съездить к родителям, давно не была; пусть Настя похозяйничает одна, тоже полезно.

Герман, прошептала она. Даже не прошептала – беззвучно шевельнула губами, и он возник откуда-то из кружащегося вместе с потолком окна, просто раздвинул занавески и вошел. Лариса прикрыла глаза, чтобы не исчез, помедлил...

Герман улыбался. Он вовсе не собирался исчезать. Протянул руку: едем, корабль ждет!

Корабль? Я боюсь качки, Герман.

Не бойся, на море совсем не качает. Помнишь, мы собирались посмотреть Европу?

Еще бы ей не помнить! Наизусть выучила маршрут: Дания – Германия –

Голландия – Бельгия – Франция; названия чужих городов укладывались в памяти диковинной башенкой, одно на другое, и четырехлетний Карлушка повторял незнакомые слова. Это в сороковом было, Герман заказал билеты, а потом все порушилось, кроме причудливой башенки из названий городов, в которых никогда уже не суждено побывать.

Пора, торопил Герман.

Они ступили на корабль. Палубу качало, но Герман крепко обхватил ее за плечи и держал. Он улыбался, и Лариса тоже улыбнулась.

Далеко плыть, Герман?

Разве это важно?

Нет, совсем не важно. Там что-то капает, насторожилась она; откуда?

Это кран на кухне; забыла? Так и не починили.

Да, неудобно получилось, ведь немка была в гостях. С Настиной матерью.

Так что, у немцев краны никогда не капают? Смотри, мы отплываем!

Берег удалялся. Как же она не заметила?

Лариса повернулась, но Германа рядом не было.

Герман!..

Я здесь. Посмотри на берег!

Герман стоял на берегу, махал ей рукой и улыбался.

Качало все сильнее, а берег удалялся медленно и неотвратимо. Главное – не открывать глаза, потому что с открытыми глазами трудно переносить качку. Хоть бы кран перестал капать – чем больше воды, тем сильнее кружится голова...

В горисполком Настя не собиралась. Во время завтрака объяснила, что после школы у нее сегодня встреча с научным руководителем, вернется поздно. Чмокнула Карлушку – он брился в ванной, улыбнулась свекрови – и ямочка у нее на щеке тоже улыбнулась, схватила портфель – и за дверь.

Не только девчонки на факультете завидовали Настиному портфелю – учителя поглядывали с интересом. Портфельчик – класс, Лизин подарок. Никаких дурацких языкастых замков – сплошные «молнии», внутри несколько отделений и уйма кармашков, в том числе длинные узкие пазы для карандашей и ручек, прямо как у грузин на черкесках. Любимая китайская ручка уютно проскользнула в один из «газырей».

Вчера она тоже взяла портфель и ушла, будто бы в библиотеку, хотя ни в какую библиотеку не собиралась, а позвонила из автомата Зинке и через полчаса была у нее.

Зинка нашла-таки квартиру, и не просто квартиру, а с настоящим камином. Сверху, на каминной полке лежали первые два тома Голсуорси. Сама квартирка была крохотной («миниатюрная», говорила Зинка) и находилась на первом этаже громадного неприветливого дома. Окна выходили во двор, и вид из них стоил, по Зинкиному хвастливому замечанию, «отдельных денег».

Во дворе был фонтан – настоящий, как и мраморный камин в комнате, только в отличие от камина, который можно было растопить, фонтан давно вышел из строя. Мраморная чаша в нескольких местах треснула, края были щербатые, как у старой тарелки, зато в центре красовалась бронзовая скульптура: женщина с длинными распущенными волосами и прильнувший к ее коленям пухлый малыш. Бронза

потемнела от времени и покрылась изумрудным налетом. Осенью в навеки иссохшем фонтане валялись сухие листья и окурки; сейчас все покрыл февральский снег.

– Закрой, мать, мне на них смотреть и то холодно, – Зинка задернула штору. – Привела маманя своего пацана помыть, а тут бац! – воду отключили. Садись давай.

На маленьком столике ждали кофе и пирожные «картошка».

– Ой, мои любимые! Откуда?

Настя положила себе на блюдце пирожное.

– От верблюда, – Зинка была довольна. – Сама делаю. Очень просто: берешь ванильные сухарики...

Остановилась, прервав увлекательное повествование:

– Чего у тебя случилось-то? Да ты пей кофе, а то остынет.

Выслушала Настю, сказала: «Я сейчас». Юркнула на кухню и вернулась с большой зеленой бутылкой. На этикетке Настя прочла: «CINZANO».

– Толян достал, еще перед рейсом. Попробуй.

От «CINZANO» рот стянуло терпкой горечью. Настя перевела дыхание и торопливо глотнула кофе.

– Потихоньку надо, а то быстро забалдеешь, – сочувственно подсказала Зинка и тут же, без перехода, объяснила подруге, как ей повезло. Растолковала про восемь квадратных метров на человека, про отдельную жилплощадь для каждой семьи – словом, все то, что было известно Ларисе из чужого квартирного опыта.

– Так что держи хвост пистолетом и скажи горисполкому спасибо, а то тебе пришлось бы всю жизнь со свекрухой жить.

Выпили еще по рюмке. Теперь вермут показался Насте вкуснее.

– Главное, чтобы твой Лунканс не сваял дурака, ты ему заранее скажи: так, мол, и так; только отдельно.

– Карл не согласится, чтобы она жила одна, – Настя покачала головой.

– О-о, елкин корень, не согласится он! Про ночную кукушку знаешь?

Настя смотрела непонимающе.

– Чему вас в университете учат, – презрительно бросила Зинка. – Ночная кукушка дневную всегда перекукует; понятно?

Да уж куда понятней...

– За три месяца посмотришь, какие хаты предлагают, – наставляла Зинка. – Никто тебя не заставляет соглашаться, если не понравится. И запомни: на улицу не выставят – нет такого закона, чтобы советского человека из квартиры выгонять.

Хорошо было сидеть у Зинкиного камина и потягивать терпкий, горьковатый вермут. Стало лениво и спокойно, никуда не торопиться, тем более что никакой встречи с Присухой сегодня не предвиделось. Зинка достала алую с золотом коробочку, на которой было написано «FEMINA», и они выкурили по сигарете.

– Только Анатолию не говори, – предупредила Зинка. – Хотя я одна не курю, только если кто-то из девчонок забежит. Шикарно, да?

И деловито затарахтела, когда Настя поднялась:

– Так слышь, берешь полкило ванильных сухарей, банку сгущенки, какао в порошке... Да ну, ты ничего не запомнишь, я тебе завтра позвоню!

Не все так страшно, оказывается. Настя подняла воротник, но резкий колкий снег заставлял щуриться, она чувствовала, как он тает на ресницах. Не все ж ему

оставаться маменькиным сынком. И на первый попавшийся вариант соглашаться не обязательно – три месяца есть, а за это время мало ли что. Как Зинка подмигнула многозначительно: «Сама кумекай, не маленькая, а в женской консультации справку дадут как миленькие, вот увидишь. Все так делают».

Ну, это мы еще посмотрим. А Форсайты? Вместо диплома возиться с пеленками?

И дурацкий эпизод на сегодняшнем уроке сейчас казался просто смешным, хотя в классе она страшно разозлилась. Нашла среди рулонов в учительской наглядное пособие – таблицу неправильных глаголов, потом взяла журнал и так, с таблицей, пришла на урок. «Кто дежурный? – Повесь на доску». Сама журнал открывает, а эти охломоны резвятся, на доску пялятся. Оборачивается – а на доске висит... карта США, расчерченная, как схема разделки говядины в мясном отделе: вместо таблицы взяла, пока за журналом отвернулась. И главное, хихикают. Кто-то ляпнул: у нас что, география? Погнала, конечно, дежурного в учительскую вернуть карту; а в остальном – урок как урок. Хорошо еще, что «англичанки» не было.

Нет-нет, вовсе не так страшно, как представилось сначала, когда свекровь сунула ей это письмо. Свекровь. Недоброе слово, сверлящее, как инструмент зубного врача. Бабуля, которая в ней, Настене, души не чает, для матери-то – свекровь. И всю жизнь ее поедом ест: не то купила, не так приготовила, не то сказала... Неужели все свекрови такие? Некстати вспомнилось: «Настя, детка...». Мало ей одной «детки». Хотя, если честно, Лариса не сюсюкает.

Недолгое тепло от вермута выветрилось. Ветер дул в спину, подгонял; идти было легко. Можно было не спешить.

В одной руке Настя сжимала ручку портфеля, другой придерживала воротник пальто. Нет, по сравнению с бабулей у нее свекровь идеальная. Не придирается, губы не поджигает, перед глазами не мельтешит: бочком-бочком к себе в комнату – и не видно ее, не слышно. Однако представить себе жизнь в квартире совсем без нее, вот как резинкой стереть пальто с вешалки, тапки из-под стула в прихожей, вязаную кофту, полотенце из ванной... От пустеющего квартирного пейзажа Насте стало весело. Нет, Зинка права: свекровь нужно любить только на расстоянии. По телефону, например, чтобы успела соскучиться. А в воскресенье приходить в гости с тортом: «Это вам, Лариса Павловна. К чаю». Ничем не омраченные отношения. На 8 Марта, на день рождения – подарок, нужный и приятный: шарфик там или махровое полотенце поярче. Можно книжку, она читать любит. Попросила недавно свежий «Новый мир» и очень хвалила какой-то «Матренин дом» – или «Матренин двор»? Про старуху деревенскую, с тараканами. Настя пробовала читать, но быстро соскучилась и отложила.

Всю последнюю неделю она внимательно присматривалась к учителям, в результате чего пришла к выводу, что не надо спешить увольняться с завода. Целее будешь, Настена. Потому что и здесь и там – конвейер, но цех по сравнению со школой – *пансионат*, вот что она поняла. Хоть учителя народ тертый, а все равно, несмотря на опыт и квалификацию, конспекты завучу вынь да положь, а дома сиди с седыми прядками над вашими тетрадками и попробуй не проверь – назавтра будет вдвое больше; это тебе не смену отработать. А если денег покажется мало, то тебе классное руководство навесят: это когда голова трясется или подол у юбки некогда подшить, как у физички, за целых пятнадцать рэ в месяц. Никакого трехмесячного

отпуска не хватит раны зализать, учительница первая моя...

У них в комнате горел свет. Настя замедлила шаг: предстояло самое трудное.

И без конспекта.

Выбегая из парадного, Оляка вдруг остановилась перед самой дверью и подняла глаза на доску, хотя обещала себе туда больше не смотреть. Впрочем, смотри не смотри, все фамилии давно выучены наизусть, как «Буря мглою небо кроет...», однако сейчас замерла, пораженная собственной недогадливостью. Почему она решила, что Стейнхернгляссер – мужчина, которому она придумала жену Аделаиду и любовницу Мими? А вдруг это была женщина, по фамилии-то непонятно?

Фамилия Стейнхернгляссер переливалась и звенела, как хрустальная подвеска на люстре. Как могли звать женщину с такой фамилией? Уж не Клавой и не Дусей, это точно.

Эмма. Или Кристина. Розалинда? Нет, слишком длинно для такой фамилии. Гертруда? Сразу представилась статная фигура, затянутая в корсет, вот она прошуршала юбками к себе на пятый этаж и с порога начинает ругать горничную. Не годится; не достойна Гертруда такой чудесной фамилии.

Тогда, может быть, тихая Герта Стейнхернгляссер? Правильно: Герта. На ней светлое платье с высоким кружевным воротником, а на груди медальон. Захотелось сделать ей пышные волосы пепельного цвета, но тут Оляка засомневалась: она ни у кого не видела пепельных волос и подозревала, что такой цвет выдумали писатели, которые не курят. Пепел грязно-серого цвета, и сразу представляются окурки; очень надо. Может, у неаккуратных стариков пепельные волосы, это пожалуйста, но при чем тут Герта Стейнхернгляссер, хрупкая изящная блондинка с высокой прической (или шатенка? – нет, пусть остается блондинкой, как Ирка Соколова, только черты

лица, конечно, не Иркины, Ирка на мопса похожа), а лицо... как у новой «англичанки», например, с такой же ямочкой на щеке. Только Герта приветливая и всегда улыбается, когда встречает на лестнице соседей. Она сирота; родители умерли, но сначала разорились, и поэтому Герта дает уроки м-м-м... немецкого языка. И французского, который тоже знает в совершенстве.

Стоя на троллейбусной остановке, Оля представляла, как Герта Стейнхернгляссер ведет урок. Ямочка на щеке подсказала, что фрейлейн Стейнхернгляссер английский язык тоже знает и как раз сейчас читает с двоечником-гимназистом текст про Майкла и Стива.

Из-за угла медленно вывернул троллейбус. Нет, конечно; они совсем другое читают, тогда нашего учебника и в помине не было. Отрывок из «Давида Копперфильда», например, если гимназист умный. Только зачем ему уроки, если он умный?

Остальное додумала в троллейбусе. У Герты Стейнхернгляссер был дядя, но жил он не здесь, а в другом месте – например, на взморье. Или в Старом Городе, в мрачном замшелом особняке с мраморной лестницей и молоточком на двери. Он сердит на племянницу, потому что нашел для нее выгодную партию, однако та наотрез отказалась выходить замуж по расчету.

Первым уроком был английский. Оля мысленно передела новую «англичанку» в Гертин наряд; получилось неплохо. Дядя из мрачного дома, правда, как-то не вязался с этой уверенной девушкой, и вообще она не была похожа на сироту. Нет, молчаливый романтический Гортынский вряд ли обратил бы на нее внимание, а вот в мадемуазель Стейнхернгляссер он влюбился с первого взгляда.

Только Гортынский робок: он бледнеет, опускает глаза, но не может признаться в своем чувстве. Гортынский часто выходит на балкон и, с тоской глядя на окна любимой, твердо решает завтра же объясниться. Зайти, например, вечером за солью или за спичками...

От терзаний застенчивого влюбленного Ольку отвлекал учебник. *Lesson 27*, а строчкой ниже тема: *Our Family*. «Англичанка» дала творческое задание: рассказать о своей семье по образцу в учебнике, и теперь Олька в который раз пялилась в картинку, где была изображена *Our Family*. Улыбающаяся мать в фартуке расставляет тарелки на столе, отец сидит на диване с развернутой газетой (точь-в-точь как Томка говорила: «живот да ноги»), в кресле горбится над вязаньем старушка в очках, за письменным столом – мальчик в полной школьной форме над раскрытой тетрадью, а на ковре играет с кубиками девочка, бант в волосах.

«Англичанка» поднимала ребят с места одного за другим, выслушивала и задавала по два-три вопроса. Олька напряженно сочиняла для себя семью. Она не знала, как по-английски «машинистка», и сделала мать учительницей, как у лондонских Майкла и Стива, и теперь лихорадочно придумывала занятие для «отца». Проще всего было с братом: как зовут, сколько лет и что в детский сад ходит, но с «отцом» был полный завал. Если... если только не позаимствовать специальность у Гортынского и не сделать его... нет, не золотоискателем, конечно; архитектором, вот. Как по-английски «архитектор»? Наверно, приблизительно так и будет, только с артиклем. А про бабушку не надо.

Она поразилась легкости и простоте решения, тем более что как отец, так и Гортынский были фигурами неизвестными – все равно, что придуманными.

Вспомнила, что прежний Стейнхернгляссер был в экспедиции, и чуть было не отправила «отца» в дальние страны, но «англичанка» уже нацелилась на Томку, и переигрывать было некогда.

– Tell us about your family, Ivanova.

Иванова вышла из-за парты и, не глядя в учебник, сообщила о родителях и братишке, о квартире, где все они дружно живут, слушают радио и смотрят телевизор.

Анастасия Сергеевна кивнула и задала вопрос:

– What does your mother teach?

– She teach... she teaches music, – ответила Иванова.

– Good, – одобрила «англичанка». – And how many rooms are there in your flat?

– There are three rooms in our flat, – с готовностью сказала Олька.

Ну, кажется, все усвоили эту конструкцию. Настя была собой довольна. Она успела заметить, что большинство восьмиклассников, кстати, живет в очень приличных условиях. Этих Ивановых, например, четверо в трехкомнатной квартире. Восемью четыре – тридцать два; получается, что каждая комната по десять с лишним метров, а то и больше...

Учительница отошла, и Томка зашептала:

– Ну ты даешь! С каких пор у вас?..

– Посчитай: комната – раз, кухня – два, прихожая – три, – снисходительно пояснила Олька. – Сегодня хор; идешь?

Томка радостно помотала головой. Все ясно: наверняка собралась с Гошей в

кино. Дуэт вместо хора.

Спевка проходила во Дворце пионеров, в Старом Городе. По пути Олька развлекалась тем, что представила мать за пианино вместо пишущей машинки: и здесь и там клавиши. Открывает крышку, ногу заносит над педалью – и понеслась: терция – доминанта – терция!

Или не ходить на хор? Сейчас повернуть направо, потом спуститься по улочке вниз, на Московскую, один квартал налево – и бабушкин дом. Такой родной, что любое новшество сразу бросается в глаза, как недавно покрашенная дверь парадного. Дом безо всяких зеркал в коридоре, без досок с красивыми загадочными фамилиями. Правда, надписей в парадном хватает, но никаких фамилий среди них нет и не было, одни ругательства. Олька впервые начала их замечать, когда научилась читать. Каждый раз, когда они с Максимычем проходили коридором, он говорил: «Не читай это паскудство». Бабушка Матрена не говорила ничего, просто дергала ее за руку. Олька и не собиралась читать, но так уж у нее глаза устроены, что «это паскудство» давно прочитано.

Нет, сегодня хор пропускать рискованно: вдруг матери попадетсЯ Лилька – она тоже ходит на спевки, – а Лилька врать не умеет. Еще спросит, чего доброго: «Оля заболела, да?». И понеслась...

Хор готовился к республиканскому конкурсу народной песни. Сегодня завели особенно унылую: «Со вьюном я хожу». Хормейстер Дана Марисовна запела сама:

Со вьюном я хожу-у,
С золотым я хожу-у,

Я не знаю, куда вьюн положить...

Олька развлекалась тем, что пыталась отгадать: что такое вьюн и как он выглядит? Вспомнилась картина «Дама с горностаем» – вьюн мог быть похож на такого зверька. Однако следующий куплет сбивал с толку:

Положу я вьюн,
Положу я вьюн,
Положу я вьюн на правое плечо...

Почему «вьюн», а не «вьюна»? Он что,дохлый?

Дана Марисовна продолжала выводить тонким голосом, как она кладет непонятный вьюн то на одно, то на другое плечо, и стало очень жалко шустрого горностайчика, хотя раньше, рассматривая открытку, Олька всегда боялась, что непоседливый зверек выпрыгнет из рук дамы и расцарапает ей когтями шею.

– Не слышу! Второй голос, девочка с челкой! Что ты там, ворон считаешь? Еще раз, третий куплет.

Девочка с челкой покраснела до испарины. Сверхъестественный талант Даны Марисовны расслышать в хоре, кто поет, а кто делает вид, вызывал у ребят благоговейную оторопь. Ну ладно бы первые два ряда; так ведь каждого слышит, в каком ряду ни стой!

Положу я व्यु-ун...

Есть такой цветок – व्युнок. Большой व्यунок – это, наверное, व्यун. А может, व्यун – это букет? Странно, что больше ничего не происходит. Девушка ходит с неизвестным этим व्यуном, не зная, куда его приткнуть. Народные песни, как объясняла Дана Марисовна, люди слагали в старые времена и пели их в деревне во время работы, чтобы скрасить непосильный труд от рассвета до заката. Заодно вспомнился Некрасов – усталые крестьянки с серпами, «доля ты русская, долюшка женская», и как среди измученных жниц затесалась девушка, ломающая голову, куда ей положить какой-то व्यун...

– Иванова, в чем дело?

Девочка с челкой злобно посмотрела на Ольку.

– Я тебя спрашиваю, да-да! Почему ты вдруг первым голосом поешь?

Потому что я тупица, Дана Марисовна. Вот у Сержанта можете спросить. Никакую вашу терцию от доминанты не отличу.

– Тебе что-то непонятно? – повторила хормейстер.

Олька решила:

– А... что такое «в्यун»?

За ее спиной кто-то с готовностью хихикнул. Дана Марисовна гневно посмотрела в ту сторону:

– Ну-ка, кому смешно! Объясни, что такое «в्यун».

Хихиканье оборвалось, будто радио выключили.

– Вьюн – это венук, – объяснила хормейстер.

Глянула на часы и сделала знак аккомпаниаторше:

– Третий куплет, еще раз!

Помимо того что Дана Марисовна обладала мистическим даром распознавать, кто и как поет, было видно, что она любит музыку, пенье и даже неслаженный, похожий на расстроенное фортепьяно, детский хор, собранный из разных школ и доставшийся ей для «настройки». Что она и делала с редким терпением и энтузиазмом. Благодаря ей Олька попала на первый в своей жизни концерт в филармонию, и вспоминать об этом было приятно.

Они с Томкой часто ходили на спевки по очереди, предварительно кинув монетку: орел или решка? В тот день выпало идти Ольке. «Лети, наш орел!» – Томка хозяйственно подобрала «двушку».

Во Дворце пионеров ждала приятная неожиданность: Дана Марисовна, в нарядной кофте и с брошкой, торжественно объявила, что в филармонии выступает знаменитый детский хор и все они сейчас отправятся прямо туда, «так что пальто не снимайте».

За те несколько кварталов, что отделяли Дворец пионеров от филармонии, хор несколько поредел. Олька решила остаться – было любопытно.

Коридор был уже совсем пуст, когда хоровое стадо во главе с Даной Марисовной подбежало к дверям зала. Тетка-контролер в кружевном воротнике неодобрительно вытаращилась на толпу школьников, но Дана Марисовна настойчиво повторяла: «У меня коллектив юных хористов!», напирая на тетку высокой и тугой, как у голубя,

грудью с брошкой, и та неохотно отступила в сторону. В глазах у нее, однако, брезжило опасливое сомнение: подростки, ордой ринувшиеся в зал и с азартным гиканьем, несмотря на шиканье Даны Марисовны, ерзавшие по плюшевым сиденьям, больше походили на юных пожарников, чем на хористов. В зале почти не было народу, только скромное количество дам вдовьего вида с программками в руках. Дамы критически осмотрели ворвавшихся школьников и перевели возмущенные взгляды на хормейстера, но в это время занавес поехал в стороны. Свет начал медленно тускнеть.

На сцене оказался рояль, но не такой, как в школьном зале или во Дворце пионеров, а совсем необыкновенный, с двумя рядами клавиш. Из-за кулис быстрыми шагами вышла молодая женщина с высокой прической и в длинном черном платье; за ней – еще одна, постарше, – она несла скрипку. Следом появились двое мужчин: один с флейтой, другой подошел к виолончели (откуда она взялась, Оля проморгала).

В зале стало очень тихо.

Хор не появлялся, зато появилась музыка.

Оля внимательно наблюдала, как флейтист наклонял голову перед тем как коснуться губами флейты, а потом, уже коснувшись, чуть-чуть сгибал ноги в коленях, словно лыжник перед спуском. Виолончелист играл, прикрыв глаза; это было件нятно – должно быть, ноты, как и стихи, легче вспомнить именно так. Но над всем этим была скрипка – казалось, она радостно летала от музыки, которая в ней рождалась.

Здесь, в этом зале, не было ни терции, ни доминанты. Были руки женщины за

клавесином. Они легко перебегали с верхней «ступеньки» клавиш на нижнюю, словно танцевали.

Неужели музыканты вот-вот кончат играть, унесут инструменты и уйдут, ради какого-то детского хора? Ольга скосила глаза. Дана Марисовна слушала музыку, чуть подавшись вперед, и смотрела на сцену. Никакого хора она не ждала, с опозданием поняв, что где-то произошла ошибка, путаница во времени или датах, – какая разница теперь? Пусть дети послушают настоящую музыку. «Это Вивальди», – шепнула она сидящей рядом девочке, и Ольга тоже услышала.

Вивальди.

Льдинка на языке, тающая музыкой.

Нерешительная девушка устала, наконец, переключать свой вьюн с одного плеча на другое. Дана Марисовна, тоже усталая, распустила хор, и все помчались в гардероб.

Потом была дорога домой. Можно было пойти кружным путем и сказать, что задержали на спевке. Ольга миновала Академию художеств, свернула к кинотеатру и приостановилась у входа в солидное заведение. На мраморной доске было выбито золотыми буквами: «Дом политического просвещения». Здесь она частенько пересиживала время, отпущенное на хор. Заведение со строгим названием оказалось самым приветливым убежищем – теплым и надежным, к тому же почти необитаемым. Она тихонько садилась за один из дальних столов и в первое время даже стеснялась включать лампу, пока доброжелательная тетка, расставлявшая книги на полках, не сделала это сама, да еще улыбнулась ободряюще. На лампе был

стеклянный матовый абажур, как у бабушки. Стало намного уютней. Никто ни о чем не спрашивал, чего Оляка заранее опасалась, и потому клала на стол несколько томов Ленина. На случай обличительного вопроса: «А что ты, девочка, здесь делаешь?» приготовила ответ: «Готовлюсь к политинформации». Иди проверь. Со временем она внимательней оглядела полки и нашла там много полезного: Большую Советскую Энциклопедию, Малую и кучу словарей.

Потянув на себя тяжелую дверь, Оляка вошла в читальный зал, но ни раздеваться, ни включать лампу не стала, а, сняв с полки толстый зеленый том, начала листать и быстро отыскивала:

«**ВЬЮН**, *а, м.* 1. Длинная, юркая рыба. 2. Личинка миноги. 3. *перен.* Юркий, вертлявый, очень подвижной (о человеке, о животном; разг.)»

Никакого венка.

Так она что, рыбу на плече таскала?! Нет: было бы «вьюна».

Лучше бы не проверяла, разочарованно подумала, ставя на полку словарь. Почему-то стало жалко Дану Марисовну: наверное, так часто спрашивают, что она сама придумала ответ. Или словарь ошибается?

От вокзала шла по Гоголевской – здесь длиннее, особенно если пройти через сквер. «Со вьюном я хожу...» В сквере лежал мокрый снег, и ногам стало холодно. В этот году весна какая-то ленивая – долго разгоняется.

Оставалось три квартала: два коротких, один длинный. Как звонок в общей квартире. В третьем от угла доме – хорошо знакомое окошко на первом этаже. На подоконнике здесь всегда стоят горшки с цветами, как у бабушки, а самый толстый,

колючий столетник, обвязан какой-то пестрой тряпочкой, чтобы стебли не ломались от тяжести. Оляка привыкла к этому по-старушечьи обвязанному колючему цветку, к его соседям в разнокалиберных горшках (бабушка называет их плошками) и к простенькой занавеске, присборенной и зажатой бельевой прищепкой. Скоро весна, и окошко часто будет стоять открытым.

Сейчас что-то изменилось – или она перепутала дом? Нет, дом тот же – изменилось окно. Ничего удивительного, что она не узнала: больше не было ни занавески с прищепкой, ни цветочных горшков; стекло было заляпано мелом. В комнате горел неяркий свет и было пусто, если не считать стремянки, она стояла в центре.

Обыкновенный ремонт; ничего особенного. Цветы куда-то перенесли. Ничего не случилось.

Оляка вдруг почувствовала, что замерзла.

Длинный квартал оказался недостаточно длинным: вот и пустырь, а рядом дом, где на стенках ничего не написано. И не потому что слов таких не знают или писать некому, а попробуй напиши что-нибудь на кафеле. И вообще самое интересное написано на доске.

В квартире никого не было. На столе лежала записка от матери: «Погладь белье. Лешку я заберу». Записку красноречиво прижимал утюг, рядом лежал ворох белья.

С утюгом я хожу...

В кастрюле нашлись две холодные картофелины. Заморив червячка (он явно

жил под таинственной «ложечкой», этот червячок), Оля включила утюг. Две шелковые блузки матери, Лешкина мелочь и Сержантовы рубашки.

С утюгом я стою-у...

От утюга шло тепло и согревало. Только бы Сержант не появился.

Она не повернулась на звук открывшейся двери, но сразу сделалось холодно.

Пьяный.

Пьяный в самой опасной стадии: бледный, глаза налиты кровью, злой. Только бы не начал цепляться.

Из кухни несло лязганье кастрюль.

Как бабушка учила гладить блузку: сначала перед, объезжая утюгом пуговицы, затем...

— Где ужин?

...затем спинку и рукава, но так, чтобы...

— Я, кажется, спросил: где ужин?

...чтобы не помялся перед, и не реагировать, ничего не отвечать, а то не отвяжется.

— Ты что, совсем оглохла? Я спрашиваю...

...и только потом воротничок.

— Я спра-а-а...

— Мать сказала, что приготовит.

— Где эта с... сука?

...воротничок гладим от уголка к середине, до половины, потом переворачиваем...

– Я спрашиваю, где эта сука?

...потом переворачиваем блузку и гладим от второго кончика к середине, чтобы воротничок не морщил. Идиот: только что домогался, где ужин.

– Где – эта – сука?!

Не отрываясь от глажки, произнесла отдельно:

– Моя – мать – на работе.

Манжеты гладим в последнюю очередь.

– Ушла, с...сука. Сука! – выкрикнул яростно и повернулся к Ольке. – Она с... сука! Мать... мою м-мать выж...жила. Прогнала мать! Сукина мать прогнала эту с... суку, а сука прогнала мою мать. А т-ты...

Спрыснуть пересохшую рубашку, слегка растянуть руками... Хотя бы он уехал к Доре. Или в Анапу. Как было хорошо, пока его не было!

В кухне что-то стукнуло и начало падать. Бутылки от молока, их надо было сдать. Сейчас будет гонять по всей кухне. Что он там ищет? Загремела сковородка, вспыхнул газ. Опять шарит в кладовке. «Сука, – неслось из-за двери, – как-кая сука!»

Кладовка с грохотом захлопнулась. Что-то зашуршало, раздался задорный «чмок» открываемой бутылки и тихое бульканье. Наступила тишина. Хотя бы он там рухнул и уснул. Ольга водила утюгом и прислушивалась к зловещей тишине. Скорее бы пришла мать. Он кинется обнимать Ленечку, потом завалится спать. Если повезет. Главное – не думать, что может произойти в промежутке.

Отброшенная дверь громко ударила в стенку.

– Я! Кому!..

Олька обернулась.

Бутылка в руке, пьяный ввалился в комнату, схватил выглаженную рубашку, вторую и швырнул на пол.

– Кому я! Сказал!

С яростью втаптывал в пол каждое слово, потом снова бросал и с наслаждением топтал белье под стеклянное бульканье водки.

Девочка стояла неподвижно, вцепившись в утюг, и в голове крутился совершенно праздный вопрос: прольет – не прольет?

Вдруг стол резко качнуло в сторону: пьяный зацепился за шнур и, падая, схватился за книжную полку. Та накренилась, и книги, одна за другой, с глухим стуком начали валиться на пол, а бутылка, оброненная секундой раньше, уже катилась к окну, ритмично выплескивая водку.

– Ты, т... ты!!

Он выхватил с полки толстый оранжевый том и замахнулся. Отпрянув, девочка выставила утюг:

– Уйди!

Вышиб у нее книгой утюг и размахнулся – раз, другой, третий, цедя сдавленно:

– Ты, ты! Т... ты!!

Что-то хрустнуло противно и очень больно, и быстро-быстро полилась кровь. Тот отбросил книгу, рванул воротник и засипел: начался приступ. С багровым лицом, сотрясаясь в кашле, он выскочил.

От холодной воды пальцы ломило до боли, и это отвлекало от носа.

Притронуться к нему было страшно, смотреть тоже. Оля смыла кровь, положила мокрое холодное полотенце на лицо и так, с запрокинутой головой, вернулась в комнату.

Среди развороченных книг и истоптанного белья валялся Майн Рид. Пятый том, где «Белая перчатка» и «В дебрях Борнео». Тем же мокрым полотенцем она стерла с него кровь, отворачивая лицо, чтобы не закапать снова.

В портфель уместились тетради, краски – бабушкин подарок и дачный Гоголь. Учебники не влезли. Хорошо, что не успела снять школьную форму.

Все стадии приступа она давно выучила: сипенье, кашель, удушье.

Терция – доминанта – терция.

Скорей; скорей, пока не вернулась мать.

Уже темно, и никто не обратит внимания на ее лицо. В трамвае можно сесть на последнее сиденье, там темнее. И варежку держать у лица, как будто замерзла или насморк.

Оля застегнула пальто и неслышно закрыла за собой дверь.

В коридоре было пусто.

Кровь больше не текла, но голову она все еще держала чуть запрокинутой, и поэтому, наверное, список призраков навсегда отпечатался в памяти белыми буквами на черной доске:

Нейде

Шихов

Гортынский

Ганич

Бергман

Стейнхернгляссер

Зильбер

Буртс

Эгле

Строд

Оставайтесь. Я сюда больше не вернусь.

Интерлюдия

Ночь длиною в пятнадцать лет

Самое удивительное, что здесь ничего не изменилось за пятнадцать лет. Зеркало было тусклым – или пыльным, рама потемнела. Доска висела на прежнем месте, и фамилии на ней остались без изменения. Кто и когда написал их? Раньше Ольга не задумывалась – просто сочиняла этих людей, подбирая для них судьбы и костюмы, а потом забыла об их существовании, которое было не более чем условностью. Как и сама она в свои пятнадцать лет – половина прожитой жизни! – была для нее сегодняшней почти условной фигурой до того момента, когда вошла в этот дом.

И не вошла бы вовсе, если бы не чисто практический довод: надо что-то делать с этой ненавистой квартирой, в которой она до сих пор была прописана и являлась, таким образом, единственным, хоть и номинальным, жильцом.

Давным-давно, те же пятнадцать лет назад, умер спившийся отчим, о чем Ольге тогда сообщила крестная, назвав и дату похорон со слабой надеждой, что она придет.

Не пришла, конечно. Ни на кладбище, ни сюда.

Мать в первое время суетилась: звонила, настаивала на встрече: «Нам нужно поговорить», однако у бабушки не появлялась, так как на теплый прием рассчитывать не могла.

Между тем время по-будничному шло или, выражаясь более поэтично, летело,

сглаживая на своем пути лишние углы и присыпая песочком рытвины.

Остался позади университет. Ольга выбрала почему-то геологию – специальность скорее мужскую. Девиц на факультете было не много, а таких настырных, как она, пожалуй, еще меньше – во всяком случае, на кафедре геологоразведки, где она была известна своей одержимостью месторождениями Сибири.

Туда, в далекую и знакомую только полезными ископаемыми, особенно нефтью, Сибирь она и стремилась. Ольга знала, что однокурсники посмеивались над ее увлеченностью, но посмеивались беззлобно – ребята в группе были славные.

Замуж, однако, вышла не за однокурсника. Олег был биологом и тоже рвался в Сибирь, где обитал древесный вредитель с лиричным названием *кедровый шелкопряд*. Многие утверждали, что сблизила их не Сибирь, а имена-близнецы, но какое-то время называли декабристами, с непременным упоминанием о *глубине сибирских руд*.

Ни до глубины, ни до собственно нефти, впрочем, не дошло, потому что Олегу предложили остаться на кафедре, в результате чего лиричный кедровый пожиратель остался предоставленным своей судьбе. Ольга, в свою очередь, хоть и защитила диплом по совсем не дамской теме: «Новые технические средства нефтяной геологоразведки Тюмени», обнаружила, что ехать в Тюмень нет ни малейшей необходимости, если нефтеразведка ведется в родном море – том самом, на берегу которого она в детстве строила замки из песка.

Они с Олегом вместе готовились сдавать кандидатский минимум, в конце дня встречались в центре города, а потом вместе ехали домой, в уютный деревянный дом

на другом берегу реки.

И совсем недавно на их спокойную и наполненную жизнь обрушилась неожиданная проблема.

Мать получила новую квартиру, и теперь предстояло решить, что делать с этой, старой, о которой домоуправление терпеливо напоминало уже два раза, присылая открытки на бабушкин адрес. Откуда, кстати, они его раздобыли? Не иначе как мать оставила, съехав в свою тьмутаракань. Посоветоваться не с кем – друзья поднимут на смех: нам бы ваши неприятности...

Олег знал, что у нее в детстве были связаны с тем домом неприятные воспоминания, и не торопился с решением – торопило домоуправление, грозя передать необитаемую квартиру в ведение исполкома. А что решать? Надо было искать обмен.

Оба понимали, что Олежкина квартира, уютный шалаш их нынешнего рая, перестанет быть раем, как только появится ребенок, не говоря о том, что двухкомнатная квартира вдвое лучше однокомнатной. Дали объявление. Ольга уплатила задолженность за квартиру, электричество и газ и не то что забыла, а перестала думать об этом, благо хватало других забот, да и езда к бабушке занимала почти час в один конец.

Сегодня утром, выходя из дому, она услышала телефонный звонок. Вернулась – вдруг бабушка? Трубка ответила мужским голосом: «Я звоню по вашему объявлению». Краткий разговор закончился тем, что договорились встретиться «сразу после семи» на квартире.

Храбрая это была мысль или шальная, выяснится потом, но Ольга знала: только так, без подготовки, она могла сюда вернуться. Лучше бы с Олежкой, конечно, но куда там: ему сегодня дали машинное время, и после работы он помчится в вычислительный центр считать статистику по своим шелкопрядам. Ольга не стала даже морочить ему голову неожиданным звонком. Сколько будет еще этих звонков и сколько раз придется, хочешь не хочешь, здесь появляться; обмен дело непростое.

Это только говорится: «без подготовки». На самом деле в квартиру она все еще не зашла, хотя приехала за час до назначенного времени и весь этот час не знала, куда себя деть. Получив в домоуправлении ключ, кружила по знакомым улицам, механически отмечая, что поменялось. Бакалейный магазин остался на месте, только стал называться «ГАСТРОНОМ». В сквере поставили новенькие скамейки. Будка сапожника на углу исчезла и, судя по всему, давно, зато на пустыре, прямо рядом с домом, вырос зеленый ларек с вывеской «ПРИЕМ СТЕКЛОТАРЫ», в данный момент закрытый.

Где ты был, «ПРИЕМ СТЕКЛОТАРЫ», когда мне надо было банки сдавать...

По улице теперь ходили троллейбусы, и у самого входа в транспортное управление находилась остановка, где сейчас зябла кучка людей.

Вокруг этого здания раньше был крохотный уютный парк, где росли старые каштаны, жасмин и стояли две или три скамейки; может, стоят и сейчас, но все это скрывает глухой забор без малейших признаков калитки. Правда, в феврале не очень-то посидишь на скамейке, особенно если с неба сыплется не снег и не дождь, а какая-то влажная труха.

И совсем уже некстати вспомнила, что был февраль, когда она в последний раз

выходила из этого дома, в окнах кое-где загорался свет, а девочка-подросток быстро шла по улице, чуть запрокинув голову и прикрывая лицо рукой в варежке. Ольга смотрела на эту девочку из сегодняшнего вечера, словно с противоположного тротуара, но в памяти навсегда отпечаталась вязаная белая звездочка на голубой варежке.

Горький, ненужный кусок памяти – целая ячейка, куда можно было бы уложить что-то полезное... Не лучше ли поэтому, вместо того чтобы топтаться по мокрому асфальту, а потом пачкаться на доску с фамилиями, открыть «Материализм и эмпириокритицизм» и заполнить эту ячейку в ожидании незнакомца?

Оставался пустяк: войти.

Ключ повернулся с негромким щелчком, и дверь открылась в затхлую темноту.

При включенном свете прихожая выглядела довольно просторной: здесь больше не стоял массивный шкаф, под которым когда-то хранилась *нелегальная литература* – «Мужчина и женщина», «Нива» и старинный Лермонтов – постоянное лекарство от ее детских ангин. Неужели мать забрала книги с собой?

Первым делом она везде зажгла свет.

Мебель, которую она помнила, вывезли или выбросили; оставленные предметы нельзя было, не покривив душой, назвать иначе как рухлядью. В комнате валялась ободранная табуретка о трех ногах, стояла тумбочка с отломанной дверцей, а на кухне – некогда голубой, а теперь обшарпанный до полной потери цвета буфет, с катушкой из-под ниток вместо одной ручки. По-прежнему стояли две плиты, дровяная и газовая, в комнате – зеленая кафельная печка, а на стене все так же, как и полжизни назад, темнело пятно сырости, похожее на двугорбого верблюда. Когда

сильно топили, горбы светлели: верблюды худели; потом они вырастали снова, краска шелушилась и сыпалась, но пятно никогда не исчезало.

Шелудивый верблюд поселился тут задолго до матери.

Надо было сюда приехать раньше и позаботиться о ремонте, потому что показывать квартиру в таком виде — это отпугнуть потенциального жильца. Сегодняшний, допустим, посмотрит, отшатнется и побежит читать другие объявления. А вдруг найдутся еще желающие?

Как и прежде, окно было голым, без занавесок. Ольга закрыла тяжелые двухстворчатые ставни, вспомнив, как мать захлопывала их перед тем как переодеться.

Как в коробке, поежилась она, зато легче стало, не отвлекаясь на темное окно, продумать самое важное. Во-первых, срочно надо отыскать ремонтника. Во-вторых, привезти калорифер и поставить у самой стенки. Хорошо бы и печку топить, но это требовало дров, а главное, времени; ни того ни другого не было.

Показалось или кто-то постучал? Она прислушалась. Нет; показалось. В этот момент стук повторился, и одновременно раздалось шершавое поскребывание старого звонка, никогда в жизни не работавшего.

— Здравствуйте!

Улыбка вышла почему-то виноватой, и человек развел беспомощно руками.

— Заходите, — пригласила девушка.

Нет, такого количества совпадений он не ожидал. Пока ехал сюда, развлекался подсчетом вероятности того, что дом окажется тем самым, где ему однажды

случилось побывать у машинистки; подойдя к дому, напряженно попытался вспомнить номер квартиры, но не вспомнил, конечно, мимоходом откинув вероятность, что квартира окажется той самой. Уже в коридоре сразу узнал зеркало, а затем дверь и убедился в совпадении, но с облегчением подумал, что оно – последнее в этой цепочке, и никакая девочка с косами не скажет, что мать не пришла с работы. Если же такое произойдет, то можно впасть в мистику или сдаваться психиатрам.

Дверь открыла девочка без кос – волосы у нее были собраны узлом на затылке. Она тоже его узнала, и Карл, не придумав ничего лучшего, развел руками.

– Заходите, – повторила девушка.

Абсурд продолжался. Оставалось дожидаться машинистку, получить отпечатанную рукопись и попрощаться, если только его не остановят кружкой с какао.

Сегодня она была в расстегнутом пальто и берете – таком же, как у него, только сером; вокруг шеи был обмотан длинный полосатый шарф и свисал по обеим сторонам.

– Ольга, – девушка протянула руку.

– Карл.

– А по отчеству? – беспощадно, как все молодые, спросила она.

– Тогда – Карл Германович. Лунканс. Как вам удобнее.

Девушка кивнула и начала объяснять. Однокомнатная. Здесь кухня (прошла вперед), вон та дверь в углу – холодная кладовка. Печное отопление. Прямо по коридору – туалет. Ванной нет; горячей воды тоже. В принципе, наверное, можно

газовую колонку поставить... Мы сделаем ремонт, конечно; в квартире давно никто не жил.

– А... ваша мама? – спросил зачем-то и сразу пожалел.

– Она переехала, – ответила девушка, теребя бахрому шарфа. – Мы с мужем теперь меняем две однокомнатные на одну двухкомнатную.

Карл не смог сдержать удивления:

– Это сколько же лет прошло, вы тогда в седьмом классе учились! Невероятно...

Девушка сухо ответила:

– Пятнадцать. Почти шестнадцать.

Увидев его смущение, добавила:

– Как вы... Почему вы решили, что в седьмом?

Он торопливо пояснил:

– На столе учебник лежал – география, кажется. Да нет, точно география. И написано было: «7 класс». Понимаете, – он потер лоб, – у меня память так устроена, что всякие мелочи зачем-то остаются навсегда. Или, – он улыбнулся, – хотя бы на шестнадцать лет. Я помню, например, что вы Майн Рида читали, рыжая такая книга была.

Девушка медленно покачала головой, потом улыбнулась.

– Да вы страшный человек!

И добавила с любопытством:

– А что вы еще помните?

Карл огляделся.

– Здесь мальчик играл, такой... спокойный. Братишка ваш. Знаете, многие дети

капризничать начинают, когда чужие приходят, а этот тихонько сидел. Потом, – он снова потер лоб, словно этот жест помогал увидеть давнюю картинку, – да, потом вернулась машинист... мама ваша. Отдала мне перепечатку. Завернула, кстати, в «Литературку». В смысле, в «Литературную газету». Это легко запомнилось: газета толстая, а на улице противно было, влажно. Как сейчас примерно.

Сам не зная почему, он не упомянул про какао – не выговаривалось.

– Фантастика! – сказала девушка. – Мне бы такую память. А то столько ерунды приходится конспектировать, потом учить...

Она посмотрела на часы.

– Карл... Германович, я вам про вторую квартиру не рассказала. В принципе мы могли бы хоть сейчас туда поехать, если вы заинтересованы. У нас второй этаж и площадь больше. Правда, в деревянном доме. Или вы что-то подыскиваете именно в этом районе?

Нет, Карл Германович никаких конкретных предпочтений не имел, разве что не хотел бы новый дом.

– Я человек консервативный. Лучше деревянный дом, чем эти новые из бетона. Сегодня, наверное, поздно уже, но адрес ваш я возьму, если можно.

Он вытащил записную книжку и оперся на ветхий кухонный буфет. Девушка объяснила, как проехать.

– Спасибо, – протянул руку.

– Я провожу вас.

Она направилась к двери, отбросив шарф за спину. Бахрома зацепилась за ручку буфета. Натянутый шарф потащил за собой ящик, который легко выдвинулся и упал

бы на пол, не подхвати его Карл обеими руками. Подхватил, но обратно заталкивать не стал, а держал и растерянно смотрел на дно, где рядом с растрепанной книжкой лежала фотография отца.

Крупница абсурда бывает необходима в жизни – это лишает ее пресности; но что делать, когда погружаешься в сплошной абсурд? Выбрать первое же объявление, приехать по указанному адресу, чтобы в чужом доме обнаружить...

Девушка, выхватив фотографию из ящика, твердила, что «это дедушка Коля, мой дед, он на войне погиб», в то время как он сам безуспешно возражал и зачем-то полез за паспортом, хотя при чем тут был его паспорт, в этом непрекращающемся абсурде...

Дедушка, бабушка... Какой дедушка?

– Это мой отец, Герман Лунканс! – повторял он, водрузив, наконец, окаянный ящик на буфет.

– Старинные фотки вообще похожи, – запальчиво убеждала его девушка, – в смысле, лица похожи, понимаете?

Они замолчали одновременно. Карлу вспомнилась черная папка, старая фотокарточка с надписью: *«Нет, не отстал быстроногий Аякс от могучего брата»* – фотокарточка, на которой рядом с отцом был снят другой, очень похожий на него человек – кузен, как сказала мать. О чем вспомнила девушка, неизвестно, однако первой заговорила она:

– Подождите... Так вы – Герман?..

– Не я; Герман – мой отец, он умер давно.

Слава богу, не девятнадцатый век, а то бы хлопнулась в обморок. И сесть было не на что. Девушка прислонилась к стене.

– Они... Мой дед – это отец моей матери – они с вашим отцом, с Германом, в смысле, братья были. Или двоюродные... родственники, в общем. В принципе я могу бабушке позвонить, но лучше завтра, а то на ночь...

И добавила:

– Но ведь так не бывает.

Он что-то говорил про абсурд, про невероятные вероятности, рассказал про фотографию с надписью, но девушка замотала головой: про Аяксов она не знала.

Как шестнадцать лет назад он тоже не знал – ни об Аяксах, ни об отцовском кузене.

Вернувшись домой, бросился к письменному столу. Черная папка, казалось, как-то постарела и выглядела скорее серой – или это свет так падает? Вот и фотография. *«Нет, не отстал быстроногий Аякс от могучего брата»*. Кем был отец – *могучим братом* или *быстроногим Аяксом*, его догоняющим? Сходство поразительное: они выглядят если не близнецами, то родными братьями, Аяксами. Не убирая фотографию, положил ее углом под папку, сразу взял сигарету и вышел на балкон. Хотя теперь можно было курить и не выходя из комнаты, но к этому он пока не привык. В последнее время Карл Лунканс старался проводить дома как можно меньше времени. Как долго оно длилось, это «последнее время», он затруднился бы сказать; а впрочем, никто и не спрашивал. Когда развод остался позади, неожиданно стало легче жить: кончились бесплодные выяснения причин, и предстояло иметь

дело только со следствиями, первоочередным из которых стал поиск квартиры.

Да, квартиры. Он сыт по горло коммуналками.

Вернее, коммуналкой – той, где они жили после того, как должны были освободить спокойную и удобную квартиру в Старом Городе, и где он теперь остался один.

Две эти смежные комнаты с балконом оказались для них тогда самым хорошим вариантом из всех имеющихся, если не считать того, что мать, с трудом добившаяся отдельной жилплощади, очутилась в другой коммуналке. Карл ненавидел ее «отдельную жилплощадь», а еще пуще ненавидел себя за то, что позволил затолкнуть ее в эту узкую, изогнутую буквой «Г», комнатенку на пятом этаже. Единственное достоинство – в двух кварталах от Ботанического сада. «Жилплощадь по месту работы», – шутила она.

Предстоит обмен, и сегодняшний вечер только положил ему начало. Можно было бы поехать с этой милой девушкой посмотреть вторую однокомнатную; но на сегодня впечатлений достаточно. Пока он ехал домой, пытался сообразить, кем она ему приходится, эта Ольга, но родственные связи всегда были его слабым местом. Если машинистка – дочь двоюродного брата отца, одного из «Аяксов», то, выходит, они с нею тоже двоюродные... или нет, троюродные? В смысле, с машинисткой; а Ольга мне кто, племянница?

С балкона комната выглядела теплой, обжитой и уютной. Казалось, что вот-вот откроется дверь и войдет с горячей кастрюлей жена, задержится на пороге несколько секунд – ровно столько, сколько нужно, чтобы осторожно закрыть ногой

дверь в коридор.

...Они с Настей переехали сюда, на спокойную тенистую улицу неподалеку от Художественного музея. Четвертый этаж, трое соседей: одинокий мужчина средних лет, женщина дважды бальзаковского возраста и некто третий. Хотя соседи приняли их настороженно, естественное любопытство перевесило. Во время перекура на лестничной площадке Карлушка узнал фамилию одного из соседей: Праскудин и то, что он бывший военный, комиссованный «по медицинским показаниям». Последние слова Праскудин выговорил с особой важностью. Женщина сама постучала к ним и помогла Насте освоиться на кухне. Тогда же представилась: Мария Антоновна. Вскоре стали известны ее другие особенности, как-то: любовь к ярким атласным халатам, недоверие к врачам из поликлиники и примерно такое же отношение к семейной жизни. Третий сосед, занимавший комнату рядом с ванной, долгое время оставался невидимкой и материализовался в виде очень худого долговязого старика только через неделю после их внедрения. Лет старику было немало, если судить по запавшему рту, редкой тусклой седине и крупным ушам желтовато-косяного вида. Попытки знакомства старик отверг: посмотрел на Карла, как смотрят на дождь за окном, и отвернулся, в точности как отворачиваются от наскучившего дождя.

В отношениях с соседями Карл придерживался простой истины «худой мир лучше доброй ссоры», тем более что с соседями, что ни говори, повезло. Марию Антоновну он шутливо называл Марией Антуанеттой за ее пышные халаты, иногда вслух, и она улыбалась, снисходительно и польщенно опуская веки. Они с Настей

быстро заметили несомненный ее интерес к Праскудину. Когда Марии Антоновне казалось, что сосед готов ответить взаимностью, голос ее приобретал какие-то грудные модуляции, халаты становились более яркими, и называла она его по имени и отчеству: Валерий Сергеевич, а в особенно теплые моменты окликала почти нежно: «У вас чайничек кипит, Валерий...», – явно не торопясь с отчеством, и только когда Праскудин выходил из комнаты и попадал в зону слышимости, добавляла с грудными модуляциями: «Сергейч». Теплые моменты сменялись периодами явного охлаждения, и тогда о «Валерии Сергеевиче» не могло быть и речи – соседка называла его только по фамилии, театрально грассируя для требуемого эффекта, отчего она звучала как «П’а-аскудин!».

Вообразить Праскудина героем чьего-то романа было трудно, настолько он был невзрачен. Реденький зачес цвета моли не скрывал лысины, из-под незначительных бровей смотрели блеклые глаза, длинный нос был сплюснут на конце. Никаких попыток хорошо выглядеть он не предпринимал. Любое пальто выглядело на Праскудине уцененным – оттого, должно быть, что таким и было. Гардероб он обновлял крайне редко, но ничего, кроме рубашек, не покупал, а носил костюм, перешитый из двубортного в однобортный, и дешевую уродливую обувь. Одним словом, выглядел заброшенным и жалким, вроде взрослого сироты.

Обладая столь небогатыми внешними данными, сосед, тем не менее, возвращался иногда с работы не один, а с дамой – такой же невзрачной, как он сам, девушкой в очках и с жидким хвостиком тусклых соломенных волос. Если Марии Антоновне случалось при этом оказаться дома, она проворно бежала в уборную, забирала свой персональный стульчак и уносила к себе в комнату. Карлушка увидел

ее как-то на последнем отрезке маршрута, когда она шествовала по коридору, зажав стульчак под мышкой, наподобие спасательного круга, и Мария Антуанетта пояснила, кивнув на дверь Праскудина: «Я, знаете, брезговаю».

С течением времени Настя с Карлом привыкли к слабостям, недостаткам и странностям этих двоих.

Старик же оставался просто Стариком.

У него было красивое и поэтичное имя: Таливалдис, отчество – Освальдович и трудная фамилия, поэтому соседи не дали себе труда запомнить кучерявое словосочетание, тем более что старик не подпускал к себе ни на шаг. Он не питал неприязни к новым жильцам, а просто с одинаковым равнодушием относился ко всем обитателям квартиры. Движимые любопытством, уязвленные его стойким молчанием, люди пробовали вначале пробить стену этого равнодушия, но безуспешно: старик поворачивался и скрывался за своей дверью, закрывая ее спокойно, без намека на раздражение.

...Невозможно было представить себя еще в какой-то коммуналке, где ему достанется комната, мимо двери будут сновать чужие люди, а дети станут называть его «стариком», потому что не будет никакой надобности запомнить его имя: Карл Лунканс. Или, как настояла новая родственница, имя и отчество. Неужели он показался ей таким пожилым?

Или попросту стариком.

Выходит, она ему троюродная, что ли, племянница?

С самого начала Карл, несмотря на протесты жены, курил на балконе. Незаметно для самого себя он привык к слову «жена» и к присутствию Насти рядом;

привык, но его не оставляло ощущение, что он скорее наблюдает свою жизнь со стороны, чем участвует в ней. Иногда ему представлялось что-то вроде театральной сцены, где он, Карл Лунканс, готовит декорации и реквизит, он же поддерживает диалог и ждет занавеса. Он спохватывался иногда, что эта раздвоенность заметна со стороны, и сам над собой смеялся: ерунда, какая сцена? Человек стоит в очереди в молочном магазине, кладет в сетку пирамидки с молоком, бутылку кефира для матери (заехать по пути), несколько глазированных сырков, платит деньги и выходит, стараясь не слышать недовольного ропота вслед, потому что сырки кончились, и продавщица лениво отлаивается от возмущенных криков... Пока он стоит в ожидании зеленого света, из подворотни выезжает машина, оставляя четкий отпечаток шины на снегу, смешанном с землей: точь-в-точь надкусанный шоколадный сырок. И это тоже, магазин и подворотня, было частью спектакля, словно на несколько секунд погас свет и сцена повернулась другим сектором.

В действии участвовали не только «главные» герои, но и второстепенные: в театральных программках их обычно объединяют словом «в эпизодах». В его пьесе, если бы у безынициативного режиссера дошли руки до программки, непременно были бы обозначены «в эпизодах» Мария Антуанетта, Праскудин и Старик, объединенные фигурной скобкой и словом «соседи» мелким шрифтом.

Иногда мать заходила к ним, но нечасто. Настя с Карлом навещали ее регулярно, особенно в первое время, и Настя почему-то покупала торт или пирожные, хотя Лариса сладкого не любила. Потом их визиты стали более редкими, потому что болели то дед, то бабушка, и мать по выходным ездила на хутор — как догадывался Карл, с радостью вырываясь из гвалта многолюдной квартиры, чтобы окунуться в

привычный скандал отца с матерью там, в деревне. Настя не всегда ездила с ними, и как-то само собой получилось, что это стало происходить реже и реже. Это никого не тяготило, потому что бабка прибалывала и почему-то стеснялась своих хворей. К матери Карлушка тоже все чаще забегал один. Он ухитрялся занести ей то одно, то другое – не потому что она не могла сама купить молока или картошки, а чтобы починить какой-то пустяк в хозяйстве и переброситься несколькими фразами, после чего на душе становилось легче.

Потому что избавиться от чувства вины перед матерью он не мог.

И еще потому что здесь, в нелепой комнатухе, изогнутой у окна в виде буквы «Г», странным образом исчезало ощущение сцены, несмотря на похожий как две капли воды антураж: общая квартира, посторонние голоса за стенкой и чужие окна напротив, одни и те же вопросы и ответы с незначительными вариациями. Непостижимо, но здесь, у матери, он не наблюдал за собой со стороны и не рассматривал себя придирчивым зрительским глазом, критически анализируя реплики. Разгадать секрет он не пытался, потому что был уверен: нет никакого секрета – есть сложившаяся модель отношений, привычная, как его собственное имя «Карлушка», перешедшее из детства, ибо все остальные, включая жену, называли его Карлом, отчего он сам казался себе не то что взрослее, но старше.

Может быть, именно с того ощущения себя на сцене и начинался абсурд, который сегодня дошел до высшей точки? По пути домой он чуть было не вышел из троллейбуса раньше, чтобы зайти к матери, но передумал. К ней – потом, когда собственные впечатления немного отстоятся.

Меньше всего абсурда было на работе – потому, наверное, что старший инженер

Карл Лунканс работал всегда одинаково ровно и без напряжения. Как-то у Льва Толстого он встретил замечание о человеке, который был совершенно равнодушен к работе, а потому никогда не увлекался и не делал ошибок. Перечитал, изумился меткости наблюдения и тому, как это совпадает с его собственным отношением к делу. Ни в молодости, ни сейчас, в зрелые годы, Карл никогда не понимал людей, «горевших на работе». Начальство мягко поругивало Лунканса за безынициативность, однако неизменно спихивало ему самые трудные проекты. Ошибки, в отличие от запомнившегося героя, он допускал, но сам же исправлял.

Жена соглашалась с начальством: безынициативен. «Нужно расти, расти над собой, – рассудительно говорила она, – не век же сидеть в старших инженерах». Принять всерьез формулировку «расти над собой» Карлу не позволяло чувство юмора, да и воспаленным честолюбием он не страдал. Денег хватало ровно настолько, чтобы сводить концы с концами.

Жизнь текла примерно так же, как работа: ровно и спокойно, и, если бы сделать из нее пьесу и поставить на сцене, то режиссера неминуемо упрекнули бы в безынициативности.

Настя, занятая обустройством квартиры, писала дипломную работу и много времени проводила в библиотеке, что было привычно, как и ее увлеченность не понятными Карлу Форсайтами. Существовала еще и так называемая «светская жизнь», когда в гости приходили Зинка с мужем и Настины однокурсницы без мужей, озабоченные приближающейся защитой. В общей трескотне и табачном дыму – больше всех курили однокурсницы – Карлу начинало казаться, что воображаемая пьеса разрастается, вспухает новыми действующими лицами, и в

комнате толпятся филологические девушки и чужие Форсайты, незримо присутствует такой же чужой доцент Присуха, а непривычно молчаливая Зинка время от времени с независимым видом поправляет Анатолию воротничок. Бывало, что в гости шли они сами – к Зинке с Толяном или к Алику Штрумелю, где хотя бы не ощущалось незримого присутствия Форсайтов с Присухой. Настя почему-то неохотно ходила к Штрумелям: у них часто болела дочка, и то Алик, то жена, извинившись, то и дело выскакивали из кухни провести ребенка.

Карлу нравилось бывать у Алика: удавалось полистать самиздат. Открылась другая литература, а все происходившее вокруг словно выстроилось в новой, совершенно необычной проекции. Карл жадно листал, натыкался на незнакомые имена, но удивляться было некогда. На работе Алик иногда бросал, проходя мимо его стола: «“Новый мир” пришел, могу уступить, так и быть; заходи вечером». Бесхитростный эвфемизм относился к «Хронике текущих событий». Имена этих Пименов и Тацитов были Карлу не известны, но всплывали вдруг, когда сообщение о судебном процессе сначала появлялось где-нибудь на задних страницах официальной прессы и позже – в том же самиздате. Ходили по рукам и транзитом попадали к Штрумелям тяжелые скользкие пачки: переснятые на фотобумагу книги, изданные за границей. Такая литература существовала параллельно книжным новинкам, с той лишь разницей, что их не клали для гостей на журнальный столик. По первому же сигналу приятеля Карлушка мчался к нему, с удовольствием пропуская походы к Зинке, где обычно скучал, пока та демонстрировала очередное сервизное или мебельное приобретение.

Настя прочитала роман Пастернака и осталась недовольна. «Не понимаю, что

ты в этом нашел. Скучно написано, жвачка какая-то. Сколько можно про революцию? И герой у него какой-то... мямля, честное слово. Правильно ругали».

Возражения, что ругали, не прочитав, эффекта не имели. Запомнилось, как Настя сняла и аккуратно повесила в шкаф плащ-блоню, похожий на синюю копирку и шуршащий точно так же. На лице было написано раздражение, ямочка на щеке пропала. С тех пор долго не ходила к Штрумелям, словно роман написал не Пастернак, а сам Алик.

К Настиным родителям ездили только один раз, на похороны бабки, года через два после Настиной защиты.

Поселок городского типа разросся за несколько лет, но Карлу бросилось в глаза, что в гастрономе, когда-то новом, а теперь неотличимом от соседних зданий и таком же обшарпанном, как они, висел жизнерадостный призыв «НАЧИНАЙТЕ ДЕНЬ С КАКАО!». Был ли это тот же транспарант, который он видел в первый свой приезд, или намалеванный заново, он так и не понял.

Старуха лежала в гробу в белом платке, туго затянутом на желто-сером лбу; в таком – или в этом же – платке Карлу запомнилась она в первый его приезд, несколько лет назад. Громко, отчаянно плакала Настя, он обнимал ее за плечи, а Вера поддерживала мужа, от которого так несло водочным духом, что становилось ясно: поддержка необходима.

Здесь абсурд, казалось, был нормой. Он жил незыблемо в этом платке, неизменном на лбу живой старухи и на лбу покойницы; в призыве начинать день с какао, хотя самого какао как не было в магазине в первый раз, так не появилось и сейчас.

Да, но сегодняшний абсурд, со старой фотографией, – чем он был?

...Его спрашивали, мать и тот же Алик, где Настя будет работать после защиты диплома. Узнав, что по-прежнему в цеху, недоумевали, почему: ведь есть специальность?... Карл отшучивался. Не скажешь ведь истинную причину. Правда, матери признался, что Настя мечтает поехать в ГДР. Путевки на заводе появлялись время от времени, и как только не путевки даже, а слух о них разносился, страсти вскипали бурным ключом. Эти переживания становились главной темой всех перекуров, о них гадали в столовой, ожидая раздачи, и наконец у доски объявлений, где вывешивался долгожданный список.

Когда это было, в шестьдесят пятом или позже, что немецкая тетка прислала гостевой вызов? Не помнил; тем более что Лизиним приглашением не воспользовались – оно было рассчитано на них обоих, а где ж это видано, чтобы муж и жена, к тому же бездетные, разъезжали по заграницам? «Оттепель» не распространялась так широко. Просить приглашение только на свое имя, после уже полученного, Настя не решалась и потому ждала путевку.

Карлу было не до заграничных поездок – на него свалилось другое.

Мать позвонила на работу, чего никогда почти не делала, и взволнованно заговорила:

– Я тебе рассказывала, как мы с отцом ездили в Париж?

– Нет, – он вытаращил глаза, надеясь в то же время, что никто не слышал крамольных слов, – давай, я вечером заскочу к тебе, ладно?

– Не может быть! – казалось, мать его не слышит. – Ну как же, в двадцать девятом году! Мы провели там чудесное время, незабываемое. Представь, целых два месяца...

Карлу стоило немалого труда закончить разговор. На черной эбонитовой трубке остались следы его влажных пальцев.

Вполне могло статься, что абсурд начался в тот же вечер, когда он лихорадочно вспоминал, говорил ли отец о Париже; вытащил черную папку, перебрал содержимое. Абсурд заключался в том, чтобы вспомнить *никогда не происходившее*, а рассуждения о *теоретической вероятности* этого были двойным абсурдом, и приход к матери вовсе не положил этому конец.

– В двадцать девятом году, – возбужденно заговорила она, – весной. Мы жили в маленьком пансионе на Монмартре. Табльдот, конечно; но очень приличный. Впрочем, ты знаешь папу: он мог целый день бегать по городу, а потом засесть в кафе, курить, и мы часто опаздывали. Его неоднократно принимали за парижанина, так натурально он держался. Мы хотели поездить по Европе, но... – тут она замялась, – но скоро должен был родиться ты, поэтому мы вернулись в июне.

Карл оцепенел.

– Мама, я родился в тридцать шестом.

И понял с опозданием, что этого говорить не следовало. Мать резко выпрямилась и требовательно, холодно спросила:

– Так что же?..

Прямо от нее он кинулся в поликлинику. Там, в толпе, его властно остановила, придерживав за рукав, какая-то женщина. Карлушка смутно припомнил дальнюю

родственницу, которую видел однажды у них в гостях, на старой квартире. Имя – Антонина Григорьевна, Тоня – не вспомнил бы совсем, если б она не подсказала. На Карла обрушился каскад вопросов: что случилось, кто болен, как мама поживает, давно ее не встречала?..

И тут его прорвало: бестолково, сбивчиво, перескакивая с одного на другое, рассказал постороннему, в сущности, человеку про мать, то есть про Париж. Женщина слушала внимательно, без всяких «ахов», чего он опасался; на строгом лице между бровей прорезались две симметричные тонкие морщинки. Она сама распахнула тяжелую дверь: «Пойдем-ка на воздух, на тебе лица нет». «На воздухе» досказал: про чужие слова, интонации, внезапно появившиеся у матери; опять про чертов этот Париж с табльдотом, что бы он ни означал, и про двадцать девятый год, в котором он никак не мог появиться.

– Я ведь только через семь лет...

Антонина Григорьевна оказалась настырной теткой: «По пути доскажешь, я рядом живу». Он горячо запротестовал – надо к врачу записаться, в другой раз как-нибудь; спасибо. Тоня нахмурилась сильнее:

– Это еще на кой? Чтобы сразу на Аптекарскую укатали?

На Аптекарской улице находилась психиатрическая больница.

Мать – в сумасшедший дом?

Дома Антонина Григорьевна пошла к телефону. Карла, отказавшегося от чая, оставила в столовой. Разговора он не слышал и, сидя на неудобном выпуклом стуле, рассеянно обводил глазами чужую комнату, запоминая, по своей привычке, ненужные детали: картину «Девятый вал» над пианино, старинную прочную мебель,

иконы в углу, фарфоровые безделушки за стеклом буфета.

Вот как сегодня в этой жуткой квартирке, где он увидел и сразу вспомнил уже виденное однажды пятно сырости на стене, лохматое и шелушащееся; как вспомнил зеленую кафельную печку и голое окно, а с учебником географии и рыжим томом Майн Рида было совсем просто. Кстати, после ремонта квартира может иметь нормальный вид...

Настырная родственница – кем она приходится матери, эта Антонина Григорьевна? – вернулась и, бережно поглаживая ветхую записную книжечку, триумфально объявила, что нашла «нервопатолога»; перечислила несколько человек, которых он «поставил на ноги», закончив: «Никаких поликлиник, ни в коем случае! Скажешь, что от меня».

Ни минуты не верил в затею и ругал себя за погубленный час, но врачу все-таки позвонил, панически напуганный упоминанием Аптекарской улицы. Еще через несколько дней выяснилось, что заболевание называется парамнезией. «Не заболевание даже, а, будем говорить, небольшое расстройство памяти, – объяснил Карлу “нервопатолог”, рыхлый старик с пористым носом и желтыми от табака пальцами. – Критический возраст плюс одиночество; психика – инструмент, будем говорить, хрупкий. Потом... могло ведь случиться, что они собрались куда-то поехать, в тот же Париж, да что-то помешало. – Врач закурил и продолжал: – Ложная память. Возможно, будем говорить, неосуществившиеся планы – или мечта; а то еще фильм посмотрела либо почитала что-то возбуждающее перед сном – вот и результат».

На тумбочке у матери лежал «Тихий Дон». Нужно было обладать недюжинным воображением, чтобы счесть его возбуждающим.

Правда, идея поездки в Париж требовала совсем уже буйной фантазии.

Доктор ему понравился отсутствием профессиональной врачебной бодрости и тем, как он вкусно затягивался сигаретой, отгоняя дым пухлой, как тюлений ласт, рукой. «Да, патология, – он уронил себе на брюки пепел и ловко смахнул, – конечно, патология. Может ли стать хуже? Может; а может исчезнуть и не вернуться никогда. Такие вещи лучше всего вытесняются каким-то переживанием, сильным потрясением». И закончил, посмотрев Карлу прямо в глаза: «Если что-то заметите, позвоните». Выписал успокоительные капли, спокойно принял конверт и велел «кланяться Антонине Григорьевне».

Капли невропатолог выписал, должно быть, подходящие, потому что мать не заговаривала о Париже и таинственном табльдоте, из голоса исчезли чужие высокомерные нотки, но и потрясение не заставило себя ждать.

Побывать на Аптекарской им с матерью таки пришлось.

Произошло все неожиданно, быстро и страшно.

Наутро после своего дня рождения – семьдесят пять стукнуло! – дед проснулся мрачным, как туча. Бабка, привыкшая к частой смене его настроения и к столь же частым придиркам, не обратила внимания и даже огрызнулась на какой-то вопрос, тем более что вопрос был донельзя глупым: «Замуж собралась?» А вот грубить в ответ было ошибкой, но откуда Аглая могла знать об этом, скажите на милость? «Не выйдет! – заорал дед. – Рано ты меня хоронишь!»

Однако слова передают мало, тем более слова, неоднократно тиражированные: вначале соседям, куда бабка бросилась за помощью с лицом, залитым кровью, затем персоналу «скорой» и только потом – им с матерью, вызванным на ту самую Аптекарскую, куда деда привезли уже в смиренной рубашке, за неимением «буйного» отделения в районной больнице.

Карлу запомнился кабинет врача. Был уже вечер, в коридорах горели лампы, защищенные металлическими сетками. Такими же сетками, только из толстой проволоки и с более крупными ячейками, были затянуты лестничные пролеты. Но самое тягостное впечатление произвели на него двери без ручек. Медсестра вынимала из кармана халата отмычку наподобие тех, которые используют проводники вагонов, ловко вставляла ее в виднеющийся штырь и поворачивала; открыв дверь и пропустив всех, тут же ее захлопывала.

Вот сумасшедший дом, царство абсурда. Что сказали бы психиатры о сегодняшней цепочке совпадений, где каждое звено представлялось невероятным?..

Дед сидел на кушетке, как пленный в кино, – не то связанный, не то перепеленатый так, что рук не было видно вовсе. Редкие седые волосы, обычно тщательно причесанные, были взлохмачены, сам он, по сравнению с дюжими санитарями, казался мелким и таким беспомощным, что у Карла перехватило горло. Аглая, с перевязанной головой, сидела в отдалении, с готовностью подаваясь вперед, когда врач задавал очередной вопрос.

– Гонялся за мной по двору, да; а сначала по кухне. Грубости кричал, оскорблял. Схватил полено, – у нас дрова под навесом сложены. Я испугалась, к соседям

побежала, только до хутора ихнего не добежала: напал сумасшедший этот. Вот у него спросите, пускай скажет, что он мне говорил; мне повторить и то стыдно. Разбил мне голову поленом – спасибо, люди добрые спасли. Психический он, я сколько лет мучаюсь, вот дочка знает.

В представлении Карла психиатр должен был выглядеть зловеще, с оттенком inferнальности; оказалось, врач как врач: усталый, задерганный, часто тер глаза под очками. Слушая рассказ Аглаи, одновременно заполнял какой-то бланк, иногда кивая.

– Психические заболевания в семье были? – спросил, кивнув на деда.

Бабка радостно закивала:

– То-то и есть, что были! Матка у него сумасшедшая была, и сестра тоже; померли уж.

Мать ахнула:

– Мама, что ты такое говоришь?!

Врач перестал писать и поднял глаза. Паузу разорвал крик деда:

– А-а, с-с-стерва! Ждешь, я помру, а ты замуж выскочишь? Я знаю, я давно тебя раскусил – смерти моей дожидаясь! А зачем ты на покойных клеветешь, с-с-сссс...

Ярость душила его, он давился и брызгал слюной, пытаясь что-то выговорить, но выходило только змеиное: «с-с-с».

Карла больше всего поразила радостная ненависть, с которой бабка говорила, – ненависть не только к деду, но и к его давно покойным родным. Мать встала:

– Доктор, они обе от тифа умерли, мать его и сестра, от сыпняка...

Бабка, вскочив, перебила:

– Ты не знаешь, Лара, что я пережила с ним, ты не говори. Тем более тебя на свете не было; не говори!

Деда оставили в больнице.

«Острый психоз, по всей вероятности, – сказал врач Карлу, – в таком возрасте случается. Понаблюдаем, назначим лечение. Надеюсь, что быстро снимем».

Карлу запомнился тот год, хотя с тех пор миновало одиннадцать лет; с трудом верилось. Год абсурда и страха за мать, особенно после знакомства с больницей, где двери без ручек. Привыкнуть к этому он так и не сумел, хотя приезжал каждый вечер.

Мать переселилась на хутор, к бабке.

Дед, ссутулившийся и жалкий, выглядел намного старше своего возраста – ему легко можно было дать лет на десять больше. Настя покупала фрукты, иногда ездила с Карлом на Аптекарскую. Что-то удержало его, и про мифический Париж, как и про поездку к врачу, он жене не рассказал – ни сразу, ни потом. Чем больше проходило времени, тем труднее было трогать эту тему, а потом и вовсе непонятно было, как начать разговор и стоит ли его затевать. Особенно Карла мучило, нет ли связи между дедовым психозом и чертовым этим Парижем. Насторожили слова бабки: «все они были психические»; есть ли в этих словах правда, и если да, то сколько? Или правда, настоящая на злобе и ненависти, перестает быть правдой?

К невропатологу съездил еще раз, так как было о чем поговорить – мать не вспоминала о Париже благодаря тому, получается, что свихнулся дед...

Каждый вечер Карл приезжал к деду в больницу.

Тот равнодушно смотрел, как он ставит на тумбочку бутылки сока, кладет яблоки, неловко придерживая, чтобы не уронить, но одно непременно падает и катится по линолеуму. «Ешь, это витамины», – говорил одну и ту же бессмысленную фразу.

Старик смотрел безучастно и ждал, когда они вдвоем уйдут в просторный холл, сядут под окном у пальмы и начнут разговаривать, если дедов монолог можно было считать разговором. Карл слушал, курил, разглядывал пальму, которую давно выучил наизусть, со всеми торчащими засохшими черенками, похожими на гигантские заусенцы. На подоконнике стояла тусклая жестянка из-под консервов – импровизированная пепельница. Стряхивал пепел в серую банку, а в голове вертелось: Аптекарская улица, Аптекарская, «отправить на Аптекарскую». Несколько лет спустя больницу стали называть психушкой, звучало почти домашнему, если бы не сообщения в «Хронике» о *принудительном лечении*. Когда это слово прозвучало впервые, до отъезда Штрумеля в Израиль или после? Алик уехал вскоре после шестьдесят восьмого, после чехословацких событий; вернее, после самосожжения того студента-математика около памятника Свободе. Сгореть ему не дали, а запихнули в психушку и держали там. Алик сам едва не загремел туда же: он этого парня хорошо знал.

Иногда абсурд отступает: теперь оба живут в одной и той же стране, и Алик больше не прячет самиздатовские пачки в корзину с грязным бельем.

...Дед начинал говорить нетерпеливо, но путано: складывалось впечатление, что после вчерашнего их расставания и до сегодняшней встречи он продолжал

говорить – вслух или про себя, но продолжал. От этого цепочка его монологов выглядела, как роман в журнале, где очередной отрывок заканчивался многообещающим «продолжение следует», однако большинство номеров отсутствуют. Он мог начать рассказ о свадьбе Ларисы и Германа, потом внезапно понизить голос и полупшепотом заговорить о каком-то «громовом кресте», таинственных списках, «где есть и мое имя». Карлу делалось тоскливо и тревожно: безумие в семье, в генах?.. Старик резко сворачивал на бабку: «Будь проклят день, когда я женился» – и вдруг подмигивал, кивая на удаляющуюся фигуру в длинном халате: «Вон тот всегда кричит по ночам». Переводил дух и с новыми силами возвращался к жене: «Как она могла, с-с-стерва, про покойных!.. Умирать буду – не прошу».

Не все было понятно из того, что он говорил, но деду и не требовалось понимания – ему был необходим слушатель.

Слушал Карл по-разному, то отвлекаясь, то сосредотачиваясь. В воспоминаниях о свадьбе родителей – к нему старик возвращался несколько раз – вдруг проскользнуло имя двоюродного брата отца: Коля, и дед внезапно засмеялся. «Герман никогда не называл его по имени: “кузен” да “кузен”; ну, кто-то возьми да скажи: “Кузя”. Смеху было!..»

Что бы сказал старик теперь, когда отыскалась внучка отцовского кузена? Карлу помнился дед щеголем, каким он был до больницы: все еще стройным в восьмом десятке, с заботливо причесанными волосами, тщательно выбритый; помнилось, как он целовал руки женщинам, и у него это почему-то не выглядело смешным или

старомодным. Дед, наверное, и девушке этой поцеловал бы руки да еще прибавил что-нибудь вроде: «Я вашего деда хорошо помню».

С одних воспоминаний старик перескакивал на другие: «Хозяйство, вот что главное. Твой отец хозяйство понимал, у него хутор был – игрушка, к нему приезжали...» Кто и откуда приезжал, узнать не пришлось, потому что дед стал вдруг жаловаться: «Хоть бы кофий давали по утрам, так не-е-е-т: пойло, бурда сладкая. Другие пьют, а мне в глотку не лезет. Я-то к кофию привыкши». Замолкал было, но ненадолго. Делал строгое лицо, таинственно понижал голос, и Карлушка знал: сейчас опять заговорит о «громовом кресте». Что и происходило.

От авантюрного словосочетания, повторенного дедом несколько раз, что-то мелькнуло в памяти, и по пути домой он думал, где могло встретиться такое средневековое название. Собрался было позвонить матери, однако вовремя одумался и звонить не стал, боясь вызвать из небытия «Париж». Вспомнил; сбросив в прихожей пальто и туфли, кинулся к письменному столу: папка, черная папка!

Старые газеты, казалось, стали более шершавыми и хрупкими. Бережно листал, невольно задерживая взгляд на заголовках:

Испытание аэро-саней

СОВРЕМЕННЫЙ УХОДЪ ЗА ВОЛОСАМИ

ПАРИЖСКАЯ ЯРМАРКА

съ 4—18 мая

Гдѣ же выходъ?

Похожденія старика съ дѣвочкой

В конечном итоге нашел то, что искал: «Приговоръ объявленъ в окончательной формѣ». В сегодняшней газете напечатали бы под рубрикой «Из зала суда», потому что речь шла о судебном процессе над членами этого самого «Громоваго креста». Карл пробежал глазами заметку, перечитал еще раз, но не понял, за что судили этих людей и чем, собственно, занималась организация с инквизиторским названием. Военный суд – приговор в девять страниц – нарушение закона – подсудимые себя не признали виновными, но «судебное слѣдствіе доказало ихъ вину». В чем заключалась вина, так и не говорилось.

Хорошо бы показать той девушке с длинным шарфом черную папку и посмотреть на ее лицо. Пусть бы она увидела сразу обоих, отца и своего деда, на фотографии «Аяксов». Дать полистать старые газеты – вот удивилась бы! Карлу самому недавно захотелось снова прикоснуться к тому невероятному времени, кусочек которого за наивным игрушечным замочком. Но разве это интересно современным девушкам? С какой стати ей интересоваться тем, что наверняка сегодня не волнует даже профессиональных историков? Тем более что это его дед, а не ее, был в каких-то тайных списках, но на скамью подсудимых не попал. Или

попал?..

Эти размышления вернули тогда Карла в больницу без дверных ручек. На следующий день после путаного разговора «продолжение следовало»: старик опять поджимал строго губы, намекал на то, что мог занять какой-то важный пост, не говоря при этом о своей – все еще непонятной Карлу – роли в политических играх прошлого. Спросить? Но с «Громоваго креста» дед легко переключился на осенние листья, которые «некому на хуторе собрать и сжечь, это что ж будет весной-то». Карл его успокаивал: позаботимся, не волнуйся; но старик, забыв о листьях, вдруг жалобно, как ребенок, попросил: «Ты заberi меня, сынок, отсюда. Худо мне тут. Худо...»

И все же, как бы бессвязно дед ни говорил, что бы ни плела бабка, у Карла не было сомнений, что старик нормален.

То же самое подтвердил усталый врач, с еще более красными, чем при первой встрече, глазами.

– Мании нет. Депрессии тоже; а темперамент мы не лечим. В пятницу выпишем.

В ночь на пятницу дед умер.

Смерть, внезапную и непонятную, как и временное его помешательство, обнаружили только утром и так же, как помешательство, объяснили возрастом: больше объяснить было нечем.

В ту злосчастную пятницу в больнице, затем на кладбище и после него Карла непрерывно мучил единственный вопрос: простил он бабку или так и заснул с

ожесточенным сердцем, не ведая, что проснуться не суждено?

Кроме того, не покидал страх за мать: как-то отзовется на ней смерть деда? На смену длинному слову «потрясение» вскоре придет короткое и модное: «стресс», точно щелчок от натянутой и резко отпущенной резинки.

Насколько он знал, мать никогда не была близка со стариками, однако смерть – явление конечное, и древняя заповедь «aut bene aut nihil» выпрямляет наше отношение к умершему, как смерть распрямляет его самого. В гробу дед лежал, освобожденно вытянувшись во весь рост, и Карлушка не удивился бы бутоньерке в петлице – таким нарядным выглядел старик.

Куда девались бабкины агрессивность и яростная ненависть? Карлу показалось: ушли вместе с дедом. С похорон вернулась усталая равнодушная старуха, и когда она сняла черный платок, он впервые заметил белую ровную борозду на месте пробора – седые корни русых и пышных, как у матери, волос. Понял, что бабка давно красит волосы, и догадался обостренным каким-то чутьем о причине многолетней злобы и ядовитых скандалов.

Она ревновала – беспощадно, дико, изнурительно ревновала семидесятипятилетнего старика. Ревновала – и вызывала ответное чувство такой же уродливой силы. Оба не могли жить без этого, как не могли жить друг без друга. Должно быть, началось это гораздо раньше, когда оба были молоды, и только так можно было объяснить вечный накал между ними. Это было не смешно, но страшно – особенно теперь, когда бабка осталась одна.

Снова подумал: простил? Не простил?

Не мог вспомнить, плакала бабка на кладбище или нет. Когда приехали на

хутор, старуха подошла к табличке и медленно провела ладонью по буквам «У озера».

В этот момент он сам чуть не заплакал.

Не заплакал – ни тогда, ни четыре месяца спустя, когда она умерла. Карл очень боялся за мать, особенно после так напугавшего его «Парижа». Но, как ни странно, Лариса перенесла вторую смерть легче, чем можно было ожидать.

– Папа говорил, – и Карлушка не сразу понял, что она имеет в виду Германа, – я помню. Мы возвращались с хутора, сидели в вагоне, и он меня успокаивал: «Пока они вместе, они будут скандалить, иначе не умеют. Главное, что они вместе». С тех пор я боялась, как же будет, когда один из них... А теперь вот...

Остановилась и полезла в карман за платком.

– Мне кажется, теперь я понимаю, что он хотел сказать.

Лариса повернула к сыну заплаканное лицо, но слез больше не было.

– В тот самый день, – продолжала медленно, – повернулся ко мне – он галстук завязывал – и произнес: «Как странно, правда?». Но что «странно», не сказал – не успел.

Помолчав, добавила:

– Теперь я понимаю.

Можно было не пояснять.

Смерть резко обостряет восприятие, потому что наглядно и беспощадно демонстрирует, как настоящее становится прошлым. Отец это почувствовал за секунды до смерти и нашел единственное слово: «странно». Сколько Карлушка ни пытался подобрать другое, ничего не получалось.

Странно, правда?

Что-то со звоном упало в ванной. Наверное, таз: Мария Антуанетта затеяла стирку на ночь глядя. Оно и понятно: никто не помешает. Сейчас лучше не выходить: начнет жаловаться, что «годы не те», ему неудобно будет не дослушать до конца, а конца этим жалобам не предвидится.

Аглая, давно жаловавшаяся на боли в боку, выучила трудное название своей болезни и не без кокетства уверяла, что «этот холецистит» сведет ее в могилу. Путь оказался таким коротким, что никто не успел развеять ее заблуждение и свалить вину на рак поджелудочной.

Еще не зная о куцем отпущенном времени, она продолжала доживать потерявшую смысл жизнь: варила кофе, который доктора запретили ей пить, сортировала яблоки, которые есть больше не могла, и собирала черную рябину, уродившуюся в огромном количестве. Быстро уставала и возвращалась в пустой дом. Лариса с Карлом по очереди ездили туда, чтобы не оставлять ее в одиночестве.

Одиночества Аглая боялась: «Придут, будут спрашивать». Кто мог прийти и о чем стал бы спрашивать, не говорила. Воры? Но воры не спрашивают...

– Какие там воры, – раздраженно отмахивалась она, – другие придут.

Для Карла все это было продолжением абсурда, филиалом Аптекарской улицы, пока бабка не упомянула вдруг «Громовой крест». Карл чуть не поперхнулся чаем: он, признаться, подзабыл об этом «кресте», и стал внимательно прислушиваться.

– Придут, вот увидишь. Только ничего не найдут: он все пожег тогда, все бумажки. И на чердаке нету, ты не думай. Хлам один, ничего там нету. Все пожег,

все.

То же самое говорилось Ларисе.

На фоне всего услышанного мифический Париж растаял, как и страх перед ним. Мать рассказала Карлу то небольшое, что знала сама.

Нет, дед не бредил, говоря о «тайных списках». Он состоял в рядах «Громого креста», но был рядовым членом и под суд не попал. Чем занималась эта организация, Лариса не знала («я никогда не интересовалась политикой»). «Громовай крест» был запрещен; организаторы то ли сели в тюрьму, то ли были высланы за границу. Процесс был громким, и когда он окончился, «Громовай крест» продолжал существовать, теперь уже подпольно, и сколько насчитывал членов и кандидатов в члены, известно не было. Ореол тайны вокруг имен, вкупе со зловещим названием, придавал «Кресту» популярность. О «секретных списках» говорили с оглядкой и вполголоса (Карлу не составляло труда представить это – перед глазами стоял дед).

Тайна перестала быть тайной в сороковом году, когда списки попали в НКВД.

Каким образом дед избежал расстрела или, в лучшем случае, тюрьмы и лагеря, Лариса не знала. Однако не избежал страха – и жил всю оставшуюся жизнь под страхом, что когда-нибудь это должно случиться, за ним придут. Движимый страхом, новую власть принял до неприличия пылко и приветствовал национализацию хуторов (включая собственный), шквалом прошедшую по деревням в сороковом году. Соседи пребывали в недоумении от нового способа хозяйствования, который так плачевно сказался на результатах, что в декабре власти торопливо денационализировали отнятое в июле...

Лариса с Германом и маленьким Карлушкой в то время ехали в ссылку, и только шестнадцать лет спустя, когда они вернулись, мать рассказала ей о происходивших событиях. Сопереживания не встретила, да и чему было сопереживать, страху? О сибирской жизни Лариса говорила родителям мало и редко. Они с Германом жили далеко, трудно и можно было бы подумать, что в совсем другой истории, не находишь они тоже под неусыпным контролем НКВД.

Громко хлопнула входная дверь: пришли Дорофеевы, новые соседи. Молодая пара, они жили здесь не меньше пяти лет, но все еще считались «новыми». Дорофеевы вселились в комнату Праскудина, который с тех пор стал называться «старым» соседом, хотя старым он как раз не был, подтвердив это тем, что съехал не просто так, а «по причине вступления в брак», как он сам выразился. Нет, ни на одной из девушек, которые иногда приходили вместе с ним, а поздно вечером исчезали – ни на одной из них, похожих друг на друга и на самого Праскудина, он не женился. Избранницей соседа оказалась яркая рыжеволосая особа лет сорока, с красными губами и такого же цвета длинными ногтями. Пышно взбитые волосы и «шпильки» делали ее выше Праскудина. Вся она была какая-то вытянутая, с длинными ногами и руками, а в тонких длинных пальцах держала сигарету в длинном мундштуке. Когда Праскудин привел ее в первый раз, она долго осматривалась в прихожей, громко и протяжно о чем-то спрашивая. Мария Антоновна, по своему обычаю, прошествовала в туалет и вышла с деревянным кругом под мышкой; гостью это удивило и позабавило, и она спросила, растягивая слова: «Вале-е-ера, а унитаз она то-о-о-же унесет?».

Карлу, вынужденно торчавшему в прихожей у телефона, сцена запомнилась. Мария Антоновна, потрясенная этими «Вале-е-ера» и «она», плакала у кухонного окна, а потом объявила, что «вычеркнула этого человека из своего сердца».

Вычеркнутый Праскудин вскоре переехал, а вместо него вселились Дорофеевы с двумя велосипедами, одержимые здоровым образом жизни.

«Все пожег», – повторяла бабка. Но что там было такого, что нужно было сжигать, и чем, собственно, прогремел «Громовой крест»?

– Да что я знаю, – смешалась Аглая. – Он мне ничего не рассказывал.

«Простил ли?» – в который раз подумал Карл.

– Потом начал бумагу жечь, – продолжала старуха.

«Потом» относилось, вероятно, к событиям тридцатилетней давности. Она, казалось, поняла и пояснила:

– Когда суд начался. По всему дому собирал книжонки, листки какие-то, чтоб только никому на глаза крест не попал.

– Какой крест-то?

– А погнутый такой. Как у немцев был.

– Свастика?..

– Ну да, как на флагах и на повязках ихних. Да я в этих делах мало что понимаю. Может, другое что было. Да ты ешь, сынок, ешь, ты же с работы!

Было о чем задуматься.

Как мало он знал о жизни деда! Сидел рядом с ним в больничном коридоре, курил, выслушивал то, что принимал за бред возбужденного старческого

воображения, не задавая, по лености воображения собственного, никаких вопросов, а ведь старик наверняка их ждал. И ведь хотел спросить, а теперь... Теперь ему об этом даже не скажешь.

Никаким психозом дед не страдал – его мучил многолетний страх, но об этом Карл узнал от матери. Может быть, бабушка рассказала бы больше, но не успела.

Точное слово выбрал отец: *странно*. Ибо никаким другим не передать состояние души, когда видишь, что несколько дней назад человек лежал на больничной кровати, тянул пожелтевшую руку к стакану, шевелил губами, что означало «спасибо», «да» или «нет», все более *отстраняясь*, необратимо уходя в другую сторону; то было только накануне, и пришел следующий день – рука тянулась к стакану, но завтра не наступило, потому что губы и веки сомкнуты навсегда – сегодня.

Как странно: Герман Лунканс, его отец, прошел сложный и неожиданный путь от скромного члена коммунистической ячейки до богатого кинематографиста и мог бы погибнуть в Сибири как антисоветский элемент, однако не погиб, а стал простым переплетчиком. Могло сложиться так, что трудился бы в переплетной мастерской до пенсии, если бы капризная судьба не потребовала симметрии: извлекла из небытия его знаменитый фильм, а самому Герману отвела роль свадебного генерала на открытии новой киностудии. Он только успел сказать: «Как странно», и эта фраза относилась к его новой роли тоже: отец не хотел участвовать в пародии. Не хотел – и был мгновенно и милосердно от этого избавлен.

Аглаю похоронили в начале февраля. Рядом заснеженным холмиком возвышалась дедова могила.

Простил ли он жену, успел ли простить?..

Трудно было представить их безмолвно лежащими в земле, без обычных перепалок, взрывающихся безобразными громкими скандалами, хотя в последнее время они оба стали слабыми и беспомощными: испуганный ссутулившийся старик в больничном коридоре и желтая иссохшая старуха, с усилием выпрастывающая руку из-под одеяла.

Через два дня после похорон Настя уехала в ГДР.

Карлу запомнилось несколько фраз – должно быть, он задавал какие-то вопросы, жена отвечала быстро, лаконично.

Дождешься у них путевки, как же.

Лиза прислала приглашение, она же обещала.

Все оформила, не волнуйся.

Не хотела тебя дергать – вам было не до меня.

А что, собственно, произошло? Жена взяла отпуск и едет в Германию провести собственную тетку. А что одна едет, так это только естественно – им обоим такая поездка не грозит.

Резанула одна фраза: «Вам было не до меня». Этими словами Настя отделила себя от него, и – да, наверное, какая-то правота здесь была, но Карлу в ее голосе послышалась обида, которая его неожиданно задела. Если бы не одни похороны за другими, не предшествовавшая этому тревога за мать, не поездки на Аптекарскую и если бы, черт возьми, не Настин внезапный отъезд в ГДР – одним словом, если бы не все «до» и одно «после», то обиды бы ушли. Обнять бы ее покрепче, уболтать какой-нибудь ласковой чепухой, заверить, наконец, что впереди полным-полно

отпусков, которые они проведут вдвоем – помнишь, ты хотела на Черное море, в пансионат? Или просто сварить бы кофе и выпить вместе, заливая ароматной горечью горечь в душе...

Ничего этого он не сделал – не хватило мудрости.

Или... или не хватило любви?

Чего-то не хватило.

Однако так он думал сегодня, спустя больше чем десять лет, а тогда, после возвращения с кладбища, было не до формулировок. Потому поступил, как всегда, если не знал, как себя вести: вышел с сигаретой на балкон.

На сцене это выглядело бы, как конец первого действия: *Глостер выходит. Медленно гаснет свет.*

Хотя... Это у Шекспира почти в каждой трагедии присутствует Глостер или Кент, а то сразу оба. Здесь проще: *Карл выходит.*

В тот вечер мелкий и злой февральский снег ветром задувало на балкон, поэтому приходилось держать сигарету в наполовину сомкнутой ладони, чтобы не промокла. Так он в детстве держал светлячка, а рядом на гравиевой дорожке стоял отец. Что ж, самое время поехать и отыскать тот дом, если он сохранился; станешь ждать лета, снова что-то помешает. Для матери это будет самым лучшим отвлекающим моментом, а Настя... Настя будет в Германии.

Вам было не до меня.

Один и тот же балкон, тогда и теперь, однако запомнил стоявший на полу цветочный горшок – откуда он взялся, куда делся потом? – цветочный горшок без

цветка, но со съжившейся землей, на которую косо падал снег, и перед глазами всплыло кладбище, островки мерзлой земли и снег, снег вокруг.

Какое-то время было слышно, как в ванной льется вода, потом перестала. Прощально звякнул таз, который Мария Антуанетта задвигала под ванну. Дорофеевы, тихо переговариваясь, упруго и быстро прошли на кухню. Сейчас заварят какой-нибудь полезный травяной чай – и спать; не позже одиннадцати.

Неужели когда-нибудь он будет жить один? Трудно поверить. Обмен может занять полгода... Да хоть бы и год!

Фраза «вам было не до меня» вспомнилась Карлу еще раз, уже после ГДР, когда Настя сообщила, что сменила работу. Не объявила даже – обронила проходя обыденным голосом, как если бы сказала, что пора ужинать. Причем не «собираюсь сменить» или «сменю», а именно так: «сменила работу». «На что же?» – вяло сострил он, и жена тем же обыкновенным голосом сказала, что через две недели начинает работать в морском порту. Переводчиком, конечно; как-никак у нее два языка. «Ансельм очень хвалил мой немецкий».

До Карла не сразу дошло, что Ансельм – это Лизин муж; он думал не о немецком. Было бы намного понятней, если б она сказала, что устала от цеха, сыта по горло конвейером или что пора работать по специальности.

Что задевает больше – слова или молчание?

Но это было после поездки в ГДР. Оттуда Настя вернулась какая-то... новая. Вся, от прически до туфель, и, если бы не знакомая и любимая ямочка на щеке, ему пришлось бы долго привыкать к новой Насте. Даже улыбка у нее изменилась: губы

улыбались, а глаза почти не меняли выражения.

Новую Настю, как выяснилось, ждала новая работа и курсы экскурсоводов, на которые наконец-то удалось попасть. Все вместе, работа и курсы, «открывали новые перспективы», как она выразилась. Точно так же она говорила о «перспективной теме», когда училась в университете, и о необходимости «расти над собой».

О Германии жена рассказывала сумбурно, взалхлеб. Он запомнил слова: «другая планета».

Послышался резкий долгий скрип. Старик открывал дверь очень медленно. Он и раньше-то не делал торопливых движений, а с тех пор как обзавелся палкой, стал еще медлительней. Самое длинное его путешествие – от комнаты до кухни, и предпринимал он его не более двух раз в день. Шаги Старика, с каждым годом все более неуверенные, теперь сопровождались глухим тюканьем резинового наконечника палки. Вот кто «другая планета», вдруг подумал Карл. Что он знал о человеке с красивым именем Таливалдис? Раз в месяц почтальонша приносила ему пенсию. Старик долго шел по коридору к двери, ставя палку так, словно отталкивался от пола. Держа наготове ведомость, почтальонша терпеливо дожидалась, пока он приблизится, протягивала деньги и химический карандаш – расписаться. Вместо «спасибо» Старик протягивал ей рублевую бумажку и коротко кивал. Засовывал деньги в пиджачный карман, брал прислоненную к стене палку, поворачивался и так же медленно шел в обратном направлении.

Как-то, увидев Старика на кухне (вернее, его спину и затылок с твердыми желто-серыми ушами), Карл подумал вдруг, что этот человек вполне мог входить в

«Громовой крест» вместе с его дедом. Либо он мог принадлежать к так называемым «метким красным стрелкам», вошедшим в историю за фанатичную преданность делу революции. Хотя, будь он стрелком, он не жил бы в тесной комнатухе, не питался бы круглый год одной овсянкой, нет, а наверняка обретался бы в комфортабельной просторной квартире вроде той, где жили они до смерти отца.

А еще подумалось, что отец сумел бы «достучаться» до Старика.

В тот день он проводил жену на вокзал, перешел на другой перрон и поехал в деревню. Здесь было совсем снежно. Ветер налетал порывами и обдувал с сугробов снежную пыль, подкидывал и крутил из стороны в сторону дощечку с названиями хутора.

Внутри горел свет: мать приехала раньше. От напряжения и недосыпа последних месяцев она похудела, черты лица стали резкими, под глазами лежали тени. Плита горела, но мать зябко куталась в бабкин шерстяной платок.

Здесь ничего не изменилось: стоял привычный запах кофе, на столе лежали бабкины очки со сложенными, точно руки у задумавшегося человека, дужками; на спинке стула висел дедов пиджак. Карла вдруг пронзила мысль, что дед умер, так и не вернувшись домой, словно он снял пиджак – и отправился в больницу умирать.

Абсурд, абсурд.

Мать потянулась за очками. Встретив недоуменный взгляд Карла, пояснила: «Это мои, сынок». На секунду представилось, что матери больше нет, и он тем же движением протягивает руку к очкам – к его собственным очкам, в которых он пока не нуждался, однако чувство *смещения времени* было таким острым, что он помотал

головой.

Они мало говорили в тот день. За окном стемнело. Впереди был выходной плюс три дня за свой счет, чтобы прийти в себя и навести порядок в доме.

Начали с дома – это было проще. Вопреки опасениям Карла, мать держалась спокойно, пока не дошла очередь до большого шкафа в спальне. Шкаф оказался плотно набит вещами, они были почти спрессованы внутри. Лариса вынимала кипы постельного белья, трикотажа и передавала сыну; он все складывал на кровать. Изумление нарастало.

– Откуда... столько?

Мать пожала плечами.

Было чему изумляться: вещи были новые, с этикетками. Из сложенного купального полотенца выпал чек трехлетней давности. Наволочки, тисненные шелковые шторы, пододеяльники, отрезы тканей, какие-то узорчатые покрывала... Сколько лет все это приобреталось, где, для чего?.. Все, что он видел на хуторе, состояло из самых необходимых вещей; одни и те же полотенца бабка стирала, сушила и снова вешала на кухонные крючки.

Апофеозом явились шубы: каракулевая, норковая и неизвестного обоим дымчатого меха, очень легкая и мягкая.

– Это все ее... бабушкины были? – спросил Карл.

Лариса тяжело опустилась на кровать.

– Ни разу не видела ни одной, – ответила устало. – Меня другое удивляет... – Замолчала, глядя не на шубы, а в пол; потом продолжала: – После Сибири мы ведь нищие вернулись. По тарелке, по чашке, по полотенцу, – она кивнула на висившиеся

кипы новых полотенец, – по одному полотенцу в зарплату покупали. А тут...

Карлушка помнил.

– Я знаю, деньги у них были; наверняка лежат на книжке. Может, найдется тут где-нибудь – там указано, кому вклад в случае... – мать запнулась, – и завешание должно где-то быть, дед мне говорил. Очень боялся, что, когда они умрут, дом заберут. Тут неподалеку мыза «Подсолнухи» была, помнишь? Хозяева были бездетные старики; как только они ушли, там клуб открыли.

О Насте мать не спрашивала. Сам он несколько раз возвращался мыслями к ее неожиданному отъезду, но как-то рассеянно – все время что-то отвлекало. Например, в кухонном буфете вечером нашлось завешание. Дом и все, что к нему относилось, по смерти деда переходили к бабке, а «в случае смерти оной», предусмотрительно оговоренной витиеватым юридическим языком, становился собственностью Карла.

Имя матери не упоминалось.

Лариса кивнула:

– Разумно. Пойми, Карлушка, для них дом значил очень много. Не всегда ведь они грызли друг друга. Мечтали, что у тебя семья появится, дети... – осеклась и начала убирать со стола. – Нет, разумно они рассудили, – и стала убирать со стола.

В том же буфетном ящике лежала пачка квитанций об уплате налогов и какие-то магазинные чеки. Мать рассказала, как родители заставили ее взять деньги – «на обзаведение молодым»:

– Помнишь, мы тебе костюм поехали покупать?..

Он курил, сидя на кухне, отдыхая от всего сразу: от мыслей о ГДР, от

непонятных шуб, от залежей промтоваров на втором этаже, где впору было повесить табличку «Инвентаризация».

Мать улыбнулась.

– Да нечего там инвентаризировать. Главное, они вдвоем меня убеждали перед вашей свадьбой, что у них денег куры не клюют. Сами, мол, ни на что не тратят, а вам нужнее. Наверное, все деньги тогда и отдали.

Было поздно, но Карлу не спалось. Он слышал, что мать тоже не спала. Накинул пиджак и спустился в надежде найти что-нибудь почитать.

Мать покачала головой.

– Книги? Если есть, то где-нибудь на чердаке.

С ключами в руке было легче представить себя владельцем хутора. И трех шуб, съехидничал мысленно; не отнести ли их на чердак?

Он никогда здесь не был. Похоже, сюда вообще редко заходили: пол был усеян какой-то трухой, по углам лежал мусор, похожий на сметенные кое-как осенние листья. От сквозняка то тут, то там слышался легкий шорох. На полу лежали доски, накрытые мешковиной: должно быть, дед собирался что-то ремонтировать. Тут же – мятое ведро с засохшим цементным раствором. У стены стоял старинный изящный буфет из какого-то благородного, даже при этой тусклой лампочке видно, дерева. Одна дверца была сломана, другая, перекошенная, беспомощно висела на одной петле. Доски и окаменевший цемент в тусклом ведре странно диссонировали с буфетом. Внутри на полке оказались потемневший латунный подсвечник и несколько щербатых тарелок. Карл огляделся. В деревянном ящике, стоявшем торцом, лежала стопка пыльных журналов. В углу он заметил еще один ящик –

вдруг книги? – и шагнул вперед, но в этот момент что-то тихо зашелестело прямо над его головой. Подняв глаза, увидел какую-то плотно набитую кошелку – она висела на крюке, вбитом в балку. Поколебавшись, снял кошелку с крюка и заглянул внутрь.

Бумажная труха, пестрая и грязноватая; больше ничего.

Сунул руку вглубь – и выдернул: по рукаву, цепляя лапками за ткань, побежала мышка, очумевшая от собственной смелости, устремила к плечу и, мгновенно скатившись вниз, скрылась из виду. Он стряхнул с рукава невесомые сухие хлопья и смотрел, как они падали – серые, зеленоватые, розовые.

Старики говорили правду: денег у них куры не клевали – их погрызли мыши. В труху.

В дальнем углу нашлась еще одна сумка –местилище денег и облигаций; на облигации мыши не польстились.

В квартире было тихо. Он не заметил, как погасли окна дома напротив – только одно все еще горело. Знал по опыту, что не уснет – какой же смысл лечь?

– Из-за этих денег они друг друга поедом ели.

И горько закончила:

– И съели.

Они с матерью тогда так и не уснули, как он сейчас.

Мать рассказала немного, говорила скупно, надолго замолкала: слишком свежа была боль потери.

Дед всю жизнь осторожничал. Соседям неизменно жаловался на убытки; дома

озабоченно качал головой и поговаривал о продаже хутора. Время от времени уезжал – якобы по хозяйственным делам; позднее выяснилось: на ипподром. Ставки делал небольшие, но ему постоянно везло; для азарта был неуязвим. Отец с матерью часто говорили о деньгах с непременным сетованием на их нехватку. Несколько раз выигрыш оказывался крупным. Только ли ипподром помог или что-то еще было, но вскоре отец купил в городе небольшой дом; спустя несколько лет – второй. Прибавилось жалоб, теперь уже на жильцов и городские налоги.

– Как только мне восемнадцать исполнилось, я уехала в город: надоели эти разговоры. Мать все боялась, что он деньги утаивал, тратил на женщин. Я научилась печатать на машинке, работала; так и папу встретила, мы почти сразу поженились. Родители гордились, что зять такой знаменитый. И ему тоже на безденежье жаловались, не стеснялись. Мы квартиру снимали в том доме, который твой дед купил. Платили, разумеется, как все остальные жильцы.

Помолчала.

– Когда мы разорились, то поехали к Карлу, папиному отцу; он и не знал, что у него скоро внук появится. Сюда мы навещались редко, Герман с головой в свое хозяйство ушел – его отец умирал, когда мы приехали.

Она заплакала.

– Мне тяжело... стыдно было перед ним, что мои родители... вот такие, понимаешь? И перед собой совестно: ведь своих родителей стыжусь!

Карлушка молчал. А что скажешь?

– Вот так, – мать глубоко вздохнула. – К счастью, мы сюда нечасто приезжали: маленький ребенок, мол, хозяйство; не обижайтесь. Знала: приедем – и снова

начнется: деньги, налоги, жильцы, убытки... Когда начался суд над «Грозовым крестом», дед притих: на бегах перестал играть и начал быстро избавляться от недвижимости. Продавал не дом, а квартиры по отдельности. Выгодно продал. Люди охотно покупали, кто не мог себе позволить дом. Купил квартиру – и сам себе хозяин.

Она закуталась плотнее в платок, откинулась на спинку стула.

– В сороковом году пришла советская власть, объявили равенство: всем стало одинаково плохо, никто больше ничем не владел. Дед радовался: вовремя продал! Мать была спокойна: деньги в банке. А тут все вклады национализировали, как и дома, и магазины – помнишь, Лиза рассказывала?

Однако мой отец не волновался. Знаешь почему? Банкам не доверял. Где уж он хранил деньги – и немалые, наверное, – не знаю. Хотя теперь, – горько засмеялась она, – теперь знаю...

Карлушка тоже знал.

– Я сказала, что всем стало одинаково плохо. Да только так не бывает: многим стало хуже. И получилось, что остальным, кому плохо было... оказалось, что им хорошо, понимаешь? Потому что одних, вроде нас, отправили за тридевять земель – и никто не знал, вернемся ли; люди искренне сочувствовали, конечно, но вместе с тем радовались, что это случилось не с ними, что они остались у себя дома. Это как похороны: только самые близкие безутешны, а другие с облегчением думают о том, что они-то, слава богу, остаются по эту сторону земной поверхности. Лица печальные, в руках цветы, но на душе покой.

Жадные, недоверчивые, сварливые старики, давно примиренные землей, в которой покоятся, – почему они вспомнились сейчас, зачем встал перед глазами чердак с трухой из бывших денег, советских и досоветских, нелепые шубы, залежи мануфактуры? Жадные, вздорные, в страхе прожившие жизнь, не почувствовав ее прелести, – они его по-своему любили. Понять бы их – смотришь, и себя понять было бы легче. Потому что спектакль подошел к концу, а кем в этой пьесе был он, Карл Лунканс, главным героем или эпизодическим лицом, до сих пор не ясно.

Он подошел к окну. Так и есть: одно окно напротив светилось, беззащитное и какое-то голое среди других, спящих, одетых в темноту. Ни штор, ни занавесок на окне не было, как в той чужой разоренной квартире с пятном на стене. Он снова увидел тесную кухню, ободранный ящик буфета со старой фотографией и смятенное, испуганное лицо девушки. Она давно приехала домой и рассказала мужу про фотографию и новообращенного родственника.

Муж представлялся Карлу плотным, спокойным, лысоватым – из тех *надежных* мужей, о которых мечтает любая девушка, как ему недавно объяснила жена. Надо съездить посмотреть квартиру в деревянном доме; интересно, насколько подтвердится его представление. Может быть, все окажется не так, и ему откроет дверь не девочка с косичками и не лысоватый надежный муж, а молодой лоботряс в джинсах с фирменными нашлепками. Какая разница, он придет смотреть квартиру, остальное его не касается. Счастливые ребята, все у них впереди. Как у них с Настей когда-то все было впереди, а теперь и Настя, и совместная жизнь остались необратимо позади, сколько ни оборачивайся.

Карл часто задавал себе вопрос: был ли он несчастлив в супружеской жизни?

Нет; но он не был счастлив. И снова пристально спрашивал: разве не был? А сын, Ростик?

Мальчик родился на четвертом году их брака, который все родные негласно уже считали бесплодным и вопросов о детях – сначала игривых, потом обеспокоенных – больше не задавали. Вспыхнувшие по поводу имени дискуссии Настя пресекла сразу: «Ростислав».

Торжественное имя не вязалось с худеньким равнодушным младенцем. Казалось, он больше всего хотел, чтобы его оставили в покое, и вся его компактная поза, со скрещенными ручками и ножками, говорила об этом. «Славочка, Славик», – умиленно шептала мать, боясь разбудить.

Для Карла сын не стал ни «Славочкой, Славиком», ни даже Славкой – он называл его Ростиком. Подрастет – будет видно, хотя представить этот хрупкий *росточек* озорным и бойким мальчуганом Славкой никак не получалось.

Мальчик остался Ростиком.

Карл все еще не сказал матери о разводе – откладывал со дня на день и сам на себя за это злился. Знали ли Настины родители, неизвестно, но это уже Настина печаль. А вот как объяснить одиннадцатилетнему Ростiku то, что Карл не мог понять в свои сорок, он не знал. Не станешь ведь рассказывать о пьесе длиною в пятнадцать с лишком лет, тем более что с появлением сына пьеса как-то потускнела, поскучилась, словно в антракте произошло что-то более важное, чем на сцене.

Когда стало известно, что будет ребенок, Карлушка не обрадовался, а растерялся: что-то кардинально менялось, нарушался привычный уклад. Он часто

потом вспоминал свою растерянность, и ему делалось стыдно перед Ростиком.

У мальчика были русые волосы, в которых светлела прядь, похожая на тонкий солнечный лучик. Позднее волосы потемнели, но светлая прядка осталась неизменной. Как и голубые глаза, хотя все предсказывали, что глаза потемнеют. Высокий, очень худенький, не по-детски тихий и задумчивый, – как ему объяснить происшедшее? А может быть, шепнула трусливая мысль, Ростик уже знает и ничего объяснять не надо?

Их с Настей жизнь была ровной и бесконфликтной и оставалась бы такой до благополучной седовласой старости, осложненной неизбежным ревматизмом или гипертонией. Без скандалов, пьянок, блудливых тайных ходок «налево», которые благодаря добрым людям становятся явными, – словом, жизнь была, как у людей, если не лучше.

И, как у людей, ровное и скудное течение этой жизни нарушалось только одним: Настя была недовольна.

Наверное, нужно было подойти, обнять за плечи нежно и крепко и спросить: «Что, милая?». Момент давно упущен, однако что такое «давно», как не цепочка бесчисленных мгновений, громоздящихся одно на другое, в результате чего теперь сидишь, куришь и пытаешься вспомнить, когда еще не поздно было все исправить.

Не обнял и не спросил, потому что знал: причина недовольства – он сам. Безынициативный муж, ничего в жизни не добившийся. Не кандидат, не депутат, не лауреат. Инженер, с Зинкиной иронической интонацией.

Лариса, почти потерявшая надежду дождаться внуков и тяготясь навязанным пенсионным досугом, любовно нянчила Ростика. Приезжала с утра каждый день, и в

один из дней Настя заговорила об обмене – с ним или прямо с матерью, он уже не помнил; наверное, все же с ним. Это звучало как «...наши две плюс комната Ларисы Павловны, и если с доплатой...», а для матери: «Вам же будет удобнее, никакой трамвайной давки по утрам».

Мать ничего не отвечала – *не услышала* и продолжала *не слышать*, будто бы ничего не было сказано; обыкновенный сценический момент – пауза.

Он ровно и медленно ходил по комнате, от окна к обеденному столу, потом обратно, иногда что-то машинально переставляя на книжной полке, – точь-в-точь как тогда, много лет назад, вернувшись с хутора. Сегодняшний вечер странным образом напоминал тот, оставшийся далеко позади: в квартире стояла такая же тишина и царил беспорядок, сопутствующий всякому отъезду, но не было Настиних вещей. А тогда Карлушка просто сгреб в охапку брошенные впопыхах блузки, чулки, платья, пахнувшие Настиными духами, и понес в другую комнату, споткнувшись о брошенные у порога туфли. Потом кругами ходил по комнате, вот так же бесцельно касаясь то спинки стула, то фотографии на стене; выровнял книги на полке. Взгляд скользнул по знакомым корешкам и выхватил «Сагу о Форсайтах». Вот и снотворное, подумал он и снял книгу с полки.

И пока не дочитал, назад не поставил. Возил с собой на работу, читал в троллейбусе и с сожалением закрывал, едва успев выскочить на своей остановке. Никаких унылых чаепитий, отпугнувших его в первый раз, не заметил. Откуда-то пришли на ум слова: *эффект присутствия*, и он обрадовался, как точно они описывали его ощущение. Далекие книжные Форсайты, с частицей неизбежного

английского абсурда, оказались более понятны, чем соседи по квартире – все, кроме одного. Вернее, одной: обаятельной Ирэн, которая единственная из всех осталась загадкой. Впрочем, она была загадкой и для собственного мужа. Разгадка пришла к Карлу, когда «Сага» была дочитана, но эффект присутствия сохранялся, и он с удовольствием вспоминал отдельные моменты даже сидя на работе.

От одного такого момента его отвлекла начальница копировального бюро. Она принесла новенькую кальку с его вычерченной схемой и журнал, в котором Карл должен был расписаться. Точеная – иначе не скажешь – рука с овальным перламутровым ногтем любезно указала строчку, где следовало поставить подпись, вторая точеная рука захлопнула журнал, после чего обладательница точеных рук поблагодарила его с улыбкой и отошла, деликатно постукивая каблуками.

«Какая женщина! – донесся сзади чей-то восхищенный голос, когда дверь закрылась. – Хоть в витрину ставь!»

Ирэн!..

Нельзя разгадать обаяние манекена – у манекена его нет, вот как у этой куклы с точеными руками, начальницы копирбюро, как нет его у Ирэн. Манекен служит наглядным пособием по моде, украшает витрину, чтобы прохожие поворачивались к нему. Головы всех Форсайтов тоже поворачивались к Ирэн, ею любовались, о ней говорили, в нее влюблялись, хотя разве можно влюбиться в манекен?

Я несправедлив, твердил себе Карл, ведь влюблен же Босини! Влюблен, глубоко и безнадежно, Сомс, и не может избавиться от чар этой женщины. Это для меня она манекен, пустьдвигающийся и говорящий, живая статуя, – другие находят в ней обаяние. И рядом – ее муж, который не вызывает симпатии, ибо меньше всего

стремится к этому: человек дела, воплощенное достоинство – и никаких эмоций на поверхности, только глубоко внутри. Не случайно, наверное, именно Сомс отправляется куда-то в английскую провинцию – Карлушка сразу забыл название – на поиски самого первого Форсайта, где встречает еще одного Форсайта, фермера. Это абсурд и вместе с тем глубоко логичная закономерность, итог поиска иголки в стоге сена: достаточно знать, что иголка находится именно там.

Не то же самое ли произошло сегодня, хотя он-то не искал никакой иголки, просто выяснилось, что она существует...

Он обернулся и всмотрелся в книжную полку пристальнее. «Сага о Форсайтах», в точности как тогда. Абсурд продолжался: разве Настя не взяла ее с собой? Или просто забыла?

А тогда все сложилось наконец, чтобы отыскать дом с гравиевой дорожкой, след к которому помнил только маленький черный мячик, сохраненный отцом. Если бы можно было бросить его перед собой, чтобы покатился сказочным клубком, указывая дорогу! К счастью, в этом надобности не было: поехали вдвоем с матерью.

Станцию Карлушка не узнал, потому что не помнил, как она выглядела раньше и было ли на ее месте что-то, кроме аккуратной дощатой постройки, выкрашенной в тусклый зеленый цвет. Название, похожее на перекатывающуюся во рту карамель, тоже ни о чем не говорило, да он и читать еще не умел, когда в последний раз отсюда уезжал.

– Далеко идти? – спросил он.

– Подожди, – мать отозвалась не сразу, – давай постоим.

Над станционными окнами лежали полосы снега. Крыша тоже была покрыта снегом, тонким и хрупким, как глазурь.

– День был жаркий, – негромко заговорила мать. – Сначала всех отправили в город; мы еще не знали, что нам предстоит.

– Кого «всех»?

– Людей с окрестных хуторов, вроде нас. Многие с детьми были... младше тебя, а то и совсем грудными. Да ты сам должен помнить.

– Я только солдат помню: мне звездочки нравились.

Мать медленно поправила волосы.

– Ты не знаешь, а папа тогда в Швейцарию собирался ехать. В Швейцарию, в сороковом-то году! Безумие, конечно. Он всегда таким был. А накануне – или за пару дней, не помню уже – неожиданно в город отправился, кузена проводить.

Они удалялись от станции. Справа оставалась насыпь и рельсы, впереди виднелись деревья.

– Мы не знали тогда, что ссылка – это еще не конец жизни. Мы даже не знали, как далеко нас повезут. А бедному Коле только месяц оставалось жить – в концлагере погиб.

Идя вперед (дорога поднималась в гору), он не знал тогда, что в старом ящике валяется фотография «Аякса», отцовского кузена, и, хоть он уже бывал прежде в том доме и разговаривал с дочерью «бедного Коли», не мог предположить, что сам же эту фотографию когда-нибудь найдет.

А ведь судьба намекала, подсказывала; разве нет? Что-то ведь заставило пойти в студию при Союзе писателей – не сценарий же читать с листа, в самом деле. Он

помнил, что машинистка читала рассказ, а с нею женщина была пьяная, у которой роман украли. Трудно поверить, что он туда пришел случайно – был толчок, чтобы решился; и пятно на стенке у машинистки в квартире долго стояло перед глазами.

Все на месте – и стенка, и пятно.

Дорога шла в гору, но мать не замедляла шага. Обогнули лесок, миновали две гигантские цилиндрические башни непонятного назначения, перешли мост.

– Кладбище, – мать кивнула в сторону. – Здесь папины родители лежат.

К кладбищу вела ровная снежная дорога. По обеим сторонам дороги зябли на февральском ветру высокие деревья.

– Клены, – вздохнула мать. – И раньше здесь клены росли, чудесная аллея была. Твой дед в молодости сажал. Их в войну вырубili под корень; это уже новые вымахали, молодые.

Почувствовать красоту, некогда здесь бывшую, не получалось, да и погода мешала. Природа в феврале напоминала пустую квартиру, в которой идет ремонт: серые разводы от старой краски и разлитые белила. Весь день был серый, и тонкие черные ветки деревьев над головой выглядели, как трещины на потолке.

Дом он узнал еще прежде, чем мать успела что-то сказать. Узнал, несмотря на то, что не увидел гравиевой дорожки – если она и сохранилась, то была покрыта плотным снегом. Узнал не потому что вспомнил, а каким-то внутренним чутьем. Если бы не оно, прошел бы торопливо мимо, скользнув взглядом по надписи «ШКОЛА» и по замерзшей гипсовой фигуре пионера, стоявшей перед лестницей на веранду. Никого вокруг не было. Воскресенье; школьники – живые, а не гипсовые – отдыхали.

Карлушка обошел пионера. Снег на ступеньках лежал чистый, не истоптанный. Верхние переплеты окон были составлены из разноцветных стекол.

Откуда взялась в нем эта прочная уверенность узнавания? Разве мало встречал он похожих домов, хотя бы на взморье или в пригороде, с похожими верандами и ступеньками, с разноцветными квадратиками и ромбами стекол, не говоря уже о гравиевых дорожках? И все же, и все же... Так хозяин быстро и безошибочно выбирает из связки одинаковых на вид ключей один, вставляет в замочную скважину, и замок послушно щелкает. Что-то подобное Карл ощутил, поняв, что именно сюда тянуло его все это время. Понял и то, что второй раз он не приедет – ни весной, ни даже летом, когда гравиевая дорожка, промытая снегом и дождем, окружит дом и сделает его еще больше похожим на дом его детства, только постаревший и уменьшившийся в росте. Дом, который помнит маленького мальчика на теплом полу, медленно передвигающего руку за солнечным лучом от одного цветного пятнышка к другому.

Не надо тревожить покой старого дома.

Глухой кашель из коридора вернул Карла в сегодняшний вечер, давно перешедший в ночь. Кашель, медленное шарканье, тупой стук палки: Старик, молча и упрямо живущий свою одинокую, наглухо запертую от всех жизнь. Так ничего не зная об этом человеке, ничего в нем не поняв, Карл переедет в другую квартиру и забудет о сутулой фигуре в вязаном жакете с растянутыми карманами, о желто-серых ушах, о палке, без которой Старика уже трудно было представить.

Развод, размен...

Досадная, раздражающая суета; но как привыкнуть к мысли, что Ростик будет жить с Настей и ее новым мужем в Москве? При мысли об этом все внутри начинало болезненно ныть. События между тем разворачивались быстро, и Настя с мальчиком уже уехали: учебный год в разгаре, вторая четверть самая короткая. Несколько раз Карлу удалось поговорить с сыном по телефону. Ростик ждал каникул: каждое лето он проводил на хуторе.

На звонок отвечал ровный мужской голос: «Слушаю вас». Карлушка здоровался, называл свое имя и просил к телефону Ростика. Голос вежливо отзывался: «Да-да, пожалуйста», и после этого говорил куда-то в сторону: «Ростислав!». Человек не отвечал на приветствие, но это искупалось мягкой, извиняющейся какой-то, интонацией.

Ничего плохого о своем преемнике Карл сказать не мог. Неожиданным оказалось разве что быстрое его появление. Когда Гена Кондрашин узнал, что Карлушка разводится, он первым делом спросил: «И кто он?». Дождался, пока тот закурил, и назидательно пояснил: «Женщина не уходит в никуда, *в туманную даль*. Если ушла, то к другому».

Его можно было понять. Жена подала на развод, не только не сказав Генке ни слова, но и продолжая готовить ему завтраки и ужины и «не игнорируя другие супружеские обязанности», как он ехидно выразился, зато в суде жаловалась на его «грубое и агрессивное поведение». В результате чего осталась жить в кооперативной квартире, ради которой Кондрашин из года в год ходил в одном и том же свитере и в столовой ел один суп. В квартиру же незамедлительно вселился муж номер два – не инженер, а начальник цеха на мясокомбинате. «Вот посмотришь, – говорил Генка, –

твоя тоже не будет жить одна. Свято место пусто не бывает».

Степан Васильевич Баев не имел никакого отношения к мясокомбинату – он был работником советского торгпредства в ГДР. Как Настя с ним познакомилась, Карлу известно не было, но каким-то образом, он догадывался, это связано с Германией, куда жена ездила несколько раз – то по теткинскому приглашению, то по путевкам, которые стали доступней с тех пор, как она сменила работу. Как бы то ни было, намерения у торгпреда Баева были серьезными. Не последним обстоятельством явилось, наверное, и то, что он недавно овдовел. Работа между тем настоятельно требовала его присутствия в ГДР, а присутствовать там он мог только будучи женатым: Министерство иностранных дел по-своему решало задачу о курице и яйце.

Встреча Карла с торгпредом произошла, когда тот помогал Насте – своей новой жене – перед отъездом. Вошли двое мужчин, и Карл не сразу понял, кто из двоих *герой новой пьесы*, пока вперед не шагнул коренастый человек лет пятидесяти с высоким лбом под коротким седоватым бобриком волос. «Вы готовы?» – обратился он к Насте, после чего кивнул второму на чемоданы. Таксист, догадался Карлушка, когда тот ухватил вещи и скрылся за дверью. Или у него свой шофер?.. Однако все это вспомнилось уже потом, а в тот момент он отчетливо видел только сына. Ростик, немного чужой в новой заграничной куртке «на вырост», стоял у письменного стола и держался рукой за угол. Плечи куртки были широкими, и Ростик выглядел в ней каким-то жалким, хотя не хотелось думать о сыне таким словом, но – да, он был жалким, потому что было жалко его, такого хрупкого и родного. Настя что-то начала говорить про обмен, и торгпред ее прервал: «Вы

предупредили, Настя?..». Карл удивился уважительно-отчужденному «вы» и не сразу понял, что «предупредить» о чем-то собирались именно его, бывшего мужа. Настя не претендовала на жилплощадь (она так и выразилась), поэтому обе комнаты поступали в полное распоряжение Карла. «Не хватало, чтоб она у тебя еще и кусок коммуналки оттяпала, – резюмировал Кондрашин. – В Москве небось у него хоромы ого-го! – И добавил: – Ты у нас теперь богатый жених: две комнаты. Не хило... Если что, – Генка подмигнул, – ты ключик-то дашь, по холостому делу?»

О квартире в Москве Карл не задумывался – хватит с него дел с обменом. Ростик по телефону сказал, что у него отдельная комната. Ни гордости в голосе, ни восторга – одна растерянность, и Карлу представилось, что он так и стоит в той нарядной куртке, сжимая в руке чужую телефонную трубку.

– Ты как там? – Карл говорил громко, хотя спиной чувствовал живой интерес Марии Антуанетты.

– Нормально, – бледным спокойным голосом отвечал сын.

Тощее меню вопросов быстро исчерпывалось. Мальчик послушно отвечал одним и тем же словом: «Нормально». Ходит в школу – так он и здесь ходил. В новом классе «нормально», что бы это ни означало, – и здесь было «нормально». Чуть более оживленно Ростик сказал, что в Москве в школах форма другая, похожая на солдатскую, представляешь, пап?

– Ну и как она тебе нравится? – ухватился Карл.

Помолчав, Ростик ответил:

– Нормально.

Ростик, мальчик мой, росточек мой любимый! Мне без тебя... Мне совсем не

«нормально», я давно забыл, как это – жить без тебя, Ростик.

Внутренний этот вопль – или скорее скулеж – прервал сын:

– Как бабуля себя чувствует?

Карлушка обрадовался, что Ростик так и сказал: «бабуля» в чужом доме, в чужую трубку. Признаться же в собственном малодушии не смог и потому ответил единственно подходящим словом:

– Нормально. Нормально, сын.

Емкое слово.

Он не слишком погрешил против истины: мать чувствовала себя почти нормально, после непонятого приступа головокружения. «Не комната, а карусель, – пожаловалась она Карлушке, – боюсь упасть». Началась другая карусель, стандартная: поликлиника, анализы, очереди. Теперь она должна была каждый день принимать таблетки «от давления», зато комната кружиться перестала.

О чем сказать в первую очередь – о разводе или о сегодняшней встрече? Вторая новость может настолько захватить внимание, что на первую просто не хватит эмоций. В голове начал выстраиваться диалог с матерью – торжество абсурда, если начать с длинного шарфа, словно его зацепившаяся нитка протянулась в далекую отцовскую юность, когда не было на свете ни его, Карла, ни той красавицы-машинистки, оказавшейся ни много ни мало его... кузиной, что ли? Если отцы – двоюродные братья, то они ведь тоже двоюродные?..

Начать можно просто и деловито:

«Свяжи мне длинный шарф, пожалуйста, – сейчас многие носят, это очень

удобно. Только не делай бахромку, а то зацеплю где-нибудь, вот как сегодня.

«А где ты зацепил сегодня?»

«Да не я зацепил, а девушка. Хозяйка квартиры».

«Что за девушка, какой квартиры?..»

«Ну, насчет обмена. Хочу поменяться – надоела коммуналка. И знаешь, что оказалось?»

Вот здесь нельзя ждать паузы, нужно продолжать.

«Мы оказались родственниками! Она, девушка эта, – внучка Коли. Папиного двоюродного брата! Случайно выяснили, когда она шарфом за ящик зацепилась». И пересказать абсурдный сюжет, то есть завернуть один абсурд в другой.

Как дальше пойдет, не очень понятно, но в конце концов она неизбежно должна спохватиться:

«А Настя что, тоже была?»

«Нет, Насти не было».

Это нужно сказать спокойно, твердо, безо всякой бесшабашности.

Мать снимет очки, отложит в сторону.

«Что-то случилось?»

«Мы с Настей разошлись. Она уехала, и я меняю квартиру».

Кратко и емко, почти патентная формула.

Можно быть уверенным, что ни обмороков, ни истерик не последует: матери это не свойственно. Таблетки «от давления» предотвратят, надо надеяться, его подскок. Осуждать Настю она не станет, за это можно быть спокойным тоже, и не из теплых чувств к невестке, а из-за него, хотя он давно уже любил не жену, а только

нежную ямочку у нее на щеке.

После того как будет сказано главное, можно вернуться к самой болезненной точке – Росту.

Странный вечер, странная ночь. В доме напротив погасло последнее бессонное окно. Сам дом выглядит от этого каким-то размытым и плоским, словно с исчезнувшим прямоугольником света он утратил объемность. Здесь, в темной комнате вокруг него, все предметы стало видно хуже, словно вещи закутались, желая спрятаться. Старое отцовское кресло было удобным, вставать не хотелось. Лень было повернуть руку, чтобы посмотреть на часы. Когда в книгах описывают бессонницу, герои мечутся и время от времени впадают в недолгое забытие, словно такое возможно на самом деле! Уже забылся так забылся, главное – не проспать будильник.

...Что-то сегодня случилось удивительное. Припомнил не сразу: мешала клочковатая темнота в комнате. Не надо было гасить свет, подумал было, но не хотелось тянуться к лампе. На стене показалось уродливое горбатое пятно. Абсурд – откуда оно взялось?.. Это не здесь; это совсем на другой стене. Такая двоюродная стенка. Если там пятно, то здесь тоже появляется.

Я сделала вам какао.

Девочка с косами и в длинном шарфе стояла в дверях. Сейчас зацепится в темноте и плеснет на фотографию. Надо сказать, что здесь ни черта не видно, даже пятно пропало, потому что окно за окном погасло. Как смешно: окно за окном. Я не знаю, кто там живет; не знаю и вряд ли узнаю.

Просто спящее окно.

Часть вторая

Герман... В смысле, Карл Германович ушел, и надо было уйти одновременно с ним, но Ольга замешкалась. Бережно вложила портрет в «Приключения Чиполлино» – странная компания для дедовой фотокарточки! – но пухлая растрепанная книжка никак не влезала в сумку, молнии не сходились. В конце концов сунула фотографию в конспект с первоисточниками. Перед тем как отложить «Чиполлино», открыла. На титульном листе было написано красиво и размашисто: «Моей дочурке Ляльке в день рождения. Мама».

Сплошное вранье.

Мать сроду не называла ее дочуркой, так же как и Ольга не называла ее мамой. Но какой почерк! Красивый, элегантный, как и она сама. Ольга недавно увидела мать в книжном магазине; та, к счастью, ее не заметила. Красавица, на нее до сих пор оглядываются. Такая же изящная – одежда сорок четвертый, туфли тридцать третий. Статуэтка. У подруг все мамыши отяжелели, расплылись боками, тоскливо сидят на кефире.

Интересно, знает ли мать, что парень, которому она перепечатывала рукопись, ее родственник? Двоюродный или троюродный брат. А мне, выходит, в той же степени дядя.

Такую квартиру врагу не пожелаешь, не то что дяде, хоть и двоюродному.

Страх и ненависть, ничего другого она здесь не помнила.

Крысятник.

Половину своей жизни она потратила на то, чтобы забыть эту квартиру, и

последние годы, занятые дипломом, практикой, потом работой, очень помогли. Казалось, еще немного – и проклятый крысятник не только потускнеет и обесцветится, но и вовсе сотрется из памяти. Ан нет; вот он. Здесь стояла железная кровать – «безразмерная», как шутил отчим. Покойный, да; но смерть ничего не поменяла и ни с чем не примирила, терция-доминанта-терция.

«Чиполлино» можно взять в следующий раз. Ладно, книжка; но как мать могла оставить фотографию деда? Забыла? В кухонном-то ящике? Расскажите тете Клаве.

Дворничиху Клаву Ольга видела – точнее, увидела и узнала кургузую Клавину спину, скрывшуюся во дворе. Клава не заметила или не услышала, как она вошла в дом, что избавило от ненужных вопросов. В следующий раз вряд ли так повезет.

На улице висел промозглый февральский туман.

Что делать с квартирой, понятно; а Карл Германович? Какое непривычное, неудобное имя. Рассказать бабушке страшно – разволнуется, а как потом ее оставить? Самая иррациональная ситуация: произошло то, чего не могло быть, потому что так не бывает, не бывает!

Вспомнила свою оторопь при виде фотографии и поежилась. Дядьке (или дяде?) – нет, ни одно слово не подходило, – наверное, ему было не легче: он обознался и никак не мог этому поверить. Кому можно о таком рассказать?

Посмотреть со стороны – водевиль, если бы не боль и не изумление у него в глазах.

...Карл Германович с тех пор сильно изменился. Не то чтобы запомнился только он один, нет: к матери часто приходили разные люди, все как один занятые, торопливые, и все приносили свои творения: диссертации, воспоминания, доклады.

Слово «халтура», «халтурка» прочно засело в голове, и Оля про себя называла их всех *халтурищиками*, а само слово «халтура» сразу вызывало в памяти пишущую машинку – чугунного монстра, намертво упершегося в стол короткими, как у таксы, лапами. Со словом «халтура» навеки связался жест, один и тот же, как мать хрустела пальцами, разминая их.

Этот «халтурщик» в тот, первый раз держался робко, как первокурсник, однако же запомнил и Лешку, и Майн Рида, и учебник географии.

Олегу можно рассказать завтра – раньше полуночи он не появится. На часах было почти девять, она замерзла и загадала: если придет такси, сажусь. Пришел трамвай, и через пятнадцать минут тряски в полупустом вихляющем вагоне Ольга была дома.

...который до сих пор не совсем привыкла считать своим домом. Она хорошо выучила Олежкину квартиру – здесь часто собирались друзья. Да и где же еще собираться, как не у него, в отдельной-то хате, от которой можно было и ключ попросить – Олежка не отказывал, давал, а благодарный гость, уходя, традиционно оставлял его под ковриком, а на кухне – пачку сигарет, бутылку вина (иногда начатую) или торопливую записку.

– Почему у тебя вечно проходной двор? – возмущался Николай Денисович, отец Олега. – Зашел вчера: свет горит, никто не открывает, только дышит за дверью.

Олег отшучивался:

– Сдаю номер, папа. На время, так выгодней. На свадьбу коплю.

Вообще говоря, Николай Денисович отлично знал, в чем дело; просто хотел показать, что держит руку на пульсе, и, хотя сын уже взрослый, можно внушение

сделать.

На их свадьбе кто-то из ребят жаловался: «Ну зачем вы так быстро женитесь, вы мне всю личную жизнь сломали!».

Зато Николай Денисович был доволен, в чем Ольга убедилась, вернувшись как-то домой раньше мужа и застав свекра на диване в носках. Он так уверенно поднялся, подошел и поцеловал ее, мазнув усами щеку, что Ольга почувствовала себя в гостях.

– А... как вы попали в квартиру? – пробормотала она.

Николай Денисович пожал плечами:

– Не шарить же мне под ковриком – взял у Олега. Вот, – протянул Ольге блестящий новенький ключ, – зашел в мастерскую, заказал для вас тоже. Мало ли, вдруг потеряете.

Ольгу пристукнуло слово «тоже».

Свекор назидательно продолжал:

– Ты, детка, должна как следует питаться. Я вам сервелат принес, в холодильнике лежит.

Николай Денисович был помешан на питании и на слове «детка». Когда Ольга впервые обратилась к свекрови, та замахала обеими полными руками: «Деточка, не называй меня “Алиса Ефимовна”, а то я чувствую себя старой гримзой».

Это было чистое кокетство: голубоглазая и рыжеволосая, с нежной и розовой, как свойственно многим рыжим, кожей свекровь выглядела моложе своих шестидесяти лет. «Не называй меня деткой, и сразу почувствуешь себя молодой», – хотелось сказать, но сдержалась.

Да пусть называют как угодно, но зачем же вот так высаживаться десантом – без звонка, со своим ключом?

Олег не понимал ее недоумения:

– А что такого? Отец зашел проводить. Если б я ему ключ не дал, он бы поцеловал замок, а так – отдохнуть прилег. Какие у нас секреты?

– Так ведь сидим на «Архипе», – напомнила Ольга.

Вот тогда занервничал Олежка, и не потому что Солженицына надо было вот-вот возвращать, а просто невозможно было представить, как бы папенька отнесся к такому явлению у них в доме. Занервничал, но сделал беззаботное лицо.

– Ты преувеличиваешь. Отец наверняка понятия не имеет об этих делах.

– Ну уж, – усмехнулась Ольга. – Ты лучше дочитывай, люди ждут.

Свекор занимался научной организацией труда в Институте связи. Трудно было представить, чтобы на закрытых партсобраниях не предупреждали о крамольной литературе.

И как в воду глядела, сказала бы бабушка: именно Николаю Денисовичу суждено было на эту литературу наткнуться. Ольга пришла поздно. Скандал был в разгаре, да такой, что слышно было на лестнице. Войти она решилась не сразу.

«Идиот! Дубина, кретин! Ты в Сибирь отправишься!»

«Папа, успокойся: мы с Оленькой как раз туда мечтаем попасть».

«Дубина, ты не понимаешь, куда заводят такие игры!»

«Мы всё понимаем, пап...»

«У меня терпение лопается. Мало того, что ты...»

«Папа, не кричи: соседи слышат».

«Пускай соседи узнают, что ты кретин! Мало того, что женился с бухты-барахты, черт знает...»

«Папа!..»

«...черт знает на ком, без роду без племени, так еще в тюрьму загремишь!»

Новый ключ бесшумно повернулся в замке. Еще в дверях Ольга увидела кривое от ярости лицо свекра с торчащими усами, растерянную улыбку Олежки и начала неторопливо разматывать шарф. Николай Денисович быстро сорвал с вешалки свое пальто и, обернувшись к сыну, рывкнул:

– Чтоб я больше эту гадость не видел. И бороденку свою паршивую сбрей, ты слышишь меня?!

– А мне нравится, – сказала Ольга ему в спину, но хлопок двери заглушил ее слова.

Это произошло осенью, в октябре.

Не прошло и полугода, как объявилась родня, свежий дядюшка, – вот тебе и «без роду без племени».

О новом «дядюшке», какой бы степени родства он ни был, она не знала ничего – не в таких обстоятельствах встретились, чтобы расспрашивать о биографии. Что-то помнилось из бабушкиных рассказов о Германе, его отце.

Почему-то Олег тогда обиделся. По идее, обидеться должна бы она. Не надо было, конечно, ехидничать, а она возьми да и ляпни что-то про мезальянс. И вот тут Олежка, ироничный и деликатный, взорвался: «Не хочу ничего слушать о моем отце!».

Хотя *об отце* ничего сказано не было.

Если говорить, плохое или хорошее, то уж о моем отце, но кто он и где, если жив?

Когда-то спросила, по детской наивности, у матери. Вместо прямого ответа мать начала горячо превозносить достоинства... Сержанта – с таким воодушевлением, что любой человек усомнился бы в их наличии.

В детстве Оля часто мечтала найти своего настоящего отца. Мечтания обретали разную форму в зависимости от возраста и прочитанных книжек. В раннем детстве она терзала прадеда Максимыча, безотказно покупавшего ей безделушку или лакомство из своей нищей пенсии, и совсем беспомощного, когда Лелька попросила «купить папу». Особенно остро догоняла тоска по отцу позднее, когда читала Гюго или Диккенса. Отец становился похожим то на угрюмого каторжника Жана Вальжана, то на холодного скопида Домби. Первому Оля сочувствовала, а потому осуждала Козетту, которая не ценила приемного отца (ей бы у Сержанта пожить). Домби ей не нравился, хотя обладал сильным козырем: он был *родным* отцом.

Появилась мысль найти отца. Писала Оля без ошибок, поэтому оставалось выбрать газету и сочинить письмо. Или обратиться на радио? Идея была заманчивая, но как ее осуществить, Оля не знала, и спросить тоже было не у кого. Замысел возник еще до того, как Дора отыскала Сержанта, потерявшегося во время войны. Война когда еще была, но ведь Дора нашла! На фоне Дориных многолетних поисков ее собственный замысел показался до смешного легко выполнимым, достаточно было обратиться в адресный стол, сообщить имя, фамилию... Но какая у него

фамилия?

Это было серьезное препятствие.

Олька носила фамилию матери. Отчество – Кирилловна – не содержало никакого намека на остальные биографические данные.

Имя «Кирилл» на бланке адресного стола со всех сторон окружали прочерки.

Бабушка тоже не знала фамилии виновника ее появления на свет, зато после некоторого колебания рассказала, что, по всей вероятности, он все еще находится в тюрьме за растрату государственных денег.

Далеко от Домби, но ближе к Жану Вальжану.

Идею пришлось оставить. Бланк с «Кириллом» и прочерками порвала и выбросила, зато Жана Вальжана полюбила еще сильнее.

Что ж, Николай Денисович прав: мезальянс.

Олег – мальчик из хорошей семьи, а что такое она? – Невеста с жилплощадью и старенькой бабушкой в качестве рода-племени.

Теперь – жена, с теми же параметрами.

Скандал в благородном семействе.

Родители мужа ничего не знали ни о матери, ни о «Жане Вальжане», оказавшемся обыкновенным вором. Незнание вылилось в формулу «без роду без племени».

Я знаю, какому роду и племени я принадлежу, но не стану вам ничего объяснять и доказывать.

Ольга и мужу мало что объясняла. «С матерью не общаюсь, есть причины. Отца

не помню». Правильнее было бы сказать: «Не знаю», но то небольшое, что Ольга знала о нем, лучше было не опубликовывать.

Олежка – умница, не допытывался. Знал: захочет – расскажет сама. О чем-то догадывался, но явно не понимал, судя по недоумению на лице.

У него все было куда проще: дружная любящая семья, неприятности обсуждаются на семейном совете. Случилась размолвка с матерью или отцом – можно и нужно помириться.

Такой же план мирной инициативы он осторожно предложил Ольге: «Может быть, вам с матерью помириться, ведь много лет прошло?».

Как ему объяснить разницу между ссорой и предательством, если он предательства не знал? Человек из нормальной семьи с этим не сталкивается, а рассказать невозможно.

К тому времени как мы встретились, думала Ольга, каждый из нас прожил треть своей жизни; как об этом рассказать? У супругов есть общее настоящее и будущее, но разделить поровну прошлое невозможно, оно у каждого свое, со своим счастьем и со своим отчаяньем, понятными только тому, кто их пережил *в своей семье*, и какой бы она ни была, эта семья, она навсегда останется самой лучшей в системе координат прошлого.

В то время, когда Ольгу называли Лелькой, ее семья состояла из прабабки, прадеда и бабушки.

Это был род, и это было племя.

Прабабка любила Лельку строгой и сварливой любовью, прадед и бабушка –

безо всякой строгости. К ним в семью приходила в гости мать (тогда – *мама*), красивая и нарядная, пахнувшая духами и табаком.

Первыми, один за другим, умерли старики, любимые и любящие. Она осталась жить с бабушкой. Это все еще была семья, хоть и маленькая – неполная, как сейчас говорят, и детство оставалось детством – до тех пор, пока мать не решила строить собственную семью, в которую зачем-то включила девятилетнюю дочку.

В детективном романе спросили бы, кому это было выгодно, но Ольке пришлось жить не в детективе, а в другой системе координат, чужой и уродливой, где нужно было выжить с минимальными потерями, а не ловить преступника.

Что ж, детство могло кончиться и раньше. Девять лет – вполне осмысленный возраст, чтобы с ним расстаться.

Только она сама в свои девять об этом не знала.

А теперь, к счастью, не осталось никаких рефлексий и комплексов, только воспоминания о счастливом детстве, которое потом оборвалось.

Теперь нужно было сдавать историю философии и английский, ходить на работу и делать ремонт в «крысятнике», чтобы найти обмен.

Появилась мечта – не столько о двухкомнатной квартире, сколько о том, чтобы расторопный Николай Денисович не обрел к ней ключ.

Потому-то и запомнился тот осенний вечер.

Олег перестал дуться. Она отодвинулась от секретера с разложенными конспектами и спросила:

– Он что, нашел «Архипа»?

– Хуже: «1984», – мрачно ответил Олег, но было видно: он рад, что она заговорила, будто ничего не произошло.

– Почему «хуже»?

– Потому что Солженицына хотя бы печатали...

– Вот и скажи, что это, мол, Солженицын. Он наверняка не читал. Или что фантастика какая-нибудь.

– А что я скажу, почему фотокопия?

– Да потому что книжный дефицит на дворе! В магазинах нет, в библиотеке не достать, на макулатуру тем более не купишь; вот люди и пересняли.

Он задумался.

– Откуда?

– Что «откуда»?

– Пересняли откуда?

– А мы почему знаем? Нам почитать дали – и спасибо; нам дела нет, кто да откуда.

Муж с облегчением погладил бородку.

– Это идея...

Ольга захлопнула секретер.

– Да и не будет он доскребываться. Вспыльчивые быстро отходят.

Николай Денисович не «доскребывался» – сделал вид, что ничего не было: ни сомнительных копий, ни «черт знает на ком», ни собственного его безобразного крика.

До этого эпизода свекор был ей симпатичен, и симпатия, как Ольге казалось,

была взаимной. Высокий, прямой, с быстрыми, точными движениями и живыми хитроватыми глазами, Николай Денисович имел привычку неожиданно улыбаться, когда улыбки совсем не ждешь. Две длинные складки вокруг рта симметрично раздвигались, словно занавес, под усами становилась видна золотая коронка сбоку, и тогда в лице появлялось что-то авантюрное.

Алиса Ефимовна, в отличие от мужа, улыбалась часто и с готовностью, но как-то не до конца, будто думала о другом. Незаконченная улыбка придавала ее розовому лицу ровную безмятежную приветливость и добродушие, что очень подходило к ее щедрой полноте, выпуклым голубым глазам и неторопливой манере говорить. Выражалась свекровь очень стерильно: лифчик никогда не называла лифчиком, как и трусы трусами, говорила: *бюстгальтер* и *трико*. Когда она неторопливо двигалась, накрывая на стол и придиричиво рассматривая бокалы на свет, Ольга ждала чего-то вроде: «Этот стакан нехорошо себя ведет». Недавно свекор увлеченно рассказывал о каком-то эпизоде на совещании: «Я спрашиваю: “Так получается, что у нас безвыходное положение?”. На что он спокойно отвечает: “Знаете, Николай Денисович, старый еврейский анекдот, что, как ни ложись, все равно вы-т?”».

Алиса Ефимовна возмущенно прервала:

– Николай! Что за лексикон?!

Олег с хохотом повалился на диван:

– Пап, ты мою молодую жену хотя бы пожалей!

Ольга в жалости не нуждалась: хоть сама терпеть не могла мат, получила к нему прививку во время геологической практики, где он являлся таким же неременным атрибутом, как бур и молоток, и столь же навязчивым, как комары. Она сама не

заметила, как перестала слышать нудные матюги – так перестаешь слышать постоянно включенное радио.

Свекровь же очень страдала от ненормативной лексики. В такие минуты муж из «Коленьки» превращался в «Николая», нежно-розовое лицо ее наливалось гневным густым румянцем, отчего все веснушки переставали быть видны.

Черняки были образцовой семьей. Их *род* и *племя* остались на Украине, откуда они происходили. После войны Николая Денисовича отправили по работе в Псковскую область, затем в Ленинград, и только незадолго до рождения сына супруги осели в Городе. Олег, единственный ребенок, рос на глазах у матери: Алиса Ефимовна работала в детском саду. «У меня музыкальное образование по классу фортепьяно», – сообщила со скромным достоинством.

Терция – доминанта – терция...

Музыкой свекровь не злоупотребляла – пианино в доме не было. Видимо, ей вполне хватало детсадовской программы, где из года в год разучивали «Маленькой елочке холодно зимой» и «Петушок, петушок, золотой гребешок», что Ольга помнила из собственного детсадовского опыта.

Семью дополнял старый кот Кузя. Когда Ольга спросила, гуляет ли «ваш кот» во дворе, Алиса Ефимовна поправила: «Это кошечка».

Аналогичную ошибку лет пятнадцать назад совершил Олег, притащив в дом хилого серого котенка, который до встречи с ним накопил кое-какой жизненный опыт – по всей вероятности, несладкий, почему и согласился безропотно на мужское имя. Котенок только-только освоился с домом и хозяевами, покладисто откликался на «Кузя, котик», как балкон начали осаждать местные котики столь отпетого вида,

что чувствительная Алиса Ефимовна потеряла сон. Тогда-то и выявилась истинная сущность Кузи. Радостный Олежка с криком: «У нас будут котята!» кинулся во двор осчастливить этой перспективой желающих и не слышал, как Алиса Ефимовна твердо заявила: «Только не это! Мы должны принять меры». Либо слышал, но не придал значения, либо просто не понял в свои четырнадцать лет загадочную фразу.

Меры, однако же, были приняты незамедлительно.

Кошка по-прежнему была всеобщей любимицей. После принятых мер она стала похожа на хозяйку: располнела и двигалась так же неторопливо, разве что веснушек не было. Теперь ее балконный моцион никто не нарушал. Она продолжала называться Кузей, но кошкой быть перестала.

Существо с мужским именем; бывает.

– Какое счастье, – доверительно призналась Ольге свекровь, – что мы с Коленькой вовремя приняли меры. Ведь мы тогда в коммунальной квартире жили, и вдруг бы – котята! Какое счастье.

«Знаешь, я в тот день ревел, как... сирота какой-нибудь, – признался Олег, – не мог поверить, что Кузька... что у Кузьки никогда котят не будет, понимаешь?»

Ольга кивнула. Какое счастье, подумала она, что твоя мать не сотворила такое *над собой*, ведь тогда не было бы *тебя*, и мы никогда бы не встретились. Какое счастье.

Присутствие кошки сильно облегчало общение с Черняками. Когда затягивалась пауза, достаточно было погладить сонную Кузю и задать какой-нибудь невинный вопрос типа: «А чем вы ее кормите?», после чего свекровь начинала подробно и любовно живописать:

– Каждое утро варю овсянку свеженькую, а туда добавляю кусочки хека.

Николай Денисович хмыкал, отбрасывал газету, крутил головой:

– У нее не все дома! Сколько раз говорил: дай кошке «Завтрак туриста» – и дело с концом; так нет!

– ...или сливочек налью в овсянку, – невозмутимо продолжала свекровь, – если свежие, конечно.

– *Мне* она свежих сливочек не предлагает, – язвил свекор.

Беседа начинала бить тугой фонтанной струей.

– А сам-то! – Алиса Ефимовна всплескивала полными руками и поворачивалась к невестке. – Подумай, Оленька: рвет газету на мелкие кусочки, вот так: мелко-меленько.

– Зачем? – Ольга перевела взгляд с «Известий» на свекровь.

– Для Кузи! – пропела та. – В подносик. У нее свой туалет, ты обратила внимание?

Да уж обратила.

Ольга понимающе кивала, продолжая гладить кошку.

Какое счастье, что Олежка не похож на них. Какое счастье, что мы не похожи на своих родителей, ведь родителей не выбирают и не меняют.

– И сам убирает каждый раз, Коленька очень за этим следит. Он просто помешан на гигиене.

...потому что, будь я похожа на мать, сидела бы сейчас с ее снисходительной улыбочкой, похрустывая пальцами, а потом рассказывала бы кому-то из подруг, как мать передавала все впечатления своей Ксении или Музе, какие мешчане эти Черняки.

– Как только Кузя сходит по-большому, Коленька бежит в туалет и...

– Хватит, кому я сказал!

– Мам, – вступал Олег, – хватит про Кузин метаболизм, а?

...и что хрусталь у них в секции стоит (безвкусный, естественно), и шторы из бруката, а над диваном, разумеется, ковер, как во всяком мещанском доме. Не забыла бы Алисин пенюар. Особенно язвительно можно было бы пройтись по скудным духовным запросам (Пикуль на книжной полке).

Ни хрусталь, ни брукат, не говоря о коврах и пенюарах, не входили в Ольгину эстетическую систему, но при чем здесь мещанство? Что сказала бы мать, увидев Николая Денисовича, когда он с ликующим лицом входит в дом с рулонами туалетной бумаги на шее? Так Максимыч приносил связку баранок. Разве «Коленька» виноват, что нигде этот раритет не достать? «Выбросили, а я как раз иду с работы!» Давиться в очереди, чтобы сдать макулатуру и получить вожденный талон на «Графа Монте-Кристо» почему-то достойно уважения, а купить в другой очереди туалетную бумагу считается смешно и унижительно!..

Мать обожала ставить ярлыки (наверное, и сейчас ставит), и слово «мещанство» часто слетало с ее языка, причем категория мещанства непрерывно пополнялась. Мещанскими могли быть обстановка, взгляды, книги – или их отсутствие, пока Оля не догадалась, что мещанством для матери является все то, чего нет у нее самой. Догадалась уже в восьмом классе, когда их отношения с матерью были на излете.

Были ли Черняки мещанами, она никогда не задумывалась. Эстетика? Но ведь ковер ковро рознь, как и хрусталь хрустало. Если люди покупают безвкусные вещи,

то это не потому что они не умеют выбирать, а просто выбирать им не из чего: все у всех одинаковое до анекдотичности, смотри «Иронию судьбы». Интересно, кстати, смешно ли иностранцам, если они тоже смотрят?.. Люди что-то достают, вышибают, добывают, отрывают с руками – и становятся обладателями одного и того же.

Только человек неповторим.

Самое трудное, если вообще возможно, – понять, сколько в нас заложено того, что мы не хотели бы в себе иметь. Гены – страшная вещь.

...Родителей мужа задело, что Ольга не сменила фамилию. Слишком прочно срослась она со своей собственной, чтобы вот так взять и отбросить. Объяснять ничего не стала. Наверное, сочли капризом – или упрямством.

Моя фамилия – это моя семья.

Мои род и племя.

Никто бы этого не понял, даже Олежка.

Интересно, как фамилия нового *дядюшки*? Несколько раз попробовала слово на вкус – показалось самым подходящим. Тоже Иванов? Нет, едва ли, если двоюродный.

Хотелось почему-то, чтоб он оказался Ивановым.

В голове снова закрутилась мысль о квартире, ремонте... Олег придет среди ночи, рухнет спать, да и не знает он ничего про ремонт, а если кто-то и знает, так только крестная, просто потому, что не существует ни одного житейского вопроса, в котором она не могла бы помочь.

Завтра с молитвой, как говорит бабушка.

Факультет иностранных языков вот уже несколько лет как располагался в новом здании. Доцент Присуха узнал об этом, встретив как-то на автобусной остановке лаборантку с кафедры. Не сразу распознал робкую девушку в уверенной полноватой молодухе с тяжелой хозяйственной сумкой – и не распознал бы, не воскликни она: «Дмитрий Иванович!». Узнал по голосу, хотя лаборантка эта прочно спаялась с фразой «Поставьте машинку клавиатурой к себе», некогда вызвавшей у него приступ безудержного смеха.

Лаборантка рассказала, что новое здание «никому не нравится, противно там ужасно», но в чем заключается противность, не пояснила.

– Зато на первом этаже киоск хороший, от «Академкниги». Все преподаватели хвалят. Он каждый день работает, кроме четверга; загляните, Дмитрий Иванович?

И осеклась, даже губу нижнюю прикусила.

Потому что Дмитрий Иванович не заглянет на факультет даже ради хорошего киоска, ни за какие коврижки не заглянет, Наденька. Если вы Наденька, а не Оленька или Зоенька, что простительно забыть почти за десять лет. С другой стороны, после столь долгого срока вполне можно было бы провести книжный киоск и заодно ознакомиться с географией нового здания... Вполне можно было бы, если бы доцента Присуху не выставили за дверь старого здания того же факультета. Посему ни в новое, ни даже в старое здание Дмитрий Иванович не пойдет.

Лаборантка осталась ждать другого автобуса, в то время как он уже трясся на неудобном сиденье, направляясь в вечернюю школу, где преподавал английский

язык. Никакого Голсуорси, никаких курсовых и дипломных работ: шесть часов в неделю базовой грамматики, где больше пяти слов в связном предложении – высший пилотаж. Деньги, за которые Присуха расписывался в ведомости два раза в месяц, не заслуживали названия зарплаты, а разве что *жалованья*, которое выдают два раза в месяц из *жалости*. Способом прокормиться и выжить являлись частные уроки – все последние десять лет Дмитрий Иванович готовил выпускников к поступлению на тот самый факультет, к которому больше не имел отношения.

Эти годы были далеко не столь плотно нафаршированы событиями, как такой же временной отрезок в романе Дюма-рèге. Один-единственный эпизод, мелкий и незначительный, как покотившийся с горы камешек, вызвал лавину перемен в жизни доцента Присухи.

После того как машинистка перепечатала монографию, у Дмитрия Ивановича возникла необходимость в машинке с английским шрифтом. В комиссионном магазине машинки были таким же дефицитом, как джинсы, однако пользовались отнюдь не таким широким спросом, на что и уповал доцент. Он терпеливо ждал, и девушка за прилавком, благосклонно принимавшая Присухины шоколадки, обещала позвонить ему, как только появится предмет его вожделений.

И позвонила! Дождавшись конца лекции, Дмитрий Иванович помчался в комиссионку. У входа, бросив взгляд на свое отражение в витрине, поправил галстук, твердо решил завтра же подстричься и потянул тяжелую дверь.

Машинка «идет без футляра», как объяснила продавщица, пряча под прилавок коробку конфет. Счастливый доцент вышел в звенящий майский день, придерживая

портфель под мышкой и неся перед собой машинку с женским именем «Мерседес», отсылающем к тому же Дюма, но кто об этом помнит?

Такси не было, но Дмитрию Ивановичу продолжала сопутствовать удача. Прямо у тротуара притормозила «Волга», и приветливый мужчина с аккуратной стрижкой (завтра, завтра же в парикмахерскую!) спросил: «Вам куда, папаша?». Все складывалось удачно, а потому можно было и не заметить «папашу», тем более что выскочил другой парень и помог ему с машинкой водрузиться на заднее сиденье, где Присуха очутился между двумя молодыми людьми, тоже недавно подстриженными.

Дмитрий Иванович выдохнул свой адрес, приветливый кивнул, и машина плавно двинулась. Присуха заметил с улыбкой: «Забавно, что “Мерседес” едет в “Волге”, правда?». Он успел предупредить: «Здесь направо, пожалуйста», но приветливый сказал: «Мы сначала, Дмитрий Иванович, заедем к нам, это совсем близко», – и тоже улыбнулся.

Остальные молчали.

Машинка пригвоздила Дмитрия Ивановича к месту неподъемной тяжестью, да если бы машинки и не было, куда денешься? Приветливый с интересом посмотрел ему в лицо, словно пытался отследить, как меняется его выражение.

Доцент опустил глаза на машинку. Солнечный луч упал на клавиатуру. Верхний ряд Q W E R T Y U I O P демонстрировал полное отсутствие логики. Как и с этой «Волгой»: математиков таскали, ректору обещали кузькину мать показать, ребят с обоих потоков гоняли. Филологов не трогали; ан вот и тронули.

В нижнем ряду не было ни одной гласной: Z X C V B N M.

Начали с меня.

С улицы Ленина «Волга» свернула не на поперечную улицу, а прямо в зев подворотни.

– Вы удивляетесь, наверное, Дмитрий Иванович? – с улыбкой спросил Приветливый.

– Конечно, – ответил Присуха, – не могу понять закономерности в английской клавиатуре. Почему A S D F G H J K L, например, а не в обратном порядке?

Приветливый снова улыбнулся, на этот раз удивленно:

– Об этом мы с вами тоже поговорим.

О клавиатуре, о машинке? Взятка продавщице?.. Вряд ли шоколад можно считать взяткой, да и не здесь взятками занимаются. Значит, об этом мальчике, который горел. Где ему лечат ожоги, в тюрьме? Кто-то упоминал психбольницу. Парень, говорят, талантливый. Что теперь с ним будет? И чего они хотят от меня, я не знаю этого мальчугана!

– Располагайтесь, Дмитрий Иванович, я сейчас. Курите. Машинку можете сюда поставить, никто не унесет.

Хохотнув, Приветливый вышел.

Предложение «располагаться» намекало на длительное общение.

Окна кабинета выходили на шумную улицу Ленина. Большой письменный стол был почти пуст, если не считать двух телефонов и авторучки космического вида, задорно торчавшей из подставки. К большому столу был торцом приставлен другой, поменьше, как от широкой центральной улицы отходит небольшой переулок. Два деревянных шкафа без стекол и несколько стульев дополняли меблировку.

Присуха закурил. Спасибо, что не на кафедре взяли.

Приветливый вернулся, достал из шкафа папку (мое «дело», мелькнуло в голове у Дмитрия Ивановича) и представился:

– Капитан Новиков.

Присуха кивнул, а капитан Новиков начал листать содержимое папки. Он сидел спиной к окну, солнечный свет падал сбоку, и теперь можно было рассмотреть его лицо. Глаза опущены, худощавое лицо и без улыбки хранит приветливое выражение. Прямой нос, чуть втянутые щеки, родинка на виске; русые волосы без седины и брови; на вид капитану было лет тридцать пять.

Он поднял голову – глаза оказались карими – и спросил:

– Кем вам приходится гражданка Дуган Инга Антоновна, 1927 года рождения?

У магазина его покорило слово «папаша»; произнесенное здесь «гражданка» насторожило.

– Моя жена, – ответил Присуха, – бывшая. – С ней что-то случилось?

– Когда вы в последний раз контактировали с ней? – не ответил капитан.

Действительно, когда?

– Если мне не изменяет память... – начал медленно, но Приветливый перебил:

– Постарайтесь, Дмитрий Иванович, чтобы память вам не изменила. Это в ваших интересах.

Помнил, конечно. Мокрые следы на полу, и как Инга нагнулась: шварк-шварк тряпкой, а он стоял дурак дураком и держал пальто. Когда она машинку увезла.

Помнил, но изобразил напряженно-растерянное лицо, сощурился, якобы припоминая: этаким рассеянный ученый, весь в своей науке, знаете, вместо шапки на ходу он надел сковороду...

Всё они знают, Митенька, подсказал друг, как подсказывал в гимназии на уроке. Тебе скрывать нечего, разве что хотел Инге показать небо в алмазах под одеялом.

– По-моему, прошлой осенью, – нерешительно сказал он, – но вот точную дату не назову. Не помню.

Что было правдой.

Дмитрий Иванович обратил внимание, что капитан ничего не записывал, только кивнул. Ну, судя по «Дмитрию Ивановичу», с биографией моей он знаком, так что пока нечего записывать. Это взбодрило.

– При каких обстоятельствах контактировали, не припомните?

– Помню. Инга зашла ко мне.

– Вы что же, предварительно договорились о встрече?

– Конечно; она позвонила. Чай пили... – Присуха развел руками, специально не закончив. Скажи: «разговаривали», прицепится: о чем? А так – невинное занятие: чай.

– Так, – Приветливый улыбнулся. – Но гражданка Дуган признала, что взяла у вас пишущую машинку марки «Олимпия».

– Совершенно верно; разве это наказуемо?

Не зарывайся, Митя, одернул сам себя.

– Нет, конечно, – серьезно ответил капитан Новиков. – Вопрос только, с какой целью гражданка Дуган взяла у вас машинку.

Он начал что-то искать в папке, а Присуха вспомнил собственное дурацкое зубоскальство насчет сухарей, которые рано было запасать, а вот ведь оказывается, что не рано вовсе. Посылку готовь, Митенька, потому что все летит в тартарары, вот

при чем здесь машинка. Взглянул на «Мерседес» и понял вдруг, почему верхний буквенный ряд начинается с Q: она редко употребляется, вот почему.

То, что услышал Дмитрий Иванович, стройно укладывалось бы в детективный сюжет средней руки, если бы не содержало зловещих формулировок «антисоветская пропаганда и агитация», «заведомо ложные измышления», со ссылками на статьи Уголовного Кодекса и меры наказания. Капитан, не утратив приветливости, часто повторял казенное слово «гражданка». Было странно слышать его по отношению к Инге – легкой, женственной, беспечной.

Женственность и легкость Присуха опустил, а просто начал объяснять, что Инга, неплохо владея машинописью, бралась за мелкие подработки, зачастую – как правило, поверьте мне! – не имея ни малейшего представления о материале.

– Помню, например, – Присуха старался говорить убедительно, как со студентами, – как она где-то напечатала «истопник» вместо «источник», и так случалось не раз.

Он закурил (руки не дрожали) и поднял глаза на капитана:

– «Истопник» вместо «источник»... Согласитесь, трудно спутать, не так ли? Но Инга не вчитывается в рукопись, просто бьет по клавишам, и все.

– Тем хуже для нее, – капитан легко хлопнул по столу обеими руками и продолжал, не отнимая ладоней от стола. – Получается, что гражданка Дуган и ей подобные становятся бездумным орудием тех, кому выгодно порочить советский строй, и являются, таким образом, их пособниками. Наша обязанность – разобраться, кто *источник*, как вы правильно заметили, а кто *истопник*. Не так ли, Дмитрий Иванович?

Последние слова, как показалось доценту, капитан произнес, явно пародируя его интонацию. Как *они*, однако, понаторели, с изумлением подумал он. Собственного впечатления *о них* у Присухи не было, но в сознании жил какой-то обобщенный образ чекиста, жестокого, но ограниченного, ничего общего с теперешним, как выяснилось, не имевший.

– Вас, Дмитрий Иванович, я хочу предупредить, – он крепче уперся ладонями в стол, – что в другое время с вами разговаривали бы совсем иначе.

Вслух я думал, что ли?

– Поймите меня правильно, – одна ладонь оторвалась от стола в протестующем жесте, – и не подумайте, что я вас пытаюсь запугать, – улыбнулся, – но ведь, если следовать букве закона, то вы как владелец пишущей машинки тоже являетесь пособником... Вывод можете сделать сами.

Пособник звучало не так зловеще, как *сообщник*. На клавише D была косая трещина, перечеркивающая букву. Приветливый смотрел все так же приветливо, но властно поставленные руки плохо сочетались с этим взглядом.

– Мы учитываем, естественно, факт вашего развода с гражданкой Дуган, характеристику с места работы, а также отсутствие у вас корыстных мотивов, в то время как она, вы сами признали, «подрабатывала».

Идиот. Я ее потопил.

Характеристика... Стало быть, в университете уже известно.

– Кстати, – капитан нетерпеливо подался вперед, – вам приходилось когда-нибудь видеть у гражданки Дуган валюту?

И рога у зайца.

Присухе нечего было скрывать.

– Откровенно говоря, мне вообще никогда не приходилось ее видеть.

В глазах капитана мелькнуло веселое презрение.

Много лет спустя Дмитрию Ивановичу вдруг пришло в голову, не эта ли фраза спасла его тогда от *меры пресечения*? Ибо мера наказания ждала его на факультете.

Дорого же мне досталась английская машинка, горько подумал он, добравшись, наконец, до дому. В то же время он отчетливо сознавал, что машинка ни при чем: наверняка за ним давно наблюдали. Другого объяснения так вовремя появившейся «Волги» с троими кагэбэшниками в серых костюмах (почему, кстати, они были в штатском?) он не видел.

Дома никого не оказалось, хотя Присуха был готов к обыску. Следов присутствия кого-то чужого не обнаружил, однако это ни о чем не говорило: могли побывать в его отсутствие. В голове раскаленным гвоздем засела мысль о монографии. Конфискуют? Он думал об этом в кабинете Приветливого, что мешало сосредоточиться на вопросах, думал по пути домой, но мысли разбегались, как шарики ртути из разбитого градусника. Завтра, к счастью, среда – его библиотечный день. Последний? Если так, то кафедре завтра предстоит горячий денек. Приветливый собеседник предупредил его, что вопросы, связанные с работой, «решает коллектив, это не наше ведомство».

Решение коллектива представить было нетрудно.

В квартире было тихо. Присуха сбросил пиджак и налил себе коньяку.

Придут так придут.

Так или иначе, четыре машинописные стопки спрятать было некуда, разве что на антресоли. С которых и начнут.

«В другое время с вами разговаривали бы совсем иначе».

В другое время *другие* разговаривали с Сережей.

Почти двадцать лет называл его про себя просто другом или «другом юности», а сейчас само собой выговорилось вслух уютное имя. Имя, которое он не произносил с тех пор, как от Сережи перестали приходить письма, и Присуха не сразу – далеко не сразу! – догадался, что писем больше не будет. Никогда.

Коньяк оказывал удивительное действие: тугой узел где-то глубоко внутри начал ослабевать, развязываться, и, по мере того как напряжение медленно спадало, вернулась ясность мысли.

Время действительно другое, если он, пособник антисоветского преступления, пьет коньяк у себя дома, а бывшая жена, будучи «бездумным орудием» того же преступления, отделалась – пока, во всяком случае, – подпиской о невыезде.

Время безусловно другое: за окном не сорок восьмой год и никто не вылавливает вейсманистов-морганистов в языкознании. Выловили, истребили под корень; разве найдешь? Теперь ищут других.

Тогда, в сорок восьмом, его друга заклеямили «неразоружившимся структуралистом» и заставляли присягнуть на верность учению Марра – публично, разумеется, в печати. *«Король гол, – писал друг в последнем письме, – но велят восторгаться его нарядом. Наш почтенный швейцарец объявлен продажной девкой империализма; Митя, ты что-нибудь понимаешь?!»* Заканчивалось письмо горько: *«Ты счастливый человек, Митенька: твой британец знаменит, безопасен, к тому*

*же мертв. И все же не спеши с публикацией – следи за погодой, ибо ветер, увы, переменчив... Никакой статьи от меня не дождутся, я так вчера и сказал: отказываюсь соучаствовать в этом **марразме**».*

Сказал на ученом совете, а кто-то повторил в другом месте, со старательными кавычками, отсекающими, не дай бог, собственное авторство, и такой цитаты было достаточно в сорок восьмом году для человека с фамилией Ниссельбаум, низкопоклонника перед Западом.

Остальное доделал инфаркт.

Ветер переменчив: сегодня имя *почтенного швейцарца* Фердинанда де Соссюра известно любому филологу-первокурснику. Ветер переменчив – арестована пишущая машинка, а не ее хозяин, а вот с публикацией, похоже, нужно ждать следующей перемены.

Доцента Присуху инфаркт миновал, но отлучение от университета он пережил болезненно. Оно произошло быстро и неизбежно, хотя в глубине души у Дмитрия Ивановича шевелилась слабенькая надежда, что минует его чаша сия.

Нет, не миновала.

Вызванный к ректору, он уже был закален разговором с деканом, а еще прежде – «беседой» с работником совсем другого ведомства, и снова услышал, что вопрос о его пребывании в университете «будет решен на собрании коллектива». От повторов стало скучно, и на встречу с коллективом Присуха не пошел, добавив к своим грехам, таким образом, неуважение к коллегам.

Он собрал на кафедре свои пожитки, не очень понимая, что делать со

студенческими работами, которые должен был проверить. Навалилось вдруг такое равнодушие, что махнул рукой: спецкурса больше не будет, а работы просмотрит кто-нибудь из ассистентов. «Пожитки жидки», срифмовалось само собой, и Дмитрий Иванович чуть не засмеялся. Две папки, блокнот, новая общая тетрадь (пусть лежит, кому-то пригодится), какие-то бумаги сомнительной важности; сгреб в кулак все ручки. Одна, самая красивая, была поломана; вторая целая, но Присуха ее не любил за корявое перо; третья, с золотым пером – подарок коллег, которые сейчас как раз голосуют за его увольнение. Чего ждать от человека, чья пишущая машинка – орудие тех, кто порочит советский строй? *Заведомо ложными измышлениями* – эту формулировку он запомнил как раз потому, что раздражало слово «заведомо». Толстую, как ножка стула, шариковую ручку с обоймой разноцветных стержней тоже положил в портфель, с опозданием вспомнив, что теперь она вряд ли понадобится; а, пусть. В нижнем ящике обнаружился галстук в серо-голубую полоску (где только не искал его!) и прошлогодний табель-календарь. Чашку с пересохшим болотцем позавчерашней заварки великодушно оставил. Пожитки жидки, однако портфель внушительно раздулся, и доцент Присуха в последний раз спустился по факультетской лестнице и закрыл за собой дверь.

Коньяк кончился быстрее, чем апатия.

Дни стали пустыми, долгими, одинаковыми, как если бы он вышел на «заслуженный отдых», то бишь на пенсию.

В отличие от пенсионеров Дмитрий Иванович денег не получал, а кончились они быстро. Значит, отдых не был заслуженным.

Знать бы, что встретит Патриарха, отложил бы поход в библиотеку. Однако сдать книги входило в программу сжигания мостов, как Дмитрий Иванович себя уверял, не желая признаться, что падал духом всякий раз, когда взгляд упирался в корешки с наляпанной библиотечной абракадаброй.

Старый профессор косолапо спускался по лестнице, глядя себе под ноги и кивая встречным.

– Дима!

Пыхтя, остановился на площадке, где растерянно застыл Присуха.

Англичане, прежде чем начать разговор, для разгона перебросятся несколькими замечаниями о погоде. Русский человек одолжит пятерку до получки, в порядке ответной любезности рассказав анекдот.

Дмитрий Иванович предпочитал английскую модель.

– Тепло... – вздохнул профессор, – что мне в этом тепле, только кости ломит. А на кафедре дел полно, все на дачу не соберусь. Да я, признаться, не рвусь туда: все те же «комары да мухи».

– Зато море, сосны, студенты с зачетками не толпятся.

Сказал – и понял, как не хватает ему этих студентов с зачетками.

– В моем возрасте, Дима, что зима, что лето – всё не хорошо. Это вам, молодым, любой сезон в радость.

– Я бы рад в молодых задержаться, – Присуха усмехнулся, – да мне ведь сорок девять уже.

Патриарх оглянулся и сердито зашептал:

– То-то и оно! Тебе дано много, время есть впереди... А теперь что?

Дмитрий Иванович почувствовал, что у него мелко-мелко задергалось веко.

– А что теперь? – ответил как можно спокойней. – Вот, – он показал на раздутый портфель, – сдам книги. Надеюсь, других претензий университет ко мне не имеет.

Старик молчал, и Присухе стало его жалко, но тот неожиданно попросил:

– Дай-ка мне папиросу, Дима.

Время папирос кончилось.

– Кстати, – опасливо затянувшись дешевой болгарской сигареткой, сказал завкафедрой, – звонили из бухгалтерии, там тебе что-то причитается. Загляни к ним.

Бухгалтерия, к счастью, находилась в другом здании. Присуха пообещал «заглянуть».

– Я бы в этом году с удовольствием открестился от вступительных, – продолжал Патриарх, – да не могу: сын моего племянника поступает. Опять же меня того и гляди на пенсию выпихнут... с почетом. И что я тогда делать буду?

То, что я делаю теперь, подумал Дмитрий Иванович.

– По-настоящему, так и пора бы, мне ведь восьмой десяток, давно уже «патриархом» зовут; думаешь, я не знаю?

Отмахнулся от вялого Присухиногo протеста:

– Да ладно... Мне в комиссии делать особо нечего, буду сидеть свадебным генералом. Устал я, Дима. Ну, еще год продержусь, а потом мне расскажут о драке за кресло, – профессор усмехнулся.

Что мне Гекуба, чуть заметно дернул плечом Дмитрий Иванович. Он начал

раздражаться.

– Да, так о мальчике, – таким голосом, словно только об этом и шла речь, продолжал Патриарх. – Подготовлен он неплохо, но родители хотят подстраховаться. Потому что, если не поступит, то ему прямая дорога в армию.

Дмитрий Иванович вытащил новую сигарету из сплюснутой пачки.

– Дима, ты же прекрасный методист. Взятся бы, а? Сейчас хорошего преподавателя днем с огнем не сыщешь; вот я и подумал...

Случайно ли «подумал» о нем завкафедрой или доцент Присуха в тот день случайно появился в библиотеке, но встреча оказалась судьбоносной как для мальчика, которому удалось избежать армии на законных основаниях, так и для новичка репетитора, снова вернувшегося к папиросам: с легкой руки старого профессора для Дмитрия Ивановича открылось новое поприще. Подошли к концу вступительные экзамены, но занятия с учениками продолжались: чадолюбивые родители передавали друг другу телефон Присухи, как эстафету. Слово «доцент» поднимало его акции, но больше пяти рублей за урок Дмитрий Иванович не брал.

Дни оставались монотонными, но заполнились, выстроились в рутину учебных занятий.

Рутину нарушил грипп, редкий по свирепости. Врач, которого вызвал, вопреки своему обыкновению, Присуха, сказала: «Гонконгский», и Дмитрий Иванович, удивившись, провалился в сон, жаркий и душный, каким в его представлении был Гонконг. Несколько дней спустя с недоумением обнаружил на столе больничный лист, прижатый книгой. Не помнил, что он делал, просыпаясь. Внезапно захотелось

молока. С трудом натянув тяжелое пальто, вышел в февральский холод.

Люди спешили в темноте домой. Молоко в магазине кончилось. На обратном пути купил в киоске газету, но дома развернул ее не сразу, а только напившись холодного кефиру. Еще один космический корабль, еще один хоккейный матч, «На наших экранах», «Требуется», «Меняю», «С глубоким прискорбием...»

Патриарх?!

Патриарх.

На следующий день он медленно брел по зимнему кладбищу. От слабости закладывало уши, звенело в голове. Кресты, кресты. На крестах лежал снег, впереди голубел купол собора. Люди толпились не у собора, а рядом с маленькой часовней. Когда запыхавшийся Присуха приблизился, из дверей начали выносить гроб.

Дмитрий Иванович постоял у могилы, пока батюшка читал Патриарху последнее напутствие. Тесное пальто, надетое поверх рясы, выглядело нелепо, но батюшка, наверное, боялся гонконгского гриппа, который унес раба Божьего Николая. Университетские коллеги не смотрели друг на друга, стыдясь вынужденной причастности к религиозному обряду. Дмитрий Иванович бросил горсть холодного песка и двинулся назад, не обернувшись.

Никто не расскажет Патриарху о «драке за кресло», да и зачем? Теперь у него другая кафедра.

Присуха не удивился, увидев два заснеженных холмика: могилы родителей. Ноги как-то сами вывели, хотя бывал он здесь нечасто. Странно было знать, что глубоко в земле, где переплетаются корни деревьев, покоится прах его родителей, его

корни. Сразу вспомнилось, как Сомс Форсайт ищет могилу первого из Форсайтов и находит камень-надгробие, под которым покоится прах того, кто был «Great Forsyte».

Патриарх жаловался на погоду, кряхтел, но не собирался умирать. Сомс не подозревал, как мало ему осталось жить, однако спешил почему-то поехать и найти могилу первого Форсайта – не потому ли, что четко понимал: никто, кроме него, этого не сделает?

«Тебе много дано, – ожил сердитый голос, – время есть впереди...»

Много ли дано, не знаю; но время есть. Монографию не изъяли, да и за что бы? Никаких *заведомо ложных измышлений* в ней не содержится.

Это единственное, что я сделал. Не останется замшелого камня, но может состояться – и остаться! – книга.

Нужно успеть закончить.

Гонконгский грипп отступил перед этой решимостью – или Присухе стало не до гриппа. Через несколько недель он устроился в вечернюю школу на окраине города. Работать пошел не от того, что *нетрудовых доходов* не хватало на жизнь: хватало вполне. Однако доходы, хоть и нетрудовые, поглощали массу труда и могли привлечь к нему ненужное внимание. На вооружении стражей закона была печально прославившаяся статья о тунеядстве, и с этим нельзя было не считаться.

«Время есть впереди...» Где оно, это «впереди»? Время нужно было Дмитрию Ивановичу сейчас и каждый день: монография требовала доработки. Между тем время съедалось учениками, и в конце дня Присуха закуривал папиросу, злобно глядя на пятирублевки. «*Из ядущего вышло ядомое*»: они кормят меня тем, что

съедают мое время. Переключиться на Голсуорси сразу после долбежки школьного курса не получалось. Часто и закуривал торопливо, на ходу, последние затяжки делая уже на автобусной остановке: предстояли уроки в школе, скудная грамматика и убогие тексты.

Как ни странно, он научился работать в автобусе. Движение, скорость, мелькание за окнами не мешали, а, наоборот, помогали сосредоточиться, оформить мысль фразой, которая, в свою очередь, отшлифовывалась до четкости формулы. Тогда он вынимал из пачки карточек, останков списанного библиотечного каталога, одну и быстро писал на чистой стороне. Поздно вечером он раскладывал на столе своеобразный пасьянс и снимал с полки «Современную комедию» на обоих языках. Отдельные места русского перевода выглядели так же нелепо, как если бы карточка легла «библиотечной» стороной, явив нечто вроде: «Проектирование силосных башен», М., Изд-во...»

«Ночную смену» Дмитрия Ивановича не прерывали ничьи телефонные звонки.

После беседы с приветливым капитаном его побеспокоили только один раз, спустя год. Присуха не успел встревожиться: равнодушный голос предложил забрать принадлежащую ему пишущую машинку марки «Олимпия», она больше не представляла интереса для следствия. Разгадывать причину – следствие ли закрыто, или машинка не подошла, – Дмитрий Иванович не стал: ждала работа.

Новая работа выросла из монографии и стала ее продолжением. Как Голсуорси не мог расстаться со своими героями, так и Дмитрий Иванович не мог не досказать то, что представлялось ему недосказанным. Он продолжал размышлять о последнем

жизненном периоде Сомса и так сроднился с ним, что незаметно сделался похожим на него. Как и Сомс, Дмитрий Иванович стал еще более немногословным, тем более что этому помогало отсутствие лекций и привычной факультетской среды. Как у Сомса, у него появилась привычка откашливаться перед тем, как что-то сказать, и ученики знали, что это признак недовольства, как и взгляд Дмитрия Ивановича, чуть искоса, хотя никто из абитуриентов не задумывался ни о каком сходстве: мало ли какие закидоны у стариков?.. Дмитрий Иванович даже начал слегка сутулиться, в точности как Сомс.

Если бы кто-нибудь сказал ему об этом сходстве, он отреагировал бы тоже, как Сомс, взглянув искоса и пробормотав что-то вроде: «I fancy!» или просто: «H'm!».

Можно не пойти на день рождения (Ольга и не помнила, когда ходила к тете Даше на день рождения), но похороны пропустить нельзя. Олег долго не понимал, кто кому кем приходится, она терпеливо растолковывала, хотя что тут непонятного? Умерла тетя Даша, вторая жена дяди Моти.

– Постой; дядя Мотя – кто это?

– Младший брат бабушки. Бабушки и тети Тони, понимаешь?

– Странное имя какое. Полное как, Матвей?

– Нет; Автоном.

– Это... в честь республики?

– При чем тут республика? Крестили его так, вот и все.

Понял или нет, но кивнул:

– Мне там надо быть?

Черняки были знакомы только с бабушкой и крестной. Кладбище – не самое подходящее место для расшаркиваний.

– У тебя статья, вот и пиши спокойно. Я сама.

Давным-давно квартира дяди Моти была убежищем, где они с матерью и маленьким Лешкой переживали – переживали запои Сержанта. Тетя Даша кормила их ужином, всегда извиняясь: «Я гостей не ждала, у нас по-простому», словно они каждый день пировали и ели что-то особенное. Она давала Ленечке что-нибудь сладкое, держала его на коленях, и только сейчас, идя на кладбище, Ольга

поняла, как Даша тосковала о малыше: этот брак был бездетным, да в их годы он и не мог быть иным.

С ними жила Дашина дочка от первого брака, круглолицая Люся с толстой косой, Олькина ровесница. Пока тетя Даша тетешкала Ленечку, а мать жаловалась на Сержанта («Вовка куролесит, сил моих нет»), Олька с Люсей обменивались стандартными фразами. «Мы это уже проходили, а вы проходили?» – «Мы еще в прошлом году проходили». Врала, конечно, Люся, да и читала какую-то дрянь: «Васек Трубачев и его товарищи», зато у Ольки никогда не будет такой косы.

Да-да-да, скажи еще, что вы «Анну Каренину» проходили, хотя вообще-то Люся была не противная.

Они с матерью там бывали не раз и не два, дядя Мотя предлагал им оставаться на ночь, но мать отказывалась, а на обратном пути на него же за что-то сердилась.

Теперь он стоял у могилы, сестры – бабушка и тетя Тоня – с обеих сторон поддерживали его под руки. Какие они разные! Крестная, как всегда, королева: стройная, со строго сжатыми губами, на голове кружевная черная накидка, вроде мантильи на старинных картинах. Бабушка – тоже прямая, но ниже ростом; простой черный платок на голове, старое пальто.

Снег, черные деревья, панихида.

Почти двадцать пять лет назад, когда хоронили прабабку, маленькая Лелька стояла среди детей, а крестная громко плакала. Максимыча, прадеда, уже не было; запомнилось, что его надгробие было тогда высоким, а сейчас оба выглядели низенькими и одинаковыми, как близнецы: время сравнило.

Она подошла к дяде Моте, обняла, потерлась о знакомую бородку; сказать ничего не сумела. Старик тихонько кивнул. Народу почти не было, только свои да какая-то заплаканная молодая женщина с требовательным лицом под руку с мужчиной. Черная капроновая косынка, следы туши на круглом лице.

– Люся?

Ольга протянула к ней руку, но Люся снова заплакала, повернулась к спутнику; тот уже протягивал платок, на руке обручальное кольцо: муж.

Крестная с бабушкой обходят могилы, тихонько прощаются. Прости, мама... Прости, папа... «Прощай» сказано много лет назад, теперь говорят: прости. Дядя Мотя стоит не двигаясь. С дерева упал снег – на голову, на щеку, на белую бородку. «Пойдем, брат, – тетя Тоня взяла его под руку, бабушка шла следом, – Дашу помянем, Царствие ей Небесное. Леленька, мы тебя ждем».

Ольга помедлила несколько секунд. Все могилы занесены снегом. Свежая, Дашина, выпадает из этого белого безмолвия: высокая, с венком и цветами. Кругом натоптано, ветки хвой вдавлены в снег.

Поминки устраивали в кафе – так оказалось удобней. Появились еще несколько человек, виновато говорили, что никак с работы было не уйти. Началось застолье – вначале скорбное, тихое, потом более оживленное, подогретое водкой после февральского ветра. Вскочила и выбежала Люся, с платком у рта. «Она в положении», – понизив голос, объяснила крестная, испытующе глянув на Ольгу.

Пора было уходить.

– Бабуся, я провожу тебя.

Бабушка покачала головой:

– Меня брат проводит.

Идя к выходу, Олька сообразила, что не видела матери. Не пришла? Не знала?..

«Меня брат проводит».

А мой брат? Он тоже не пришел.

Они с Лешкой виделись нечасто. Брат звонил на работу, всегда неожиданно, они встречались в кафе, болтали, потом Лешка исчезал до следующего звонка. Что-то он делал: пробовал рисовать, лепил, но работы свои никогда не показывал. Говорил, что хочет играть на гитаре. Нигде не учился, да и кончил ли школу? Кривил губы, хмурился: «Не верю я в эту систему». Ольга терялась. А кто верит? Спыхватывалась: «Лень, какая система?». Несла что-то про необходимость образования, про вечные ценности – и сама маялась от неловкости: не то говорю, не то; банально. Ленечка хмыкал: «вечные ценности» тоже каким-то образом оказывались частью неведомой «системы». Допивал кофе, поворачивался к стойке: «Давай еще возьмем. С бальзамом, а?».

Он рассказывал, как ездил к бабушке Доре в Кременчуг, прожил там почти год; вернулся к матери. Кривил рот: «Не люблю, когда мне мозги компостируют: учеба, работа...». Приносили кофе и две тяжеленькие рюмки с вязкой, похожей цветом на йод жидкостью. Олька терпеть не могла бальзам. Утеха приезжих, деготь с горелым запахом; что брат в нем находит?

Пухлый малыш превратился в высокого двадцатилетнего парня. Очень смуглый – в мать – он был похож на майн-ридовского индейца, с этими волосами до плеч. От Сержанта (Лешка называл его «батей») ему достался крупный нос и низкий лоб; рот

остался чуть припухшим, как у ребенка. Он втягивал в себя темно-коричневую густую жижу. «Ты будешь?» – и с готовностью тянулся к ее рюмке.

Страшно было подумать, что не только лицо, но и вот это – от Сержанта.

Они редко говорили о матери. Случалось, что говорил он один, когда «сильно доставала».

Не пришел на похороны – не знал, не смог? Что-то случилось? Связь у них была односторонняя, а значит, ненадежная: все равно что никакой.

Дорогу пересекал длинный дядька в заляпанном ватнике, нес на плече стремянку. Мысли о квартире, отодвинутые на время похорон, вернулись, а вместе с ними – ремонт.

Завтра, завтра же надо позвонить крестной.

Хорошо проводили Дашу, Царствие ей Небесное. Брат молодец: всех позвал, угостил, дочка ни до чего не касалась. Конечно, правильнее было бы дома собраться, да у кого голова болит об этом? Прошло то время, когда все события, радостные и скорбные, собирали всю семью у них дома, когда и готовила, и накрывала она, Тоня. Как Федя ушел, так и все ушло, будто с собой забрал. Их столовая, некогда бывшая столовой и гостиной, но ничем больше, мало-помалу превратилась в обыкновенную комнату, разве что круглый стол в центре остался.

Могла бы, конечно, Люся постараться, единственная Дашина дочка, а то пришла на все готовое, даже фотографию матери не догадалась принести. Если б она, Тоня, не захватила из дому, конфуз бы вышел.

Сколько раз она это видела – наполненная рюмка, сверху ломтик хлеба, рядом

фотокарточка. Уходят, уходят... И мы уйдем.

За братом надо будет присмотреть: вдовец – что сирота, хоть и седой совсем. Завтра позову обедать, а то ведь без горячего жил, пока Даша в больнице лежала.

Темнело. На улице было безветренно и почти уютно от светящихся витрин. Тоня дошла до аптеки, где работал знакомый провизор, и решительно толкнула дверь. Мало ли, вдруг что-то дефицитное выбросили?

Лариса выходила и столкнулась с ней в дверях; не остановиться было нельзя.

Только бы не расспрашивала. Говорить о сыне не было ни сил, ни желания. Никому не расскажешь, не объяснишь, ни на кого такое не взвалишь: неси сама.

Тоня, напротив, была рада встрече, поэтому пришлось выслушать печально короткую историю болезни и смерти незнакомой женщины, Тониной родственницы.

– Ну как же, – горячилась Тоня, – жена моего брата, он тебе еще скамейку на кладбище сделал! Вот его жену, Дашу, сегодня схоронили.

– Конечно, помню. Спасибо ему: стоит скамейка, так брату и передай. Горе, какое горе; он один теперь остался?

Дверь часто открывалась, люди входили и, главное, выходили, но пришлось, чтобы избежать рассказа о своих делах, дослушать историю Мотиного болезненного развода («четверо детей осталось, брат всех вырастил, на ноги поставил») и второго брака («десять лет прожили душа в душу»), и после финальных слов «Царствие ей Небесное» последовал вопрос:

– А твои как? Внук-то совсем большой уже?

Только одна возможность была уклониться от ответа: задать встречный вопрос.

– В пятый класс ходит, а для меня все равно малыш.

И торопливо продолжила:

– Твой вроде школу в этом году кончает?

Надежный прием помог. Тоня расцвела, заговорила о внуке-первенце, да так увлеченно заговорила, что забыла начисто как о знакомом провизоре, так и о дефиците, за которым, собственно, в аптеку и зашла.

– Не говори: шестнадцать лет уже! Кавалер, – хохотнула, забыв на минуту о похоронах, – того и гляди, за барышнями ухаживать начнет. А что ты думаешь? – возмутилась, словно Лариса не поверила. – Еще как будет! И по телефону ему звонят, и по вечерам пропадает где-то...

Стало можно выдохнуть накопившееся напряжение. С любимого внука Тоня плавно соскользнула на невестку, которую всем сердцем ненавидела, затем – по аналогии – на зятя. Время от времени Лариса роняла что-то малозначащее, кивала или, наоборот, качала сочувственно головой на невесткины происки. Невестка, конечно, с гонором, однако не оставила твоего сына, не увезла внука, чего еще нужно-то?..

– Я вот за ними занимал, – послышался мужской голос за Ларисиной спиной.

Узнав, что та не стоит в очереди, мужчина нахмурился: «Нашли место языками чесать...». Кто-то Ларису толкнул, и обе женщины, не сговариваясь, пошли к выходу. Тонин монолог был прерван, они обнялись («Ты звони, звони!»), и Лариса поспешила домой.

Карлушка сообщил о разводе несколько дней назад. Новости Ларису оглушили,

но нельзя было ни бросаться на него с расспросами, ни хвататься за голову, ни даже задавать ненужные вопросы. Когда говорил о новом Настином замужестве, голос у него звучал ровно, разве что с некоторым удивлением. Лариса давно подозревала, что за внешним их благополучием стоит отчужденность, отсюда и шло его спокойствие, с долей – если она правильно услышала – облегчения.

Но так говорил Карлушка о бывшей жене, которую ему не больно было называть по имени, как мы называем все вокруг: улица, магазин, снег, Настя.

Обогнав Ларису, мимо прошел молодой парень без шапки, с волосами до плеч и в развевающемся полосатом шарфе. Вспомнилась странная просьба сына: «Свяжи мне длинный шарф». Просьба удивила, но только вначале, пока не последовала новая: посмотреть квартиру. Звонили по объявлению; от центра далеко, но трамвайная остановка рядом с домом, да и автобус туда идет. Они будут дома только до семи, после работы он не успевает; хорошо тебе, ты на пенсии.

Все это Карлушка перечислял, записывая адрес и телефон хозяев, и тогда Лариса заподозрила, что сын нарочно придумывает, чем ей занять свое время. Иными словами, игра. Правила обоим известны, что-то вроде «черное и белое не берите, “да” и “нет” не говорите», только посложнее, зато оба знают, чего не нужно касаться.

– Ты найдешь, мама, там школа рядом.

Карл очень долго и старательно складывал бумажку, но мать не подала виду, что заметила паузу и старательность.

Школа. Ростик.

Мальчик будет жить – живет! – в другом городе, встретятся они только летом.

Прощаясь, спросила:

– Тебе шарф-то вязать? А то зима кончается.

Таковы правила игры.

На следующий день после встречи с Тоней она поехала смотреть квартиру. Трамвай ушел из-под носу, зато на автобусной остановке толпился народ. Большой яркий «Икарус» цвета яичного желтка подкатил и распахнул двери. Поставив сумку на сиденье, Лариса обыскала весь кошелек, но ни одного талона не было. Люди спешили занять места; те, кто сел, отворачивались к окну или шуршали газетой, избегая смотреть на ее нерешительно вытянутую руку с пятакom: «Простите, у вас не найдется лишнего талончика?..».

Никто не слышал, не видел; ни у кого не нашлось.

Сидящий у окна мужчина привстал, дотянулся до компостера, потом повернулся к ней:

– Держите.

Лариса совала ему пятак, но мужчина улыбнулся и покачал головой:

– Вы лучше сядьте, он сейчас поворачивать будет.

В чем она тут же убедилась, не успев ухватиться за поручень и почти упав на талонного благодетеля. Теперь, наоборот, пассажиры с любопытством смотрели на обоих.

Села, наконец, бормоча слова благодарности.

– О чем вы говорите, – отмахнулся мужчина, – в следующий раз у меня не будет талона, вот и сочтемся.

Следующего раза не будет, хотела сказать ему, но не сказала, просто сунула незаметно пятак в карман.

Сосед вынул из портфеля пачку библиотечных карточек и начал их медленно перебирать. Потом отвлекся, посмотрел в окно; вернулся к карточкам, выдернул одну из «колоды» и что-то на ней записал.

Ларисе показалось вдруг, что она потеряла Карлушкину записку. Пошарила в сумке, в кармане; нет. Водитель не объявлял остановки. За окном тянулись корпуса какого-то завода и высоковольтные башни с проводами. В нарастающей панике Лариса продолжала копаться в сумке.

Сосед взглянул вопросительно.

– Адрес не могу найти, – призналась Лариса.

– А где выходить, знаете?

– Остановка «Школа», там школа рядом.

– Через две; я тоже там выхожу.

Он перетянул карточки аптечной резинкой, сунул пачку в портфель и хлопнул замком. В проходе придержал Ларису за локоть, когда автобус резко затормозил, как-то ухитрился выйти первым и подал ей руку. Женщина на переднем сиденье неодобрительно покачала головой.

Кошелек, вспомнила на улице Лариса. Действительно, там и лежала записка, о чем она забыла в поисках талона.

– Нашли? – Человек не уходил.

– Да-да, спасибо вам!

Поколебалась, не спросить ли, где находится Первая Длинная улица (она

никогда такого названия не слышала), но не решилась. Попрощалась и направилась к газетному киоску.

Милая какая, подумал Дмитрий Иванович, хотя что именно милого было в нечаянной попутчице, тем более бестолковой, он не смог бы сформулировать. Похоже, в этом районе она впервые. Между тем шпаны здесь хватает, искать в темноте какой-то адрес небезопасно. Догнать? – Неправильно поймет; да и времени до урока двадцать минут. Он видел, как женщина отошла от киоска и направилась уверенной походкой через улицу. Ну, бог в помощь. «Действительно, почему милая?» – подумал раздраженно, заходя в школу.

Здесь, вопреки обыкновению, было тихо и пусто. Присуха недоуменно глянул на часы и пожал плечами.

Недоумение его разъяснилось в учительской: двадцать второе февраля, вряд ли кто-то придет.

– Так ведь праздник только завтра!

– Вы же знаете наш контингент, Дмитрий Иванович. Молодые рабочие, бывшие военнослужащие, – голос директора звучал почти укоризненно.

Математичка добавила, застегивая пальто: «И вот такое каждый год. Чего же вы хотите?».

Я хочу, чтобы прекратился бардак, злобно подумал Присуха. Заглянув на всякий случай в класс, он хмуро поздоровался со скучающей молодой беременной женщиной, сказал, что урока не будет, и вышел на улицу, раздосадованный донельзя.

Где-то на почти законном основании празднует завтрашний праздник рабочая молодежь, «наш контингент», и чья-то молоденькая беременная жена с облегчением

отправилась домой. Милая женщина из автобуса нашла нужный адрес и пьет сейчас в гостях чай с пирожными. Только доцент Присуха, бывший старший преподаватель университета, ждет автобус на февральском ветру, чтобы скорее вернуться к работе, которая никому не понадобится.

Ее никто даже не прочитает.

Ни коллега, ни студент, ни аспирант – никто.

Никто не увидит кипу перепечатанных страниц, переложенную рукописными листками.

Дмитрий Иванович понял это десять лет назад, ясным майским днем, в кабинете следователя КГБ с какой-то простой фамилией, которую с облегчением забыл. Понял, жил с этим пониманием – и продолжал шлифовать и оттачивать уже написанное, продолжал вопреки отлучению от университета: зачем-то это было нужно.

И нужно было в бессмысленный вечер стоять в ожидании автобуса, рядом со сломанной скамейкой, чтобы властно пришла трезвая и четкая мысль: бросить. Потому что, если бы завтра – или полгода, или пять лет назад – твоя монография сгорела, то ничего бы не изменилось. Один раздел не закончен? Ну и что – ты не Голсуорси, тебе конец главы писать не обязательно. Ибо научный труд, не увидевший света, – все равно что умерший в утробе ребенок: будущая мать любовно вышивает ему чепчик, не подозревая, что матерью она так и не станет.

Вышиванье, Митенька, согласился друг, вышиванье; брось. Работа закончена.

Так что же дальше?

Автобус неся в темноте, проскакивая пустые остановки. Присуха сидел с

портфелем на коленях, глядя прямо перед собой, на табличку «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ».

Вопрос никому не предназначался, тем более что Дмитрий Иванович знал ответ. В отличие от Сомса и его автора жил он не в Англии, а потому не мог просто взять и издать написанную книгу. Независимых издателей не существует, а войти *с улицы* в научное издательство означает попасть в городские сумасшедшие. Кроме того, научное издательство непременно пристегнуто к какому-то *мозговому центру*, будь то академия наук или вуз, и, чтобы опубликовать научную работу, необходимо тоже быть пристегнутым, как он сам некогда был пристегнут к университету. Вот тогда-то – Инга была права – тогда-то и нужно было шевелиться: выбрать одну главу, сократить, сервировать под статью – и появилась бы она в очередном сборнике научных трудов. Так нет же, английскую машинку загорелось купить, с этого все и завертелось.

Дома, вопреки обыкновению, Дмитрий Иванович не сел за письменный стол, а подошел с папирсой к окну.

С третьего этажа был виден черный тротуар, голые костлявые деревья, пустой и темный магазин одежды с манекенами в тускло освещенных витринах. Две женщины шли, оживленно разговаривая. Одна вела за руку ребенка в мешковатом, как у космонавта, комбинезоне. Задрав голову, ребенок смотрел, как показалось Присухе, прямо на его окно. Дмитрий Иванович помахал ему рукой с зажатой папирсой, усмехнулся и отошел от окна.

Чего ребенку смотреть на старого дурака, в шестьдесят лет «обдумывающего житье»? Ну, не шестьдесят – пятьдесят девять скоро; все равно не мальчик.

Если бы Патриарх был жив, он дал бы дельный совет. В любом случае, университет исключается; академия наук, со всеми заседающими дундуками, тоже. Что в остатке?

А если?.. Папироса замерла в руке.

Может быть, периферия? В республике было два пединститута – один ближе к столице, другой дальше; Дмитрий Иванович так для себя их и обозначал: ближний и дальний.

Какой-то шанс есть, подкрепленный ученой степенью и подкошенный десятилетиями репетиторства и вечерней школы, сиречь безделья. И все же, и все же...

Бессмысленная ярость и досада растворились. Мысль заработала в другом направлении. В памяти начали всплывать имена однокурсников, и на последней папиросе пришло самое дерзкое озарение: *alma mater*. Что, если?..

Но первым делом нужно было дополнить главу «“Great Forsyte” – соль земли», там буквально два-три абзаца. Дмитрий Иванович включил настольную лампу.

Дитя может еще родиться на свет.

Пустое время и пустые комнаты действовали на Карла угнетающе. После визита в бывшую машинисткину квартиру и встречи с Ольгой он тоже решил дать объявление в газету.

Девушка в отделе объявлений озабоченно нахмурила скудные бровки и прочитала вполголоса:

– «В центре... с балконом, 32 кв. м, на однокомнатную квартиру», – подняла глаза на Карла и недоверчиво переспросила: – На однокомнатную?

– Я в общей квартире, – пояснил он.

Девушка покачала головой и снисходительно объяснила недотепе, что две комнаты в центре «с руками оторвут, тем более с балконом», и посоветовала изменить формулировку: «...на двухкомнатную квартиру».

Колебался он недолго: «Пишите: двухкомнатную». Все равно ничего не выйдет, зато больше времени займет, проскочила малодушная мысль.

Как лошадиные барышники, подумал он, выходя из шумного отдела объявлений, хотя ни одного лошадиного барышника не знал.

Телефон начал звонить сразу после выхода газеты и звонил часто, что было неудобно, но неожиданно развлекло Марию Антуанетту. Преподнесенная Карлом коробка зефира в шоколаде донельзя ее растрогала: «Ну что вы, зачем это?.. – Соседка кокетливо улыбалась, склонив голову к плечу выцветшего халата. – Я ведь, помилуй бог, совсем не ради... не надо вам было тратиться». Скрылась, продолжая бормотать слова благодарности, с коробкой в свою комнату, после чего дежурила у

телефона с удвоенным рвением.

Газетная девушка оказалась права: многие владельцы двухкомнатных квартир заинтересовались объявлением. Мать с энтузиазмом ездила по адресам, а потом «отчитывалась о проделанной работе», как она шутила. Целью было найти квартиру не очень далеко от центра, что оказалось нелегко. Зато эти хлопоты позволяли обоим не говорить о случившемся – тема стала не то чтобы запретной, но неуместной.

На работе развод Карла скоро перестал быть новостью, тем более что подоспела более горячая и пикантная: у главного инженера появилась любовница. Новость муссировали на всех уровнях.

– И как ты думаешь, кто? – Кондрашин затянулся и выжидательно посмотрел на Карла.

– Да ничего я не думаю, – пожал плечами тот.

– Ну, так ты единственный, кто не думает, – обиделся Гена, – потому что все остальные знают.

И громким шепотом назвал имя начальницы копировального бюро.

Что он в ней нашел, удивленно подумал Карл. Женщина-манекен, витринная красота. Сам главный инженер – отнюдь не Аполлон: высок и тощ, как кочерга, глаза сощурены от дымящейся в зубах папиросы, волосы на висках торчат рожками. Мужик он характерный, любимая присказка: «Завод – это вам не лебединое озеро».

– Да на здоровье, – ответил Карл.

Азартный блеск в кондрашинских глазах сменился разочарованием.

Все последние месяцы он всячески выказывал свое участие. Звал Карла после

работы: «Пойдем выпьем», давал какие-то советы, которые наверняка давали ему самому после развода, но Карлу почему-то была неприятна эта *мужская солидарность*. Нет одинаковых обстоятельств, а потому, он был в этом уверен, не бывает одинаковых разводов. Мало-помалу он стал избегать Кондрашина, выходя курить на другую лестничную площадку, а потом, сталкиваясь с ним, испытывал неловкость. Оставалась надежда, что тот ничего не замечает.

Во время обеденного перерыва Гена предложил опять сходить после работы в пивной бар. Карл отказался, сославшись на суету с обменом. «Чего ж ты молчал? – возмутился Кондрашин. – Я на этом деле собаку съел. Без меня ты даже не берись!»

Энтузиазм Кондрашина граничил с настырностью. Карл уплатил за обед и двинулся с подносом к дальнему столу. Кондрашин шел следом, на ходу вспоминая, как он менял родительскую двухкомнатную квартиру. «Моя стерва кооператив себе отсудила, для хахаля своего», – торопливо говорил Кондрашин между ложками харчо. Вокруг рта у него появился оранжевый, цвета мастики для пола, ободок. Карлушка поймал себя на том, что теперь его начало раздражать в Кондрашине все: манера говорить, не отрываясь от еды, чуть выпученные глаза и даже привычка закладывать карандаш за ухо, как это делал начальник отдела. Карандаш держался плохо, падал.

– Я уже взялся, – сказал Карл, – так что беготни хватает.

Кондрашин так активно вызвался поучаствовать («тебе черт знает что вдуют, там много тонкостей»), что пришлось повторить уже тверже: «Спасибо; я сам».

Кондрашин осекся. Передернул плечами: «Дело хозяйское» и придвинул к себе тарелку.

Обиделся.

Вины Карлушка не чувствовал, только облегчение. Неделью-другую назад он в такой ситуации постарался бы как-то сманеврировать, согласился бы на выпивку.

Что один раз и сделал, потом прокляв все на свете – и в первую очередь свою бесхарактерность.

Сначала пришлось выстоять долгую очередь в пивбар. Сидящие внутри не торопились. Он хотел есть и готов был уйти, но Кондрашин уверял, что «десяти минут не пройдет – и мы в дамках, ты что!». О десяти минутах можно было только мечтать; через полчаса Карл решил, что с него хватит, но в этот момент открылась дверь. Вышла большая веселая компания, и дверь тут же всосала кусок очереди; Гена из всех сил работал локтями.

Внутри было шумно и дымно, воняло чем-то кислым. Мало что напоминало пивные бары на взморье, куда он любил заходить. Настя наотрез отказывалась: «Если б ты попробовал немецкое пиво – или хотя бы чешское, если б ты побывал в тех барах, ты бы эти обходил за километр!». Удивительно, сколько упрека ей удавалось вложить в такую фразу, словно он сам был виноват, что не заходил в те замечательные бары и не пробовал ни немецкого, ни «хотя бы» чешского пива. Да, ему нравилось посидеть на грубой скамейке за таким же грубым столом – так имитировали деревенский стиль, – как нравилось местное янтарное пиво с толстой и легкой, словно поролоновой, пеной.

Здесь, в недавно открывшемся баре, тоже стояла грубо тесанная стилизованная мебель. Справа от Карла на скамейке чей-то нож глубоко вырезал: «Валя». Вдобавок еду подавали в грубой и тяжелой керамической посуде.

Стало тоскливо. Проще и намного приятней было бы взять пива и сделать себе несколько бутербродов, а потом спокойно выкурить на балконе «сытую» сигарету. Вместо этого он курил которую уже по счету «голодную», в кислой и душной вони, а рядом оживленно ерзал Кондрашин.

— Ты обязательно должен попробовать, это что-то!

«Что-то» оказалось главным блюдом и гордостью бара. Гордость носила простецкое название: «Серый горох с салом», чем в действительности и оказалась. Крупный грубый серо-коричневый горох выглядел таким же глиняным, как тарелка, на которой он лежал. Кондрашин азартно тыкал вилкой, жирные от сала горошины скользили. Одна упала на скамейку, рядом с «Валей». Карл отодвинулся. Пиво было жиденькое. «Ну, как тебе?» — возбужденно кричал Кондрашин, и Карл в ответ неопределенно улыбнулся. Как-то досидели. Кондрашин порывался уплатить, но Карл вытащил пятерку: «Давай по-ковбойски: или ты ставишь пиво всему бару, или просто платим пополам». Он совсем не был уверен, что именно так выглядит ковбойский вариант, но Кондрашин озадаченно взял деньги.

После этого эпизода всякий раз, когда приятель предлагал: «Пойдем выпьем, я такое место знаю», Карл отказывался мягко, но решительно. Никакое «место» не могло быть лучше весеннего города, начинающегося сразу за заводской проходной. Птичий гомон, освобожденный апрелем, был главным звуковым фоном, на который накладывались все другие уличные шумы: дребезг и звон трамваев, автомобильные гудки, ровное шуршанье троллейбусов, голоса в очереди за квасом: «Вы последний? — «Я не последний, я крайний».

Что такое делает с человеком весна, от чего он вдруг чувствует себя молодым,

изумлялся Карл, ощутивший весну с необычайной остротой; что она такое делает?! Каждое утро, выходя на балкон, он замечал, как робкие акварельные краски апреля становились ярче, насыщеннее, сочнее, и разве что дымок его первой сигареты напоминал об акварели. Деревья стояли в юной зелени, и на ветках продолжали вылупливаться новые крохотные блестящие листочки. Во дворе зацветали клены, и к утру нежная зеленоватая пыльца припудривала тротуар, чьи-то «Жигули», оседала на карнизах. Хотелось сохранить, удержать магию весны – юное, почти детское желание, которое внезапно ожило.

Апрель. Скоро начнется май – и скоро пролетит, зато начнутся школьные каникулы, придет Ростик – сын, росточек мой! Взять отпуск, собрать все отгулы – с начальством уже договорился – и поехать на хутор, вместе просмолить старую дедову лодку, а спиннинг он приготовил давно. Потом... нет, так далеко фантазия не простиралась. Мать, он знал, с нетерпением ждет Ростика и почти переселилась в деревню: готовится к его приезду. Карлу часто виделось, как он едет на вокзал встречать сына. Ходит по перрону в ожидании московского поезда, стараясь угадать, где остановится вагон, в котором едет Ростик. «На все лето в деревню? – спросила Настя по телефону. – Что ребенок там увидит, на хуторе? Ты мог бы подсуетиться в профсоюзе насчет путевки. Ну не в “Артек”, разумеется, – добавила язвительно, – хотя бы в лагерь на взморье, что ли...» Настя, как всегда, была недовольна – не столько хутором, сколько им, Карлом. «Что-нибудь придумаю», – торопливо пообещал он, но твердо знал, что если и будет что-то «придумывать», то уж никак не пионерский лагерь – ни на взморье, ни в любом другом месте, потому что Ростик тихо ненавидел лагерь. Именно «тихо» – мальчик ездил туда два раза, хотя

достаточно было бы и одного, но Настя пребывала в твердой уверенности, что «коллектив оказывает на него совершенно необходимое влияние». Оба раза сын возвращался молчаливым, замкнутым и каким-то... постаревшим, что ли. Третьего раза не будет, твердо решил Карл, но не успел сказать об этом жене, потому что начался развод.

Однако развод был пройден, и сейчас, в яркий и пятнистый от солнечных зайчиков день он казался далеким, как скучный, давно сданный экзамен.

Дождавшись после работы троллейбуса, Карл пробил талончик и бездумно смотрел теперь в пыльное окно. Заметив кондитерский магазин, вспомнил, что дома кончился кофе, и торопливо начал продираться к выходу. Задержался в гармошке смыкающихся дверей, получил вслед несколько напутствий, ядовитых и сочувственных, и выскочил на свободу.

В магазине толпился народ. Несколько девушек у витрины выбирали конфеты, в очереди слышались нетерпеливые голоса.

— Лунканс!

Карл обернулся на голос. Зинка; ее только не хватало. Та вытягивала голову и махала ему рукой. Пришлось подойти.

— Я уже думала, ты не придешь.

Карлушка не успел изумиться, потому что Зинка с готовностью бросила в сторону:

— Он занимал.

Повернулась к нему и спросила деловито:

— Ну? Ты чего братъ-то будешь?

– Кофе. Вот объясни мне, – начал он, ухватившись за кофейную тему, – какая разница между сортами? Один по четыре пятьдесят, другой по четыре десять. На глаз не различить.

Карл кивнул на два больших стеклянных цилиндра, доверху наполненные коричневыми матовыми зернами.

– Разница будь здоров, – хохотнула Зинка. – Вот выйдем отсюда, тогда объясню. Бери давай, ты же передо мной стоял.

– Нет, я извиняюсь, – раздался за спиной возмущенный голос, – я не помню, чтоб он занимал!

Обладательница возмущенного голоса ткнула Карла вязаным плечом, стараясь вытеснить из очереди. Кто-то неуверенно поддержал, и Карлушка остановился, не успев достать бумажник.

– Ну да, – весело согласилась Зинка, – старожилы не упомнят. Проспали, тетенька!

Протест увял, поддержанный чистосердечным смехом девушек, оторвавшихся наконец от витрины. Одна из них с любопытством посмотрела на Карла, подруги потащили ее к выходу. У двери она оглянулась.

– Вот! – торжествующе заявила Зинка. – А девушки помнят. Особенно хорошенькие.

Когда Зинка с Карлом отходили от прилавка, женщина бросила им вслед:

– Нет, вы скажите: когда он занимал?

Зинка чуть повернула голову и спокойно ответила:

– В феврале.

Из магазина вышли вместе. Зинка с любовной ворчливостью пожаловалась, что «на этих крокодилов зефира не напасешься, ну везде находят, куда ни спрячь», и Карлушка выжидал момент, чтобы попрощаться, когда Зинка взяла его под руку.

– Вот ты меня сейчас кофейком угостишь, а я тебе все объясню про пересортицу. Ну про кофе. Который по четыре пятьдесят и по четыре десять; ты же спрашивал?

Он забыл уже свой вопрос и теперь обрадовался: пересортица так пересортица.

Народу в кафе было не много, выбор скудный: за стеклом лежали бледные бисквитные пирожные и какое-то печенье, твердое даже на вид, в виде шестеренок с кристаллами сахара поверху.

– Тебе что? – спросил он Зинку.

– Мне Катю, – сообщила та, но не ему, а девушке за прилавком. – Катерина сегодня работает?

Девушка нерешительно кивнула.

– Так позови, – сказала Зинка.

Девушка юркнула за плотную занавеску, но тут же вернулась: «Екатерина Сергеевна сейчас будет».

И колыхнулась та же занавеска, отодвинутая пухлой рукой Екатерины Сергеевны, настороженное лицо которой не вязалось с ярко-зелеными веками и перламутровой помадой. При виде Зинки настороженность улетучилась, и лицо осветилось облегчением и счастьем, последовали объятия – настолько дружеские, что белая кружевная накладка на голове Екатерины Сергеевны бесшабашно съехала набок. «А вот сюда, Зинуль, – деловито распоряжалась Екатерина Сергеевна,

оправившись от радости встречи, – давайте-ка сюда, лишние стулья уберем», – и теснила Карла к свободному столику, на котором стояла табличка «Служебный».

– Чем угощаешь, Катерина? – Зинка хлопнулась на стул. – Это моей подруги муж, – она кивнула на Карла. – Прямо с работы мужик, учти.

Кто знает, какими яствами мог обернуться понимающий кивок Екатерины Сергеевны, если бы Карл не заверил обеих, что поесть успел, а вот если бы кофейку... Просьба была встречена благосклонно. Никаких обсахаренных шестеренок – на столе появилась нарезанная ватрушка, не менее пышная, чем Катерина Сергеевна, крохотные, с мизинец, эклеры, и вазочки во взбитыми сливками. Катерина Сергеевна принесла дымящиеся чашки, и восхищенный Карлушка не мог сообразить, принесенный ли кофе источает аромат или купленный им пакет с зернами.

– Ты давай наворачивай, Катерина молоток. Она хорошая баба, мы когда-то вместе работали, – поощряла Зинка, лениво куснув эклер.

– А ты?

– А я чего, я после работы, – хохотнула та. – Работа у нас с тобой разная, Лунканс.

Прихлебывая кофе, Зинка добродушно рассказывала про своих близнецов, которых ласково называла «крокодилами», сетовала на Толяна, снова ушедшего в рейс: «Не мальчик уже. Я говорю: всех денег не заработаешь, да разве он слушает. Вот скажи: кто прав?».

Говорить, однако, ничего не требовалось, с этим она справлялась сама. Давно прошло то время, когда Зинка Трымчук стояла на раздаче. Теперь она, давно больше

не Трымчук, работала бухгалтером, и не на заводе, а в ресторане, куда стала уговаривать его зайти: «Ты что! У нас такие морпродукты готовят, каких нигде в городе...».

– *Какие* продукты?

– Да какие только привозят на судах! Мне Толян говорил, многие только на экспорт отправляют. А только «экспорт» далеко, зато наш ресторан совсем рядом. Я ж говорю, заходи, правда!

Понишила голос:

– Крабы есть, ты что! Лососина – у нас ее на решетке готовят; приходи, Карл!

Впервые Зинка назвала его по имени. Произнесла – и как будто споткнулась; рассеянно надломила ватрушку.

К столику подошла девушка, стоявшая за прилавком, с новыми чашками кофе на подносе. Девушка выпалила скороговоркой: «Катеринсергевна сказала», поменяла чашки и отошла.

Карлушка не заметил, как его ответы стали менее односложными, и поймал себя на рассказе о том, как девушка в бюро убедила его искать двухкомнатную квартиру. На тарелке с ватрушкой и пирожными остались одни крошки – он и не заметил, как съел.

– Ладно, валим отсюда, – решительно сказала Зинка. – Кофе не забудь, вон твой кулек.

Она вытащила кошелек с переливающимся портретом какой-то красотки, но Карл отвел ее руку: «Мы так не договаривались». У прилавка Екатерина Сергеевна без интереса взяла у него пятерку, вручив две одинаковых коробки: «Это вам на

дорожку. Заходите к нам. И ты, Зинуля, не забывай!».

На улице Зинка сказала:

– Давай в парке посидим. Дико хочется курить.

Удивляться было некогда, да и незачем. Что он, в сущности, знал о Зинке? Настина подруга. Он никогда этого не понимал: чем Зинка, со своими дурацкими присказками и грубоватыми манерами, привлекала Настю, что между ними было общего? И почему «было», поправил он себя; не «было», а «есть».

Зинка нашла скамейку, которая показалась ей подходящей: «Смолю-то я втихаря. Толян не знает, а то убил бы; про “крокодилов” я уж молчу. Дома, конечно, ни-ни; разве что на работе, в перерыве».

Закурили. Пока Зинка наслаждалась первыми затяжками, Карл незаметно рассматривал ее, сравнивая с той девчонкой, которую впервые увидел в обще. Не баба, как Екатерина Сергеевна, и не светская дама – сорокалетняя женщина. Вокруг рта – тоненькие скобки морщинок: при улыбке появляются, потом исчезают. Упрямые веснушки, никакая пудра их не замаскирует. Старательно покрашенные – когда успела? – губы. Вместо торчащих во все стороны русых лохм – блестящий темно-каштановый шлем волос.

– Чего, постарела? – Зинка улыбнулась. – Куда ж деться. Про бабий век знаешь? То-то.

Помолчала, потом повернулась к нему, словно хотела сказать что-то важное. Однако перевела взгляд и заговорила совсем другим голосом, негромко и деловито:

– Да, так о пересортице. Делается это так. Магазин получает, скажем, два сорта кофе в мешках, по двадцать пять кило каждый. Высший сорт по четыре пятьдесят

кило, первый – по четыре десять; секешь?

Он машинально кивнул.

– Ну вот. А дальше что делает любой завмаг? Правильно, – сказала Зинка, хоть он молчал, – ставит ценник «4 р. 50 коп.», и оба сорта продают по одной цене – по четыре пятьдесят. Секешь? Как у нас в школе задачки были колхозные, помнишь? Про рожь и пшеницу, из которой получают муку первого и второго сорта, и сколько там зерна надо перемолоть, чтобы председателя не посадили? – Она засмеялась. – Вот и здесь такая же бодяга, зато какой оборот в месяц! А в квартал, секешь? И ведь не только кофе... Ты чего смеешься, ты знал, да?

Нет, Карлу в голову не приходило задуматься об этих торговых хитростях. Улыбка относилась не к Зинкиной лекции, а к нему самому. Чего он ждал от нечаянного разговора? Нет, пересортица так пересортица.

Поговорили о том, как «время бежит», Зинка рассказывала о детях («они только Толяна слушаются, на меня ноль внимания»), хотя очевидно было, что кокетничает, и скромная его должность тоже не была для нее тайной. Потом порылась в сумке, не глядя на Карла, дернула молнию, закрыла. Только не о Ростике.

– Слышь, Лунканс... Не знаю, какой там у Настены дипломат-аристократ, и все такое; не знаю и знать не хочу. Ты звони или заходи просто, лан? Мы с Толяном... В общем, заходи, а?

Подхватив сумку и коробку, Зинка встала со скамейки.

– Бегу; мне надо к одной знакомой заскочить, это рядом. Чао!

Тряхнула челкой, растопырила ладонь в прощальном жесте и быстро пошла по аллее к выходу.

Карл выкурил еще одну сигарету. Зинкино приглашение, искреннее и настойчивое, неожиданно тронуло его. Позади кого-то окликнули, потом еще раз. Он оглянулся.

— Мужчина! Я кричу вам, а вы уходите, — молодая беременная женщина махала рукой. — Коробочку свою забыли.

В поисках адресов Карлушка много ходил пешком, часто натыкаясь на улочки, которые никогда раньше не видел — или не узнавал их, чисто прополосканных майским ливнем. Одну такую улицу нашел и договорился с хозяйкой квартиры, что приедет после работы.

Он не помнил, когда в последний раз бывал в этом районе, и с интересом огляделся. Троллейбусная остановка, рядом — телефонная будка. Маленький цветочный магазин на углу был уже закрыт. У двери с обеих сторон сидели на ящиках две пожилые женщины, у ног стояли ведра с торчащими свежими цветами; одна из женщин вопросительно посмотрела на Карла.

Покупать цветы было некому.

Вниз от цветочного магазина шла улица с узкими тротуарами, по обе стороны заставленная домами. К ближнему, с высокими ступеньками, теснилась очередь. Люди держали в руках тяжелые связки бумаги. Подойдя ближе, Карл увидел внутри тусклую голую лампочку и огромные весы, на которых приемщик взвешивал макулатуру. Подошел мужчина в расстегнутом плаще и спросил:

— Что дают, не Пикуля?

— Дюму, — неохотно ответила толстая женщина, обмахивавшаяся газетой.

Девушка, стоявшая перед ней, гневно обернулась.

До чего же странно: одна очередь выстраивается за туалетной бумагой, другая, вот как эта, – за «Дюмой». Третьи ждут Пикуля. Абсурд, абсурд. Уж печатали бы Пикуля на туалетной бумаге – такой вывод сам напрашивается при виде «макулатурных» изданий.

Напротив цветочного магазина высился аккуратный темно-серый гранитный куб. Сверившись с адресом, Карл вошел в парадное.

Два ряда почтовых ящиков, детская коляска на лестничной площадке, три квартиры на каждом этаже. Несмотря на вечернее время, в доме было на удивление тихо.

Поднялся на третий этаж, позвонил. Хозяйка Мария Михайловна («можно просто Мария»), бодрая женщина лет пятидесяти пяти, двигалась легко и быстро, несмотря на полноту. Фланелевый халат был туго затянут пояском, но женщина часто затягивала его еще туже; волосы были завязаны платком так, что концы его торчали надо лбом, как заячьи уши. Говорила она, как и двигалась, быстро, время от времени как-то по-детски шмыгая носом.

Карлушка заметил, что каждый хозяин в первую очередь расписывает достоинства квартиры, часто преувеличенные, и не упоминает недостатков. Мария Михайловна, шмыгая носом, сразу заговорила о недостатках – правда, не квартиры, а мужа, с которым развелась или разводилась, из-за чего и меняла квартиру.

– Ну нету больше никаких моих сил, ей-богу. Такой сволочь. То он здесь, то нету его по месяц-два-три, по полгода, и где живет, не говорит, я и знать не интересуюсь, а только где пропадает, там пускай и остается. С милиции проверки приходят:

прописан, мол? Прописан, говорю; муж это мой. Почему на работу не выходит? А мне и сказать нечего, и перед людьми стыдно. Такой сволочь, я с ним двадцать лет мучаюсь.

Непонятно было, как ее муки прекратятся, если она с «таким сволочем» переедет в его две комнаты, но вопрос задать он не успел: женщина опередила, объяснив, что в обмен входит еще одна сторона.

– А папаша у его, – продолжала хозяйка, – так тот всегда был забулдыга: что ни день – один глаз поперек. Свекровь моя, царство ей небесное, терпела-терпела, да и померла; тут я поняла, что хватит с меня, сыта по горло. – Она шмыгнула носом, затянула ту же поясик халата. – Когда нас разводили, этот сволочь и в суд не явился, как вам это нравится?

Помолчала и добавила:

– А прописан он тут, квартира-то нас обоих. Пойдемте, я ванну вам покажу.

Узкое окно ванной выходило во двор и было целомудренно завешено ситцевой гардинкой.

– *Смеситель* новый, – гордо объявила Мария.

Карл озадаченно молчал, пока не догадался, что речь идет о смесителе горячей и холодной воды.

– И ведь нигде не укупишь, двадцать пять рублей, как одну копеечку, отдала. Кто уж сюда вселится, вы или кто другие, так мне спасибо скажете.

Квартира так понравилась Карлу, что совсем не хотелось думать о «других», которые входили в сложную обменную рокировку. Так легко представилось, что Ростик сможет на зимних каникулах жить вот в этой светлой комнате, а сам он – в

соседней. Сюда, к окну, можно будет поставить отцовский письменный стол... С трудом отмахнувшись от опасных мечтаний и двинулся за хозяйкой, непрерывно говорившей.

– В кухне сюда стуло не ставьте и не садитесь: тут от кладовки дует. Она хорошая, кладовка эта, никакой холодильник не надо, только зимой дует. Этот сволочь обещал войлок набить, да где там... Уж вам самим придется, а то другому, кто вселится.

Договорились, что она приедет завтра «посмотреть вашу жилплощадь».

Что и сделала; «жилплощадь» ей, кажется, понравилась, общая квартира не смутила. «Сколько соседей, трое?» – и провела беззаботно в воздухе рукой, словно отодвинула всех соседей сразу. В зеленом джерсовом костюме вместо фланелевого халата, парикмахерская укладка блестит лаком, с сиренево-химическими веками, она была сегодня почти неузнаваема, если бы время от времени не шмыгала носом, как ребенок. Быстро и толково разъяснила, какие документы нужны, добавив многообещающе: «С *теми* вроде как уже сговорено, они согласны». Неизвестные «те» звенья обмена так и остались для Карла невидимками, как чьи-то голоса за сценой по ходу спектакля.

Вот-вот начнется май. Теперь его хотелось даже немножко притормозить, чтобы к приезду сына покончить с обменом и переехать в отдельную квартиру, где у Ростика будет своя комната. Потому что, кроме зимних и летних, есть ведь еще и весенние каникулы, пусть короткие, но мальчик сможет приезжать, хоть на несколько дней...

К изумлению Дмитрия Ивановича ответы пришли из обоих пединститутов. Как ближний, так и дальний выразили готовность зачислить его в штат. Вот она, драма Буриданова осла, усмехнулся он. И ведь быстро ответили – месяца не прошло!

Впрочем, неизвестно, как все сложится, если всплывет история с машинкой. В любом случае выходило, что нужно поехать самому и сориентироваться на месте.

Поражаясь собственной решительности, созвонился с институтами и поехал, отменив репетиторство и выбрав дни, когда не было уроков в школе.

Заняла вся суета, как Присуха снисходительно называл это сам с собой, две недели. Оставалось решить. И ведь что интересно: теперь, после долгого – девять с лишним лет – перерыва, когда стало можно вернуться к настоящей работе, принять решение оказалось очень трудно и страшновато.

Ворочаясь в постели без сна, он сдавался: включал свет и раскрывал книгу. Не читалось; приходилось вставать, закуривать и шагать по квартире, словно ходьба помогала думать.

В конце концов Дмитрий Иванович, применив совершенно бухгалтерский подход, хладнокровно подсчитал плюсы и минусы каждого института. Предположим, бормотал он себе под нос, совершая который уже рейс по квартире, *там* дают спецкурс – мой спецкурс – прямо с первого семестра, а *здесь* еще бабушка надвое сказала, дадут ли вообще. Зато *там* «Труды» выходят через пень-колоду, а *здесь* – как часы. Вот и думай, Митенька. При этом *здесь* обещали дополнительные часы, которые можно использовать для Голсуорси... Не замена спецкурсу, но хоть

что-то. Нельзя было не принимать в расчет и расстояние: ближний институт позволял обойтись без обмена квартиры, потому что ездить туда можно было на поезде. Черт возьми, если он все эти годы катается в вечернюю школу на автобусе, что стоит привыкнуть к поезду, да и не каждый день ведь ездить? Расписание можно будет согласовать, а в «Труды» предложить небольшой безопасный фрагмент из монографии.

Поехал еще раз, теперь уже поговорить о публикации.

Присухе сопутствовала удача. Сборник готовится к печати, статью брали с энтузиазмом. Проректор пожал руку: «Оформляйтесь, Дмитрий Иванович».

Дорого яичко да ко Христову дню.

Присуха заполнил анкету для отдела кадров – пускай они теперь страдают бессонницей – и купил расписание поездов.

Если здесь ничего не получится, то не получится и там, в дальнем. Тогда, Митенька, спокойно доживешь отставным доцентом и будешь по-прежнему готовить будущих студентов, а кто-то более удачливый станет читать лекции студентам настоящим. Скучно, да; зато верный кусок хлеба, спасибо покойному Патриарху. Через годик можно будет выйти на пенсию и покончить с поездками в школу.

Словосочетания «шестьдесят лет» Дмитрий Иванович не пугался: шестьдесят так шестьдесят. Сомс прожил семьдесят и был готов жить дальше. С каким мастерством описаны его последние шаги в жизни! Главное достоинство – это отсутствие мысли о смерти, о собственной смерти. Нет ни страха перед нею, ни ее предчувствия. И вместе с тем Сомс *торопится* сделать то, что – он знает – никто, кроме него, никогда не сделает. Ибо поиск «Большого Форсайта» – итоговый

поступок его жизни. Что его подгоняет? Ведь впереди, он уверен, времени более чем достаточно. Тем не менее, он скрупулезно приводит в порядок все дела, связанные с завещанием и наследством: спешит. Всю свою жизнь человек долга, он его выполняет – и вовремя. Что бы сказал, интересно, старый Джолион, если бы мог видеть, как Сомс, этот «собственник», гибнет, спасая картины?

Не свои – принадлежащие Англии, по его завещанию.

Англии, которой он так предан.

Англии, воздух, трава и вода которой для него бесконечно дороги.

Что бы сказал он сам, случись ему услышать слово «патриот» в свой адрес? «Rubbish», наверное; «вздор». Только никто этого слова не произнес.

Глава, посвященная Сомсу и Англии, у Присухи называлась «Соль земли». Конечно, для «Ученых записок» пединститута не годится, надо подобрать какой-нибудь более безобидный фрагмент.

Жизнь, казалось, обрела дополнительное измерение. Монография была извлечена из книжного шкафа, и Присуха начал придирчиво перелистывать текст, знакомый, как альбом с семейными фотографиями. Кстати, куда подевался этот альбом – неужто загнал на антресоли? Давно не попадался на глаза, а тут вдруг очень захотелось перелистать плотные картонные страницы. Потом, потом; сначала отправить статью. Дмитрий Иванович перебирал главу за главой и поймал себя на том, что улыбается. В памяти всплывали начальные тезисы, вычеркнутые куски, даже черновые фразы. Работа разрослась, но это только закономерно – теперь она охватывала не только «Сагу», но и «Современную комедию».

Жизнь менялась, и Дмитрий Иванович не уставал удивляться осязательности этих

перемен. Когда окончательно подтвердили его новую должность на новой кафедре, родилась дерзкая мысль: а не купить ли костюм? И не в том дело, что заведовала кафедрой дама, и не в ее солидном возрасте дело: будь она хоть чаровницей Ирэн, Дмитрий Иванович одичал и отвык от общения с прекрасным полом, да-с. Костюм захотелось купить, потому что он попытался увидеть себя со стороны, как вскоре увидят его новые коллеги и студенты. Ну и дамы, разумеется; как же.

Волосы не сильно поредели, зато седины хватает. Эспаньолка – он подумал было, не расстаться ли с ней, но отмел вздорную мысль. Привык, да и седина не мешает – скорее наоборот, хотя бес в ребро, пожалуй, не грозит. А вот единственный костюм в свете последних перемен едва ли можно было назвать костюмом: он тоже «поседел» на швах, и брюки обтрепаны до неприличия. Для вечерней школы, впрочем, годился: каков поп, таков и приход. Отдавая должное справедливости, «поп» в подметки не годился «приходу»: молодые люди являются на занятия не в спецовках и не в промасленных комбинезонах, а в модных джинсах, с которыми, на взгляд старомодного Присухи, плохо сочетаются элегантные пиджаки.

Костюм, однако, может подождать до начала семестра. Теперь, когда все определилось, нужно было уволиться из школы; дело нехитрое. Написал заявление и, подумав, решительно поставил внизу сегодняшнее число. Расписался на листке и сунул в портфель, непривычно легкий.

Дмитрий Иванович недолюбливал весну. Беспардонно яркое солнце отчетливо высвечивало новые морщины, бледную, парниковую какую-то, кожу рук и уже замеченную раньше седину. Иными словами, весна бестактно напоминала о

возрасте.

Стало тепло, но плащ... Плащ провел зиму не на вешалке, а на штыре в кладовке, и, надев его, Дмитрий Иванович выглядел так, словно у него вырос горб. К черту, в химчистку. Однако надев пальто, сразу почувствовал себя неуклюжим и громоздким.

Кое-как разгладил спинку плаща и затянул потуже пояс.

Ветра не было. Шарф он оставил дома – и правильно сделал.

От яркого солнца стали четко видны грязные подтеки на трамвайных вагонах, трещины на асфальте и пыльные, в разводах, стекла. Все требовало ремонта: тротуар, собственный Присухин плащ с разорванной подкладкой, бакалейный магазин, витрина которого уже обещала: «РЕМОНТ».

Кончились папиросы, и Присуха направился к газетному киоску на следующем углу.

Весна символизирует обновление природы – не символизирует даже, а попросту осуществляет это обновление. Но ремонт и есть обновление – не случайно как раз весной люди начинают ремонтировать квартиры. Присуха с виноватой тоской подумал о своей квартире, едва ли помнившей, что такое ремонт... Он и сам забыл. Однако представить в своем хорошо организованном хаосе ведра с краской или пятнистую стремянку рядом с книжным шкафом отказывался. Мне же не жениться. Да и весна ни при чем, всему виной моя стариковская брюзгливость. Сам с собой Дмитрий Иванович называл себя стариком, отлично сознавая собственное кокетство. Для окружающих я просто пожилой мужчина, даже лысеть почти не начал. Вот и Сомс в конце жизни был известен немногословной ворчливостью –

впрочем, Сомс и не знал, что его жизнь так скоро оборвется.

Что до брюзгливости, так ведь у пожилых, это правда, недовольные лица. Потому и запомнилась ему в том зимнем автобусе женщина приветливым и спокойным лицом, без озлобленности, без раздражения.

...Можно было бы перед школой – он мельком глянул на часы – заехать в универмаг. И представил, как поднимается по лестнице в толпе раздраженных, недовольных людей... Нет.

А вот и ремонт, удовлетворенно отметил Присуха при виде белых меловых следов на асфальте. И там тоже: стекла забрызганы. Обновляются квартиры, природа; а больше ничего, ровным счетом ничего не происходит. Каждую весну газеты шелушатся одними и теми же фразами: труженики села радостно (или с гордостью) рапортуют партии и правительству – и лично, лично текущему Ильичу – интересно, как он реагирует на эти «личные» признания? – о необъятных засеянных площадях: столько-то гектаров, потом вдвое столько да еще полстолько... И все – в едином порыве, и все – как один. И те же газеты с возмущением осуждают «потребительские тенденции у некоторой части нашей молодежи». Дескать, затесались в ряды нашей молодежи (непрерменно «в ряды») и такие, которые не берут пример со своих ровесников, строящих БАМ, а глядят в другую сторону – в сторону гнилого Запада.

Дмитрия Ивановича давно веселила поразительная жизнестойкость этой части света: много лет Запад был «загнивающим», потом стал «гнилым» и, в соответствии с непреложными законами природы, вот-вот должен был бы распасться на атомы; однако поди ж ты... Речь по поводу вручения очередного ордена главе

правительства... Статья «В ДОБРЫЙ ЧАС!» – о весеннем севе; как же без нее, хотя Присуха, как и все граждане («как один...»), хорошо знает, что с наступлением осени начнутся «неблагоприятные погодные условия» и разверзнутся библейские хляби, которые, конечно же, подкосят снятые урожаи на стыдливо умалчиваемых площадях. И никакой ремонт здесь не поможет, даже и капитальный. Зато ремонт поможет квартирам, которые хозяева любовно приводят в порядок, пусть и не в едином порыве, но совершенствуя по мере сил свой маленький, самый главный мир.

Купил две пачки «Любительских» и, дойдя до остановки, закурил. Женщина с коляской на противоположном тротуаре шла, отвернувшись и глядя не на ребенка, а сюда – и вверх. Ее обогнали школьники и тоже остановились, уставившись в ту же сторону. Стоявшие рядом с Присухой люди стали вертеть головами и подняли головы.

Автобуса видно не было. С наслаждением затянувшись, Дмитрий Иванович тоже посмотрел вверх. Ого! На верхнем этаже, похоже, капитальный ремонт – меняют рамы. Снизу были видны пустые темные проемы на месте окон. В проемах то появлялись, то исчезали головы ремонтников, ожесточенно и громко переругивавшихся. Кто они, плотники? Стекольщики? Выглянул и скрылся качающийся угол новой рамы. Светлое дерево казалось белым по контрасту с темным проемом.

Прохожие замедляли шаг, поднимали головы; потом шли дальше.

Автобуса не было. Сверху неся мат.

Кстати, не так уж это и невозможно, расхрабрился Присуха, ремонт. Уголком сознания понимал, что все равно никогда не решится на это, но... Почему они так

орут – неужели русский человек не может работать без мата?

Женщина с коляской уже несколько минут стояла, подняв голову. Другие замедляли шаги.

А моя книга будет жить. Присуха улыбнулся. Он уже решил, какую главу публиковать, осталось только...

Громко закричала женщина с коляской, протягивая руку прямо к нему, и Дмитрий Иванович удивленно обернулся как раз в ту секунду, когда отпрянули стоявшие вокруг, и тяжелая рама повергла его на землю.

Лунканс К. Г. оказался никудышным свидетелем. Во время происшествия (так записали в протоколе) он выходил из парадного дома №...

Что-то громоздкое пронеслось сверху прямо перед ним, и Карл невольно сделал шаг назад. Брызнули стекла. Отлетел в сторону тощий портфель, к самым его ногам. Он нагнулся и поднял. Оттуда высыпалось несколько библиотечных карточек, которые он подобрал, и только тогда увидел поверженного человека.

Подошел автобус и остановился, не доехав до остановки. Люди заторопились к раскрытым дверям, часто оглядываясь.

Лежащий человек не шевелился.

Откуда-то неся громкий женский крик.

Автобус отошел, медленно объехав разбитые стекла.

Кто-то произнес красивым авторитетным баритоном: «Тело нельзя трогать. Милицию надо». После этого заговорили все разом:

– «Скорую» надо, «скорую»!

- Пьяный, не иначе.
- Прямо в голову, надо же...
- С окна выпал! С окна, сверху!
- Да вызовите кто-нибудь «скорую», «скорую» надо!
- Не выпал, а выбросился.
- Столкнули. Я вот в газете недавно...
- Выпивши, конечно; сидел и вывалился.
- Что вы меня прямо на стекла толкаете, смотреть же надо!
- «Скорую»!
- Да вызвали уже, вызвали... Умные какие. Скоро приедут.
- Без милиции тело трогать нельзя.
- Да-а-а... Такая «дура» долбанет, так...
- Это сверху, там ремонт.

Как раз в этот момент по лестнице загрохотали шаги, и двое мужчин в заляпанных спецовках выбежали из парадного. Растолкав народ, подбежали – и попятились.

«Скорая помощь» остановилась прямо у тротуара. Подошли санитары с носилками и остановились, переглянувшись. Врач присел на корточки, потрогал шею лежавшего и встал, ни на кого не глядя.

Прав оказался обладатель авторитетного баритона, потому что через несколько минут рядом со «скорой» появилась милицейская машина. Врач о чем-то спорил с милиционерами, повторяя: «Куда я *это* повезу, куда?!». У человека, которого санитары переложили на носилки, была точно такая же борода, как у врача, но

Карл отметил это как-то машинально: слово «это» прозвучало страшней, чем «тело».

– Тут вещи... портфель его, – сказал он.

Пришлось ехать в милицию, где долго выясняли, как портфель оказался у него, а сам он, Лунканс Карл Германович, на месте происшествия.

На место происшествия Карлушка приехал, чтобы посмотреть еще одну квартиру. Кто знает, твердил он себе, как все сложится у инициативной Марии с остальными звеньями обменной цепочки, вдруг что-то сорвется?

Квартира показалась Карлу темной и неприветливой. Хозяева, пожилая пара, жались друг к другу, словно им самим здесь тоже было неуютно. За окнами виднелся тесный двор. Карлушка поблагодарил и с облегчением закрыл за собой дверь, а еще через час расписался под протоколом и вышел из отделения милиции, оставив на столе портфель «пострадавшего», как опять-таки было записано в протоколе.

Мощная энергия Марии Михайловны (и, вероятно, неизвестных «тех»), его собственная беготня со справками сделали свое дело: обмен состоялся.

В выходные начал и закончил переезд, благо вещей было не много. Квартира, так понравившаяся с самого начала, теперь была в полном его распоряжении – с «моющими» обоями, которыми Мария гордилась не меньше, чем «сместителем», и, что самое главное, телефоном.

В горячке переезда и возни с вещами Карл больше всего боялся пропустить телефонный звонок. А телефон молчал, хотя он сразу послал Насте телеграмму с новым номером и специально просил Марию Антуанетту сообщать ему о звонках.

Несколько раз он сам пробовал соединиться с Москвой, но получал один и тот же ответ: «Ваш абонент не отвечает».

Все понятно, говорил он себе. Выходной день: они пошли в кино, например, или в театр; в гости, наконец. Или, что вероятнее всего, уехали за город. Однако завтра последний день учебы, двадцать девятое мая; наверное, Ростик уже купили билет на поезд...

Утром следующего дня, когда он не спеша брился – первый день отпуска, торопиться некуда, – позвонили в дверь.

Телеграмма состояла из одной фразы: «СВЯЗИ ПЕРЕВОДОМ РАБОТУ ГДР СРОЧНО ВЫЕЗЖАЕМ МОСКВЫ = БАЕВЫ».

Действительно, уехали за город. Далеко за город.

Очень похоже на Настю: ни о чем не предупредить, а сообщить уже после того как решение принято. Потому и телеграмму дала так поздно. Карл уверен был, что не новый муж, а Настя сама это сделала и подписалась новой фамилией тоже нарочно, полностью отстранившись от их прошлой жизни.

Впереди был отпуск, самый длинный в жизни.

Настя откинулась на бархатную спинку сиденья. Телеграмма была хорошей идеей. Чем звонить, разговаривать, выслушивать ненужные и, главное, бестолковые вопросы Карла, лучше доверить информацию казенному бланку.

Степан Васильевич, правда, выразил недоумение: как же, дескать, вот так формально – вы же договаривались, что мальчик поедет к отцу?

Когда Степан Васильевич что-то не понимал или бывал удивлен, он чуть хмурился, так что на переносице у него появлялась горизонтальная полоска-морщинка, как будто он хмурился носом. «Карлу ничего нельзя объяснить, его можно только поставить перед фактом», – ответила Настя.

Пусть обдумает.

Морщинка на переносице разгладилась, лицо стало сочувственным.

Со Степаном Васильевичем Баевым Настя познакомилась прошлой весной, тоже в поезде, когда ехала к Лизе. Никаких бархатных диванчиков – самое обыкновенное купе; к счастью, она оказалась в нем одна, без попутчиков. Можно было смотреть в окно, думать о встрече с Лизой и Ансельмом. Опять будут удивляться, что приехала одна. «Я сынишку вашего только на карточке видела!» – вздохнет Лиза, хотя почти привыкла уже, в отличие от Ансельма. Тот опять возмутится: «Почему ты не пожалуешься, почему?!».

Warum, warum?..

Как объяснить наивному Ансельму, «warum», на его же языке? Наверное, не в

языке дело, а в чем-то другом. Вот Лиза с Ансельмом живут в демократической Германии, а совсем рядом, в зловещей ФРГ, у них есть, оказывается, друзья, но о встречах с ними супруги не рассказывают. Warum, спрашивается? Настя никогда не задавала дурацких вопросов, хотя страшно интересно, как живут люди во второй половине рассеченной страны. Может быть, западные немцы так же не похожи на восточных, как русские «на болоте» и русские в Городе? Сколько раз она думала об этом, столько же раз останавливала себя. Какой смысл думать о том, что нельзя увидеть своими глазами?

Настя вытащила журнал, открыла, но поезд начал тормозить.

Можайск.

Дверь купе лихо отъехала, впустив огромный чемодан и супружескую пару.

Муж и жена были похожи друг на друга: плотные, круглоголовые, с громкими голосами. Не прошло и получаса, как они заняли почти все пространство, свободное от Насти и ее незначительного багажа. Если бы она предусмотрительно не положила на сиденье журнал, заняли бы и этот кусочек. Женщина достала из сумки маникюрный набор и разложила на столике миниатюрные пыточные орудия. Остро запахло ацетоном.

Пальцы у нее были пухлые, с глубоко врезавшимися кольцами.

Знакомиться не хотелось; попутчики тоже не проявили инициативы. Чтобы не наблюдать за маникюрной процедурой, Настя повесила на плечо сумку, взяла несессер (Лизин подарок) и вышла.

Попутчики сначала будут колготиться над вещами, потом настанет священный час еды, чаепитие и отход ко сну. Если послоняться часок, есть шанс застать обоих

разнеженно спящими; в крайнем случае, можно будет отгородиться журналом или занять верхнюю полку, только спасибо скажут.

Она медленно пошла из одного вагона в другой, стараясь шагами попасть в такт стучащим колесам. Идти приходилось быстрее, стало почти весело. В конце концов, черт с ними, с попутчиками. Впереди был отпуск. Ансельм обещал, что они поедут в Лейпциг, а Настя хотела купить себе вельветовый пиджак в мелкий рубчик, как у Лизы. Еще хотелось новую сумку, только из настоящей кожи, потому что...

Размечтавшись, она резко остановилась – и вовремя, но все равно столкнулась с человеком, выходящим из тамбура.

Сумка и несессер упали на пол, она наклонилась, и мужчина наклонился одновременно с нею, подбирая выскользнувшие вещи. Настя почувствовала запах дорогого одеколona. Выпрямившись, человек оказался пожилым коренастым мужчиной с седым бобриком волос над высоким лбом и серыми, глубоко сидящими глазами. Он виновато улыбнулся, и голос тоже звучал виновато:

– Простите, пожалуйста! Вот ведь задумался...

Ничего страшного не случилось: собрала раскатившиеся вещицы, проверила – вроде все на месте. Вскинула на плечо сумку и хотела было пройти, как он предложил:

– Давайте я вас провожу. Ведь вы в вагон-ресторан идете?

Вагон-ресторан, с умывальными причиндалами? А почему бы и нет, вдруг подумала Настя, в отпуске я или не в отпуске? Какие-то мысли, если они и были, тоже, казалось, стараются попасть в такт постукиванию колес, потому что думалось уже на ходу. Неожиданный спутник уверенно и легко придерживал ее за локоть,

открывал дверь тамбура с неизменным: «Виноват», и это очень подходило к ненавязчивому горьковатому запаху его одеколona.

Вагон-ресторан, вопреки Настиному опасению, только начинал заполняться.

– Прошу, – мужчина пропустил ее к окну, сам сел напротив.

Пока Настя соображала, стоит ли задерживаться здесь, одновременно поглядывая на свое отражение в стекле, человек протянул руку:

– Давайте знакомиться: Баев, Степан Васильевич.

Быстро подошла официантка и приветливо кивнула Баеву. Скосив глаза на окно, Настя поправила волосы и спросила, часто ли он ездит этим поездом.

Да, просто сказал он. Приходится ездить часто: работа.

Продолжения, однако же, не последовало. На ее вопрос о работе легонько покачал головой: «Это скучно рассказывать, особенно даме», – и действительно не рассказал.

Зато оказался на редкость внимательным слушателем, словно Настины экскурсоводческие рассказы ему были чрезвычайно интересны. Вопросы задавал ненавязчиво, деликатно. Когда принесли котлеты по-киевски, произнес с притворной серьезностью:

– Теперь я, как Шахерезада, должен прекратить дозволенные речи. – И неожиданно добавил: – Вы, наверное, частенько готовите для мужа что-то вкусное, признайтесь?

«Признаваться» было не в чем. Побалуешь, пронеслась горькая мысль, если в очереди отстоишь и купишь что-то соблазнительное – например, твердый кусок рыбы, замороженной до полной неразборчивости вида и возраста. Или ломоть

сырой печени, был такой случай, когда она шла домой пешком, боясь сесть в троллейбус, и чувствовала себя, как убийца, потому что пакет был в кровавых пятнах, из него капало.

Говорить ничего не пришлось.

Отламывая маленькие кусочки хлеба, он сказал, что его жена перестала готовить из-за болезни. Серьезная, да; предстоит операция.

Под стук разогнавшихся колес Настя медленно орудовала вилкой и ножом, чтобы не было слышнобряканья о тарелку, словно больная жена Степана Васильевича находилась совсем рядом.

Потом она часто задавала себе вопрос, знал ли в тот вечер Степан Васильевич, что не кому иному, как будущей своей второй жене говорил о первой? Нет, едва ли; да и сказал только о болезни, но, судя по тому, что после этого замолчал и смотрел в тарелку, стало ясно, что на благополучный исход надежды нет.

Пока ждали десерт, Настя незаметно рассматривала его руки, широкие сильные кисти с плоскими квадратными ногтями, и переводила время от времени взгляд на лицо. Они обменивались короткими фразами – легкими, ни к чему не обязывающими, так что диалог выходил непринужденным, вроде дачной игры в бадминтон, и реплики могли быть прерваны паузой, как случается, если волан падает в траву и один из игроков бежит его поднимать. Отпуск и работа, новые фильмы, дети растут так быстро (у Баева детей не было), свежие публикации (читать, к сожалению, он не успевал). Она чуть было не ляпнула: выйдете на пенсию – будете успевать, вот как моя свекровь. Сработал самоконтроль; помогло и то, что вид у Степана Васильевича был совсем не пенсионный. И при чем тут свекровь,

разозлилась на себя Настя. Улыбнулась: «Не огорчайтесь: там почти нечего читать», – вспомнив, что в купе ее ждет «Иностранка».

– Очень советую: попробуйте «Наполеон», – предложил Степан Васильевич.

Нет уж, спасибо: «Наполеон» нужно есть только в домашних условиях и в одиночестве. Как ни осторожничай, вся вкусная штукатурка сыплется на стол, на колени, крем обязательно плюхнется на платье...

Когда официантка принесла счет, она потянулась к сумке, но Баев с улыбкой покачал головой и остановил ее руку.

Он проводил Настю до купе. В тамбурах, обходя куривших, слегка придерживал ее локоть; когда открывал дверь, негромко говорил: «Прошу».

– А вы в каком вагоне? – поинтересовалась Настя – не потому что было любопытно, а чтобы не молчать.

Оказалось, «СВ».

«Степан Васильевич», подумала она.

Настя никогда не была внутри спального вагона, но говорить об этом было ни к чему. Ничего, я тоже когда-нибудь поеду в спальном, назло вот таким, которые запросто ездят в нем на работу.

...Спустя полтора года спальный вагон стал явью, и как раз сейчас, в этом самом вагоне, Настя едет в ГДР.

А тогда, дойдя до своего купе, она протянула руку Степану Васильевичу, которую тот вместо рукопожатия поцеловал. Вынул блокнотик, написал что-то на листке, протянул Насте:

– Вот, на всякий случай, мой телефон в Берлине. А если вам случится в

Лейпциге оказаться, непременно загляните на выставку, обещают много интересного. Да и вообще, мало ли что, заграница все-таки.

В Берлине?! В Лейпциге?..

– Спасибо; меня родные встречают, – ответила насколько сумела хладнокровно, однако листок спрятала в сумку.

В купе горела синеватая лампочка: не то любезность, не то забывчивость попутчиков. Оба спали.

Лежа в темноте, Настя вспоминала, кого ей напоминает новый знакомый. Руки всем женщинам целовал покойный свекор, у него это получалось естественно и вместе с тем галантно, и они сразу чувствовали себя настоящими дамами. А вот эти старомодные словечки: «позвольте», «прошу» и что-то еще... Присуха, вот кто так говорил, если переходил на русский. Ходили слухи, что доцент был замешан в какой-то темной истории. То ли у него нашли антисоветскую литературу, то ли он что-то передавал за границу. Чушь, конечно; бабьи сплетни. Тем не менее, что-то сомнительное действительно было, потому что из университета его выперли, о чем Насте сообщила бывшая однокурсница, некогда завалившая спецкурс по Голсуорси. «Выгнали поганой метлой», – с удовлетворением повторила она. Почему, за что, однокурсница не объяснила, но дала понять, что знает больше, чем говорит, и добавила глубокомысленно: «Важен результат».

Странно: кому он мешал, этот безобидный Присуха, до печенок преданный своим Форсайтам? В памяти у Насти остались усталые, не выспавшиеся глаза, пыльно-седоватая бородка, воротник сорочки с холостяцким номерком прачечной. Впрочем, сплетня то была или нет, уже не имеет значения. Научный руководитель,

диплом, университет остались далеко позади – там же, где бывшие однокурсницы, которые пристроились кто куда: в школу, в библиотеку, а кто-то просто замуж – им диплом иняза нужен, как собаке пятая нога.

Когда поезд подходил к Берлину, начался дождь. Перрон вспух зонтиками – черными, цветными, клетчатыми. Ансельм появился один, без Лизы.

Тетка встретила ее вопросом: «Когда же ты сына привезешь?». Ансельм уверял, что такого рислинга она не пробовала, Настя распаковывала чемодан и тоже говорила, отвечала на вопросы, сама слыша свой заржавевший от неупотребления немецкий.

Радостная суета продолжилась за ужином с «таким рислингом», после чего племянница и тетка вдвоем отправились на прогулку – «посплетничать», как выразилась Лиза, и перешла на русский.

Жили они в тихом пригороде, до Берлина час езды. Ровное, как пробор в волосах, шоссе, ровно рассаженные и ровно подстриженные кусты, аккуратные, как на макете, коттеджи. Картинка напоминает взморье, только без моря и без пляжа. В одном из таких коттеджей жили Лиза и Ансельм Келер. Три комнаты, небольшая терраса, зато целых две ванны, одна из которых принадлежит Насте на все время ее гостевания.

Лиза не умолкает, ей редко случается говорить по-русски. Настя кивает, улыбается, отвечая на Лизины вопросы, но главное – дает ей выговориться. Сама она с наслаждением разминается после сидения в поезде и за столом. Дождя нет. Весенний воздух свеж и прохладен, как рислинг дяди Ансельма. Какая Лиза счастливая, что вот так просто, в любой момент может зайти в магазин и купить не

то, что дают, а что хочется, и безо всякой очереди. А хочется всего сразу, хоть Настя только что поужинала: например, вон тех сухариков в зеленых пачках или сыр, расфасованный в небольшие прозрачные упаковки, не больше чем туалетное мыло, зато на каждой яркая цветная наклейка; прямо так и лежат в витрине.

В магазине Лиза смеется: «Это специальное печенье для диабетиков, кому сахар нельзя; мы другое возьмем». Они берут другое и третье, кассирша улыбается Лизе, а потом выходят на улицу, и Лиза продолжает начатый разговор:

– Мы три раза посылали приглашение Вере с Сергеем, я ведь сестру не видела лет десять, нет: больше! Вот с тех пор, как я к вам приезжала. Это выходит... пятнадцать лет. Как время летит! Вы тогда с Карлом только поженились. А Сережу... Забыла, как он выглядит, я в сорок первом только с ним виделась, когда их отправляли на фронт. Может, они на секретной работе, там строго, у нас ведь тоже так...

Настя чуть не расхохоталась. Куда уж секретней – завод шарикоподшипников, к тому же мать два года как на пенсии. Самое время за границу отправляться... Лиза, Лиза, бедная Лиза! Никак не объяснить (а когда объясняешь, никак не понимает), что не приедут мать с отцом – не пустят их, они знают и не рыпаются. И пусть спасибо скажет, что так: только папаши здесь не хватало, в вашем стерильном городке. Мать, может, и собралась бы, да пьянь эта болотная, как Настя про себя называла отца, не пустит: «К фашистам, к предательнице этой?!».

Ансельму сказала, что отца «мучат тяжелые воспоминания». Тот задумчиво кивнул: «Я понимаю. Мой друг Ульрих никогда не говорит о войне, ни с кем». И прибавил странную фразу, если Настя правильно поняла: «Нами воевали». Настя

представила себе шахматную доску, по которой двигались крохотные фигурки: одни со звездочками, другие со свастиками. То там, то здесь черно-белые клетки вспучивались у них под ногами, как взламываемый паркет, от неслышных взрывов; игроков видно не было. Она твердо помнила со школьных лет, что войны бывают справедливые и несправедливые, но если немецкий дядюшка прав («нами воевали»), то получается, что и он, и ее папаша, пьянь болотная, в одинаковом положении.

Однако что-то здесь было неправильно.

Они на нас напали, и это несправедливо. *Мы* их разбили, прогнали, победили, и это справедливо. Почему же они, побежденные, живут намного лучше победителей?..

Когда Настя попала в ГДР в первый раз, она не думала об этой несправедливости, да и вообще ни о чем не успевала думать, очумев от впечатлений. Не сразу, а много позже вспомнила, как, приехав поступать в университет, она была очарована незнакомым городом, который теперь стал привычным; однако Германия поразила иначе и сильнее, потому что здесь *все* выглядело иначе и казалось несравненно лучше всего виденного прежде, так что не было случая гордо сказать: «А вот у нас...». Позднее удалось, благодаря экскурсионному бюро, побывать в Чехословакии – до шестидесят восьмого, слава богу, и незадолго до Ростика. Потом, когда ему исполнилось пять лет, опять поехала в ГДР, они с теткой бродили по магазину детских вещей, где Лиза не могла остановиться: «вот этот комбинезон подойдет, смотри...», а Настя... Именно здесь на нее навалилась злая тоска, потому что перед глазами стоял «Детский мир» в центре города, очередь, огибающая

прилавок, надменная кассирша в будке, духота и чужое напряженное дыхание в затылок.

Вечером Ансельм повел их в пивной погребок. Настя увидела мужчин и женщин, нарядно, на ее взгляд, одетых, которые весело переговаривались и выбирали пиво из множества имевшихся сортов. От вспыхнувшей ярости стало горько во рту. Туда бы их, к пивному киоску с окошком, через которое тетка (всегда толстая) ловко и презрительно сует кружку очередному счастливцу. Туда – в грязь, вонь, лужи; где над окошком торчит объявление: «ТРЕБУЙ ДОЛИВА ПОСЛЕ ОТСТОЯ». Там, в пивной очереди, пусть бы они увидели женщин – бывших женщин: страшных, с опухшими сизыми лицами, одетых в какую-то рвань.

Почему, за что?! Ведь многие из тех, в очереди, тоже воевали – а значит, победили, – почему они заискивают перед пивной теткой и никакого долива не требуют, почему не они, а побежденные – бывшие фашисты, да – сидят в уютном погребе и пьют любое пиво по их выбору из нарядных кружек?

– Ты что задумалась, дружок? – ласково спросила тетка.

Настя перевела дыхание.

– Как сказать: «ТРЕБУЙ ДОЛИВА ПОСЛЕ ОТСТОЯ»? Хочу рассказать Ансельму, как у нас пиво продают...

Лиза повернулась к мужу и перешла на немецкий. Оба так чистосердечно смеялись, что Настя тоже улыбнулась.

Как еще себя вести, если победители проиграли?

А ведь мы победили.

Всякий раз Келеры возили Настю куда-нибудь. Теперь предстоял Лейпциг, так

расхваленный новым знакомым. Настя не уставала радоваться все новым и новым диковинкам, которыми изумляла ее эта страна; на их фоне Степан Васильевич – «СВ» – уже превратился в листок с номером телефона, который можно будет выбросить, когда она вернется домой.

Ярмарка потрясла Настино воображение. Здесь неуместно было бы даже заикнуться: «А вот у нас...», это не Дрезденская галерея, которую она великодушно сравнила с Эрмитажем. Келеры, не видевшие Эрмитажа, уважительно промолчали. Нет, Лейпцигскую ярмарку сравнивать было не с чем. ВДНХ?.. ВДНХ – каменный век. От самого *выдыхающегося* названия накатила тоскливая горечь, и не с кем было ею поделиться. Мучила та же мысль: мы победили, почему же мы живем так убого, почему наши вещи такие топорные, бездарные?

Почему мы так не любим себя – мы, победители?..

На ярмарке главное было – не потеряться, но Лиза с Ансельмом во что бы то ни стало хотели подойти к советскому стенду. Настя неохотно присоединилась. Лаковые палехские шкатулки с хвостатыми жар-птицами, матрешки, разноцветные шали с кистями, щедро усеянные гигантскими малиновыми розами – в общем, филиал магазина «Березка». Армянские коньяки, нарядные бутылки с надписью «VODKA» славянской вязью, рядом икра – черная, красная; разнокалиберные банки с золотыми буквами: «СЕВРЮГА»... У Льва Толстого кто-то заказывал севрюгу: «Да только смотри, чтобы свежая!». Или там осетрина была?

Настя увидела книжный стенд и обернулась, отыскивая глазами тетку.

– Друзья встречаются вновь.

Вздрогнула от неожиданности и обернулась, уже догадываясь, кого увидит.

– Я рад, что вы приехали, – улыбнулся Баев. – С экскурсией?

Подожли Келеры. Лиза с любопытством наблюдала за Степаном Васильевичем. Он заговорил по-немецки привычно и уверенно; сказал что-то забавное – Настя не уловила, – отчего Ансельм и Лиза весело заулыбались. Через несколько минут взглянул на часы, с сожалением развел руками: работа, прошу прощения, – и отошел.

– Какой любезный, – сказала тетка. – Ты давно с ним знакома?

Настя стояла у прилавка с книжными «деликатесами», эквивалентными икре, сеvрюге и опьяняющими не хуже армянского коньяка. Выпуски последних лет и совсем свежие издания; синяя «Библиотека поэта» и миниатюрные, в половину ладони величиной, книжечки с золотым обрезом. Она взяла в руки квадратный черный томик, раскрыла, и у нее перехватило дыхание:

Настоящую нежность не спутаешь

Ни с чем, и она тиха.

Ты напрасно бережно кутаешь

Мне плечи и грудь в меха.

Лиза обняла ее за плечи:

– Пойдем, дружок, Ансельм умирает от голода. Потом выберешь что захочешь.

Настя знала, что так все и произойдет. Тетка не позволяла ей тратить деньги. Кроме того, впереди маячили вожденный вельветовый пиджак и сумка; Лиза твердо вознамерилась купить ей туфли. «Кого нам баловать, кроме тебя?»

Когда они выходили из кафе, навстречу шел Баев. Приветливо улыбнувшись, он

вручил ей яркий пакет из пластика и снова затерялся в толпе.

Внутри лежал томик Ахматовой.

Весь обратный путь в поезде домой прошел под знаком волшебных стихов:

Покорно мне воображенье
В изображеньи серых глаз...

Стихи завораживали; колеса стучали быстрее, словно поезд не хотел вслушиваться в неторопливый ритм стихов, а спешил кого-то обогнать.

Тревожные, смутные, беспокойные стихи.

На дне пакета в тот же вечер, после ярмарочного дня, Настя обнаружила визитную карточку с его телефонами, московским и берлинским. Позвонила, поблагодарила за подарок.

Так начались их... что, дружба? Отношения? Сложно подобрать верное слово – при том, что романа в бытовом, общепринятом смысле слова не завязалось. Продолжалось общение, главным образом телефонное, разбавленное нечастыми вначале встречами, когда Баев приезжал: «Я люблю бывать в вашем городе». Безо всяких многозначительных красноречивых взглядов (мол, из-за вас люблю приезжать) или намеков, тем более что вскоре после Лейпцига Степан Васильевич похоронил жену. Боль утраты, стресс потребовали перемены обстановки и длительного отдыха на курорте. Настя об этом узнала в разгар лета, вернувшись с

хутора в пустую от соседей квартиру, прямо к телефонному звонку.

У одних людей жизнь *складывается*, другие *складывают* ее сами, в этом Настя была убеждена. Вот почему первые могут радоваться или сетовать, в зависимости от обстоятельств, а другие молча и упорно кладут кирпичи, слой за слоем; если кладка выходит неудачной, разбирают и строят заново. Себя она относила к этим другим. Если бы она позволила своей жизни *складываться*, сидеть бы ей на «болоте» по сегодняшний день. Отъезд из дому, университет, новая работа – всему этому Настя была обязана только самой себе, и лишь немецкую тетку можно считать подарком судьбы. Так ведь судьба награждает далеко не всех, а только тех, кто заслужил.

В детстве она любила сказки – чем волшебней сюжет, тем лучше. Герои сказок, она заметила, тоже не сидели сложа руки в ожидании, пока их жизнь *сложится* – они истаптывали железные башмаки, глодали железный хлеб, ломали железные посохи, громоздя один невероятный подвиг на другой, на то и сказка. Ложь, конечно; да в ней намек. Сколько раз герои проходят три царства: медное, серебряное и золотое, с соответствующим уровнем благополучия каждое. Вполне, казалось бы, неутомонный молодец мог осесть в благоденствующем серебряном царстве, ан нет: идет дальше. Так и бравый солдат из «Огнива»: сначала жадно набивает ранец медными деньгами, а потом вытряхивает их, чтобы наполнить серебром – до того момента, пока не увидит золото. Лучшее – враг хорошего.

Ростик не любит эту сказку. Когда был маленький, плакал: «Зачем он ведьму убил? Обманул, обманул; огниво не отдал, себе оставил, а ей голову отрубил. Это нечестно!».

Карл его поддержал: «А ведь он прав. Зачем было ведьму убивать?». Послушать мужа, так можно было не заглядываться на серебро и золото, насыпать в ранец медяков, вручить старой карге волшебное огниво и чинно уйти, шаркнув ножкой. Сам он, Настя не сомневалась, именно так бы и сделал. Он всю жизнь проведет в медном царстве, причем не царем, а так, обитателем. И на работе сделал такую же головокружительную карьеру: инженер – старший инженер – руководитель группы, это его потолок. Да и не только его – так живут многие, потому что не видели другой жизни – ни серебряного, ни золотого царства. Девочки из экскурсионного бюро, побывавшие в Болгарии или в Польше, возвращаются пришибленные, больные. Это самое трудное – вернуться назад и опять жить, как до поездки, словно не было никакой Польши, никакой Болгарии. Жить и знать, что ты обречен на эту жизнь, а здесь никогда не наступит ничего похожего на самую простенькую Болгарию.

Настя хорошо знала это по себе. Выйти из поезда «Берлин – Москва» было все равно что вернуться на «болото», в *поселок городского типа*, откуда не добраться ни до какого царства, даже самого завалищего медного.

Но ведь где-то ждало серебряное, потом золотое... Продолжая ряд, можно было допустить и существование бриллиантового царства – разве стремление к лучшему имеет предел?

Лучик бриллиантового царства сверкнул, когда Степан Васильевич подарил ей обручальное кольцо. Оно было совсем не похоже на то, которое Настя носила на пальце и только недавно сняла, как новый муж и новый брак отличались от прежних.

После того как Баев вернулся из отпуска, он стал приезжать чаще. Здороваясь, произносил одну и ту же фразу: «Друзья встречаются вновь», словно задавал тональность их встречам: дескать, по-прежнему друзья, никакого подтекста. И во время его пребывания ничего не происходило такого, что выходило бы за рамки сложившейся традиции их отношений: прогулки по взморью, экскурсионные поездки по самым живописным местам, ресторан, иногда концерт. И вместе с тем присутствовало что-то неуловимое, о чем Настя безошибочно знала, хотя ничем не выдавала своего знания; нечто, что рано или поздно должно было определиться. Она твердо решила дожидаться этой *определенности*, которая – она была уверена – последует. Иначе... иначе быть не могло; я вам не Анна Каренина.

В ничем не примечательный серый октябрьский вечер Степан Васильевич сделал предложение. Объяснения в любви не было, что оставило в Насте неожиданное разочарование; предложение звучало почти по-деловому. Говорил он сосредоточенно, чуть нахмурясь, и бороздка на переносице, как выяснилось, была для нее уже привычной; только голос, немного ниже обычного, выдавал волнение. Слова и фразы были сдержанными, корректными, почти официальными.

«С тех пор как не стало моей супруги...»

«...ваш матримониальный статус в настоящее время...»

«...готовы переехать в Москву»

«Я, со своей стороны...»

«...не ставить в двусмысленное положение...»

«...хотел бы видеть вас...»

И, наконец, – теплее, теплее... Вот оно: «Вы мне очень дороги, Настя».

Она повернула руку, и кольцо сверкнуло маленькой радугой. Хорошо, что успела сделать маникюр. Осторожно привстав, выключила свет над противоположным диванчиком. Ростик спал, из-под простыни торчал угол толстой книжки.

Понадобится какое-то время, чтобы присмотреться к Степану Васильевичу, выучить его привычки; с этим она справится. И то, что они обращаются друг к другу на вы, оказалось очень удобно – в самом деле, не называть же его Степой. «Дядя Степа». В прошлом веке между супругами было принято говорить «вы». Можно закрыть глаза и представить давно прошедшее время, вот супружеская пара едет за границу. На воды, например, как бессмысленно кипятилась учительница немецкого языка. Знал бы этот Попугайчик, что Настя как раз и едет за границу, причем надолго, хоть и не на воды. Знали бы вы, Эльза Эрнестовна, что мы с вами теперь коллеги, только я буду преподавать английский язык. «Michael and Steve Come to Moscow», «Our Family» – в учебниках ничего не меняется. Да, я буду преподавать английский. Который, по вашему признанию, вы знаете плохо; а если бы и хорошо знали, ничего бы это не изменило, потому что муж у вас не торгпред, а значит, сколько бы языков вы ни выучили, продавать вам их отстающим ученикам до второго пришествия, по трешке с носа, и складывать в ранец медяки.

Должно быть, на воды ездили тоже не иначе как в спальном вагоне, только удобств поменьше было. Муж в соседнем купе, готовит доклад. Можно – в классических традициях – отложить в сторону неразрезанный французский роман (в его роли выступит «Новый мир», никакого разрезания) и перед сном посмотреть в окно.

Поезд подходил к Польше.

Глава «Мировоззрение Спинозы» начиналась словом «разумеется»: «Разумеется, философию спинозизма нельзя считать прямой экстраполяцией гоббсизма».

Ольга внимательно перечитала и потрясла головой; не помогло. Надо будет процитировать этот шедевр философской мысли Олежке. Богатая фраза.

На часах было почти шесть. В половине седьмого должен приехать мастер – тетя Тоня постаралась. Кого только не найдет в ее записной книжке! «Очень интеллигентный, и возьмет недорого». Интересно, запьет ли интеллигентный маляр в процессе работы?

Второй раз войти в дом оказалось легче. В ожидании мастера она обводила глазами пустую квартиру. На грязном подоконнике сиротливо лежал «Чиполлино». Главное, чтобы этот интеллигентный мастер придумал, как избавиться от запаха сырости: квартира хранила его прочно, как в консервной банке. Привезенный Олегом калорифер она поставила параллельно стенке с пятном и включила на полную мощность.

Пустота все еще выглядела непривычно. Ольга зачем-то выдвинула ящик буфета, где лежала фотография, словно там могло найтись что-то еще. «Разумеется, философию спинозизма нельзя считать прямой экстраполяцией гоббсизма». Открыла нижние створки, где пятнадцать лет назад стоял сервиз, подаренный крестными: стопка блюдец с кружевными краями, чашки, уютно спящие доньшками друг в друга, столовые тарелки. По краям тарелок и блюдец вились

мелкие незабудки с переплетающимися стебельками.

Взять с собой сервиз мать не могла при всем желании. «Партия тарелок!» – орал Сержант, грохая об пол одну за другой.

Дзанц! Дзанц!

«Без тарелок, – ты слышишь? – без тарелок нет оркестра!»

Дзанц! Дзанц!..

Уцелел только никогда не используемый соусник, до которого Сержант не дотянулся: начался приступ. Лицо побагровело, на шее вздулись страшные фиолетовые жилы, и он схватился за грудь: не за сердце – за ингалятор в кармане.

Сколько раз астма их спасала... Дзанц, дзанц.

«Разумеется, философию Спинозизма нельзя считать прямой экстраполяцией гоббсизма». Ни в коем случае. Пусть земля горит под ногами у тех, кто будет так считать.

Однако мастер, при всей своей интеллигентности, мог бы прийти вовремя.

В этой квартире... Кстати, где люстра? Люстру Олька запомнила с первого раза, когда зашла сюда, в новую «мамину квартиру». Засыпая, она часто разглядывала продолговатые матовые плафоны, похожие на кувшинки. Момент, когда у матери произошла переоценка ценностей и люстра перестала быть «мещанством», Ольке не запомнился; теперь с потолка свисала голая лампочка.

Люстру взяла, фотографию деда оставила.

Почему-то стало интересно, куда делся незабудковый соусник. Разделил судьбу «партии тарелок» или тоже перестал быть «мещанством»?

С тех пор – или независимо от тех пор – Ольга не любила сервизы. Радовалась,

если удавалось купить красивую чашку или тарелку, но свекор недавно заметил: «Что это у вас, как в общежитии, нормальной посуды нет?». Тут же вступила Алиса-мироносица: «Скорей бы вы квартиру обменяли. Мы с Коленькой решили подарить вам сервиз». Ольга застыла, но свекровь сияла такой простодушной радостью, что ничего возразить было невозможно. «Пока что это секрет, – продолжала радостно Алиса Ефимовна, – но мы уже решили».

Можно будет поблагодарить и затолкать будущий сервиз куда-нибудь подальше. Или вообще не распаковывать. И, главное, не думать о нем заранее, тем более что это пока только Алисины мечты.

В прихожей пустовало место от громоздкого шкафа, хранителя *подпольной литературы*. У плинтуса валялась квадратная пуговица. Ольга лениво поддела ее носком туфли. Пуговица отскочила и перевернулась, оказавшись черной фишкой с цифрой «13».

– Мы знакомы, – вслух произнесла Ольга.

Странно прозвучал голос в пустоте. Подняла фишку, еще один кошмар ее детства – вернее, маленький кошмарик – под названием «15».

Кошмарик из серии развивающих игр.

Пластмассовая квадратная черная коробочка умещалась на ладони. Внутри поля в четыре ряда лежали пятнадцать фишек; одно «окошко» оставалось пустым. Оно позволяло передвигать фишки, чтобы разместить их в правильной последовательности.

...В гости зашла Ксения «с подарком для Лялечки». Матери дома не было, зато был отчим, у которого, в свою очередь, нашлась «зачачка» – пол-литровая бутылка

водки. Ксения расцвела. Пили и разговаривали о чем-то, но прислушивались не к тому, что говорили друг другу, а к своим ощущениям. Однажды в актовом зале в школе Оляка видела настройщика пианино за работой, с таким же точно вслушивающимся лицом. Бутылка подходила к концу. Сержант начал тыкать пальцем, двигая фишки, а Ксения повторяла, медленно покачиваясь на стуле: «Для Ляли... подарочек».

На другой день (Оляка надеялась, что «подарочек» благополучно забыт) отчим, трезвый и взвинченный, велел составить фишки по порядку. Никакое «мне надо делать уроки» в расчет не принималось.

– Ну?!

Трезвый и злой. Злой, потому что трезвый.

Фишки скользили под ее пальцами в тесной клетке, менялись местами, как в танце: 1–2 – 3–4... Остался последний ряд, она спасена, но «14» влезло перед «13», а дальше стояла «пятнашка» – и пустая клетка.

– Тупица, – удовлетворенно сказал Сержант. – А ну, давай снова!

Она до сих пор помнила свои влажные пальцы.

Проклятая игра заканчивалась одним и тем же рядом: 14–13 – 15, и каждый раз он с удовольствием говорил: «Тупица. Ты тупая, понимаешь? Ты хоть понимаешь, какая ты тупица?» От него противно воняло перегаром. «Еще раз, кому я сказал!»

Можно было взбунтоваться: положить этот «подарочек» на стол, пускай сам тешит.

Что она и сделала, но только один раз. Поразила радость, вспыхнувшая в маленьких злых глазах, и Оляка с опозданием поняла: только этого он и ждал –

протеста.

Ухо долго оставалось красным и болело. Так и пошла за Лешкой в садик, с полыхающим опухшим ухом.

Это вам не спинозизм и даже не гоббсизм.

Она распахнула окно, чтобы впустить летний воздух. Несмотря на включенный калорифер, в квартире было холодно.

Как всегда. Здесь всегда было холодно.

Мастер появился в половине восьмого. Внешне напоминал он скорее научного работника, чем работягу, тетя Тоня была права. Серый костюм, рубашка, галстук; ироничное лицо с маленькими светлыми усиками. Представился Володей, виновато улыбнулся: «Не мог раньше, извините». Руки, Ольга заметила, тоже не соответствовали стандартному облику маляра: аккуратные, с чистыми ногтями.

Деловито осмотревшись, Володя спросил:

– Вы тут жить собираетесь или как?

И добавил, опередив Ольгино «нет!»:

– Я почему спрашиваю. Потому что, если жить, то надо всю сантехнику менять, там в туалете стояк вроде нормальный, я посмотрел... Я почему спрашиваю, дорого потому что. Доставать надо; это не проблема, я на стройке договорюсь, но дешево не получится.

Руки у него оказались очень сильными и ловкими. Легко содрал старый войлок, окаймлявший дверь кладовки, заглянул внутрь. Продолжал говорить, наполовину скрывшись за дверью:

– ...потому что если сдавать собираетесь, то это все равно что для себя, чтобы претензий не было. А если менять, то новые жильцы переделают по-своему, тогда и рамы можно старые оставить. Зашпаклюю аккуратненько, покрашу; классно получится. Шпингалеты новые поставлю, дверные ручки... чтобы в одном стиле. На лампу плафон, а то что ж это, как в парадном.

Ольга показала стенку с пятном. Володя глубоко завел палец под шелушащуюся краску и долго отряхивал руки.

– Стенка проблемная, конечно. Зависит, какая там штукатурка. Калорифер оставьте на ночь, я завтра взгляну, как она сохнет.

– Это не опасно?

Он снисходительно улыбнулся:

– Масляный обогреватель безопасен. Бойтесь, так не ставьте на максимум, и все дела.

Спустя минут десять углубленной ремонтной беседы Ольга решилась, наконец, спросить об оплате.

– Работа сто пятьдесят, вместе с краской и белилами. А вот унитаз и раковина, с кранами там... это отдельно. Вы хотите новые, да?

– Старые вроде есть, – усмехнулась Ольга.

– Я почему спрашиваю, чтобы прикинуть... Плюс арматура. Как ни крути, меньше полтинника не получится: доставать надо. Так что все вместе двести. Плафончик я не считаю, у меня лишний есть.

Ольга опасалась, что, если ремонтная эпопея будет такой же подробной, как этот разговор, то она растянется на месяцы, но интеллигентный Володя обещал

управиться «недели за три» и об авансе не заикнулся.

Она медленно шла по улице. С того февральского вечера многое изменилось. На газонах зеленела ровная густая трава. Проезд, у которого висел знак «ОСТОРОЖНО АВТО», был перекрыт забором, да и знака больше нет. Пустырь обещал стать сквером, а пока превратился в зеленый лоскут, косо перерезанный асфальтированной дорожкой. Окошко ларька «Прием стеклотары» заколочено досками. Если убрать табличку с названием улицы и не смотреть на дом, то легко представить, что находишься вовсе не здесь.

Только эта квартира никогда меня не отпустит.

Все; теперь на три недели, по крайней мере, можно забыть о ней и заняться философией. «Разумеется, философию Спинозизма нельзя считать прямой экстраполяцией Гоббсизма».

Вот привязалась фразочка!..

Английский Ольга сдала легко. Набор разговорных тем — «топиков» — не представлял собой ничего интересного, хотя давал пищу для ума, как и с кем можно было бы вести непринужденную беседу на тему «Дружба Маркса и Энгельса». При этом потягивать какой-нибудь там «мартини». Какое отношение этот захватывающий сюжет имеет к технологии геологоразведки? Да никакого; «топики» одни и те же для всех специальностей. Как и «Достопримечательности Лондона»: очень актуально знать, где расположен Букингемский дворец, справа или слева от Вестминстерского аббатства, и далеко ли Тауэр от Британского музея. Почему-то не упоминается знаменитый Лондонский мост — наверное, составители не читали

«Принца и нищего»; зато есть теплая фраза: «Лондонцы очень любят свой город». Знали бы эти составители, что лондонцы не только свой город любят. В школьном учебнике жила образцовая лондонская семья, регулярно посещавшая столицу нашей Родины Москву. Тогда Ольке не приходило в голову, почему бы этим фанатам не попросить политического убежища... Ладно; сдала – и все. Предстояла философия, потом – страшно подумать – защита. В промежутке – обмен. И чтобы новая квартира находилась как можно дальше отсюда, от этой улицы и этого дома. Если нельзя на другой планете, то хотя бы в другом районе.

Во вторник ездила смотреть одну квартиру, где все подходило: не жилплощадь, а любовь с первого взгляда. Хотя сейчас переезжай, если вторая сторона согласится.

Вторая сторона представляла собой разведенную пару. В бюро по обмену Ольге сказали, что существует два стандартных варианта: смерть одного из супругов или развод. Подумала: а велика ли разница?

Хозяйка квартиры, брюнетка лет сорока с чуть раскосыми глазами, в глухом шерстяном, несмотря на теплый день, свитере и длинной юбке, непрерывно курила. На двери одной комнаты блестел новенький английский замок. «Это моя, – пояснила хозяйка, – проходите. Окна на улицу, теневая сторона. Летом особенно хорошо». За окном цвел клен. С четвертого этажа было хорошо видно афишную тумбу на углу, кафе напротив и стеклянную витрину рыбного магазина. Вдоль тротуара стояли клены.

Женщина закурила новую сигарету и распахнула дверь во вторую комнату: «Я извиняюсь за свинарник, это мой бывший муж развел». Мебели почти не было, одна раскладушка у стены, неровно прикрытая одеялом. Ольга старалась не смотреть на

«свинарник», но приходилось обходить белье, валявшееся прямо на полу, мятые газеты, монетки, обрывки веревок. Под окном лежали пустые пивные бутылки и скрученные в клубок носки. Рядом с раскладушкой примостилась тумбочка; на тумбочке лежал карманный фонарик и высилась стопка журналов «Наука и жизнь». Хозяйка привычно описывала, как, должно быть, делала для многих, кто приходил смотреть квартиру: «Одно окно на улицу, другое во двор. Эта дверь вообще-то во вторую комнату, там у меня шкаф стоит. Куд-да?! – яростно крикнула она, повернувшись к двери. – Не видишь – люди? Подождешь».

В проеме появился и тут же отпрянул маленький сутулый человек в криво застегнутом плаще. «Ходит... – процедила женщина сквозь зубы, – тень папы Гамлета, чтоб ему... Кухня – здесь, – почти выкрикнула, – да вы проходите, проходите». Остановилась у подоконника, закурила. Подняла светло-карие глаза, и такая боль была в этих глазах, в напряженном лице с запавшими щеками, что просто посмотреть в сторону Ольга не сумела. Взгляды встретились. Женщина покачала головой:

– Скорей бы уж разъехаться. Нет больше сил, верите? Пьешь – пей, но дай нам жить!

– У вас дети?

– Дочка, семь лет. Живет у моих родителей: не хочу, чтоб она видела своего отца скотиной.

Ленечка регулярно видел своего отца скотиной. Мать никогда это не смущало.

У нас никогда так не будет. Никогда.

Марина (так звали хозяйку) приехала на следующий день. Никакого

предубеждения против деревянного дома у нее не было. Печку топить она умеет («у моих родителей печное отопление»). Трудно было понять, действительно ли ей нравится Олежкина квартира или затянувшийся обмен довел ее до отчаяния.

Согласилась выпить кофе («курить у вас можно?»), в то же время обводя кухню прицельным взглядом.

– Здесь всегда так тихо?

Ольга кивнула:

– До шума один квартал, если надоеет тишина. Там и трамвай, и троллейбус. А тут неподалеку озеро.

Шумно ввалился Олег: «Оль, а Оль!..». Кивнул гостье, чмокнул Ольгу в щеку. Марина погасила сигарету и встала.

Договорились, что после ремонта она посмотрит вторую квартиру. Ольга заикнулась было о муже, которому та квартира предназначалась, но Марина жестко бросила: «Перетопчется. Нам с дочкой жить, а ему пить. Это можно делать где угодно, нет?» Ольга представила раскладушку в отремонтированной квартире, мятые тряпки на полу и стоящего на пороге человека. На стенке, которую приведет в порядок интеллигентный Володя, через некоторое время снова проступит двугорбое пятно. Обратит ли на него внимание новый хозяин или, нетерпеливо открывая бутылку (пробка летит в угол), будет сосредоточен только на ее содержимом? Она слишком хорошо помнила трясущиеся красные руки, взгляд, направленный на бутылку, только на нее, родимую, и на стакан, и видела мысленно чужого человека, наливающего водку, черта ли ему в пятне на стенке?..

Жить – и пить.

Жить – или пить.

Когда-нибудь... Может быть, когда ремонт и обмен останутся позади, когда не надо будет появляться в том доме и даже на той улице – может быть, тогда квартира с пятном ее отпустит. Об этом можно было мечтать, как Ольга начала уже мечтать о понравившейся квартире.

К Олегу подступиться было нелегко. Программа не шла: то ли статистика подвела, то ли виновата была машина, регулярно сбоившая. Все же квартиру посмотрел, одобрил – и помчался в вычислительный центр: дали машинное время.

Стоит один раз найти рубль, и потом все время смотришь под ноги. Позавчера Ольга нашла не рубль даже, а пятерку, и с тех пор шныряла глазами по тротуару, как только оказывалась на улице.

На работе выяснилось, что ее искал шеф, и она послушно направилась к двери с табличкой «Заведующий лабораторией геологоразведки».

Вид у шефа был какой-то нерабочий: расстегнутый пиджак, узел галстука ослаблен. Улыбается, как именинник:

– А, Ольга! Вы, говорят, английский сдали; поздравляю! – И протянул толстый новенький журнал, продолжая говорить: – Смотрите: как раз по вашей теме, тэсэзэть, а мне для статьи срочно нужно.

Шеф учил немецкий, как почти все довоенное поколение. Начал быстро листать упругие, как новые деньги, страницы.

– Я вам задачу минимизирую. – Улыбнулся заговорщицки, весело поблескивая лысиной. – Весь перевод не пишите, сделайте выжимку. Тэсэзэть, подробный

реферат. Ну да вы поняли.

Все так же улыбаясь, предложил пойти в научно-техническую библиотеку, «если нужно».

Рядом с библиотекой находился горисполком, от которого зависело, быть или не быть обмену.

– Конечно, нужно, – сказала ответственным голосом отличницы, убрала тяжелый журнал в сумку и пошла к лифту, пока не передумал.

Интересно, что шеф навесит после философии?..

По дороге не нашла никаких денежных знаков, зато быстро получила нужную справку, а на лестнице встретила... Томку!

Нахлынуло все сразу: радость, тепло, растерянность. А Томка бросилась ее тормозить, роняя бессмысленные восклицания, и потащила на улицу: «Пошли в кафе посидим, я твою рожу сто лет не видела!».

Пошли, выбрали столик – было малоллюдно – и уселись.

– Иванова, ты совсем не изменилась. А мои любимые булочки стали меньше. Или мне кажется?

Это мы стали больше, подумала Ольга.

Томка взяла с тарелки плетеную булочку и пытливо спросила:

– Чем она полита?

– Свечкой, – ответила Ольга.

– Сама ты свечкой, – Томка осторожно лизнула край белой глазури, – не порти мне аппетит. Это самое вкусное, – добавила, жуя, – вот попробуй.

Томке трудно было испортить аппетит – как сейчас, так и раньше, тем более что

булочки были точь-в-точь такими же, как те, что они покупали в школьном буфете.

– Слушай, Иванова... Кстати, ты ведь уже не Иванова, да?

– Иванова, Иванова.

– А кольцо? Разве ты не замужем?

Сама Томка собиралась разводиться со вторым мужем. Говорила охотно и вспомнила свою первую любовь.

– Знаешь, Олька, мы такие были дураки с Гошкой. Я сейчас думаю: нафига развелись? Ведь жили, как... как голуби.

Откусила булочку, вздохнула:

– Жили бы себе и жили. Кто мешал, спрашивается?

Действительно, кто мешал?

Томкина первая любовь оказалась упрямой, как она сама, и привела, не без скандала, к замужеству. На свадьбе оба комплекта родителей испепеляли друг друга враждебными взглядами. Одноклассников почти не было – все готовились к вступительным экзаменам. Олька торчала в ЗАГСе все положенное время, но на торжество пойти отказалась: на следующий день надо было сдавать математику.

Гоше-молодожену нужно было на следующий день сдавать профилирующий предмет, который он и сдал. Сдал благополучно и все остальное, но получил двойку по сочинению.

Томка никуда не поступала – была счастлива, что «Гошка по-настоящему муж, понимаешь, Олька?».

Скоро, впрочем, она рыдала в голос, как будто Гошу забривали не на два года, а на двадцать пять лет, как в царское время. Конечно, хорошо так рассуждать, когда не молодого мужа провожаешь, а на первом курсе учишься. Все Олькино время поглощал университет, как Томкино время поглощала любовь, из-за чего они и в школе-то в последний год отдалились друг от друга.

Той же осенью Ольга встретила подругу в парке, по пути в университетскую библиотеку.

– Томчик!

Как она была хороша, с оживленным круглым лицом, русые волосы распущены по плечам, серые глаза... Глаза были растерянными. «Ты что, Томчик?» Та

улыбнулась такой же растерянной улыбкой, но бесшабашно ответила: «Вот хожу, кадров клею».

Пошутила, конечно.

Другие, может, так и делают, но не Томка, влюбленная в своего Гошу с седьмого, если не раньше, класса. Томка не могла никого кадрить.

Так получилось, что Томкино замужество и Олькин университет разнесли их в стороны. От встречи в парке осталось недоумение и смутный непокой, однако Томке она не позвонила. Почему? Не настолько ведь загружена была, чтобы не найти нескольких минут для звонка; дело не в этом. Просто что-то поменялось. То ли обе они выросли из дружбы, как из школьной формы, то ли дружба сейчас была не ко времени, как лыжи в июле. В самом деле, какая дружба может быть между молодой замужней женщиной – дамой – и «синим чулком»? К тому же сессия надвигалась – первая, непривычная; потом начался новый семестр. Ольга как была, так и оставалась «синим чулком»: щуплая, без косметики, в битловке и юбке вместо прежней школьной формы. Иванова считалась в группе «своим парнем» и влюбляла себя в геологию по уважительной причине: побоялась конкурса в мединститут. Вычитала где-то: «Если я не могу жить, как мне нравится, то пусть мне нравится, как я живу».

С тех пор делала вид, что нравится, и втянулась: понравилось.

В конце лета снова увидела Томку – беременную, в просторном джемпере, надетом для маскировки живота, настолько круглого и убедительного, что ни черта джемпер не маскировал. Она шла под руку с матерью, весело о чем-то разговаривая. Милое круглое лицо было таким же оживленным, как тогда в парке, только волосы

не распушены, а собраны в тяжелый узел на затылке. Женственная прическа, и вся Томка была очень женственная.

Остановившись на противоположном углу, Олька не решалась окликнуть подругу или подойти. Глупо, наверное, но мешал теперешний Томкин живот и тот жалкий голос в парке: «Кадров клею». Заметила ее Томкина мать, но не ответила на Олькин приветственный кивок, а нахмурилась: никогда не любила эту девочку. Что-то почувствовав, Томка повернула голову, но мать ускорила шаг и повернула за угол. Олька полезла в портфель, чтобы не смотреть в ту сторону, но все же увидела, как Томка слабо помахала опущенной рукой. Так она сигналила, когда вызывали к доске: помощи.

Олька пошла в другую сторону.

Не могу я тебе помочь, да и не моя помощь тебе нужна.

К черту, к черту вас всех, с вашими заботливыми мамами и папами. К черту.

Лицо горело, но внешне, она знала, ничего заметно не было: смуглые не краснеют.

И звонить не стала. Представить, что трубку возьмет мамаша, так лучше бы телефон вообще не изобретали. И Томка не звонила, что понятно: встречи, в сущности, не было, мелькнули в толпе по разным сторонам улицы – и скрылись. Вот через годик, усмехнулась Ольга, где-нибудь столкнемся.

Столкнулись, однако, неправдоподобно скоро: через три недели. Спасаясь от хлынувшего дождя, Олька втиснулась на сухой прямоугольник тротуара у входа в кино. Чья-то рука хлопнула ее по плечу: «Иванова, ты своих не узнаешь, что ли?».

Олька дернулась в сторону, задев чей-то мокрый плащ.

Гошка!

Гошка, неузнаваемый в военной форме, улыбался во весь рот.

И Томка. Стоит рядом и возится с зонтиком. Улыбнулась: «Привет!» – и снова крутит зонтик, изящная и стройная. Словно не было беременного живота.

Родила?..

Но... что же еще, если живот пропал бесследно, как взрослая прическа? Теперь у Томки была модная стрижка с косой длинной челкой, почти скрывающей глаза.

– А я смотрю: Оля или не Оля? – радостно басил Гоша. – Ну, точно: Иванова. Несется, как псих, впереди самой себя. Пошли с нами в кино, а?

Томка улыбалась, но смотрела мимо нее, на афишу с крупными буквами по диагонали: «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Казалось, она сердится.

– ...потом в кафе завалимся, мороженого поедим, выпьем шампанского. Я в отпуске! Пошли, а?

Гоша ликовал.

– Не, ребята, – выдавила Оля. – «Берегись автомобиля» я смотрела, а ждать вас долго. Давайте шампанское в следующий раз, ладно?

И пошлость ляпнула зачем-то, до сих пор стыдно:

– Ты служи давай, Гоша. Привет!

Статус «синего чулка» не исключает знания того, откуда берутся дети и что приводит к их появлению. Хочешь не хочешь поймешь, если живешь в одной комнате с матерью и отчимом и просыпаешься вдруг в темноте от голосов и копошения в темноте, за которым следует ритмичное сотрясание раскладушки. Можно было

натянуть одеяло на голову и заткнуть уши пальцами, но знание того, что происходит в полутора метрах от кровати, уже проникло в уши – и осталось. В отличие от других девчонок в классе Ольга не хихикала при слове «беременность» – беременность была прямым следствием ночной возни. Знала жалкое слово «выкидыш» – звучало, как «подкидыш», только страшнее; в переводе с русского на медицинский – «аборт».

Зато не знала куда более простых вещей – спасибо, Томка просветила.

...Восьмой класс был позади, они вдвоем поехали на пляж, и там Ольга заметила синяк на Томкиной шее. «Где это ты стукнулась?» – «Это меня так любили», – гордо объявила Томка. Увидев испуганные глаза подруги, Томка вытаращила глаза: «Ты чего, засос не видела?». По озадаченному Олькиному лицу поняла, что – нет, не видела. «Ну ты даешь, Иванова...». Улыбнулась снисходительно и объяснила просто, как давным-давно про сущность мужчины, «живот да ноги».

Но то давнее знание относилось к собственному Томкиному папаше и к обыкновенным мужчинам, в то время как у Томки с Гошей была любовь. Ни синяки на шее, ни насосное слово не увязывались у Ольки с любовью. Как и другие слова, обычные глаголы, вдруг выворачивались незнакомой, уродливой изнанкой и обретали гадкий темный смысл, относящийся каким-то образом к ночному копошению на раскладушке, к дурацкому визгу и хихиканью девчонок, громкому гоготу ребят и к умению клеить кадров.

Но не к любви.

Год в университете ничем не обогатил имеющиеся у Ольки познания, и если бы нужно было сдавать зачет по несуществующему предмету «Взаимоотношения полов», например, она бы с треском его завалила. А Томка наверняка бы сдала,

потому что знала не только терминологию этих взаимоотношений, но и нечто более важное, чем «синий чулок» похвастаться не мог.

И вот – сегодняшняя встреча.

Сколько бы событий ни произошло в промежутке, сколько бы лет ни прошло, напротив сидела Томка и радостно улыбалась. Не одними губами, как тогда перед кинотеатром, а всем лицом и глазами.

– Наверное, дураки, – согласилась Ольга. – Вы такие счастливые были, что даже тетка в ЗАГСе прибалдела. Помнишь, пучеглазая такая?

Спросить, почему разошлись, не смогла: не на прошлой неделе расстались.

– Счастливые... – Томка вздохнула. – Могли и сейчас быть счастливы. Так ведь нет: сама, дура, все испортила. Ты ведь помнишь?

Она посмотрела на Ольку прямо и требовательно, потом усмехнулась.

– Помнишь, помнишь. Мы с маманей тогда шли...

Томка могла ничего не рассказывать, но тогда не было бы известно, что лежало между ними на том временном отрезке, пока они не виделись.

История была простая и страшная.

Гошу призвали, и теперь от него приходили письма, не блещущие красноречием (двойка по сочинению была заслуженной). «Жизнь солдата полна трудностей и невзгод, – писал он, – и тем больше радости доставляют письма *от* туда».

Томка не знала, что такие же трафаретные письма шлет домой половина части. Что можно написать в ответ, если ни трудностей, ни невзгод? «Дико тоскливо без тебя, Гошка. Я работаю на полупроводниковом заводе, на конвейере...» Гоша стал

писать реже, а девчонки из цеха звали на танцы все чаще: «Думаешь, они там в увольнительную не ходят?».

«Главное для солдата, – писал муж, – это верность и преданность любимой». Вот и пойди на танцы после такого письма. А не пойти – смотреть с родичами телевизор: «Советские люди единодушно осуждают израильских провокаторов и требуют прекратить агрессию против арабских народов». Маманя кивает с готовностью: правильно, мол. Можно сесть за машинку – сшить новую юбку-шестиклинку. И что дальше, сидеть в ней за конвейером? Или с предками перед теликом?

И – пошла на танцы.

Раз, другой... И проводили ее тоже раз-другой... ну, может, несколько раз.

Томка все поняла слишком поздно. Перепугалась отчаянно: аборт делать поздно, рожать нельзя.

Мать до хрипоты честила Томку сучкой и похлеще. Оторав, начала звонить кому-то – и все устроила.

Томкина казнь называлась «искусственные роды». Прошла мучительно, но с желаемым результатом: живота больше не было.

...Как не было с тех пор и детей у Томки, но тогда никто об этом не знал. Зато Гоша прислал совершенно нормальное, человеческое письмо, без «трудностей и невзгод»: приезжает в отпуск.

Что я ему скажу, что?!

«Скоро все забудешь, – пообещала врачиха, – как будто ничего и не было». Сквозь кармашек белого халата просвечивали деньги.

Томка приучала себя, что ничего не было, но забыть не получалось.

Потому что – было.

Встретила Гошу – нарядная, снова легкая, без ненавистного живота. Мать поминутно бегала на кухню: застолье, свекор со свекровью вернулись из санатория; Гоша, радостный и гордый.

Хотелось одного: чтобы поскорее уехал.

«...И внука мне, внука поскорее рожайте!» – тянул к ней рюмку свекор.

На следующий день ходили с Гошей в кино, потом поехали на взморье. Гуляли по пустому пляжу, Томка отпрыгивала, чтобы не замочить туфли. Потом остановилась и ждала, пока волна подберется ближе, но, вместо того чтобы отскочить, стояла на месте и смотрела на новые набегающие волны. «Знаешь, Гошка...»

И все рассказала.

– У тебя... у вас, в смысле, дети есть? – жадно и жалко спросила она.

Задала еще несколько вопросов, но было видно, что она не здесь, а все еще стоит у моря в мокрых туфлях и ждет Гошиных слов.

Посмотрела на часы:

– Ой, мне пора; бежать надо.

На улице торопливо обменялись телефонами.

– Ты ничего мне про себя не рассказала, Олька. Все, бегу. Но я позвоню тебе, слышишь?

Она требовательно потянулась к Ольге и вlepила в щеку поцелуй.

Нужно было собраться с мыслями, сосредоточиться, но как раз это никак не удавалось. И квартира, и лихорадочная спешка с обменом теперь казались абсолютно ненужными. Абсурд, абсурд.

Решился наконец и поехал к матери. Объяснять ничего не стал, а дал прочитать телеграмму.

– Так она сменила фамилию?

И больше не сказала ничего. Положила телеграмму на стол и пошла на огород. Земля всегда ее отвлекала и успокаивала.

Отпуск проходил бездарно. Несколько раз Карл ездил на хутор. Спилил засохшие ветки у дерева, починил крышу. Поднялся на чердак, убрал цинковую ванну, куда капала вода. Пол был подметен, доски все так же покрыты мешковиной.

Не «догуляв» отпуска, вышел на работу. «Новоселье зажал», – однообразно повторял Кондрашин. Представилось, как Кондрашин ходит по его квартире и дает советы. Эта мысль ужаснула и взбодрила для ответа: «Извини, Гена. Терпеть не могу эту дурацкую традицию».

Когда-то отец говорил: «Учись не делать то, что не хочешь. Не научишься – окажешься в рабстве». Он как раз и говорил о таких необязательных, но настолько общепринятых вещах, что, казалось, не делать их нельзя, потому что все делают. Вот как новоселье, например. Или походы на дни рождения ненужных знакомых, вроде Настиных однокурсниц. «Так принято», – хмурилась Настя, из чего было ясно, что кем-то и для чего-то это было заведено, однако почему он должен принимать

абсурдные условности, Карлушка так и не понял.

Теплыми вечерами он много ходил. Во время ходьбы легче думалось, и неловкость и тяжесть в душе как будто рассеивались. Женщины, сидящие около цветочного магазина, стали его узнавать; проходя мимо, он кивал. Магазин он ни разу не видел открытым, хотя сквозь витринное стекло можно было разглядеть прилавки и кассовый аппарат.

Довольно быстро район стал знакомым, привычным. Несмотря на то что центр находился в пятнадцати минутах езды, здесь было намного тише. Длинная мощенная булыжником улица вела к старому зданию красного кирпича – районному базару, внутри которого продавали мясо, рыбу и молоко; на прилавках снаружи были разложены зелень, овощи и цветы. От базарной площади расходились улицы в нескольких направлениях, и Карлу нравилось возвращаться домой всякий раз иной дорогой. По обеим сторонам улочки были застроены деревянными домами и домишками. Окна были распахнуты, с подоконников свешивались подушки, на которых то здесь то там уютно грелись коты. Одни дремали, другие бдительно поглядывали на редких прохожих. Навстречу ему попадались парочки. Девушки уверенно держали спутников под руку и независимо смотрели мимо него.

Деревенская идиллия.

Он пытался вспомнить юное Настино лицо, когда они вот так же гуляли по городу, но его заслоняла другая картинка: жена сидит перед зеркалом, нанося кисточкой немецкую косметику: неподвижное лицо, сосредоточенный взгляд, шея чуть вытянута.

Сейчас, через пятнадцать лет совместной жизни – втроем, вдвоем, снова

втроем, уже с Ростиком, – только сейчас он понял, что принимал за любовь чувство вины. Неизбывная вина обрушилась на него с того вечера, когда Настя сказала про аборт. Острая жалость, боль и виноватое осознание, что его боль не идет ни в какое сравнение с болью и кошмаром, которые пережила Настя, – все это помнилось отчетливо и беспощадно. Тогда же он поклялся себе, что никогда в жизни такое не повторится, ни разу больше не обречет он эту девочку на пытку. И совершенно естественно, само собой получилось, что существует только одно решение. Слова выговорились легко, а значит, они оказались единственно нужными. И потом, когда из месяцев вдвоем складывались годы вдвоем, без третьего, когда нужно было идти в гости то к однокурснице, то к Зинке, то к сотруднику-экскурсоводу, чтобы проявить интерес к чьему-то младенцу, Карл обреченно шел – и поздравлял, и проявлял ожидаемый интерес, боясь встретиться глазами с женой.

Он не ждал ребенка, как это бывает с другими мужьями, которые непременно хотят сына и только сына, а потом нежно привязываются к дочке. После нескольких лет брака Карлушка привык к мысли, что детей у них с Настей не будет, и принял это как наказание за собственную давнюю беспечность, однако бремя вины стало намного тяжелее: ведь беспечность была его, а кара настигла обоих. Они с Настей никогда не трогали эту тему, она была запретной, как тонкая дверь, по ту сторону которой скрывалась неопределенность, не сулящая ничего хорошего.

Если бы его спросили, какой была их жизнь вдвоем, ответил бы, не задумываясь: ровной. Ровной и одинаковой изо дня в день.

Чувствовала ли Настя с ним такое же одиночество? Трудно сказать; он и не спрашивал ни разу: срабатывал запрет, потому что одна тема неизбежно повлекла бы

за собой другую. Наверное, Настя жила со своей болью так же обреченно-спокойно, как он со своей виной. Да вряд ли ее интересовало мнение мужа-неудачника – человека, ничего в жизни не добившегося, а главное, не стремящегося добиться. Она мечтала поехать на Черное море, провести отпуск в пансионате, почему-то для Насти это было очень важно, – не поехали. Не поехали и в Грузию, и в Армению, но туда Настя и не рвалась, а в пансионат... Может, отпуск на Черном море примирил бы ее с мужем-неудачником? Сейчас уже не имеет значения, но и от этого несостоявшегося отпуска осталось чувство вины. Какое значение на фоне этих грехов имело его плоскостопие, о котором он боялся ей сказать?

Только теперь, бродя по малолюдным улицам и переулкам, он понял, как одинок был до появления сына. Ребенок, закутанный в пеленки, подолгу спал, все еще во власти безмятежного своего бытия в материнской утробе, и только открывая внезапно глаза, в бессмысленном ужасе таращился несколько секунд в потолок, после чего снова засыпал. Просыпался, открывал глаза, хотя *смотреть* еще не умел, осмысленный взгляд появился позже, но он жил, крохотный росточек, и Карлу делалось страшно от беспомощности, незащищенности этого маленького тельца.

В одну из тех первых недель к ним зашли Алик Штрумель с женой. Пока женщины возились с малышом, они с Аликом ушли на балкон покурить. «Знаешь, когда наша Динка вот такая же была, – Алик кивнул в сторону комнаты, – я тоже сходил с ума от страха. Боялся, что с ней что-то неправильно, раз так много спит. Аська смеялась: ты, говорит, грудью покормить не хочешь? А я не понимал даже, как она может смеяться, представляешь? И ночами вставал: мне казалось, вдруг Динка не дышит?! Это потом уже, когда она постарше стала, пустышку выплевывала и

вопила по ночам, мы мечтали только об одном: выспаться. Так что у тебя все впереди, поздравляю!»

Карлу показалось тогда, что Алик говорит не о себе, а о нем, и слова: «я *тоже* сходил с ума от страха» подтверждали это. Потому что ночью он действительно вставал – осторожно, чтобы не разбудить Настю, и шел к кроватке малыша. Дышит, живой? И стоял некоторое время, вслушиваясь в бесшумное дыхание ребенка. Живой. Знай, что я здесь; я рядом с тобой.

Когда-нибудь, когда Ростик станет взрослым, он расскажет ему про свой страх. И про многое другое, о чем пока рассказать не успел. Мальчик умеет слушать; найдет ли он, отец, правильные слова?..

Сейчас он не мог оказаться рядом с сыном, но тем больше можно будет ему рассказать при встрече, и Карл мечтательно копил воображаемые разговоры с мальчиком, ловил себя на том, что время от времени начинает бормотать что-то вслух.

Так, в мысленных беседах с Ростиком, делал круг и возвращался домой. Он постепенно привыкал к новой квартире и приучал ее к себе, как новый хозяин приучает собаку или кошку. Привыкал к новым звукам: дверному звонку, к акустике комнат, почти не заполненных мебелью, – только самое необходимое. В раковине что-то булькало, словно кто-то полоскал на кухне горло. У крана тоже обнаружились капризы: включенный, он рокотал, потом гневно трясся, и только после этого ровной струей текла вода. Коварство холодной кладовки, о которой предупреждала прежняя хозяйка, в июне обнаружить было трудно.

Приехав в очередной раз к матери, застал ее в постели. Не звонила – не хотела

беспокоить. Слабость, лихорадит немножко: «Ничего страшного, пройдет». С трудом уговорил поехать в поликлинику и остался ждать в коридоре.

В летний субботний день народу в поликлинике было мало. Над окошком регистратуры висел транспарант: «МОЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ!». А в другое время, подумал Карл, медленно шагая по коридору; после еды, например? Здание было старое, с трещинами на потолке и лысыми, истончившимися от бесчисленного множества шагов половицами. У одной стены стояла длинная грубая скамейка, у противоположной – венские стулья, выкрашенные в белый цвет; краска на них лупилась, как яичная скорлупа. Стенные панели, некогда из темного дерева, тоже были покрыты масляной краской, но не белой, а коричневой.

Газету Карлушка купить не успел и теперь бездумно пялился на большой плакат, висящий над скамейкой. Там на фоне голубого неба красовалось дерево с пышной листвой. Несмотря на густую крону, дерево тени не отбрасывало, но прямо под ним был нарисован улыбающийся малыш, доверчиво тянувший вверх пухлые ручки. Если бы ребенок умел прочитать зловещую надпись: «ЭНЦЕФАЛИТНЫЙ КЛЕЩ ОПАСЕН», то бежал бы от дерева со всех ног. Однако в аквамариновое небо был вляпан густой желток солнца, зелень листвы успокаивала глаз, а самого клеща видно не было.

Ростик никогда не был пухленьким, даже в самом умильном возрасте. Узкоплечий, худенький, он всегда вызывал тревогу взрослых, особенно Ларисы, которая провожала ревнивыми взглядами увесистых и полнокровных чужих детей.

Ростик, росточек мой. Водится ли в ГДР энцефалитный клещ?

Дежурный врач, молодой румяный парень, оживленно говорил по телефону. Ларисе захотелось уйти, но решиться не могла и продолжала стоять у двери. Врач говорил, улыбаясь и скользя взглядом по кабинету, столу с бумагами, окну и стоящей женщине. Взгляд не менялся; он кого-то ласково убеждал – девушку, наверное. «Чао!» – сказал на прощанье и кивнул Ларисе: «Проходите. Что у вас?»

Послушал легкие, что-то записал. Стряхнув термометр, велел измерить температуру. Все свои действия врач совершал, пританцовывая одной ногой, отчего мелко дергалась коленка. Больной, что ли, подумала Лариса. Пока она держала градусник, врач скучал и начал негромко насвистывать какую-то мелодию; нога дергалась в такт. Здоров, как бугай.

Посмотрел на градусник, потом на Ларису. Она приготовилась уходить, однако врач протянул бумажку: «Рентген-кабинет на третьем этаже. Потом опять ко мне».

На третьем этаже пришлось ждать в очереди: старушка с опухшей стопой и зареванный мальчуган лет семи с безжизненно висящей рукой, окруженный растерянными родителями. Мальчик совсем не был похож на ее внука, но сердце защемило от горечи. Не надо было сюда приходить, не надо.

Получив упругие тяжелые снимки, Лариса вернулась к дежурному врачу.

Кроме пневмонии, врач нашел у матери нарушение сердечного ритма и настоятельно рекомендовал покой. В ближайшее время нечего было и думать о возвращении в деревню. Лариса, и без того не любившая свою комнатенку, должна была в ней оставаться в жаркие летние дни и принимать таблетки. Внезапное обилие лекарств ее пугало.

Карл растерялся. Переселиться к нему мать отказывалась наотрез, да он и сам понимал, что болезнь не время для переезда и даже разговоров о нем. Вместе с тем надо было постоянно следить, чтобы она вовремя приняла лекарство, поела; купить и принести самое необходимое. Выручал сезон: многие сотрудники и большая часть начальства были в отпуске, работа шла вяло.

Пневмония сдалась довольно скоро, но что-то надломилось в самой Ларисе. Не всегда Карлу удавалось дозвониться: мать засыпала днем и спала подолгу, поднимаясь неохотно и с явным усилием. Жаловалась, что плохо спит по ночам, и участковый врач назначила снотворное. «Легкие чистые, – сказала врач, – антибиотик закончили, будем восстанавливаться. Гуляйте побольше; ну и поливитамины, конечно». Карл проводил ее по коридору к выходу, и торопливо начал объяснять, понизив голос:

– Раньше с мамой такого никогда не было, доктор. Она очень активный... – но договорить не успел, врач перебила:

– Ну что же вы хотите, в таком возрасте да на фоне пневмонии? У меня почти половина участка старики да инвалиды; пожилые – и слава богу, чего уж...

Это «что же вы хотите» долго звучало у него в ушах. Врачи можно посочувствовать: все они перегружены, в том числе больными стариками да инвалидами, все понятно, только в Карле все восставало против такого оправдания. Шестьдесят восемь лет – не конец жизни, а по ее логике получается именно так: пожилые – и хватит, «чего уж». Что она скажет лет через тридцать, когда будет на пенсии и вызовет на дом коллегу? И что скажет врач, который придет по вызову, – подумает ли, что зажила она, на участке и так избыток стариков?

Он никогда не задумывался о возрасте матери и вообще о старости – потому, наверное, что отец умер молодым. А ведь не так это, не совсем так: отцу было шестьдесят три. *Это я был молодым.* Но не только это: отец всегда был молод, сколько бы лет ему ни стукнуло; таким в памяти и остался.

Мать была... вне возраста, что ли, поэтому теперешнее ее состояние вводило Карла в замешательство. Седина в волосах ее нисколько не портила; очки... Она давно читает в очках, но очки – это еще не старость. Она никогда не жаловалась на бессонницу и не спала днем. Хотя вспомнилось тут же, как она берет в руки и тут же снова ставит на стол чашку, смущенно улыбаясь: «Рука болит; боюсь уронить». Или, когда поднимаются по лестнице, вдруг останавливается на площадке, морщась от боли: «Сейчас... колено», – и отмахивается от его вопросов, от его поддержки: «Я сама».

Он вспомнил древнюю легенду или притчу, которую читал в детстве. Мудрецы спорили о том, что человек должен сделать в жизни. Самое главное было посадить дерево, родить ребенка и убить змею. Маленький Карлушка только-только научился читать, они приехали в ссылку, и каждый человек, каждая семья пытались устроиться в чужом месте, приспособиться к нему, не мечтая о том, чтобы прирасти. Что это была за книга и как она попала к нему в руки, он не помнил, тем более что в то время его бесконечно занимал самый процесс чтения, была ли то газета, книга или казенная инструкция. Запомнился, однако, мудрец со своим предписанием. Он гордо прочитал отцу всю страницу, потом спросил:

– А ты змею можешь убить?

Отец не сразу ответил.

– Это самое трудное, – сказал задумчиво, – змею убить. Все остальное я сделал, – он кивнул на книжку. – Я посадил много деревьев; вернемся домой – увидишь. Сын у меня тоже есть...

– А змею? Змею ты убил?

– Убил, – помолчав, ответил отец. – Это было очень трудно, но змею тоже убил.

В детстве он часто представлял себе, как отец подкрадывается с палкой к огромной свернувшейся змее, поднимает руку... Но змея уползает, он гонится за ней по лесной дорожке, дорожка из лесной незаметно превращается в гравиевую, и Карлушка засыпал.

Дерево – ребенок – змея... Разве убить змею не проще всего остального, почему для отца это было так трудно?

Вдруг высветился в памяти недавний плакат, увиденный в поликлинике: дерево, ребенок и условная змея – энцефалитный клещ; просто вспомнил не сразу.

Обеденный перерыв подходил к концу. Здесь, в столовой, тоже чувствовалось ленивое лето: никто не торопится, много свободных столиков. Наверху, в отделе, тоже пустуют многие столы. В такое время хорошо работать – или решать кроссворд, или красить ногти, чему серьезно и самозабвенно предается новенькая, Наташа – молодой специалист. Штиль, полный штиль.

И как раз поэтому Карлу пришлось ехать в командировку. Начальник отдела развел руками: «Вариантов нет, сам видишь. За недельку управишься – и назад. В понедельник и отправляйся». Он тоже уходил в отпуск, мыслями был уже не здесь, а

в Минводах, и не было ему никакого дела до Карлушкиной больной матери, хотя посоветовал, подписывая командировку: «Ну, договоришься с соседями как-нибудь, что ли», – и посмотрел на часы.

Совет был бы хорош, если бы отношения матери с соседями по квартире не ограничивались короткими приветствиями на кухне и в коридоре. Такой барьер обособленности Лариса установила с самого начала и делала вид, что не замечает любые попытки соседей пойти на сближение. Ответная реакция колебалась от «не больно-то и хотелось» до «провались ты пропадом», однако если выказывалась, то не высказывалась.

В конце концов, решил он, буду каждый вечер звонить, с Подмосковьем связь нормальная. «Поезжай, конечно, – мать была совершенно спокойна, – отдохни от меня. Ничего страшного за неделю не случится. В магазин тоже могу сама ходить, мне докторша гулять велела». Сколько Карлушка помнил, это было ее любимое присловье: «ничего страшного». Было еще одно: «большое дело, подумаешь», если что-то «страшное», то есть достаточно серьезное, происходило.

«Ничего страшного», если кто-то есть поблизости, а кому позвонит мать, при ее-то замкнутости, тем более что во всем городе нет ни одной родной души? С тех пор как она вышла на пенсию... А кстати, как звали ту тетку – волосы пучком, серьги с красными камешками, она с матерью в оранжерее работала? Анна Яновна, вот с кем нужно связаться! Мать с нею видится – по крайней мере, раньше виделась.

– Верно, давно ее не видела, – Лариса оживилась. – Прямо сейчас и позвоню.

Телефонный разговор ее озадачил и встревожил, потому что с Анной Яновной поговорить не удалось. Трубку взяла соседка и зачастила раздраженно:

– Так чего ж вы звоните, когда нету ей тут, уж скока время не живет, а все звонют.

С немалым трудом упросила Лариса позвать к телефону сына Анны Яновны. Сына тоже не оказалось дома, но, к счастью, подошла невестка, заговорила быстро и громко, но не с Ларисой, а с инициативной соседкой:

– Не ваше дело разоряться и трендеть, если не вам звонят, ваше дело к телефону позвать, сколько раз я вам по-хорошему говорила, алло! Алло, вам кого?

Низкий голос звучал заинтригованно, с паузами; женщина говорила с Ларисой вежливо, но от вопросов удержалась: просто назвала новый телефон свекрови и адрес. Нет, не обмен; гораздо интересней. Послышался короткий смешок.

Лариса поблагодарила и попрощалась. Ясно было одно: сын с невесткой и дочкой остались в коммуналке, в то время как... Господи, мы же недавно разговаривали, перед Новым годом! Или это было... Неужели это была прошлая зима и прошлый Новый год?

Анна Яновна жила совсем рядом с Карлом, в соседнем с цветочным магазином доме. Она очень обрадовалась Ларисину звонку, но, как всегда бывает при долгом перерыве в общении, в разговоре часто повисали неуклюжие паузы, а потом обе начинали говорить одновременно. Условились, что Анна Яновна зайдет на следующей неделе.

Собраться можно было от силы за час, а самолет рано утром. Карл извлек из утробы раскладного дивана сумку: Лиза в свое время привезла из Германии. Почти невесомая, из какого-то прочного материала, с уймой карманов, сумка эта в

командировках была незаменима. Белье, носки... Черт, всегда нечетное количество. Рубашки надо гладить. Хорошо бы позвонить Анне Яновне, что меня не будет. И позвонил бы еще вчера, но остановила малодушная мысль: она станет расспрашивать, из самых добрых побуждений. Утюг; где утюг? Кажется, в ванной. Свитер... Нет, свитер не нужен, в самолете хватит пиджака, а у них там теплее, чем здесь. Все лекарства у матери на тумбочке: от давления, от сердца и снотворное. Записную книжку – в боковой кармашек, вместе с журналом.

Утюг и вправду нашелся в ванной. Не забыть бритву-пасту-щетку-расческу, но – завтра; с утюгом в руках вернулся в комнату. Спортивный костюм – на дно, его помять не страшно. Никаких спортивных амбиций у Карла не было, но нужно же во что-то переодеться в гостинице. Серые брюки. Паспорт, билет. Техдокументация; командировка. Да, утюг-то включить не мешало бы... Сколько рубашек нужно на неделю? Допустим, хватит трех, на всякий пожарный. Билет и паспорт – в пиджак, остальные бумаги в сумку, во внутренний карман. Пиджак не этот, а серый в елочку; вон он, на стуле. И с серыми брюками сочетается.

Он снял со спинки стула пиджак и уложил во внутренний карман документы. Так; бумажник, сигареты, спички. Проверить боковые карманы; что это, пустая пачка? Карл озадаченно сдвинул брови, сунул руку и вытащил... стопку библиотечных карточек.

О черт, это же тогда... Портфель отдал, а про карточки забыл, забыл начисто!

На одной стороне была напечатана библиографическая информация; вторая была заполнена четким почерком: обрывки фраз с обилием кавычек, большей частью на русском, иногда на английском. Чьи-то шпаргалки – или тезисы? Заметки

для памяти? Карлушка склонился над столом, потом ногой придвинул стул и сел, не отрывая взгляда от карточек.

На подоконнике грелся утюг.

Двери пошипели и захлопнулись, электричка двинулась дальше, быстро и радостно набирая ход, словно удирая от кого-то. Ольга постояла, пока не смолк удаляющийся стук колес, и медленно пошла вперед.

Перрон, рельсы, шпалы – все было усеяно белыми лепестками. Жасмин отцвел, и воздух был густо насыщен тонким и свежим ароматом. «Жасмин – мужские цветы», – говорила бабушка. «В каком смысле мужские?» – «Традиция такая. Тюльпан, гвоздика... Других не помню, я все забывать стала». Бабушка жаловалась на память, и никакого кокетства в этом не было, но Ольга часто думала, что жалуется она напрасно, всем бы столько помнить в семьдесят семь лет. Столько помнить и знать такие экзотические вещи, вот как про мужские цветы. Рассказывала, как составлялись бутоньерки. Во что, интересно, превращались нежные цветы, воткнутые в петлицу, скептически спросила Ольга, ведь завянут через час! И с изумлением узнавала, что – нет, не так скоро увядали, потому что стебельки погружали в тоненький сосуд, который, в свою очередь, каким-то хитрым способом крепился к изнанке лацкана, вот так.

Расскажи кому-нибудь – не поверят. Как не поверят и тому, что бабушка, приехав на взморье, не только идет пешком до самого моря, но там проходит вдоль берега несколько станций. И как проходит! Легко, без одышки, только изредка присаживаясь на скамейку.

Из-за суеты с обменом Ольга давно не вывозила ее на море, да и раньше бабушка отнекивалась и даже сердилась: «У тебя муж, тебе с ним надо ездить, а не

со мной», но видно было, что поехать ей хочется, и как раз с ней. Говорила: «В другой раз, Лелька».

Ольга скучала по своему детскому имени, но относилась к нему очень ревниво. Ни Олег, ни старшие Черняки никогда так ее не называли, и за это Оля была им очень благодарна, тем более что бабушка при них обращалась к ней по-прежнему, привычно для обеих. Это имя принадлежало ей и *роду-племени*, отсутствие которых так раздражало свекра. Первым так начал звать ее Максимыч, за ним остальные. Кроме матери: поменяла всего одну букву и наградила имечком, из которого невозможно вырасти. Потом уже, вслед за Сержантом, стала называть ее полным именем; все же лучше, чем «Ляля». Сержанта давно нет, с матерью ее жизнь не пересекается; теперь, во взрослой жизни, имя звучит по-другому.

Наверное, выбрать ребенку имя нелегко, ведь с ним он должен прожить всю жизнь. Имя – первое, что обретает человек, первая его собственность. Он еще не умеет говорить и не знает, что во рту вырастут зубы, а ноги научатся ходить, но поворачивает голову на звук своего имени. Имя – это он.

...Мать назвала ее в честь своей любимой подруги, которая давно перестала быть любимой подругой, однако не это было причиной того, что дочку она стала называть Лялей. Но тогда что?

Перелесок кончился как раз на этом вопросе – Оля никогда раньше об этом не думала. Теперь она шла по центральному проспекту. Солнца не было, ветра тоже; день стоял тихий, неподвижный. Утром прошел дождь, и щели между серыми плитками тротуара, похожими на вафли, были темными от влаги.

...Либо это – нежелание быть частью клана, все того же рода-племени: «если

все называют моего ребенка так, я буду звать иначе». Когда-то Оля думала, почему мать не похожа ни на кого из родных – в детстве ее это поражало. Мать гордо заявляла: «Я похожа на моего отца».

...портрет которого остался в пустой квартире, откуда она съехала.

Оля сходства не видела, хотя трудно судить по фотографии. Впрочем, заметить можно было бы, ведь дед на карточке молодой, не старше тридцати.

Любимая погода, с детства любимая. В такой день сидеть на работе было невыносимо. Шеф ушел в отпуск, сотрудники тоскливо поглядывали на часы, а потом незаметно исчезали, оставляя в журнале удручающе однообразные записи: «поликлиника», «поликлиника», «поликлиника». «Ну что за народ, – покрутила головой машинистка, подхватив сумочку. – Хоть бы что-нибудь оригинальное придумали...» Расписалась в журнале и помахала Ольге рукой. Вписывая свою фамилию, Ольга увидела против фамилии машинистки запись «к врачу». Не решив, куда идти, Ольга поставила две буквы: «ПБ». Патентная библиотека.

Из автомата на углу позвонила Олегу:

– Поехали на взморье?

– Не у всех начальство в отпуске, – назидательно заметил Олег и добавил вполголоса: – Я тебя люблю.

Поехала одна, чего давно уже не делала.

Каждая станция была связана с каким-то событием самой разной протяженности. Там, за кинотеатром, находится улица Лесная. Лесная, 23 – это дача, где летом они с матерью и маленьким Лешкой жили... сколько, лет пять

подряд? Однако до Лесной еще далеко, а вспомнилась она потому, что Ольга подошла к маленькому кокетливому магазинчику под вывеской «ПОСУДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ». В светлой глубокой витрине стояли алюминиевые кастрюли, построенные пирамидой, и коробки со стиральными порошками. В самой нижней кастрюле можно было с комфортом вымыться.

Ольга зашла внутрь. Здесь пахло опилками, хозяйственным мылом и скипидаром. Ничего, что напоминало бы темную узкую лавчонку, в которой продавался керосин, не осталось – и слава богу.

Газа на даче не было, а топить большую плиту было нечем, да и ни к чему. На ней расстелили толстый слой газет, сверху положили клеенку и расставили керогазы: в тесноте, да не в обиде. Раз в неделю надо было ходить за керосином. Жестяной пятилитровый бидон пронзительно вонял, но с этим легко было смириться, пока он пуст, и бежать вприпрыжку. Потом приходилось стоять в керосиновой очереди, которая медленно втягивалась внутрь темной лавки. В дальнем конце стоял продавец в клеенчатом фартуке, огромный детина с толстыми руками. Он хватал воронку, роняющую мутные сиреневые капли, совал ее в очередной бидон, одновременно принимая деньги и отсчитывая сдачу. Деньги были жирные на ощупь и воняли керосином. Обратная дорога почему-то оказывалась намного длинней, пропорционально тяжести бидона. Тонкая жестяная ручка врезалась в ладонь, руки приходилось чередовать, следя при этом, чтобы не облиться керосином, но, как ни старайся, чертов бидон все равно исхитрялся плюнуть мутной жижей на ноги, на платье или сандалии. Временами везло, когда Олька ходила не

одна, а с кем-то из ребят. Это было куда веселее, зато керосин выплескивался почему-то чаще. Один раз Людка облила босоножки. Терла листьями, травой, даже песком – ничего не помогало. Димка предложил смыть пятно дождевой водой. Поставив бидон на обочину, Людка поставила ногу в лужу – и все замерли от восхищения: по воде медленно расплывалась радуга...

Самый тоскливый запах детства – запах керосина.

Проспект вышел на небольшую площадь. Здесь располагались аптека, два магазина, хлебный и молочный, и – самый оживленный пятачок – базар. Его-то Ольга и увидела первым, но базар был обнесен теперь сетчатым проволочным забором. Еще немного, и он будет ломиться от клубники, а пока на прилавках только редиска и зелень. Аптека была на месте, но ни молочного, ни хлебного магазинов больше не было. Вместо них появился длинный сарай из бетона и стеклоблоков, увенчанный неоновыми буквами «ЧЕБУРЕКИ». Изнутри несло перегоревшим маслом. Люди входили и превращались за стеклоблоками в размытые силуэты.

Кто еще помнит бесхитростные дачные магазины? Уж конечно, не дачники, которые приезжают на месяц или даже на лето, а те, кто живет здесь постоянно и теперь вынужден ездить за самым насущным куда Макар телят не гонял.

По утрам Оля выбегала с авоськой и начинала всегда с хлебного. Черный «кирпичик» сразу клала в сетку, зато батон с изюмом – двенадцать копеек, а сколько счастья – несла в руках и в очереди за молоком отъедала горбушку. Из двух бутылок молока на дачу приносила одну. Вторую неторопливо выпивала по пути, честно оставляя Ленечке половину – ну или почти половину – батона. Мать была

равнодушна к булке с изюмом.

Вот и поворот на Лесную. Дача в одном квартале отсюда, но на сегодня, пожалуй, хватит дачных воспоминаний.

На углу, где раньше был крохотный, с курятник, книжный магазин, теперь находилось кафе. Спасибо, что не рюмочная, новый жанр общепита.

Кофе оказался крепким и горячим. В витрине лежали бутерброды с буровой колбасой и озябшая кучка салата «аллестье» на блюде. Ольга удовлетворилась булочкой.

Следующая станция никак не была связана с воспоминаниями детства, наоборот; лучше бы проскочить ее бегом или прыгнуть в автобус и пронестись мимо домов и витрин, выученных наизусть за полтора года. Потому что здесь происходил – проходил (и прошел, к счастью) Олькин роман вулканической силы. Роман, в котором разлука, даже на несколько дней, переживается как генеральная репетиция смерти. Где собственная жизнь становится только придатком к любви, не очень-то значительным, ведь сказала же ему слова из «Чайки»: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Герой романа был растроган и смущен, но не от вклинившегося в их отношения Чехова, а от слишком щедрого предложения. Олькина жизнь ему не понадобилась, потому что в это же время у него завязался и вызрел другой роман, о котором Оля ни понятия, ни подозрения не имела: параллельные прямые, как известно, не пересекаются. Однако эпическая геометрия Евклида в учебнике стройна и понятна, а что происходит, если ты, боясь пропустить звонок, несешься домой через парк, где на скамейке твой любимый

обнимает не тебя, – это ли не выпадение в другое пространство, где не Евклид, а Лобачевский правит бал? И никуда больше не надо спешить. Если телефон зазвонит, она просто не снимет трубку.

Телефон не зазвонил.

Олька больше не ходила через парк, а Чехова переставила в задний ряд.

А потом прошло и то и другое. Парк-то чем виноват, не говоря уже о Чехове.

Вулкан оказался бенгальским огнем. Зато лучше вылечить ожог, чем оплакивать пепел.

Осталась стойкая неприязнь к станции, где жил герой романа. Почему жил он здесь, на взморье, а не в общежитии для аспирантов, Олька понимала. Она не смогла бы заставить себя прийти к любимому человеку в общагу. Он снимал комнату у полуглухой старушки в дачном доме – таком старом, что, казалось, старушка здесь родилась и похоронила всех родных, прежде нее поселившихся в доме. Снимал он комнату не сам по себе, а «с одним парнем», которого, впрочем, Ольга ни разу не встречала. Самое трудное для нее было проходить мимо хозяйки, когда они вдвоем возвращались с моря или из кафе. Старушка постоянно что-то стирала, согнувшись над маленьким тазиком, и никак не реагировала на ее робкое приветствие. Аспирант улыбался и говорил, что хозяйка в упор не видит его тоже, за исключением первого числа каждого месяца, когда получает от него деньги.

Удобный товарищ, презрительное равнодушие хозяйки, частая занятость героя романа, исключавшая даже телефонные звонки – неужели социология требует так много времени? – все, решительно все объяснилось. Ибо никакого «парня» не существовало: комнату снимал он один, и достойная старушка вовсе не считала для

себя необходимым приветствовать молодых особ, приводимых ее одиноким жильцом: дело молодое.

Павел Корчагин твердо знал, как надо жить: чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот за эти полтора года Ольке было мучительно больно и стыдно. Хорошо бы вырезать эти полтора года острым ножом, как глазок из картофелины, но тогда пришлось бы заодно вырезать из Олькиной жизни весь роман, вместе с его героем, и стереть с карты взморья всю станцию, чтобы некогда любимое «наше кафе», неприветливая старушка над тазиком с мыльной пеной, уютная комната в старом доме – все провалилось в тартарары. Кому, спрашивается, такое удавалось, а если бы удалось, то как жить потом?

Если как Павка Корчагин, то лучше не надо.

Пусть все остается на своих местах: станция, лесная дорога к дому, старушка-постирушка, цитата из чеховской пьесы, пара на скамейке – безвкусный фотоколлаж, вырезать из которого можно только себя, но даже после этого картинка останется впечатанной в память; оттуда не вырежешь. И стыдиться в конечном итоге можно разве что своих слез, тоскливого ожидания звонка и страха, страха и ожидания: что делать, если позвонит?!

Не позвонил.

Олька никому не рассказывала об их романе и потому была уверена, что никто не знает о нем. Пришлось убедиться, что так не бывает: нашлись какие-то знакомые друзей – или друзья знакомых, – которые все откуда-то знали. Неведомые доброхоты постарались до Ольки причину стремительного финала того, что было романом.

Причину звали Алиной. Не будучи ни студенткой, ни аспиранткой, она обладала совсем другими преимуществами: была блондинкой, работала в ректорате и жила в собственной двухкомнатной кооперативной квартире. Из всей ненужной информации Оля выцарапала только последнее обстоятельство, которое ее порадовало: значит, он не приглашал блондинку на взморье.

...хотя ничего это не значит.

Станция давно осталась позади, как и вулканический роман. Герой нашел свое счастье в объятиях двухкомнатной блондинки, Оля перестала выходить на знакомой станции, а это потеря небольшая, тем более что продолжался ее роман с геологией и захлебываться несчастной любовью было некогда.

Как же давно это было: конец второго курса.

А сейчас так приятно идти с легкой сумкой через плечо, не таскать с собой ни конспекты, ни учебники. Свекровь, озабоченная наивная Алиса, все еще живет в стране чудес: «Вот Оленька сдаст философию...».

Не сдаст Оленька философию по той простой причине, что сдавать ее не будет. Вся философия сдана в библиотеку – убедительная кipa первоисточников, куда затесался даже Фейербах, совсем уже факультативный. Кончилась философия, но философия дело вторичное, а главное – кончился роман с геологией. Так, наверное, пылкая любовь переходит в ровную дружбу пожилых супругов; да и роман-то был, если честно признаться, односторонним: она придумала себе эту любовь. И долго бы еще, возможно, заблуждалась, кабы не... основоположник марксизма.

«В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достичь ее

сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». Этот лозунг, старательно написанный на красном кумаче, висел в школе на площадке второго этажа, почему и врезался в память, когда она сонной первоклассницей входила в тяжелую дверь. Под не сулящим ничего радостного предсказанием наклонными буквами было написано совсем что-то непонятное: К. Маркс.

Кто такой К. Маркс, узнала существенно позже, но к автору цитаты никакого доверия не почувствовала. Никак не верилось, что этот седогривый толстяк, похожий на Деда Мороза, карабкался, в своем приличном костюме, по каким-то каменистым тропам. Знакомство с первоисточниками доказало: нет, не карабкался. Или не долез до сияющих вершин.

Геология – наука серьезная, достойная настоящего подвижничества, а вот к этому Ольга не готова. Ее диссертация никогда не стала бы ступенькой к «сияющим вершинам», а работать можно и без ученой степени.

Как же приятно идти налегке...

Тогда, после второго курса, произошел еще один сдвиг – Олька перестала быть «своим парнем», и звонили ей теперь не только затем, чтобы стрелкнуть конспекты, и не только ребята из группы. Приглашали в кино, на чей-то день рождения, в кафе. Она что-то мямлила в телефон, не зная, как избавиться от чувства неловкости, потому что никуда не хотела идти, все еще во власти своего романа, который ощущала как приговор, окончательный и не подлежащий обжалованию.

Звонок Олега был предельно деловым:

– Ольгу, пожалуйста.

– Я слушаю, – удивилась она.

– Черняк, – юношеский баритон звучал уверенно, и Ольга вспомнила парня с биофака: вместе сдавали политэкономию.

– Я звоню из автомата, – торопливо продолжал Олег, – и «двушки» кончились. Так что решай быстро: есть билет на «Таганку», сегодня в семь тридцать. «Гамлет».

Олька чуть не задохнулась. «Таганка» приехала на гастроли, все только об этом и говорили. В центре висели афиши, с которых смотрел Высоцкий. Никаких шансов попасть на спектакль не было. Отказаться – душой быть.

– Иду!

В семь она была у театра – вернее, на подступах к нему, потому что толпа плотно забила прилежащие улочки. Вертя головой во все стороны, Ольга не заметила, откуда появился Олег, и вздрогнула, когда он крепко взял ее за локоть: «Привет». Вид у него был отнюдь не театральный – джинсы и свитер, худое лицо с бородкой окружено просторным воротником: не то Шекспир, не то Сервантес. Улыбнулся: «Держись крепко, а то потеряешься», – и начал винтом просверливать толпу, не отпуская Олькиной руки.

Внутри у входа стояли два билетера.

– Держи. После спектакля я тебя встречу.

– А ты?..

– А у меня билета нет, – развел руками. – Только для тебя добыл. Но ты мне потом расскажешь, ладно?

Олька громко расхохоталась. Расхохоталась в первый раз, несмотря на свое

траурное настроение, на отчаяние, незаживший ожог и боль. Ты предлагаешь свою жизнь человеку, который пожал плечами и пошел с кем-то целоваться на скамейке, а другой, не обременяя своей жизнью, отдал тебе билет на «Гамлета». Олька хохотала до слез. Их обходили, кто-то толкал, билетеры посматривали настороженно, только Олег Черняк улыбался.

Опомнившись, мотнула головой:

– Нет, слушай... Я так не согласна.

– Расскажешь, расскажешь своими словами, – непререкаемо повторил он и подтолкнул ее ко входу.

Люди напирали сзади, и Ольку буквально внесло в зал.

Свет еще не начал гаснуть, как в проходе между креслами появился Олег и начал делать ей какие-то знаки. Задев колени сидящих, она торопливо подошла.

– Быстрее! На твое место сядет вот этот парень, а мы на балкон!

«Этот парень» вяло кивнул Ольге и двинулся к ее креслу. Они с Олегом взлетели по лестнице, сели, запыхавшись, в темноте – свет остался только на занавесе.

Таких чудес не бывает, и все-таки оно произошло. Чудо стоило дорого, но не Ольге, а парню, который оказался другом Олега и – позднее – свидетелем на их свадьбе. Накануне «Гамлета» он поссорился со своей девушкой и, как выяснилось, окончательно: на «Гамлета» она не пришла.

Проспект уходит вперед, ровный и прямой, почти бесконечный – да так и казалось в детстве. Захотелось к морю. Поворот направо – и шаг невольно

замедляется, потому что вместо «вафельного» тротуара под ногами песок. Ноги сами по себе становятся ленивыми, спешить никуда не хочется. Только дети бегают, поднимая тучи песка, и возмущенная мамаша впереди замахнулась полотенцем на своего отпрыска.

Давно знакомое дивное ощущение, когда сбрасываешь туфли и ноги погружаются в песок. Здесь, на подступах к пляжу, он еще прохладный, но будет становиться теплее и теплее, как в игре, когда у тебя завязаны глаза. Песок скорее белый, хотя его принято называть «золотым». Он податливый и в то же время упругий... волшебный песок!

В дюнах лежат загорающие, распластавшись на спине или на животе. Солнца по-прежнему не видно, но как-то оно просачивается сквозь тонкие облака, поэтому женщины то и дело отгибают бретельки купальника, критически рассматривая загар. Если стоять или идти, то все тело обдувает легкий и ровный ветерок от моря, но здесь, за дюнами, жарко.

Из-за высокой травы показалась детская панамка, за ней вторая, третья – детский сад. Сбоку шла дородная женщина в открытом сарафане. Она поминутно оборачивалась, держа ладони так, словно приготовилась аплодировать. Панамки гуськом миновали дюны, и женщина хлопнула в ладоши: «Остановились, старшая группа! Остановились и ждем». Ребятишки послушно остановились, кто-то пританцовывал на песке.

Как хорошо помнился детский сад, «остановились, старшая группа», сумасшедшая радость купания, потом возвращение на дачу. В детском саду Оля

выучила гладкое и веское, как булыжник, слово «коллектив». С коллективом надо было держать ухо востро. Только в море, в серо-сизой воде коллектив превращался в хохочущих от счастья детишек.

Детский сад. Особый институт, со своими законами и правилами. Родителям разрешалось приезжать один раз в две недели, в воскресенье. В «родительское воскресенье» никто не рвался на пляж, мальчики не дрались, и все детишки, нарядно одетые, с нетерпением приникали к забору, глядя на проносившиеся электрички: едут?..

Они приезжали, долгожданные родители; Оляка замечала бабушку в любой толпе, подбегала – и утыкалась лицом, вдыхая знакомый любимый запах уюта, покоя и уюта. Молчала и долго не могла говорить, чтобы не заплакать от отчаяния: бабушка уедет! В шесть лет ребенок не умеет осмыслить и объяснить свое отчаяние вместо радости, но чувствует его особенно остро, потому что это было именно отчаяние: ведь если бабушка приехала, то она непременно уедет. Не важно, что уедет в конце дня, через много часов; уедет, уедет. И молчала, чтобы не заплакать, и не понимала, как другие дети могут смеяться и капризничать, ведь от них тоже уедут.

Очень много тоски вмещается в две недели.

Бабушка тоже молчала. Одной рукой прижимая к себе девочку, второй доставала из сумки стеклянную трубочку с крупными белыми таблетками и клала одну под язык. Так, обнявшись и ничего не говоря, они шли в лес, минуя счастливые семейные трапезы, где шипел открываемый лимонад и слышались обрывки реплик: «Ягоды потом, ты сначала покушай как следует...», «...мама тебе селедочки привезла, как

ты любишь. Вам селедочку-то не дают в садике?» Замолкали чужие слова, смех оставался позади; бабушка крепко держала ее за плечи, они уходили далеко, где никого вокруг не было, никакого коллектива.

Как показала жизнь, с коллективом надо было держать ухо востро не только в детском садике. Неприязнь к обтекаемому слову и к его смыслу Ольга чувствовала, когда надо было приноравливаться к коллективу школьному, но все же это было легче: помогла детсадовская прививка. Да и как мог ребенок, выросший среди трех любящих стариков, с легкостью влиться в «старшую группу» – громкую и уверенную орду чужих детей, которые привычно жили по «распорядку дня», что само по себе было для Ольки непонятно. Как непонятна была новая еда: она долго считала молочно-овощной суп и макароны по-флотски наказанием для тех, кто плохо ест, словно такую еду можно есть хорошо. Непонятна была странная необходимость раздеваться и ложиться в кровать среди бела дня. Воспитательница в белом докторском халате ходила между рядами кроватей и проверяла, все ли лежат правильно, то есть на правом боку, положив под щеку сложенные руки.

Руки, а не угол одеяла.

...Ребятишкам, наконец, разрешили купаться, и на темном влажном песке белели снятые панамки. Воспитательница в сарафане стояла по колено в воде с привычно поднятыми для хлопка руками: «Окунулись! Окунулись дружно! Кто там брызгается, Скворцов?».

Коллектив – это когда тебя называют по фамилии.

...Запомнился день в самом конце лета – до переезда в город оставалось недели две. По утрам было прохладно, и детей выводили на прогулку в свитерах, кофточках

и непременных панамках, и не на море, где был сильный ветер, а в лес. Здесь, в маленькой рощице, воспитательница взяла ее за руку и сказала: «Там за сосенкой тебя кто-то ждет», – и легонько подтолкнула в спину. Не дойдя до сосенки, Олька увидела чудо: над тропинкой свисали с куста грозди ярко-рыжих ягод, похожих на салют, и она встала как вкопанная. За сосенкой виднелось что-то серое; рукав?..

– Мама!..

Мама с улыбкой вышла на тропинку, и Олька кинулась, прижалась к серому жакету, поцарапав щеку брошкой на лацкане. Прижималась крепче и крепче, словно хотела врасти в маму, в любимый жакет, в мамин запах, совсем не такой, как у бабушки, другой: крепких духов, папирос и теплого шелка блузки. Мамин запах.

Это было не «родительское воскресенье» – обычный будний день, но Ольку отпустили погулять – с мамой! – до обеда. Выглянуло солнце, стало можно снять кофточку, а потом мама легко подпрыгнула и сорвала ветку с веселыми ягодами. «Это рябина, – объяснила мама. – Какая ты неразвитая, Лялька!» Мама весело сказала: «Пойдем пошатаемся», и Олька добросовестно закачалась из стороны в сторону. Оказалось, это делать было вовсе не обязательно, достаточно просто гулять. Ничего из «шатания» не запомнилось, потому что смотрела только на маму и, не отпуская маминой руки, поминутно забегала вперед, чтобы видеть мамино лицо.

Когда Олька вернулась в садик, все ели молочный суп с лапшой, и этот суп тоже запомнился: в такой исключительный день она мужественно проглотила пенку. После обеда постояла около умывальника, но руки мыть не стала: они пахли мамой, папиросами и духами. Легла в кровать, закрыла глаза и сквозь наплывающий сон слышала, как непонятно перешептываются две воспитательницы: «Мать-

одиночка». – «Так что, ей закон не писан?» – «Заведующая разрешила». – «Это еще почему, интересно?» – «Там обстоятельства сложные». – «Ну не знаю».

Про одиночку Олька знала: это волк Акела из «Маугли», самый умный и справедливый. Бабушка привезла «Маугли», и воспитательницы разрешали ей читать вслух для всей группы, когда на улице шел дождь.

Мать-одиночка, решила она для себя, это волчица, мама Акелы.

...Другой временной слой, другая геологическая эпоха, когда Олька говорила слово «мама». Время меняет лексикон.

Когда-то ей стало интересно, была ли в жизни матери любовь. Такая, чтобы жить не собой и своими ощущениями, а перелиться в любимого так, что все мысли, ощущения, желания становятся одним и неразрывным целым. Перелиться – и не уставать от этого единения; было такое у нее? Если было, то с кем – не с Сержантом ведь?.. Ольга усмехнулась. С ее отцом, загадочным растратчиком Кириллом? Как она его называла – Кирюша? Кирилка? Они с матерью никогда не вели душевных бесед, она всегда оставалась для Ольги загадкой. Запертый ларчик с потерянным ключом, и что внутри, пожелтевшие любовные письма (из тюрьмы, с подписью: «твой Кирилл»), фотокарточки, а то, может, давно не нужные мелочи, которые жалко было в свое время выкинуть: вышедшие из моды шелковые воротнички, сломанная расческа, флакончик с засохшим лаком? Или этот ларчик пуст?

Идти по сырому песку было приятно и легко. Волны окатывали ступни – и тут же отступали назад, оставляя на песке маленькие, с ноготь величиной, белые и розовые ракушки и пряди водорослей. «Русалка причесывалась», – говорила

бабушка, когда они с маленькой Лелькой гуляли у воды. Здесь, Лелька знала, происходит все самое чудесное. В море царевич купает коня, в море живет золотая рыбка, в море скрывается янтарь, а кто найдет, тому будет счастье. Давным-давно Максимыч обещал свозить ее на море – поискать янтарики, но прагматичная Лелька надеялась, что и золотую рыбку можно будет покликать. Она ждала, когда Максимыч забудет про свою язву, чтобы они взяли ведро и поехали. «Надо, чтоб она про меня забыла, Лельця», – говорил прадед. Обещал свозить, но не успел: умер. Янтарики Лелька искала с бабушкой – и находила изредка, даже если это был не янтарик, а просто отшлифованный морем осколок пивной бутылки. Золотую рыбку кликать не пыталась, душой понимая, что без «старче» – Максимыча дело это провальное. «У реки два берега, а у моря только один, правда?» – спросила она бабушку и была потрясена, узнав, что второй берег есть, а как же. На осторожный вопрос, что там, на другом берегу, бабушка сказала: «Швеция». – «Если плыть все прямо и прямо, то приплыву в Швецию?» Оказалось – да, именно так; только эта Швеция очень далеко. Плыть с ней вместе бабушка наотрез отказалась, к тому же взяла с Лельки обещание, что та не поплывет одна. Второй берег отнял было у моря долю загадочности, но ненадолго, потому что были ведь дикие лебеди, которые должны перелетать море, с одной только остановкой на маленьком утесе, а летели они в прекрасную страну; не в Швецию ли?

Ольга шла все быстрее. Бесшумно катили велосипедисты, обгоняя идущих, оставляли на песке ровные узорчатые следы шин, похожие на переплетенных змей. То там то здесь группками сидели дети, набирали полные ладони жидкой светлорычневой каши и «выплавливали» дворцы, стены, крепости. Некоторые собирали

ракушки, похожие на миниатюрные веера, и выкладывали ими дорожки и переходы в только что отстроенных дворцах – точь-в-точь обындевевшая брусчатка. Где-то живет тот мальчуган, который возводил дивной красоты замки с башенками и часовыми; кем он стал, архитектором?

Легкие от морской воды ноги совсем не ощущали пройденного расстояния. Море отпускало неохотно: ближе к дюнам, где песок был сухим, ноги уходили в него по щиколотку. Справа стало видно солнце, медленно погружающееся в воду. Теперь под ногами были деревянные мостки, похожие на клавиши ксилофона. Песок, высыхая, осыпался, и только подошвы оставались облепленными, как сырники мукой.

Ветер, похоже, добрался до перрона, потому что жасминовых лепестков почти не осталось. Только под отцветающими кустами они лежали, словно тающий снег.

Обе женщины, не сговариваясь, повернули в сторону, противоположную Ботаническому саду.

Первой заговорила Анна Яновна:

– Я бы, Лорочка, и сейчас работала, мне не тяжело совсем. Года три назад хотела вернуться, так невестка в обиду, чуть не плачет: вам что же, в земле копаться приятней, чем за родным внуком присматривать?

Крутой подъем улочки вел к старому парку. Парк давно зарос, одичал, и только высокая полуразрушенная арка да несколько замшелых постаментов от неизвестных скульптур напоминали о том, что когда-то здесь был архитектурный ансамбль. В центре сохранился большой пруд. Двое подростков кидали с берега в воду камни, громко перекрикиваясь.

Женщины медленно двинулись по дорожке, обвивающей пруд.

– Хорошо здесь, – Анна Яновна обвела взглядом парк. – Как будто и не в городе вовсе, машин не слышно.

Шли молча, потом она сказала, словно продолжала с кем-то спор:

– Вы не подумайте, она человек-то хороший, невестка моя. Молодая; хочет все по-своему. Вам, говорит, мама – она меня мамой зовет, – семьдесят стукнуло, зачем вам работать? А что мне тоже хочется одной побыть, так они не понимают.

– А я думала, вы... – Лариса растерянно осеклась.

– Вдова всегда старше, Лорочка, – спокойно кивнула Анна Яновна. – Когда мы с вами познакомились, ваш супруг был жив и здоров. Так и повелось, что вы меня по

имени-отчеству звали.

Разговор быстро завис, но напряжения не чувствовалось. Что ж, давно не виделись, общих знакомых раз-два и обчелся; беседа неизбежно вернулась к началу.

– Она добрая, – словно раздумывая вслух, продолжала Анна Яновна, – только терпения у нее не хватает. А еще, чтобы добрым быть, нужно места побольше, тогда никто не вызверивается друг на друга.

Она помолчала, потом перевела разговор:

– В деревню часто ездите?

Лариса призналась, что за время болезни соскучилась по хутору. Сказала и подумала: какое пустое слово – «соскучилась»; на самом деле, по-настоящему истосковалась по старому дому, по дереву у крыльца, по скрипучей лестнице... Повинуясь внезапному импульсу, предложила Анне Яновне приехать на хутор погостить.

– И работа для вас найдется, если соскучились, зато привезете домой свежих овощей с огорода; а?

Они подошли к скамейке, вымытой недавним дождем и уже просохшей, и сели. Поверхность воды была рифленой, как стиральная доска, и ненастоящие эти волны двигались тоже не по-настоящему: не набегали друг на друга, а плыли медленно, от этого кружилась голова. Пруд напоминал большое блюдо с краями из замшелых камней; берега заросли ярко-зеленой ряской. День был влажный, и неяркое солнце просачивалось сквозь дрожащий воздух. Ивы у пруда стояли в дымке, и стволы дальних деревьев, казалось, не росли, а струились в золотисто-сизом тумане.

Откуда-то выбежала собака – черная, тощая, вертлявая, – осторожно спустилась

по камням к самому краю воды и начала пить. Утолив жажду, стала взбираться наверх, но оскальзывалась на замшелых камнях, сползала назад, касаясь задними лапами воды; наконец выскочила.

Анна Яновна издала губами какой-то чмокающий звук, и собака осторожно приблизилась. Она стояла в отдалении, настороженно и выжидательно глядя на них, но ближе не подходила. Анна Яновна полезла в сумку, и собака отскочила назад.

– Не бойся, не бойся, – спокойно и негромко говорила Анна Яновна, – баранки у меня в сумке; не бойся.

Она разломил надвое баранку и бросила собаке; та схватила добычу и отбежала назад, к траве, где тут же, давась от жадности, проглотила еду.

– Пуганая, – сказала Анна Яновна, – всего боится. А голод-то не тетка. Ишь, как смотрит: ждет. На, вот тебе еще!

Лариса вспомнила, как собака съезжала по камням в воду, и поежилась.

– Гулять тут приятно, только надо подальше от воды ходить, – сказала негромко. – Неуютно как-то.

– Верно, – кивнула приятельница, – я как раз хотела вас предупредить, если вы тут одна будете гулять. Мало ли; оступиться недолго. Собаке что – собака выплывет. Ну, – повернулась она к собаке, – сыта, что ли?

Та подбежала, в этот раз поближе, и помахала с виноватой признательностью хвостом. Но, когда Анна Яновна протянула руку, снова отпрянула.

– Вот ведь глупая, – Лариса наклонилась вперед и протянула открытую ладонь, – иди, иди сюда, хорошая.

Сидела, не убирая руки, и собака двинулась вперед: боязливо, недоверчиво, не

сводя с Ларисы напряженного взгляда. Приблизилась и начала осторожно обнюхивать ладонь, готовая отскочить и убежать в любой момент. Женщины негромко перебрасывались словами, стараясь ее не испугнуть. Лариса упомянула, что с детства привыкла к собакам, отец всегда держал в деревне пса. Ну а в городе...

— А что — «в городе»? — не согласилась Анна Яновна. — Разве в городе мало кто собак держит?

Собака теперь стояла прямо перед Ларисой. Та погладила жесткую черную шерсть, и собака не отскочила. Переведя взгляд с одной женщины на другую, она села у скамейки между ними.

— Помнит, кто ее баранками угощал! — развеселилась Анна Яновна. — Вот, Лорочка, вам и сторож. Она ведь пойдет теперь за вами.

— Куда, в коммуналку? Да нас обеих соседи съедят!

— Или она их съест, — рассудительно возразила та.

Они снова двинулись по дорожке вокруг пруда. Собака чинно шла рядом с Ларисой, иногда забегала вперед.

— Я бы взяла ее на хутор, — задумчиво сказала Лариса. — А вдруг найдется хозяин?

— Хозяин не терялся, — улыбнулась Анна Яновна. — Мало ли что могло случиться. Заболел, а то... — Она не договорила. — А собака убежала. Смотрите, какая тощая. Помыть хорошенько, расчесать — красавица будет! Или красавец, — озадачилась она. — Ну да скоро узнаем.

Узнали у ближайшего дерева, где собака торопливо задрала заднюю лапу, после чего бросилась догонять женщин.

Карлушке надо отдохнуть от меня, думала Лариса. А с этой... с этим псом можно разговаривать. Но что скажут соседи? Да что мне до соседей, живу тихо какмышь, разозлилась вдруг она на себя. Пускай говорят что хотят.

Анна Яновна что-то спросила, но она прослушала.

— По утрам, говорю, будете гулять с этим красавцем, — повторила та. — Да хотя бы здесь.

Спohватившись, Лариса снова пригласила ее на хутор:

— Места много, я мешать вам не стану. Рядом озеро; скоро грибы пойдут. Приезжайте, а? В любой день. А хотите, вместе поедем?

Анна Яновна замялась.

— Я бы, Лорочка, с радостью поехала, только... Я *деда* моего не могу бросить.

Опять сели на скамейку, но в этот раз Лариса не замечала уже ни волшебной золотистой дымки, ни струящихся стволов деревьев — так она была поглощена рассказом приятельницы.

— Вы не смейтесь только — я ведь замуж вышла. Да-да, в прошлом году, почти в семьдесят лет. Одна моя знакомая намекнула, что, мол, за стариком поухаживать надо — он уж совсем дедок, восемьдесят три; жену давно схоронил. Сготовить что-то да прибрать; ну и стирки немного. Дескать, он заплатить готов, будете приходить на час-другой, вы же на пенсии...

Анна Яновна думала недолго. Лишних денег не бывает, особенно когда покупаешь не то, что надо, а что выбрасывают, да и внука хочется побаловать лишний раз.

Та же знакомая привела ее к старику. Живет один, родных никого нет. Старик

как старик: длинный сухой стручок, запавшие глаза, из носа мох торчит, зато остатки седых волос набриолиненны. Стал застегивать пиджак с разными пуговицами – пахло лежалым стариковским душком. Беспризорный дед, одним словом.

Работы вроде бы немного: квартиру прибрать, суп сварить да овсянку на завтрак приготовить и в одеяло закутать до утра. Через пять дней Анна Яновна получила пятнадцать рублей, а на шестой день старик предложил ей выйти за него замуж. Вместо признания в любви выдвинул непоколебимый, с его точки зрения, довод: чтобы деньги не швырять на ветер.

Смеяться? Плакать?

Не в семьдесят же лет. Анна Яновна повернулась и пошла к двери.

– Квартиру отпишу, – спокойно произнес дед ей в спину.

Та же знакомая звонила ей, уговаривала, и ох каким соблазном звучали ее слова! «Желающих-то много, что ты себе думаешь? Сама посуди: сколько ему жить осталось...» – «Да пусть он живет, сколько отпущено, Господи, разве ж я ему смерти желаю?!» – кричала в трубку Анна Яновна, но та продолжала дозволенные знакомством речи: «О сыне подумай, в исполкоме когда еще квартиру дождетесь...».

Анна Яновна свернула неприятный разговор, положила трубку, но покоя лишилась. Уже виделось, как сын передвигает шкаф к стене – ее кушетки больше нет, в комнате просторней, света стало больше; как невестка меняет занавески, она всегда мои терпеть не могла... За что же такие муки, Господи! Бьешься за деньги, за трешку паршивую, а тут искушение новое; за что?!

За квартиру, жестко ответила сама себе. За жилплощадь эту чертову, вот за что. Не чужой пол мыть, а свой. Лишиться недавно обретенных трех рублей, но получить

квартиру – не только в перспективе, но прямо сейчас, бери и переезжай. Стоит это трешки? – Да.

Так чего ж терзаться?

Несколько дней она не ходила к старику, потратив это время на то, чтобы разузнать о нем побольше. Не так уж трудно это оказалось: нашлись, конечно же, какие-то знакомые, а у тех, в свою очередь, другие знакомые. Люди все местные, своих знают.

Дом, в котором жил дедок, когда-то достался ему по наследству и с тех пор принадлежал целиком, все пять этажей. В сороковом году, после национализации частной собственности, деда с женой не расстреляли и не сослали, а оставили жить в двухкомнатной квартире – то ли по недосмотру, то ли благодаря чуду, если считать чудом крупные взятки, которые тот рассовывал сноровисто и щедро. Так застарелый грешник ставит перед иконами толстый пучок свечей, надеясь, что заслужит прощение хотя бы их количеством. Делал он это в надежде, что чума под названием «советская власть» оставит его в покое и постепенно сгинет, чтобы он смог вернуться в свою прежнюю квартиру в бельэтаже, а сюда поселить жильца из небогатых, хотя бы того продавца из писчебумажной лавки, что давно скромной квартирой интересуется. В соответствии с его надеждами и немалыми затраченными средствами власть и вправду «сгинула», однако после войны вернулась и национализацию не отменила. Как ни странно, деда с женой опять не тронули: они остались в прежней квартире. Вероятно, кто-то рассудил, что раз эта пара уцелела, так на то есть особые основания; другие просто поленились

рассуждать. Не последнюю роль сыграло то, что жена стала работать в домоуправлении счетоводом. Супругу пришлось труднее, потому что специальность «домовладелец» в советской республике не признавалась, а закон обязывал трудиться всех без исключения. Обострять отношения с законом бывший домовладелец опасался — только так можно было объяснить его внезапное трудоустройство на должность санитаря в больницу. Носить белый халат ему чрезвычайно понравилось; отныне он называл себя «медперсоналом», если кто-то спрашивал, где он работает. Сухощавый, жилистый и высокий, с длинными руками, он важно ходил по больничному коридору, со строгим «медперсональным» лицом, и санитарной работой себя не обременял. Из-за последнего обстоятельства в больнице он не прижился и перешел работать приемщиком в палатку вторсырья, но продолжал называть себя «медперсоналом». Что-то не заладилось и со вторсырьем, и «медперсонал» устроился сторожем в какую-то богом забытую артель в двух кварталах от дома, которую и сторожил до скромной пенсии, после чего с облегчением засел дома.

Жена деда до пенсии не дожила — умерла в конце его «медперсональной» карьеры. Про таких говорят: «угасла», уж больно щуплой, бледной и молчаливой была эта женщина. До брака она служила гувернанткой в зажиточной купеческой семье, и если было понятно, почему она вышла замуж за этого человека, то разгадать, что его побудило на ней жениться, не брался никто. Точно так же никто не знал, как они жили, ладно или худо — люди знают много, но не все.

Детей у этой пары не было.

Обогащенная этими сведениями, Анна Яновна через несколько дней пришла к

деду с коробкой стирального порошка и со смятением в душе, но привычная суета смысла куда-то все смятение, как порошок «Волна» смыл грязь с заношенной сорочки. Завернула в старое одеяло горячую кастрюлю с супом, надела кофту и сказала: «Я согласна».

Старик встретил ее решение без удивления – удивлялись и перемигивались барышни в районном ЗАГСе. Ну да что с них взять, с молодых девчонок: ветер в голове.

– Так и живу, Лорочка, – Анна Яновна улыбнулась. – Характер у него нелегкий. Блажной старик, одним словом. Жена у него гувернантка была, мне говорили. Она святая была! А сейчас я у него в гувернантках. Вы не подумайте, ему *ничего такого* не надо, старый он уже... – Она покраснела и запнулась. – Просто тяжело; да что ж поделаешь.

Она взглянула на часы:

– Ох, пора. Не любит он, когда я задерживаюсь. Да ладно; скажу, в очереди стояла.

Она потрепала собаку по загривку и встала со скамейки.

Как странно, сказал Герман, уходя навсегда.

Не странно, Герман – страшно.

В семьдесят лет пойти в прислуги, только чтобы дома был мир и покой. Жена-нежена, батрачка за жилплощадь, правильно Анна Яновна сказала. А сколько она *не* сказала, сколько там осталось в паузах... И невестка, которой нужно пространство, чтобы доброту не скрывать, и сын – сыну только водка нужна. Страшно, Герман.

А если бы мне предложили «брак по уходу», как выразилась Анна Яновна, ради квартиры, если «ничего такого» к тому же не требуется? Проще всего передернуть плечами: «Никогда!». Но ведь у меня и безнадежности такой не было, как у Анны Яновны: вовремя настояла, чтобы жить отдельно, не испытывая невестку на уровень доброты.

Бывшую невестку.

Вопреки желанию, мысли переключились. Робкая молчаливая девушка, уверенная молодая женщина с озабоченным лицом, недовольная Настя. Вначале казалось: мучается, что ребенка нет, однако с появлением Ростика выражение Настиного лица не менялось, просто Лариса не сразу это заметила, поглощенная малышом.

Помнилось, как Герман обронил: «Настя так Настя...». Почему она постоянно была недовольна Карлушкой, эта холодная женщина, чем он так раздражал ее? И любила ли Настя его когда-то, если вот так, в одночасье, все разрушила?

Нельзя думать о ней, в голове начинает пульсировать боль. О Ростике не думать не умела, хотя это были и не мысли даже, а промельк, оставшаяся в памяти картинка: худенький мальчуган, с улыбкой протягивающий ей руку.

Даже оттуда, из Германии.

Голова совсем отяжелела. Надо вспомнить, приняла ли сегодня таблетку от давления, но вспоминалось совсем другое: потерянное лицо сына, телеграмма в руке, солнечные зайчики на цветных стеклах веранды... Разве там сохранились цветные стекла? Молодой Герман уговаривает ее поехать за границу... Почему

Герман – это Карлушка должен ехать в командировку, куда-то под Москву, а не за границу! Но ведь он уже уехал, он звонит каждый вечер, да и солнца больше нет, и веранды нет тоже.

Кому скажешь о голом одиночестве, пустом, как буква «о»? Носком туфли Лариса очертила кружок на песке. Пустота; открытый в крике рот, которому вторит такое же пустое и одинокое эхо: «о-о-о...».

Никого, ни одного человека. На закате жизни дружбы не складываются.

Детство и юность ее прошли на хуторе, в городе ни с кем сблизиться не успела: поглощала работа. Потом скорое замужество и – Герман, Герман, Герман. Он стал не только мужем, но и другом – единственным; больше ни на кого души не хватало. Вокруг Германа всегда были друзья, подруги: он умел и любил нравиться, влюблял в себя женщин, и, как Лариса ни уговаривала себя, сил хватало только на то, чтобы скрыть уязвленность, не называть это ревностью. Потом это прошло. Коля помог: он знал Германа как никто, и уж если Коля принимал его таким, так ей грех жаловаться. Видела восхищенные взгляды, но больно уже не делалось. Карлушка подрастал, подступила война... Как болит голова! В эшелоне очень душно, поезд едва ползет. Только бы мальчик не заболел! Они уже проехали Урал, а сколько еще впереди! Надо было послушаться Германа – ему любая авантюра всегда удавалась, всегда, и они могли не тесниться в переполненном вагоне, а плыть морем совсем в другую сторону – в Европу, куда давно собирались. Сколько раз она мучилась, что отговорила его, хотя сам он уж и думать забыл о Европе: он перестраивал магазинчик, выторговывал где-то медвежий жир – для нее, для жены, – смазывал ей руки на ночь. Ах, как болели потрескавшиеся ладони, при чем тут пневмония,

доктор? Герман – это муж мой – руки мне вылечил, но как же у меня болит голова, словно по темени бьют, и дурнота подкатывает. Это от солнца, наверное, прямо в глаза светит, или... Нет, солнца не видно.

Солнце пропало, и вокруг словно наступили душные сумерки. Потом что-то зашептало, зашелестело рядом, и полился дождь, легкий и частый, отчего вода в пруде стала похожа на темное намокшее махровое полотенце.

Анна Яновна ушла, и Ларисе не хватало ее голоса, ровного и спокойного. «Я только это и могу сделать для своих, что ж еще? Деда обихожу, присмотрю; доживет свой век в уюте да в чистоте. А потом переберусь в свою комнату. Квартиру детям отдам, я уж решила. Сменяемся, как многие делают».

Она тоже одинока, как и старик этот, «дед». Овсянку кое-как и сам сварить может, а словом перекинуться?..

Голова, болит голова. На погоду, наверное; домой пора.

Две буквы «о» вместо одной – безнадежный вздох, вопль в пустоту, вот и вся наша прогулка. Два одиночества не соединяются в одно целое – ни в дружбу, ни в любовь. Или три, если считать «деда», три пузырька с тонкими замкнутыми стенками, три «о», три разных одиночества. Вместо буквы могут быть нули: поставь рядом любое количество – ничего не меняется, нуль остается нулем. И собака не менее одинока, чем я или Анна Яновна, потому-то она так дичилась. Собаки знают цену одиночества, от этого в их любви к человеку всегда есть доля заискивания.

Собака не всегда может пережить смерть хозяина, вот как у соседей было, на мызе «Подсолнухи». Двое одиноких стариков... Нет, не одиноких: они были друг у друга – бездетные, родни никого – всех выловили, всех расстреляли; но одинокими

их назвать было бы грех. Она снова увидела, как эти двое идут вдоль озера: сутулые, в мешковатой одежде, но держатся за руки – всегда, сколько их помнила. Схоронив мужа, она просила пастора, чтобы могилу сразу для нее рядом выкопали, точно знала, что долго не проживет. «Я, детка, не живу – дожидаясь», – сказала при встрече. И дождалась: смерть милостиво пришла за нею спустя полторы недели. Собака отказывалась от еды; потом сбежала. Как оказалось – умирать. Нашли ее у бревна, на котором много лет сидели старики, греясь на солнышке; там и околела.

Собаки не всегда могут пережить смерть хозяина. А человек, если собака гибнет, переживает, конечно, но непременно переживет; а потом... заводит новую. Новая собака, он знает, тоже будет ластиться и заглядывать ему в глаза.

У котов иначе: там человек добивается внимания кошки или кота...

А кстати, где собака? Черная собака; где же она?

Собаки не было.

Лариса огляделась и подошла к самому краю пруда. Здесь собака спускалась пить, а потом скользила по камням. Показалось на секунду: что-то мелькнуло на противоположном берегу, но за частой сеткой дождя ничего нельзя было различить.

От вокзала Ольга направилась было к трамваю, но на перекрестке повернула к парку. На противоположной стороне бульвара стояли дома. Стекла горели рыжим пламенем в заходящем солнце. Вспомнилось, как завораживали ее в детстве окна домов по дороге в школу, какими загадочными казались они вместе с людьми, живущими за прозрачными, но непроницаемыми стеклами. И как притягивали чужие те окна, чужой свет, чужой уют – чужая жизнь, казавшаяся совсем другой – не такой, как у нее, а много лучше, радостней, чище...

Когда-нибудь ее дочка или другая девочка, возвращаясь из школы, будет вот так же смотреть на эти – или другие – окна и гадать, кто живет за ними. И может быть, мать тоже так делала в детстве, а много раньше – бабушка. Сами не подозревая, мы передаем то, что дали нам – неосознанно, на глубоком, недостижимом для понимания, уровне. И другие, совсем взрослые, люди нет-нет да и кинут взгляд на окна, мимо которых идут, – просто не могут скрыть вспыхнувшего на миг беспричинного любопытства: как живет другой человек, отделенный от меня и от всего мира хрупкой прозрачной преградой?

Дорога домой все еще была непривычной – переехали они только неделю назад. Нервная Марина теперь жила в их прежней квартире, а своего мужа, того потерянного мужчinkу, которого Ольга видела мельком, Марина «воткнула», как она выразилась, прямо в новый ремонт, и «пусть спасибо скажет». Сколько ни уговаривала себя Ольга, что ей плевать, как там устроится чужой муж, к тому же бывший, да и пьяница, на душе было погано. Дрянь была квартира; она знала об

этом, а человек тот – нет.

– Это же кот в мешке, понимаешь? – объясняла Олегу. – Ремонт красивый, да; а что под ним?

– А по-моему, нормальная квартира, – возражал он, – особенно сейчас.

Интеллигентный Володя действительно поработал на славу. Стенки в комнате приобрели нежно-персиковый цвет, от чего создавалось впечатление, что здесь тепло. Двугорбое пятно со стены исчезло, хотя Ольга могла по памяти нарисовать его очертания. Притронулась рукой – и пальцами ощутила предательскую неровность: я здесь, я вернусь. Володя тоже знал об этом или угадал Ольгину мысль: «Я в комнате потому и накатило, чтобы, когда начнет проступать, не сразу стало заметно». На кухне и в прихожей стенки были теперь цвета густых сливок. «Оптический эффект, пространство расширено, – Володя зашел вперед, широким экскурсоводческим жестом указывая на стены, – такое вот воздействие светлых тонов. И сантехника новая; сразу впечатление другое, верно?»

Ушел в небытие громоздкий приземистый унитаз; если б еще забыть, каково было его мыть... Исчезли вечно слезящиеся трубы – тряпка под ними быстро пропитывалась влагой, надо было полоскать и отжимать ее. Вечный двигатель; как и лужа вокруг унитаза, тоже вечная, потому что, как ни вытирай, она снова и снова набегала, и тряпка, разбухшая и скользкая, тошнотворно вонявшая плесенью, не впитывала воду. Пропал, будто вовсе не бывал, огромный крюк на двери. Тусклая лампочка под потолком упокоилась на помойке – вместо нее висел овальный фонарик, ярко освещавший новенький унитаз посреди светло-зеленых стен.

Квартира выглядела почти игриво. «Вы сказали, на мое усмотрение, так я всю

сантехнику поменял, иначе не смотрелось бы. Плюс два стекла новых, на кухне и в кладовке. Стекольные работы – это мой кореш делал, там тридцать рэ будет. Ну, раковина с унитазом...» Олег пошел его провожать, на ходу вынимая бумажник.

– Слушай, да парень молоток! – восхищенно сказал он, вернувшись. – Квартиру не узнать!

Узнать, узнать; осенью пятно вернется, как на ключике Синей Бороды. Новенькая труба в туалете покроется матовой холодной испариной, капли влаги набухнут, а потом превратятся в струйки – ровные, медленные, неизбежные. Никакие оптические игры с пространством, эмоционально продуманные цвета, никакие плафончики ничего не изменят. Будь проклята эта квартира, которая столько лет преследует меня; будь она проклята! Но при чем тут этот дядька, и без того пришибленный всем на свете, включая собственное пьянство, за что он обречен здесь жить?! Не обмен – обман.

– Олюнь, а какая альтернатива – сдавать? Искать клие-э-энта, – муж очень забавно растянул слово, – трести с него бабли, а когда съедет, снова звать Володю, чтоб ремонтировал. Ты, кстати, знаешь, чем он занимается, помимо ремонтов?

– Нет; откуда?

– Он мне в коридоре рассказал: аспирант на кафедре психологии. На фига тебе, спрашиваю, психология сдалась? Преподавать хочет. Намекнул, что тема, мол, интересная. Тогда, говорю, брось ремонтами заниматься. Он вытаращил на меня усы. Ну ты даешь, говорит; а жить на что?

Олег засмеялся. Надо же, подумала Ольга, всю биографию за пять минут узнал; что значит обаяние.

– А если серьезно, Оль, то при обмене все равно кто-то сюда вселится. Так уж лучше пускай пьяница.

...Войдя в прихожую, услышала голоса. Черняки; давно?

– Принимай, принимай, хозяйка! – Николай Денисович поднялся с дивана ей навстречу. – Мы ждем не дождемся, мама торт купила; чаем-то напоите?

– «Киевский», и очередь совсем небольшая, – улыбнулась свекровь, целуя Ольгу в щеку. – Ой, извиняюсь, я тебя помадой испачкала, – и стерла пальцами свой поцелуй.

Этот ритуал повторялся при каждой встрече: поцелуй, затем уничтожение его следов.

– И долго вы еще собираетесь принимать гостей на кухне? – Николай Денисович придвинул чашку к себе. – Столовый гарнитур нужно достать, стол и стулья. Я поспрашиваю; а то что же это, в самом деле: теперь, когда места достаточно...

Торт «Киевский» был похож на известняк со строительным раствором, присыпанный сверху шоколадным грунтом. Свекровь, деликатно слизывая крем с ложечки, что-то уютно вещала про хозяйство. Ольга вспомнила новенький магазин на взморье, но ухо поймало слово «сервиз».

– ...гэдээровский. Подумай, какая удача, – Алиса Ефимовна повернула к ней оживленное лицо. – Был польский, но я сразу предупредила, что мне для подарка.

– Чем тебе польский плох? – удивился Николай Денисович.

– А тем! Гэдээровский фарфор лучше, и не спорь со мной, Коленька, – запальчиво ответила жена.

– Кто с тобой поспорит, тот два дня не проживет, – буркнул тот и подмигнул Ольге.

Она чуть не ляпнула: «А мейсенского фарфора не было? Жалко», но язвить было лень. Она незаметно прислушивалась к разговору. Как у них все странно! Перепалки эти, частенько на таком накале, что делается неловко; шутки, понятные им одним и явно обкатанные давным-давно, над которыми смеялись не раз и не два – и все-таки смеются снова. У них свои правила буквально для всего: что и как должно быть на столе, каким должен быть сам стол, шкаф, полотенца, занавески, отношения... Очерченный круг. Или не круг, а правильный многоугольник, вроде гексагона. Ну конечно: ячейка!

Частичка сотов; ячейка, семья.

Как они были недовольны обменом! «Что такое? Неужели нельзя было найти в новом доме?» – кипятился Николай Денисович. «Мы не искали в новом доме – мы хотели в старом». – «Зачем? Кому это надо?» – «Нам, папа». – «Но почему? Чем вам плох новый дом?» – «Мы должны заниматься, – терпеливо объяснял Олег, – а как можно сосредоточиться, если тут слышен каждый соседский чих?» Пока он отбивался от Николая Денисовича, Ольге пришлось выслушать пылкую речь свекрови о мусоропроводе: «Какое это удобство, ты не представляешь, Оленька! Вышел на лестничную площадку, выгрузил помойное ведро – и все!» – «Мама, мама, что же ты молчала», шутливо запричитал Олег, и вдруг отец рывкнул, побагровев: «Молчать! Молокососы!» – и хлопнул по столу ладонью.

Случилось это незадолго до переезда. «Батя золотой человек, а что вожжа под мантию попала, так ты не бери в голову. Слышишь, Олюнь?» Это было проще всего –

не брать в голову, но трудно было поверить, что свекор взорвался безо всякой причины, на голом месте. Он ушел в другую комнату, громко хлопнув дверью. Алиса Ефимовна протягивала в прихожей какой-то пакет («тут печенье, возьмите...») и тянулась целоваться, потом стирала свой поцелуй, лепетала что-то извинительное про «Коленьку, он такой нервный».

Сегодня золотой человек, нервный Коленька аккуратно сгребал с блюда ложечкой остатки крема. Этот внезапный визит с тортом, подмигиванием и обещанным сервисом означал, видимо, что им простили «неразумный» обмен. Квартира признана («места достаточно»), несмотря на старый дом и отдаленность от дорогих родителей. Мебельные разговоры смешили и настораживали: они что, не понимают, что денег нет, тем более после ремонта? Какой там гарнитур, дотянуть бы до зарплаты...

Переезжали весело и суетно. Ольга стремительно наводила порядок на новом месте, пока Олег с ребятами помогали Марине перетаскивать вещи, под ее рефрен: «Ой, мне так неудобно, так неудобно...». В попытке отблагодарить развела спирт («я химик, у меня спирт всегда...») и откупила банку с импортным растворимым кофе. «Пахнет – обалдеть! – рассказывал Олег, – а на вкус дрянь ужасная. Так что ты ничего не потеряла».

Несколько часов Ольга провела в новой квартире в состоянии полного и абсолютного счастья, наедине с вымытым полом и придвинутым к стенам «имуществом»: шкафом, диваном и письменным столом. На кухне громоздились коробки с хозяйственной дребеденью: угрожающее «у, тварь», превратившееся в

корткую *утварь*. Притащила единственный стул и села к окну, опершись локтями на подоконник. Улица была пуста. В кафе напротив за стеклом медленно двигались люди. Суббота, все на взморье. Клен уже отцвел, и пыльные разлапистые листья медленно шевелились от ветра.

Кто-то посадил это дерево мне на радость.

Совсем близко от окна тихо покачивалась ветка, словно дерево протягивало руку. Ольга привстала и погладила лист, потом еще один, с аккуратной круглой перфорацией у края. Червяк гостил; или не червяк? Надо будет спросить Олега.

Сколько тебе лет, клен? Я не хочу ждать твоей смерти, чтобы вычислить возраст по кольцам на пне. Ты старше меня? Старше дома, который стал моим? Или дом уже стоял, когда привезли тебя с корнями, завернутыми в тряпку, распеленали и посадили в землю: расти! Добрый человек сделал это, улыбнулся – обязательно улыбнулся! – и ушел, оставив тебя одного. Ты остался стоять на шатком и тоненьком, как ветка, стволе – одинокий, маленький и незащищенный. Страшно было?

Как удивительно: когда человека опускают в землю – это смерть; посаженные в яму деревце или цветок начинают жить.

Сидела бы и дольше, но затекла рука. Встала и с наслаждением прошла босиком по теплomu паркету. Теперь, когда было почти пусто, квартира казалась ничьей, словно никогда не жила здесь нервная, измученная обидой и ненавистью женщина, словно не стоял в дверях человек в криво застегнутом плаще, потому что квартира не сохранила ни кусочка их жизни, словно кто-то рисовал-рисовал, но передумал и ластиком старательно стер неудачный эскиз.

А ведь у них было дерево. Вот оно, за окном.

Теперь оно у меня. У нас.

А вдруг?..

Панический страх возник ниоткуда, прошел по босым ногам; стало зябко. Вдруг мы... вдруг у нас тоже получится так?..

Выудила на кухне из «хозяйственной» коробки джеззу, включила газ. В углу недовольно гудел холодильник. Ох и намучились ребята с ним! Это потом уже с картинной гордостью вытирали лбы, приговаривая: «За такую работу накинуть бы надо, хозяйка...» и прочую чушь, пока стояли и курили, стряхивая пепел в раковину. Холодильник тоже привыкал и приноравливался к новой кухне; вот опять загудел. Повернувшись, она заметила на стенке контуры светлого прямоугольника. Здесь что-то висело. Детский рисунок или фотография дочки? Нет, квартира не совсем беспамятная.

Дверь во вторую комнату была приоткрыта. За окном – двор, где тесно стоят сарай; висячие замки на дверях, как медали на пиджаках. В углу двора – кусты. Жасмин, опять жасмин. Крыши сараев усеяны белыми хлопьями – опадающими лепестками. Забор за сараями отделял соседний двор, куда выходили окна стоящего торцом дома.

На подоконнике лежала выпавшая страничка из «Науки и жизни». Хозяин, должно быть, забрал журналы с собой – туда, в свежий абрикосовый ремонт.

– Ремонт! Ремонт, я спрашиваю, вы собираетесь делать? – ворвался голос свекра.

Ольга помотала головой.

Николай Денисович начал возмущаться, свекровь растерянно переводила взгляд с мужа на сына. Ольга стала убирать посуду. Черняки друг за другом вышли из кухни. Сквозь плеск льющейся воды доносился мечтательный голос Алисы Ефимовны: «Вам надо купить югославскую стенку, как у нас в столовой. Сюда как раз хорошо встанет. И главное, — ты слышишь, Олежек? — главное, все туда войдет: и книги, и телевизор, и посуда...»

Ольга выключила кран.

— Здесь будет столовая, а там спальня; правильно я говорю? — требовательно спросил Николай Денисович.

Попробуй скажи: неправильно.

Ольга пожала плечами:

— Мы не думали об этом.

— Вам стенку нужно югославскую, — вклинилась Алиса Ефимовна. — Я как раз говорила Олежке...

— Да, и меня поставить к этой стенке! — трагическим голосом отозвался тот.

— Опять паясничает? — проворчал Николай Денисович. — Не можешь нормально говорить? То вам не так, и это не этак. Все у вас не как у людей.

У Ольги чуть не вырвалось: «А как у людей?», но это было лишним. «Как у людей» означало так, как у них, Черняков. Югославская стенка, полированный стол, окруженный послушным стадом стульев, а на столе какая-нибудь хрусталина. Потому они и хотели, чтобы мы поселились в новом доме, в такой же сотовой ячейке, как у них; а значит, «как у людей».

Лучше бы болталась по взморью. Чего торопилась, спрашивается?

Разговор продолжался. К несуществующей югославской стенке добавился новый предмет обсуждения: кабинет. Особенно возбудилась Алиса: раз у Коленьки есть кабинет, значит, у Олега тоже должен быть; все как у людей.

Действительно, у Черняков была образцовая квартира – со столовой, спальней и кабинетом. В кабинете «Коленька» дремал на диване, в чахлой тени фикуса, про который Алиса говорила: «Это никакой не фикус, детка», но идентифицировать растение затруднялась. В кабинете стоял громоздкий, как мамонт, старинный письменный стол, за которым никто ничего не писал, и как попал сюда этот реликт, оставалось загадкой.

Справедливости ради нужно сказать, что не только у Черняков, но и у тети Тони, например, была квартира с такой же географией первой необходимости: столовая, спальня и кабинет, то есть тоже «как у людей». Да, потом многое поменялось: столовая превратилась в обыкновенную комнату, в спальне жила посторонняя женщина, соседка, но... почему у крестной это не раздражает – просто потому что свои, потому что *род и племя*?

Передвинувшись к окну, поближе к дереву, она вполуха прислушивалась к разговору. Олег перестал валять дурака и тоже включился в обсуждение. Заговорили громче. Со стороны забавно было наблюдать, как трое взрослых людей пытаются разместить столовую, спальню и кабинет в двухкомнатной квартире.

– Очень просто! Поймите, что никакая столовая нам ни на фиг не нужна!

– Олежек, Олежек... А где вы будете гостей принимать?

– На кухне. Ну чем плохо на кухне – даже удобнее, посуду прямо в раковину! Хозяин за столом рассказывает анекдоты, хозяйка суется у плиты... Ты слышишь,

Олюнь?

– Здесь так хорошо будет смотреться югославская стенка...

– Не со стенки надо начинать, а с ремонта. Пока мебель не купили, паркет отциклевать...

– А спальню можно...

– Мама, спальню можно везде, пойми! Хоть в прихожей. Где спать повалились, там и спальня.

– Но ты разве не хочешь кабинет? Будете с Оленькой по очереди...

– Что значит «по очереди»? Сами договорятся, Аля; не лезь не в свое дело.

– Я предлагаю спальню сделать в той комнате, а здесь столовую, только... как же кабинет?

– Не понимаю, почему в так называемой столовой не может находиться кабинет?

– А ты как думаешь, Оленька? Давайте спросим Оленьку!

– Оль! А правда, почему бы тут не устроить кабинет?

– Ты меня слушай, а не что женщины скажут: первым делом отциклевать паркет, потом заняться потолком – там трещины, надо шпаклевать, а не просто ляп-ляп, как они делают. Ну, достать хорошие обои, чтобы потом...

– Папа, пускай Оля скажет. Оль! Давай, мы с папой перетащим сюда письменный стол – получится кабинет, а?

Олька отвела взгляд от ветки за окном и, повернувшись к мужу, покачала головой:

– Нет, не получится. Потому что здесь будет детская.

Карточки лежали на столе неровной «лесенкой», как он их оставил.

Сомс об Ирэн: «...загадка, как можно ценить музыку... как ценила ее Ирэн. Да! Больше людей, больше денег ценила!» – Приятное заблуждение любящего.

Ценила музыку больше денег, но замуж вышла почему-то за Сомса, который ценил деньги и ни черта не понимал музыки».

Любит только двух женщин, Ирэн и Флер; ни одна не любит его.

Впрочем, Флер – посмертно, honoris causa.

Как молодой Джолион шаг за шагом становится настоящим, зрелым художником, так и Сомс постепенно превращается в подлинного ценителя живописи. Эти параллельные метаморфозы тем более интересны, что герои антагонистичны друг другу.

Роды Аннет, дилемма Сомса: спасти мать или ребенка? – Выбирает ребенка.

Пожар; картина едва не убивает Флер; Сомс спасает ее – и гибнет.

Так ребенок, не убивший мать, убивает отца (падает именно «Vendimia»).

Почему, из всего Гойи, именно «Vendimia»?! У него есть чудесные портреты, в т. ч. solo. Наивная особа с виноградной кистью – менее всего Флер.

Ирэн: красота + обаяние. Элен Безухова: только красота (позвонить Инге, она спорила!).

Сомс – Аннет: идеальный брак, брак по расчету. Социальный статус в обмен на наследника. Самый прочный брак, где правила игры не нарушаются.

NB: Позднее Флер поступает так же, выйдя замуж за первого попавшегося... баронета.

*Прием авторского описания: Ирэн – **только косвенно**, ни одного внутреннего монолога! Ни разу, нигде. Что она по-настоящему думает и как? Остальные написаны гораздо более свободно, даже второстепенные; но не она.*

Никем не развеянный миф о беззащитности Ирэн. Обаятельная хищница.

Возможно ли, что «Vendimia» – символ? Урожай винограда = созревшие плоды = итог жизни Сомса, то есть Флер. Поэтому «Vendimia» = двойник Флер (якобы). Все, что недосказано в «Серебряной ложке», составило «Лебединую песню».

По аналогии, картина Флер наз. «Запретный плод» (!)

И «Vendimia» (= Флер) убивает Сомса!

Две хищницы: Ирэн и Флер. Ирэн сильнее, что она и доказывает, со всей очаровательной беспомощностью увозя влюбленного сына от Флер.

Безотказное оружие страдающей матери: нежный шантаж.

Одиннадцать карточек, выпавшие из портфеля неизвестного человека,

пролежали в кармане Карлушкиного пиджака с того рокового дня.

Лейтенанта, составлявшего протокол, он в милиции не застал. Вместо него за столом сидел пожилой старшина. При виде Карла он неохотно отодвинул «Огонек», раскрытый на кроссворде, и поднял голову.

– Помню, – настороженно сказал он, выслушав Карла. – Следствие ведется в установленном порядке.

– Следствие?..

– Ну да. Техника безопасности не соблюдалась. Должны были поставить леса, во избежание.

Старшина искоса глянул на кроссворд, потом снова на Карла:

– А вы кто будете?

Подумав, неохотно достал папку, откуда извлек протокол и просмотрел бегло, обращаясь то ли к бумагам, то ли к собеседнику:

– Потому что, если рамы менять, то считается как капитальный, а стало быть, соблюдать надо. Иначе что же это получается? – Человек требовательно посмотрел на Карла и продолжал: – Где-то должен быть акт осмотра, вот... – Он что-то перекатывал во рту. На столе, рядом с сигаретами, лежало несколько «тузиков». Потянулся было к пачке, потом с досадой отодвинул.

– Курить бросаю, – пояснил хмуро. – Жена достала, как не знаю кто. Сует в карман ириски, а у меня от этих ирисок зубы болят...

Захлопнул папку.

– В общем, передали в прокуратуру. Вас как свидетеля вызовут. Или не вызовут. Хотите что-то добавить?

Пришлось рассказать, как подобрал выпавшие карточки, как они остались в кармане пиджака, который не носил, и как случайно наткнулся...

– Это к ним, в прокуратуру, – махнул старшина рукой. – У него в портфеле карточек этих штук, наверно, сорок было, если не больше.

Узнав про командировку, милиционер снисходительно объяснил, что «там не горит, тянуться эта бодяга будет долго, а уж карточки вовсе никому не интересны». Помолчав, добавил: «Теперь-то». И потянулся за «Огоньком».

– Не сходится? – посочувствовал Карл.

– Ну! Вот, «семь» по горизонтали: «Древнеримская катапульта», пять букв. Что бы это?..

– Какая первая буква?

– В том-то и дело, что нету. Вот если отгадать «четыре» по вертикали, то последняя буква как раз для этой... древнеримской.

– А по вертикали что?

– Да тоже не знаю!

Старшина решительно вытряхнул сигарету и протянул пачку Карлу: «Кури». Вдохнул с наслаждением дым и пробормотал скороговоркой:

– «Передача и прием звука на расстоянии»; что это за хреновина? Пять букв.

– Радио.

– А? Я выключил, там концерт по заявкам.

– Попробуйте вписать: «радио». Пять букв.

Милиционер недоверчиво посмотрел на Карла, потом хлопнул ладонью по колену:

– Нну! Точно!.. А я-то...

Прикусил сигарету и, щурясь сквозь дым, вписал.

– Тогда в этой древнеримской, как ее, первая буква «о», – задумчиво протянул он, и Карл счел за лучшее попрощаться.

Подойдя к двери, остановился.

Старшина обрадованно поднял голову:

– Вспомнил?

– Катапульта? Нет. Скажите, а родные у него остались? Я мог бы им передать... ну, карточки.

Вот так приходят с улицы и заявляют, насупился старшина, однако быстро сообразил, что заявлять мужик ничего не заявляет, а пришел сам, хотя мог сто раз выкинуть этот мусор. На кой ляд, спрашивается, кому-то эти картонки нужны? А если вдруг в прокуратуре спохватятся, так он самый свидетель и есть, с него и спросят.

Он не успел убрать папку, поэтому найти адрес жены погибшего было делом одной минуты.

– Жена бывшая, фамилия у ней другая: Дуган, а когда в браке состояли, так она тоже была Присуха, как он. С такой фамилией жить, знаешь... Учителю тем более.

Карл стоял, оглушенный. Записал адрес и телефон, пробормотал «спасибо» и вышел.

Он смутно припомнил доцента Присуху по далекому безмятежному времени, когда встречал Настю вечерами после лекций, однако теперь все перепуталось:

вполне вероятно, что помнилась только фамилия, а силуэт человека с бородкой и потрепанным портфелем, которому гардеробщица несла столь же потрепанное пальто, принадлежал не Присухе, а кому-то другому. Однако силуэт маячил, хотя далекую эту картинку властно заслоняла недавняя, с лежащим на тротуаре *пострадавшим*, а был ли он доцентом Присухой, и тот ли самый портфель он, Карлушка, поднял с земли, не имело значения.

Или казалось, что не имеет значения, потому что одно дело быть свидетелем несчастного случая, происшедшего с кем-то неизвестным, и другое, если этот «кто-то» тебе знаком, хотя бы только опосредствованно. В пору своего студенчества Настя часто упоминала научного руководителя, часто и по-разному: то с восхищением («он настоящий подвижник»), то раздраженно («к мелочам цепляется»), то иронически. Были моменты, когда слова «научный руководитель» звучали укоризненно, с прямым намеком на то, что Карлу тоже нужно позаботиться о научной карьере («сегодня он доцент, завтра профессор»), а в напряженных паузах громко звучал упрек инженеру – даже не старшему! – Лункансу. Вот и все, что он помнил о доценте Присухе, который не вызывал в нем ничего, кроме легкой заочной неприязни.

Теперь предстоял еще один абсурд – встреча с его женой; по лицу старшины Карлу стало ясно, что карточки скорее всего окажутся в мусорной корзине. Но жена – после командировки.

С этим решением и со странным ощущением недовольства собой он и уехал на следующее утро.

Командировка неожиданно оказалась очень удачной. Опытный завод полупроводников, везде фигурирующий как номерной «почтовый ящик», разработал крохотный транзистор. Задачей Карла было детально ознакомиться с техническими характеристиками и составить отчет, однако намного интересней было прикинуть, подойдет ли эта штука для новой модели приемника, над которой он работал. Рассчитал схему: новый транзистор подходил идеально. Давно такой продуктивной командировки не случилось, и свободного времени осталось предостаточно.

Всякий раз, приезжая, останавливался в одной и той же гостинице, и все-таки не мог привыкнуть к процедуре выписки: «Сдайте номер». Коридорная – или кто она там, администратор? – царственной поступью входит в комнату, чтобы проверить, не похитил ли командировочный Лунканс пробку от графина или пыльную стеклянную вазу. Пересчитывает кривые занозистые вешалки в шкафу, проверяет ящики письменного стола, после чего подходит к кровати и властно откидывает одеяло: действие особенно неприятное, напомнившее давний эпизод в другой гостинице и в другом городе...

Они с Аликом Штрумелем нетерпеливо перетапывались у столика коридорной с ключом, отягощенным захватанной деревяшкой, и посматривали на часы: поезд ждать не станет. Та стояла в полуоткрытой двери одного из номеров и гневно выговаривала кому-то: «А вам должно быть стыдно, очень стыдно!». Из комнаты доносились приглушенные голоса, затем почти выбежали двое – у девушки горело лицо, ее спутник смотрел прямо перед собой, – и бросились к лестнице. Коридорная подошла к столику, выдвинула ящик и бросила внутрь трешку. Невозмутимо забрала

у Штрумеля ключ и повесила на гвоздик.

Выписался из гостиницы, съездил в Москву, погулял по городу – шумному, горячему, пыльному. Воспоминания о двух поездках «на болото», к Настиным родителям, изрядно стерлись, зато отчетливо виделся жизнерадостный транспарант про какао; интересно, обновили его или сняли?

Абсурдное место тот «поселок городского типа», где с трудом отыщется какао, зато все больше людей начинают день отнюдь не с него... Да разве только там?

Любопытно, кстати, как Настины родители отнеслись к ее новому браку? Хотя настоящего интереса он не испытывал, а мысль о родителях снова навела на Лизу. Нужно написать Лизе – узнать хоть что-то о сыне; может быть, сообщит адрес?..

И сквозь все, чем жил последнюю неделю, просверливалось смутное, непонятное раздражение, неудобное, как заусенец.

Поезд подошел к перрону. После громоздкой и переполненной Москвы даже вокзальный шум показался домашним уютным гомоном. Матери не застал – хороший знак – и поехал домой.

Дома на столе лежали карточки.

Карл не был запойным читателем и потому, наверное, хорошо запоминал полюбившиеся книги. Неделю назад, когда достал исписанные картонки из кармана, он машинально пробежал их глазами, с запозданием поняв, что делать этого не следовало. Теперь нужно было связаться с женой Присухи, а потом захотелось если не перечитать, то хотя бы перелистать еще раз «Сагу о Форсайтах».

Телефон не отвечал. Надев пиджак, он вышел на улицу.

Ты уезжаешь всего на неделю, а когда возвращаешься, видишь, как что-то неуловимо изменилось, хотя на первый взгляд все кажется прежним. И только идя по знакомой мощеной улице, которую не видел всего неделю, понимаешь, насколько условна ее каменно-булыжная незыблемость, потому что на углу начали бурить тротуар, тетки-цветочницы не сидят больше у магазина, в будке телефона-автомата срезана трубка, и все вместе делает из улицы реку, в которую нельзя войти дважды. Ибо заменят какую-нибудь трубу, заштопают асфальт, и черная заплатка на сером фоне будет бросаться в глаза; цветочные тетки вернутся на привычное место, но с другими цветами; телефон могут починить, а могут вовсе выкорчевать будку, и другой человек, вернувшийся из командировки или из отпуска, удивится, не сразу понимая, что случилось.

А «случилось» время.

Много лет назад человек фанатично увлекся «Сагой о Форсайтах» и сохранил эту одержимость – иначе не скажешь – до своего последнего дня. Когда Присуха открывал книгу в очередной раз, была ли она для него *той же самой* книгой – или «Сага» открывала для него что-то иное, новое? Улица может поменяться за считанные дни – одни и те же книги открываются и прочитываются по-разному в разное время.

Через несколько кварталов, увидев исправный «автомат», снова позвонил. Трубку никто не снял.

Она может быть на даче, например. Или в командировке, в доме отдыха; да мало ли...

Свернул на одну из коротких улочек с деревянными домами. Здесь тоже ждали перемены. На доме рядом с аптекой красовалась новенькая вывеска: «ГОРОДСКОЙ КЛУБ КИНОЛЮБИТЕЛЕЙ». Дверь со скрипом открылась, и на улицу вышли двое парней, продолжая разговор. Один, коренастый и лохматый, мотал головой: «Это не имеет значения, потому что у меня с зеркалкой». Другой, очень худой и высокий, снисходительно улыбался: «Ну, ты не сравнивай, это тебе не фотоаппарат»; он замедлил шаги, доставая сигареты. Приостановился и Карл. Нет, внешне никто из этих двоих не был похож на него, да и клуб кинолюбителей не киностудия, куда он приехал с отцовским сценарием. Почему же так защемило сердце тоской и разочарованием – тоской по чему-то нужному и разочарованием от того, что оно упущено?

Вот он, «заусенец», который так раздражал и мешал: разочарование.

Отец выполнил завет старой притчи. Фильм, прославивший когда-то всю республику – это дерево, которое он посадил.

Не для того ли, чтобы сын тоже смог посадить свое?..

Но я этого не сделал. Начал, но не довел до конца. «Вагонъ» остался лежать в письменном столе, вместе с черной папкой и старым мячиком.

Отец, молодой и веселый, бросал мячик: «Лови!», и маленький мальчик бросался вперед, не боясь вымокнуть в высокой траве, расшибая коленки на гравиевой дорожке. Бросался, чтобы поймать мячик.

Папка с ворохом бумаг, незаконченный сценарий – это и есть брошенный ему мяч, который он не разгадал за столько лет. И «Вагонъ» здесь ни при чем: если бы отец хотел, он бы сам сделал этот фильм, а мячик давно бы перестал хранить. Может

быть, он зачеркивал какие-то строчки и вписывал новые, как делал это Присуха, не расставаясь с карточками до последнего дня, только для того, чтобы он, его сын, понял, что нужно посадить дерево – единственное дерево своей жизни...

День гаснул. Пустые углы в комнате наполнялись сгущавшейся темнотой, словно дымом. Впрочем, дыма тоже хватало. Сидя у письменного стола, он курил, хотя курить давно не хотелось, во рту скопилась вязкая сухая горечь. Гася сигарету, Карл уронил пепел, поспешно сдул его и бережно провел рукой по красной полоске, полустершейся от времени.

– Герман, я не могу найти щипцы для камина.

Мать сидела очень прямо, не касаясь спинки кресла и не сутулясь, хотя куталась в шерстяной платок. Этот платок, резкий ноябрьский ветер за окном и батареи, источавшие условное тепло, только и могли вызвать в памяти камин.

– Не переживай, я потом найду.

За последнее время ее лицо вытянулось и похудело. Сегодня снова приняла его за отца. Могло быть – и случалось, что Карл для нее становился кем-то незнакомым. Тогда мать хмурилась и требовательно спрашивала, что он делает здесь, зачем пришел, кто впустил его в дом и так далее.

– Ты не хочешь понять. Вещи сами по себе не пропадают, это руками взято. Она и взяла.

Новый опыт диалога выработался не сразу, но теперь Карлушка не спорил, а только соглашался со сказанным, хотя предусмотреть логику разговора было невозможно, да и ассоциации у матери были непредсказуемыми.

– «Она» – это кто?

– Ну как. – Лариса раздраженно нахмурилась. – Сколько раз я говорила: не надо брать людей с улицы! Горничная без рекомендаций, чего же ты хочешь. Она и взяла.

Мать кивнула на стенку.

В соседней комнате жила Нина – молодая женщина с мужем и ребенком, озлобленная и крикливая. Как выглядит горничная, Карл представлял по фильмам, и соседка не проходила по ряду параметров, не говоря уже о том, что работала на

трикотажном комбинате и если знала, тоже из фильмов, как выглядит камин, то до щипцов ее фантазия не простиралась.

Откуда, о господи, в больной голове матери появились каминные щипцы?!

К своему стыду, Карл не сразу заметил перемены. Более того, если бы не звонок Анны Яновны: «Лорочка часто о мирном времени стала говорить, вы тоже заметили, да?», не обратил бы внимания еще дольше. Ведь на следующий день после той бессонной ночи, которую он просидел над черной папкой, они допоздна говорили об отце – а значит, об этом самом мирном времени.

Мать помнила старую притчу, но поправила Карла. Дом, уверенно заявила она. Построить дом, посадить дерево, родить ребенка. Змея? Да, верно; убить змею. Уверяла, что книга принадлежала ей и наверняка лежит где-то на хуторе. Ты читал, в детстве? И недоверчиво покачала головой. Не может быть; это очень старая книга. И не синий переплет, а коричневый; ты путаешь.

На вопрос, почему для отца так трудно было убить змею, Лариса ответила не сразу.

– Ты хочешь знать, а я вспоминать не хочу, – неохотно обронила после долгой паузы. – Только все равно забыть не могу: не получается. Давняя история...

Давняя история заключалась в том, что отец и его кузен долго ухаживали за одной девушкой, и девушка выбрала не отца. Карлушка с трудом удержался, чтобы не рассказать о новой родственнице, внучке того самого кузена, но вовремя сдержался, и не потому, что слишком много пришлось бы обрушить на мать – остановило ее лицо во время недолгого рассказа, внезапно сделавшееся жестким, отчужденным.

– Он всегда нравился женщинам, я знала. Так что? – Голос звучал надменно, а глаза смотрели беспомощно. – У него были романы, конечно, – раньше, до нашего знакомства, и та любовь тоже.

Мать не умела лгать ни в чем, поэтому любовь не отнесла к романам. Не всякая женщина была на такое способна.

– К счастью, между прочим, – продолжала говорить. – Это еще вопрос, удалось бы Герману снять своих «Хуторян», если бы... если бы он женился на ней.

Голос надломился, но по тону было ясно, что – нет, не удалось бы.

Мать, он знал из рассказов, печатала в киностудии на машинке, где они и познакомились. Когда-то давно отец сказал – в шутку или всерьез, Карлушка не понял, – что потому и обратил внимание на будущую жену, что она единственная из всех «пишбарышень» не стремилась в артистки. Это настолько поразило молодого режиссера, что он остановился посреди диктовки и вгляделся пристальней. «После этого мне ничего другого не оставалось, как жениться», – с улыбкой говорил отец.

– Вот эта змея и мучила его. – Мать снова говорила спокойно. – Да ты не подумай, что я о ней так говорю, вовсе нет! Он перед братом своим, перед Колей, вину чувствовал, что... Ну, как будто мешал ему. Они не только родственники были, но дружили с юности крепко, понимаешь?

Аяксы. Как долго он шел к этому слову.

– И боялся, что Коля подумает, будто бы он его невесту... жену его... все еще любит. Этот страх и был змеей, мучил его, жизнь отравлял. Старался не видаться с ними, а того не понимал, что счастливым людям до других и дела нет. Они-то, влюбленные и счастливые, обижались: куда ты, Герман, пропал? Отчего в гости не

приходишь?

Помолчав, неожиданно улыбнулась.

– Я думаю, Коля все понимал. Понимал и вел себя как обычно, потому что брат есть брат. А папа... Герман тогда с головой погрузился в кино.

Верно, почти машинально заметил Карл: не «папа», а «Герман», ибо змею убивал именно Герман.

Убивал змею в себе. Вот почему это отняло столько сил и времени.

Этот разговор время от времени возобновлялся, хотя начался летом, когда пришло письмо от Ростика.

Не письмо – открытка с видом старинного замка, вложенная в конверт, но все равно письмо.

Сын жил в пионерском лагере. «Здесь все наши ребята, русские», – писал он. Осенью предстояла школа – там же, в Берлине, с тоской понял Карл, – но «школа тоже наша, советская, мы будем учить немецкий язык. В ГДР пионеры тоже есть, только галстуки у них синие. Сюда тетя Лиза приезжала, она сама водит машину, представляешь?». «Представляешь» Ростик от восторга написал без мягкого знака. От известия про Лизу у Карла стало теплее на душе. И лагерь, и новые товарищи – все было «нормально, пап», да и места на открытке не оставалось.

Мать отреагировала неожиданно:

– Скауты.

– Что? – не понял Карл.

– Скауты, говорю, – повторила она. – Синие галстуки. Здесь тоже скауты были,

до войны; синие галстуки носили.

Продолжала, оживившись:

– У скаутов были свои клубы, и в *нашем доме* тоже.

– Здесь, вот в этом?

Лариса досадливо нахмурилась.

– О чем ты говоришь? Нет, конечно. В *нашем* доме. Разве я не показывала тебе папин дом? Моего отца, деда твоего покойного? Ну так покажу, это недалеко, рядом со стадионом. Когда мы с Германом поженились, он сдавал нам квартиру.

И добавила рассудительно:

– Лучше, чем у чужих людей снимать, согласись.

Что-то странное прозвучало в ее интонации. Чтобы сменить тему, Карл спросил:

– Оставить тебе письмо?

– Раньше ведь было не так, – Лариса не слушала. – Имущество и недвижимость передавались по наследству, как и следует быть. Вот и в завещании черным по белому...

Ростик писал шариковой ручкой. Синяя паста кое-где была смазана, строчки детского почерка сползали вниз, утыкаясь в край, но это написал Ростик, сын, росточек! Какое завещание, при чем тут?..

– ...как это делается во всем цивилизованном мире. Первым делом – дом, вот как в той книжке: первый наказ – дом, потом все остальное. Твой дед это понимал. Ты со мной не согласен?

Черная папка лежала на столе, Карлу не хотелось ее убирать. Начал письмо сыну, стараясь не употреблять слово «нормально». Написал о первых яблоках. Потом их будет много, но эти первые выглядели в траве, как шляпки подосиновиков. Рука замерла над листком: он вспомнил, как готовился поехать с Ростиком на хутор, как... Закурил сигарету и продолжал, рассказав о командировке, о миниатюрном приемнике. «Хорошо, что ты написал. Бабушка очень обрадовалась, она тебе ответит».

Дошел до киоска, купил сразу несколько «заграничных» конвертов и вернулся домой. На всякий случай нашел телефон толстяка-невропатолога, чьи капли когда-то помогли матери, стараясь не думать, что того может не оказаться – дома или на белом свете. Неужели пятнадцать лет назад? Если меньше, то не намного.

Каждый день набирал один и тот же номер, он давно выучил его наизусть, но жена Присухи к телефону не подходила.

Балкона здесь не было. Карлушка курил у распахнутого окна и думал о сыне. Голубой конверт со словами MIT LUFTPOST/PAR AVION невольно увязывался с небом, по которому летел самолет, а сама открытка... Пионерский лагерь не мог находиться в замке с башенками, но почему-то казалось, что сын именно там, и тоже стоит у окна, разве что без сигареты. Или даже с сигаретой, допускал и такое. Мальчишкам не нравится курить – им нужно стоять с зажженной сигаретой и «мужественно» молчать – только так можно побороть накатывающую тошноту...

Мне так много нужно рассказать тебе, сын. О том, как я живу без тебя и как жду тебя. О том, почему все произошло так, а не иначе. Только тебе я мог бы рассказать, каким я был в твои двенадцать лет, хотя я не видел себя со стороны и не знаю, сумею

ли. Поэтому я лучше расскажу тебе о моем отце – твоём дёде, которого ты никогда не видел.

Показал бы он сыну старую фотографию из отцовской папки, где стоит девушка в летнем платье, с разлохмаченными волосами? Нет, вряд ли. Что не сбылось, то остается неизменным. Какое значение имеет, что девушка давно превратилась в старуху, что у нее взрослая внучка? Для меня – никакого: она навсегда осталась юной барышней, с которой отец долго прощался в письмах: «До свидания, любимая!». Нет, время черной папки для мальчика еще не наступило.

В окно была видна крыша сарая, недавно просмоленная. После дождя она блестела, как крышка рояля, и Карл знал, что блестящая лаковая крыша надолго останется в памяти ярким снимком, будто он увидел ее через глазок фотоаппарата или кинокамеры. Такое бывало раньше, словно включалось какое-то второе зрение. Новые картинки чередовались в памяти со старыми, хранящимися много лет: глубокий ребристый след шины на свежем снегу; плоский чужой портфель, скользящий по тротуару к его ногам; Настино застывшее лицо перед зеркалом и занесенный над бровью карандаш; осторожное движение отцовского ногтя по лезвию ножа; старушечья рука с чайником над плитой... Картинок было так много, что они накладывались одна на другую, заслоняли друг друга – можно было бы составить целый каталог, если сумеешь описать каждую, как делал это Присуха; зачем-то это было ему нужно?..

Сейчас, перелистывая «Сагу о Форсайтах», Карл поражался заметкам на карточках: Присухин Голсуорси отличался от того, которого помнил он сам. Но Присуха был ученым, а зачем такая картотека ему, Карлу Лункансу?

Внятного ответа не нашел, однако на следующий день заглянул все же в заводскую библиотеку. Молоденькая девушка за столиком всплеснула руками от радости: «Ой, да у нас их завались, хоть целый ящик берите – все равно в макулатуру не принимают!» – и проводила Карла в комнату со старыми каталогами.

Можно делать выписки из книг, например. Не ящик, конечно, но солидную стопку карточек он принес домой. Зачем-то начал было раскладывать на столе, как некогда бабка раскладывала пасьянс, однако вспомнил о телефоне и стал привычно крутить диск. Один гудок, второй, третий... Опять никого, тоже привычно подумал Карл, и в этот момент услышал торопливое: «Алло?».

Дверь открылась рывком, без бдительного вопроса «Кто там?», Карл едва успел отвести руку от звонка. В маленькой прихожей стояла невысокая женщина в темном тренировочном костюме, светлые волосы туго затянуты в хвостик на затылке.

– Простите, тут... Я собиралась уборкой заняться.

В кухонном проеме стояло ведро с торчавшей из него шваброй.

– Инга Антоновна? – начал он, но женщина поправила: «Инга», решительно отмахнувшись от «Антоновны».

Карлушка повторил сказанное по телефону и протянул конверт с карточками.

– И вы их сохранили?.. – недоверчиво спросила женщина.

Она бережно взяла тонкую стопку и держала обеими руками, словно боясь рассыпать.

– Хотите... хотите, я покажу вам картотеку?

Все карточки были аккуратными рядами уложены в две обувные коробки.

– Тут не все, конечно, – пояснила она, – я точно знаю, что было больше. Митя ничего не выбрасывал, даже старые черновики хранил. Здесь выписки по «Современной комедии», на английском.

Предложила кофе, и Карл не сумел отказаться.

Сидя за кухонным столом, он наблюдал за хозяйкой. Было ей – сколько, сорок пять, больше? Пятьдесят? Время пощадило женственную фигуру, как пощадило и не наложило морщины на живое лицо с живыми серыми глазами.

Поставив чашки, женщина медленно помешивала изогнутой ложечкой в джезве и тихонько дула на пенку. У нее были выразительные губы, полные и яркие без помады.

– Тесно, как в курятнике, – сказала Инга. – Как раз для меня: терпеть не могу готовить. А вы были Митиным студентом?

Узнав, что – нет, не был, однако жена писала диплом у Присухи, она кивнула. Сделала глоток кофе, тут же вскочила, захлопала дверцами шкафчиков и села опять, положив на стол пачку сигарет. Закурила и сказала виновато:

– Вот у меня вечно так – ни печенья, ни... вообще ничего. Митю я всегда ругала за это, а сама теперь... Курите?

После паузы она снова заговорила, и Карл не сразу догадался, что это монолог, монолог очень одинокого человека. В окно лилось заходящее солнце, и щедрый широкий луч беспощадно высветил волосы – не белокурые, как ему показалось вначале, а седые. Тот же свет явил тонкие морщинки у глаз и усталые веки. Солнце услужливо фотографировало, и портрет, Карлушка знал, останется в памяти надолго. Он слушал торопливый, неровный рассказ, но, не будучи посвящен в жизнь

покойного доцента, понимал далеко не все, поэтому сказанное запомнилось обрывочно, кусками, словно разбавленными полосами яркого света и сигаретным дымом.

...мы так и жили: несколько бутербродов – и вроде как поужинали.

...переживала страшно, но не хотела, чтобы Митя знал.

...в библиотеке работала. Хочешь, говорю, я на вечернее поступлю? Буду к тебе на лекции ходить. А он: да упаси Бог, Инга!

...потому что мне хотелось нормальную семью, понимаете? Чтобы готовить по кулинарной книжке, я купила даже; и чтобы ребенка... А какой женщине не хочется?

...потом все полетело, после той истории с КГБ, все. Митя в вечернюю школу устроился, это для него каторга была.

...я по ночам ждала, что меня арестуют, его тоже, и мы потеряемся. Они ведь по ночам все больше...

...потом управдом говорит: имущество забирайте, гражданочка, а то я квартиру опечатывать должен. А там имущества – картотека да рукопись, я уговорила подождать, чтобы книжки взять. Говорю с ним, а сама реву, тушь течет...

Карл осторожно спросил:

– Его... мужа вашего тогда... – как закончить, он не знал.

Инга погасила сигарету.

– Нет, не арестовали. Наверняка перетрясли квартиру, мы тогда уже не жили вместе. Сейчас подумать, из-за какой ерунды... Сама я виновата. Фыркнула, ножкой

топнула: вот такая я гордая! Не гордая – глупая была. Потом все время казалось, что, если бы не развелись мы тогда, то и не было бы ничего. Так всегда, наверное, а в то время... Митю выкинули из университета, потому что он дал мне машинку, а я одолжила ее одной приятельнице. Так и не знаю толком, что на ней печатали.

Женщина усмехнулась.

– Это такая нелепость, такая чушь, вся эта возня! Понимаете, у него... у Мити коврик из-под ног выдернули, даже в научную библиотеку больше ходить не мог. Он шутил: пишу, говорил, наедине с Голсуорси. Только пил много. Как чувствовал: принес мне один экземпляр, белой. Держи, говорит, у себя. Мало ли... А что «мало ли», не сказал. Да он и сам не знал.

Помолчала.

– Я держала рукопись на работе, в библиотеке. Ну, чтобы читать спокойно, днем-то нет никого, несколько пенсионеров сидят по углам. Не в столе держала, а в кладовке со старыми журналами, они давно списаны были.

– А потом, – она горько улыбнулась, – я часто думала: на что им сдался этот Голсуорси? Да Митя с тем же успехом мог бы Толстым заниматься! Это далеко отсюда, далеко от нашего времени! Может, *они* так шутили, *им* просто скучно было, как вы думаете?

К счастью, ответа она не ждала, монолог продолжался.

– Митя остался неприканным, ведь для него Форсайты эти были всем, понимаете? Да он женат был не на мне – на своих Форсайтах! И никто больше не был ему нужен. Это меня и разозлило, я... взбрыкнула. И когда поняла, ну, про Форсайтов, то кулинарную книгу подарила кому-то, она совсем новая была. Тогда

мы и развелись. Пойдемте, я вам рукопись покажу, – закончила она безо всякого перехода.

Домой он возвращался в темноте. Медленно шел по улице и вспоминал сегодняшний вечер, словно перебирал карточки с краткими пометками.

Дымящийся кофе, и как она дула на пенку.

Коробки от ботинок, в которых плотно стоят карточки, карточки, карточки; «тут не все, конечно».

Швабра, криво торчащая из ведра.

Сигаретный дым, а сквозь него – солнце, и все становится похоже на передержанный снимок.

Толстая пачка машинописи. «В книге, – говорит Инга, – страниц будет вдвое меньше, Митя просил печатать в два интервала, чтобы вносить исправления. Это если книга будет».

«Коврик из-под ног».

Шутка (или разминка) грозного Комитета, которую все остальные приняли всерьез. Например, университет.

Как она гордо сказала: «Не треп для учебника, а глубокий анализ текста, без поправок на нашу реальность».

Горькая улыбка: «Он был романтиком».

Как она что-то постоянно вертела в руках: то ложку, то карандаш, то сигарету. Короткие ногти без лака, крупные костяшки пальцев.

Диван у стены, покрытый пледом, торшер и низенький столик. Книги на полке.

Стопки книг на полу, на обоих подоконниках – ее или Присухины? На стенке гравюра: башня с петушком в Старом Городе.

Вопрос, который она не решалась задать; уже в дверях спросила: «Митя... долго мучился?». Карл ответил уверенно и твердо, хотя никакой уверенности не чувствовал: «Нет; сразу».

Поверила ли?

Как перекрестилась, что-то прошептав.

Он уже подходил к дому и вспомнил почему-то, как возвращался от машинистки с перепечатанной рукописью отцовского сценария и как с того вечера возненавидел слово «добротный».

На столе рядами лежали карточки, как раньше лежали Присухины, только эти были чистые, не исписанные. Списанные, но не исписанные, хмыкнул задумчиво.

За окном горели уличные фонари, слышались голоса. Не зажигая света, он смотрел на стол, и ровные светлые прямоугольники были похожи на освещенные окна, пустые и голые, словно новые жильцы еще не вселились, а только зашли посмотреть, где им предстоит жить.

Карл не знал, каково это – ждать ареста.

Тогда, в сороковом году, отец с матерью тоже не ждали ареста, да и не было арестом то, что произошло: приказ – ссылка – эшелон – отправка. Карлушка ничего не запомнил, кроме трясущегося пола под ногами. Пол дрожал, и это было весело. Для него ссылки не было – был переезд, они теперь будут жить в другом месте. Дети быстро привыкают к переменам: они воспринимаются как приключения. Как и

через год, в свои пять с небольшим лет, он плохо представлял себе войну, мысленно видя только храбрых всадников с копьями и в развевающихся плащах.

Теперь ему почти сорок два, но много ли он знает о КГБ, за исключением нескольких мнимо опасных анекдотов, которые знают все? Между тем КГБ существует и функционирует, однако преследует не столько иностранных шпионов, сколько диссидентов, поэтов, непричастных людей вроде Присухи, а также... пишущие машинки.

...за которыми сидят другие люди, другие машинистки. Красивая Таисия Николаевна тоже могла бы перепечатывать самиздат – например, Солженицына; почему нет? Она охотно берет – или брала – на дом халтуру.

Инга. Странное знакомство, еще один абсурд. Ее короткий рассказ – сага доцента Присухи. История *вытеснения из жизни* человека, который не родил ребенка, но посадил свое дерево – оставил рукопись.

Глубоко внутри щемил и царапал душу крохотный фрагмент из жизни женщины, которая мечтала стряпать по книжке, родить ребенка, но осталась одинокой хранительницей рукописи.

...которая станет ли книгой? И если станет, то когда?

Карлу часто казалось, что он пребывает одновременно в двух параллельных – другого слова не подобрать – реальностях. Одна, привычная, давно обжитая, включала работу, мать и быт.

Не обходилось без осложнений. Недавно он категорически отказался ехать в колхоз, вызвав у начальства досаду: «Что, в командировку тоже не поедете, Лунканс?». – «Поеду, если возникнет необходимость. А в колхоз – не могу: мать нездорова». От него отстали быстрее, чем ожидал.

С матерью стало трудно, особенно потому что перемены в поведении невозможно было предвидеть. «Не хочу вас огорчать, – сказал Карлу невропатолог, – это склеротические явления, и вот здесь, – он постучал себя по костистому черепу, – все меняется только в худшую сторону».

Доктор сам изменился в ту же сторону. Толстого старика больше не было: о былой грузности напоминали только глубокие морщины. Он уже не курил и дышал тяжело, надолго замолкая посреди беседы, чтобы перевести дух. Руки были усеяны темно-коричневыми пятнами. Такие же пятна темнели на лбу.

На вопрос о лечении склеротических явлений старик ответил неохотно, что – лечат, да... Нейролептиками, скажем; а потом лечат последствия. И махнул рукой. «Депрессия, сколько угодно; и что тогда?» Конверт отвел спокойно и решительно. «Это ни к чему, – сказал, отдышавшись. – Не обижайтесь». Добавил: «Пусть ваша матушка в Париж ездит, или куда там... Вот когда возвращаться откажется, тогда и лечить принимайтесь», – и протянул руку, прощаясь.

...Выпадали дни и целые недели без «склеротических явлений», и Карлу тогда казалось, что старый доктор ошибся; но потом выяснялось: нет, он был прав. Например, на хуторе, когда мать встретила его озабоченная:

– Собака пропала. Я бегаяю, зову; соседи-то новые, не знают ничего. Твердят, что не видели.

Что было не удивительно: мать искала Пика, собаку его детства, но Карл понял это не сразу. Когда сообразил, последовал совету доктора.

– Найдется, мама. Я поищу.

Он помнил слова старика: «Пусть вас это не мучит. Вы не обманываете, а подыгрываете, как на сцене; входите в ее мир».

Мир, в котором мать была хозяйкой, был путаным, не всегда понятным, неожиданным. К событиям, подлинным или мнимым, примыкали вещи той же степени реальности. В нем, этом мире, терялись и находились – или забывались – странные предметы, жили не известные Карлу люди, бурлили события, происходившие либо очень давно, либо только в ее воображении. Труднее приходилось, когда реальность переплеталась с вымыслом, как в истории с давно умершим Пиком: в рассказе каким-то образом присутствовала Анна Яновна, и переубедить мать было невозможно. «Анна Яновна его баранками кормила, когда мы гуляли! А потом смотрю – нет, нигде нет!»

В другой раз Карлушка застал мать, обложенную бумагами и бумажками, она что-то искала. Выяснилось даже, что: справку. Какую справку? Взносы, твердила мать, взносы в *больничную кассу*, которые, она опасалась, «Герман не заплатил вовремя». Нужно было найти какую-то «книжку», где якобы все про эти взносы

сказано.

Или когда вдруг заговорила про летучую мышь. Сначала Карлушка не понял и сдуру пообещал купить мышеловку, но мать отмахнулась с досадой и четко повторила:

– *Летучая* мышь.

Где – в деревне, куда не ездили почти два месяца?

– Если бы, – нахмурилась она, – здесь, в комнате.

Битых полчаса доказывал, что быть того не могло, да и откуда взяться тут летучим мышам, сама посуди, мама?!

– Вот и я говорю, – неожиданно успокоилась она. – А он только посмеялся. Подошел и хватить! Поймал в полотенце. Ну, потом выпустил, разумеется.

– Кто?!

– Ну как, – в голосе матери звучало раздражение, – Герман, конечно.

Абсурдный мир, да; но какое это имело значение, если мать посадила за свою жизнь столько деревьев, что хватило бы на сад или небольшую рощу?

«Подыграть», чтобы вернулось привычное выражение на родное лицо, иногда было несложно – как с «пропавшей» собакой, например. Порой, наоборот, смещение временных пластов заставляло его врасплох, и вопрос: «О чем ты?..» вылетал прежде, чем он успевал вспомнить свою роль, как если бы актер где-то задержался, и суфлер разводит руками в своей будке, а зрители переглядываются и покашливают.

У Карла не было суфлера, но и зрители, к счастью, отсутствовали.

Третий компонент – быт, отнимающий, как следует из названия, большую часть бытия, – Карл упростил до минимума. Покупал в кулинарии что-то из еды;

синтетические рубашки вешал после стирки на вешалку, не отжимая, — это позволяло избежать утюга... Как бы убого ни выглядел холостяцкий быт, он не хотел тратить на него дополнительное время — время, необходимое для другой — *параллельной* и главной — реальности.

Потому что она была важнее реальности каждодневной. Здесь он был хозяином, а не быт, о котором забывал на время, как об отвалившейся болячке. Другой мир, где абсурд, конечно, присутствовал тоже, но был уместным и начисто лишенным нелепости. В этом мире куда-то пропадало грызущее раздражение, так долго его мучавшее.

На столе ровными рядами лежали карточки. Одни были почти пусты, если не считать нескольких строчек, другие — исписаны почти целиком. Дом, еще недавно пустовавший, заселялся жильцами, и каждый тащил с собой не только мебель и чемоданы, но и свои привычки, слабости, чудачества.

Дом заселялся. Как они встретятся, эти совершенно не похожие друг на друга люди, Карл еще не знал; знал только, что это непременно произойдет, ведь они здесь будут жить.

И Ростик никуда не уехал, он тоже здесь, он начал что-то собирать из конструктора и не закончил, дырчатые алюминиевые детальки лежат на столе, как у него самого лежат карточки.

Здесь соседка Мария Антуанетта в нарядном халате и другой сосед, упрямый старик с красивым и трудным именем; вот он медленно идет по коридору, опираясь на палку. До сих пор он ни с кем не разговаривал, но рядом поселился старый

доктор с одышкой; может быть, они поздороваются...

«Я вас предупреждал, – сердито и громко выговаривает кому-то высокий тощий человек, – завод – это вам не лебединое озеро».

Лица доцента Присухи не видно, он низко склонился над столом и вносит последние поправки в рукопись, а рядом стоит пишущая машинка. В соседней комнате его жена, и в солнечном луче стелется сигаретный дым.

Легонько машет рукой из окна хрупкая сероглазая «немка» Лиза. Ее рассказ не закончен, а лицо видно, как в тумане: то ли дождь идет, то ли замутилось окно уходящего поезда.

В другом окне видна девочка с кружкой в руках: «Я сделала вам какао»; на нее смотрит молодая женщина в модном пальто, длинный шарф переброшен через плечо, но в руках учебник географии за седьмой класс.

Недавно прибавилась еще одно окно. В нем видна другая комната, выдвинут ящик письменного стола, и та же девушка всматривается в блеклую фотографию молодой барышни с чуть разлохмаченной прической. Она непременно должна увидеть «Аяксов», это – братья, вот они рядом, как были рядом много лет в жизни. Девушка пока об этом не знает, но телефон ее записан на той же карточке – Карл ей позвонит и расскажет.

Красавица-машинистка, разминая папиросу, снисходительно разговаривает с сутулым стариком. Он принес мемуары и польщенно радуется, что машинистка назвала их «добротными»; но как же ей не хватает простой добротности в собственной жизни! Не оттого ли так любит она это слово?

Соседняя карточка исписана очень плотно: здесь и Зинка с Толяном, и гладкая,

улыбающаяся женщина в кружевной наколке, и еще кто-то, до конца не придуманный, так что места почти не осталось.

«Чего же вы хотите?» – недовольным голосом спрашивает участковый врач из поликлиники, но ответа Карл не слышит. Вспыхнуло новое окно, там поселилась молодая жизнерадостная пара с велосипедами – им срочно нужно подобрать такую фамилию, которая подойдет к их лицам, голосам, походке и велосипедам, пока женщина заваривает какой-то полезный чай и, как всегда, роняет крышечку от чайника.

Кондрашин спешит тоже оказаться здесь, как же иначе; он привычно брюзжит и старается заглянуть в чье-то окно...

Карточек незаметно становилось больше. Некоторые он рвал и выбрасывал, и тогда казалось, что в окнах погасили свет. Сидел, улыбаясь тому, что было видно только ему, и машинально крутил кольцо на мизинце. Брал чистую карточку, заполнял и клал на стол взамен прежней.

Потом вставал из-за стола, подходил к окну. В чернильной темноте ноябрьского вечера вспыхнул свет в окне дома напротив. Уличный фонарь свысока смотрел на лужу, схваченную по краям льдом: точь-в-точь засахарившееся варенье, но фонарь об этом знать не мог, а Карл ясно увидел другую лужу, у входа в печально известную больницу. И сразу же вырисовался освещенный коридор с усталой пальмой, под которой сидел он сам, а напротив – дед, озабоченно рассказывающий о таинственных списках, недвижимости и ценных бумагах.

Недавно прибавилось новое окно: вселился насупленный юноша, бубнивший

невнятные, тархтящие стихи, но для чего-то он здесь был нужен; для чего именно, Карл еще не знал.

Он многого не знал. Например, отчего до сих пор нигде нет Насти. Или в ее окне не горит свет?

Зато где-то на кухне зашаркала и захлопотала у стола согнутая старушка с тощим узелком седых волос – ни дать ни взять головка чеснока.

Стала видна, словно на сцене поменяли декорации, узкая улочка с деревянными домами и вывеска: «Клуб кинолюбителей». Сюда направляются, громко споря, двое молодых парней, а сам он никогда в эту дверь не войдет – не войдет в эту реку, но теперь ему это больше не нужно.

Кто еще вселится в дом? – Карлушка не знал.

Не знал даже, дом ли это или мчащийся куда-то вагон трамвая или поезда, и сам он не знал, кто войдет – или выйдет – на следующей остановке.

А что потом?

Он улыбнулся и произнес вслух:

– Входит Глостер.

Наблюдатель.

...и спешил, входил каждый день в комнату, видя, как она меняется с каждой новой карточкой, с еще одной написанной строчкой.